



Журнал
Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

5/2011

Журнал
«Семь искусств»

Май 2011

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник Дорота Белас

2011

Журнал

«Семь искусств»

Май 2011

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная вёрстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер

Издательство «Общества любителей еврейской старины»

Содержание

Габриэль Меерзон	
В поле притяжения	5
Эдуард Бормашенко	
К вопросу о... ..	36
Симон Шноль	
Л.А. Блюменфельд Биофизика и Поэзия	44
Вильям Баткин	
Израненный поэт и политрук.....	66
Сабирджан Курмаев	
Vita brevis, ars longa	83
Виктор Юзефович	
«Если в Ваш лавровый суп подсыпать немного перца...»...96	
Борис Тененбаум	
Генерал Республики.....	165
Слава Бродский	
Большая Кулинарная Книга Развитого Социализма	184
Соломон Воложин	
«Кисло!».....	202
Валерий Койфман	
Восток – дело тонкое!.....	212
Марк Азов	
Баллада о солдате.....	241
Ирина Маулер	
Из книги «Вишневое время».....	243
Елена Минкина	
В стиле ретро.....	253
Яков Лотовский	
Очистка ковра.....	282
Моисей Борода	
Укус.....	296
Юлий Герцман	
Примерка	305
Михаил Вайнер	
Весна – осень сорок четвёртого.....	320
Елена Матусевич	
Незаменимый.....	347
Игорь Ефимов	

Оковы просвещения.....	352
Хаим Соколин	
Чудо в монастыре.....	369
Александр Лейзерович	
Горе разуму – «Уриэль Акоста» Карла Гуцкова.....	372
Григорий Рыскин	
Гибрид Пятницы и Робинзона	398
Роланд Кулесский	
От замка к дому в пустыне.....	414
Инна Иохвидович	
О книге Владимира Цесиса «Страницы доброты»	429
Сэм Ружанский, Леонид Комиссаренко	
Освальд Руфайзен против Даниэля Штайна	434
Нелли Портнова	
Девушкин, Голядкин и бедные люди после Достоевского	460
Нина Воронель	
Тайны маленькой деревушки.....	466
Об авторах	491



Габриэль Меерзон

В поле притяжения

Артем Исаакович Алиханян

Спешите делать добро...
Доктор Де Гааз



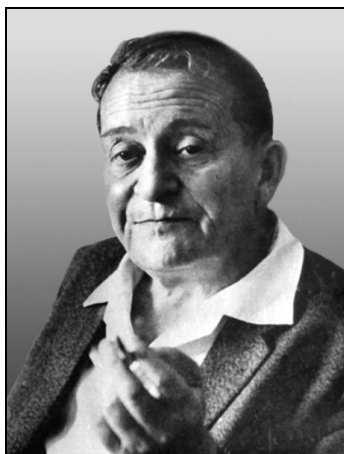
з многих людей, с которыми сталкивала меня судьба, Артем Исаакович Алиханян оказал наибольшее влияние на мое становление как ученого, человека и гражданина. Именно он открыл для меня путь в новый увлекательный мир физики космических лучей и элементарных частиц. Поэтому встреча с ним была счастливой поворотной точкой для всей моей последующей жизни.

Я работал вместе с Артемом Исааковичем 27 лет – с 1951 г. и до самой его кончины в 1978 г., будучи все это время под обаянием его яркой личности. Он создавал вокруг себя какую-то удивительную энергетическую ауру, *поле притяжения*, которые ощущали все, находившиеся рядом. Чувство глубочайшей симпатии к Артему Исааковичу не покидало меня даже в периоды (к счастью, недолгие) расхождения наших взглядов на те или иные научные и житейские проблемы.

1. Дипломная практика на Арагаце

Мое знакомство с А.И. Алиханяном состоялось в мае 1951 г., когда я заканчивал 5-й курс инженерно-физического факультета Московского механического института (ныне МИФИ). В те дни наш декан Л.П. Бахметьев пребывал в величайшем затруднении, пытаясь пристроить несколько студентов, в том числе и меня, на дипломную практику. Система режимных научных институтов, связанных с

решением атомной проблемы (к чему нас готовили в течение пяти лет), отторгала всех, кто не подходил по анкетным данным. Последние были гораздо важнее наших оценок, проставленных в зачетных книжках. Единственными лучами света в темном царстве» секретности оказались лучи космические, которые никак не касались интересов обороны страны. Потому-то и возникла счастливая мысль попросить А.И. Алиханяна, преподававшего в нашем институте, взять меня на дипломную практику в высокогорную экспедицию на гору Арагац в Армении, куда уже уехали несколько моих товарищей. Нашему курсу А.И. Алиханян по не известной мне причине лекции не читал, и знаком с ним я не был. Набравшись храбрости, я позвонил ему по телефону и тут же получил приглашение приехать к нему домой на Большую Калужскую 30.



Артём Исаакович Алиханян

Артем Исаакович, одетый в темно-зеленый клетчатый халат, подпоясанный толстым витым шнуром, встретил меня просто и приветливо. Он был нездоров и вскоре прилег. Стены квартиры, увешанные картинами, свидетельствовали о взыскательном художественном вкусе ее хозяина. Среди них бросились в глаза пейзажи Сарьяна и натюрморт Краснопевцева, написанный, по-видимому, в

1920 годы. В разговоре я незаметно приглядывался к Артему Исааковичу: крупные, немного навывкате карие глаза, выщипанные темные волосы, чуть закругленный нос, широкий овал красивого лица, как сказали бы теперь «кавказской национальности». Говорил он со мной как с равным, так что моя первоначальная робость быстро прошла. Выясняя круг моих интересов и взглядов, он внимательно выслушал рассказ о путешествиях с друзьями в студенческие годы на мотоциклах по югу России, Украине, Крыму и Кавказу. «Значит, Вы уже бывали в горах, – заключил он, – завтра же берите командировку в Ереван и поднимайтесь на Арагацкую высокогорную станцию. Я приеду туда через 3-5 дней, и мы вместе наметим тему Вашей дипломной работы».

Неделю спустя я прибыл в Ереванский физический институт (ЕрФИ), основанный А.И. Алиханяном в 1946 г. Институт занимал тогда небольшое двухэтажное здание, облицованное розовым туфом, на улице Баграмяна 18 (позже ул. Барекамутян), где теперь располагается Посольство США в Армении. В то время институт едва ли насчитывал сотню сотрудников, но среди них было немало квалифицированных физиков с учеными степенями и без оных: Н.М. Кочарян, Г.С. Акопян, Т.Л. Асатиани, Н.Т. Айвазян, Х.П. Бабаян, Б.Л. Белоусов, А.Т. Дадаян, С.Д. Кайтмазов, В. Камалян, Г. Марикян, В.М. Харитонов, А.В. Хримян и др. Кроме лабораторий и богатой научной библиотеки, укомплектованной отечественными и иностранными физическими журналами, имелись и превосходные хорошо оснащенные механическая и стеклодувная мастерские. Позже я узнал о существовании подобной мастерской и в лаборатории А.И. Алиханяна в ФИАН. Следуя примеру П.Л. Капицы, Артем Исаакович, чья московская лаборатория до 1951 г. входила в состав Института физических проблем, придавал первостепенное значение технике физических экспериментов.

В Ереванском институте имелся первоклассный автопарк, необходимый для поддержания круглогодичной работы высокогорной станции. Он был оснащен американским вездеходом «Додж 3/4» и замечательными грузовиками марки «Студебеккер», изначально

предназначенными для перевозки военно-полевых радиостанций. Можно только удивляться, как Артему Исааковичу удалось их сохранить. Ведь, независимо от технического состояния, любое имущество, полученное во время войны из США по ленд-лизу, подлежало обязательному возврату после ее окончания.

В летнее время эти автомашины доставляли по горному бездорожью на станцию людей и грузы. Снятые с них радиопередатчики и приемники использовались для связи между Арагацем, Ереваном и Москвой. (По распоряжению Берия в 1949 г. радиосвязь с Москвой была неожиданно запрещена.) Фургоны, снятые с грузовиков, были расставлены у дороги на склонах Арагаца в двух-трех километрах друг от друга, чтобы в них можно было укрыться от непогоды. Забегая вперед, скажу, что в 1953 г. одна из таких «будок» спасла жизнь сотруднику ИТЭФ Л.И. Соколову, застигнутому на подъеме снежным бураном.

Ереванская база Арагацкой станции располагалась в райском уголке города – тенистом саду над рекой Раздан около Детской железной дороги. Несколько финских домиков служили перевалочным пунктом для московских физиков перед подъемом на Арагац, а также жильем для некоторых сотрудников ЕрФИ. Артем Исаакович всячески стремился создать людям комфортные условия для творческой работы. Такая возможность в те времена имелась. Государство дальновидно предоставляло науке всё необходимое.

На следующий день по прибытии в Ереван предстоял подъем на Арагац. Мне надлежало явиться в институт к полуночи, поскольку выезжать нужно было затемно, пока еще не раскисли глинистые участки южного склона Арагаца, схваченные ночным морозцем. Здесь произошел забавный эпизод. Ночной сторож решительно не пропускал меня в Институт. Мы никак не могли понять друг друга. Он не знал русского языка, я армянского. Однако, догадавшись, что сторож – репатриант, я объяснился с ним по-английски.

Вездеходу Додж-3/4 пришлось потрудиться. Дорога, как таковая, существовала только до Бюраканской

Астрофизической обсерватории. Выше мы взбирались прямо по каменистым горным склонам, объезжая крупные препятствия. Последний подъем от причудливого камня, очертаниями напоминавшего верблюда, пришлось преодолевать пешком по снежной целине.

За пригорком открылось небольшое плато, где расположилась станция – несколько одно- и двухэтажных домиков, утопавших в снегу. Натужно гудели дизель-моторы, снабжавшие станцию электроэнергией. Впереди на севере виднелись вершины Арагаца, сзади с юга возвышался красавец Арарат. В аккуратных двухэтажных домиках находились магнитные спектрометры, на одном из которых предстояло поработать и мне.

Следует сказать, что Большой электромагнитный спектрометр Алиханова-Алиханяна был уникальной по тем временам физической установкой, равной которой в мире тогда не было. Он имел рекордный объем магнитного поля (1,0x0,3x0,15 куб. м) напряженностью до 20 кГаусс и был напигован тонкостенными гайгеровскими счетчиками-соломками диаметром 4,6 мм и длиной 30-35 см, с помощью которых координаты траекторий космических частиц определялись с точностью около 1 мм. По измерениям в пяти рядах счетчиков, вычислялся радиус кривизны траектории частицы, и ее импульс. Электронных калькуляторов и, тем более, компьютеров в те времена, разумеется, еще не существовало, и для облегчения расчетов служила разработанная С.Д. Кайтмазовым номограмма, очертаниями похожая на гитару и получившая название «Бандура». Спектрометр, обладавший высоким разрешением (максимальный измеримый импульс при поле 20 кГаусс составлял 150 ГэВ/с) служил для определения импульсов и масс космических частиц. А.И. Алиханов и А.И. Алиханян полагали, что спектр элементарных частиц богаче и разнообразнее, чем считалось в то время. (К 1951 г. из адронов были известны лишь протон, нейтрон и пион, а из лептонов – электрон, мюон и нейтрино.) Эта догадка нуждалась в экспериментальной проверке. Для определения масс частиц кроме импульса было необходимо измерить длину их пробега в поглотителях под магнитом в

предположении, что частицы тормозятся за счет ионизационных потерь энергии. Однако используемый метод не позволял распознать остановки частиц, обусловленные катастрофическими (ядерными) процессами, что искажало изменяемый спектр масс. Неспособность спектрометра точно определять пробег оказалась его ахиллесовой пятой. Чтобы поправить дело, Артем Исаакович вскоре инициировал разработку камер Вильсона с пластинами поглотителя внутри газового объема, где характер остановки частицы мог быть определен визуально. Эти камеры, созданные В.Г. Кирилловым-Угрюмовым, М.И. Дайоном и В.М. Федоровым с помощью инженера М.М. Веремева, и позволили решить проблему. В конечном счете, был получен неискаженный спектр масс космических частиц, где наряду с пиками, отвечающими пионам, протонам и дейтронам, удалось надежно зарегистрировать частицы (K-мезоны), рожденные в мишени над магнитом. Масса этих частиц, примерно, в 1000 раз превышала массу электрона. Однако случилось это чуть позже после их обнаружения в ядерных фотоэмульсиях, и честь открытия заряженных K-мезонов из рук А.И. Алиханяна ускользнула.

Распорядок Арагацкой высокогорной научной станции подчинялся суровым законам зимовки, поскольку снег на высоте 3250 м лежал 9 месяцев в году – с октября по июнь. Однако жизнь там не была лишена и комфорта. Расположенное рядом озеро Сев-Лич снабжало станцию водой. Дома отапливалась из общей котельной. Всегда можно было принять горячий душ. Сестра-хозяйка, она же уборщица, Евдокия Дмитриевна, выдавала чистое белье, убирала помещения. Спали мы рядом со своими приборами. В столовой хлопотали повар – варпет (мастер) Хайкас, умудренный во всех тонкостях как армянской, так и турецкой кухни, и его помощник Артавас-кери (дядюшка Артавас). Опытный радист Д.Т.

Шкарлет поддерживал постоянную радиосвязь с Ереваном.

В оставшиеся до приезда А.И. Алиханяна дни я постепенно входил в курс работ на Большом электромагнитном спектрометре. Но прошел июнь, большая

часть июля, а Артем Исаакович на Арагаце не появлялся. Сокурсники уже заканчивали свои измерения, а тема моей дипломной работы оставалась по-прежнему неопределенной, из-за чего я чувствовал себя самым несчастным человеком на свете. Однажды утром на единственном на территории станции фонарном столбе появился красный флаг. Как было торжественно сообщено, причиной этого события был ожидавшийся приезд А.И. Алиханяна. К искренней моей радости примешивались удивление и даже ирония: оказывается, его считают здесь национальным героем!



Высокогорная научная станция «Арагац» летом
(3200 м над уровнем моря)

Артем Исаакович поднялся на станцию вместе со знаменитым художником Мартиросом Сарьяном и его милой женой. Расспросив о моей деятельности, он предложил пройтись по окрестностям и посмотреть, как работает Сарьян. Летом на Арагаце кочуют курды, и Мартирос Сергеевич, сидя на раскладном стульчике под зонтом, защищавшим его от палящего солнца, зарисовывал нерасседланного курдского ослика, который пощипывал сочную травку, пробивавшуюся меж камней. За время, пока художник набрасывал свой этюд, ослик переместился, и Сарьян на том же холсте написал его заново, но уже в другом ракурсе. Так родилась известная картина Сарьяна «Ослики на Арагаце».

На следующее утро Артем Исаакович пригласил меня на краткий отдых в Ереван. Во время этой неожиданной передышки мне удалось познакомиться с архитектурой этого замечательного города, который весь был в лесах новостроек. Однако разговор о дипломной работе так и не состоялся: А.И. Алиханян неожиданно уехал отдыхать в Сочи. И тогда, вернувшись на Арагацкую станцию, мне пришлось принять трудное, но единственно верное решение. За время работы на Большом электромагнитном спектрометре у меня накопился интересный материал о продуктах ядерных взаимодействий нейтральных частиц, образованных в мишенях над магнитом. Я решил положить этот материал в основу дипломной работы. Таким образом, Артем Исаакович невольно преподал мне урок необходимости самостоятельного выбора, урок, которому в дальнейшем я старался неуклонно следовать.

Почему же он, вопреки моим надеждам, не повел меня в науку за руку? Анализируя впоследствии эту ситуацию, я понял, что вопрос о студенческой дипломной работе был для него сравнительно мелким. А Артем Исаакович, будучи человеком масштабным, не любил мелочей. Он был уверен, что при обилии экспериментальных данных, накопленных на Арагаце, материал для дипломной работы всегда найдется.

Новое появление А.И. Алиханяна на Арагаце совпало с трагическим происшествием: ранним безоблачным утром 24 сентября сотрудник станции Борис Львович Белоусов и студент МИФИ мой сокурсник Николай Бобырев самовольно ушли в «кругосветку» вокруг вершин Арагаца, чтобы их сфотографировать для круговой панорамы. Днем, как нередко бывает в горах, погода резко переменилась, ветер пригнал тучи, пошел снег. К вечеру нога утопала в нем по колено. Прибывший на следующий день Артем Исаакович и сотрудник ЕрФИ Ваграм Камалян организовали поиски пропавших. В одной из спасательных групп участвовал и я. Через два дня пришло сообщение, что Н. Бобырева разыскали, а Б.Л. Белоусов замерз.

После этого печального события Артем Исаакович надолго задержался на Арагаце, принимая участие в измерениях и анализе экспериментальных данных. Он приходил обычно по вечерам и засиживался до поздней ночи. Мы обсуждали полученные за день результаты, но затем разговор переходил на темы далекие от науки – литературу, живопись, архитектуру, музыку. Артем Исаакович был превосходным рассказчиком. Люди и события, о которых он упоминал, выглядели объемно, сочно, ярко. Я мысленно сравнивал его с Ираклием Андрониковым, «Устные рассказы» которого очень любил. Артем Исаакович был близко знаком с писателем Михаилом Зощенко, хорошо знал его творчество и мастерски читал наизусть многие его рассказы. После известного партийного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» в 1946 г., Зощенко лишился возможности печататься, а, следовательно, и гонораров. Он попросту голодал. Артем Исаакович и Д.Д. Шостакович, как могли, помогали ему. Но после разгромной статьи А.А. Жданова о музыке Шостаковича в газете «Правда» А.И. Алиханяну пришлось помогать уже и самому композитору. От Артема Исааковича я узнал, что музыкальные темы знаменитой седьмой симфонии Шостаковича навеяны вовсе не нашествием гитлеровских армий, а событиями 1937-38 гг. в нашей стране. Так что критическому отношению к сталинской диктатуре я во многом обязан А.И. Алиханяну.

Миновал ноябрь. Моя дипломная практика заканчивалась. Нужно было возвращаться в Москву. Артем Исаакович предложил мне вместе с ним проехать на автомашине до Тбилиси. Тогда я впервые увидел озеро Севан, Семеновский перевал, живописные Дилижан и Иджеван – красивейшие уголки Армении, которую полюбил всем сердцем.

В Москве мне пришлось вплотную засесть за обработку данных измерений и оформление дипломной работы. Не имея допуска в московскую лабораторию, я почти ежедневно встречался с А.И. Алиханяном у него дома. То ли от усталости после семимесячных ночных дежурств на Арагаце, то ли от избытка кислорода, которого

в Московском воздухе было в полтора раза больше чем на высокогорье, но горная болезнь нашла меня именно здесь: хотелось спать, хотелось есть, и не хотелось работать. Наконец, Артему Исааковичу эта тянучка надоела. Когда в очередной раз я показал ему свои «достижения», голос его загремел, да так, что слышно было на лестнице (об этом рассказал мне тогдашний шофер А.И. Алиханяна С.А. Васюков): – «Хватит заниматься онанизмом! Чтоб завтра же все результаты были у меня на столе!» Гнев этот был справедлив, и моя обида за критику, выраженную в столь резкой форме, вскоре прошла. Наутро я принес полностью обработанные экспериментальные данные. Результаты оказались столь интересными, что Артем Исаакович предложил их опубликовать. Сам он от соавторства отказался, заявив, что все заслуги в этой работе принадлежат А.Т. Дадаюну, который являлся в ту пору начальником Арагацкой экспедиции, и мне. Тем самым он преподал мне еще один нравственный урок.

2. В Московской лаборатории. Варитроны

После защиты дипломного проекта деканат предложил мне самому подыскать себе работу. Казалось, это было на́руку, поскольку Артем Исаакович пригласил меня в свою московскую лабораторию. Однако генерал КГБ Смирнов, который тогда курировал ФИАН, решительно этому воспротивился. В течение трех месяцев я обошел 33 организации, где требовались инженеры-физики, хотел даже завербоваться на арктическую метеостанцию на Земле Франца-Иосифа, но всюду встречал отказ.

В это сложное время Артем Исаакович не забыл меня и предложил работу в Ереване. Однако я медлил с ответом, не решаясь на переезд в Армению из-за проблем, связанных с жарким климатом и чужой языковой и культурной средой. Но свершилось чудо, сотворенное стараниями Артема Исааковича! В начале октября 1952 г. мне было предписано явиться в отдел кадров ФИАН для зачисления в руководимую А.И. Алиханяном Лабораторию элементарных частиц, и вскоре же я отбыл в зимнюю экспедицию на Арагац.

Можно только догадываться, сколько сил и мужества стоило А.И. Алиханяну добиться этого. Уже позже, улыбаясь, он рассказывал: – «Мне удалось припереть их к стенке, поскольку истинную причину отказа им разглашать не разрешалось – она была строгой государственной тайной!» Много ли в те весьма непростые времена нашлось ученых, которые встали на защиту своих учеников и сотрудников? Куда больше увенчанных престижными наградами, званиями и степенями мэтров, безропотно расставались с ними по приказу свыше. Это был еще один наглядный урок нравственности, смелости и нонконформизма. И когда в начале 1980-х за свои политические взгляды был арестован один из молодых теоретиков ФИАН, мои единомышленники и я не сомневались, как надо поступить. Пример А.И. Алиханяна был перед глазами.

Вспоминая сейчас историю моего появления в ФИАН, я пытаюсь понять, почему Артем Исаакович, человек вовсе не бесстрашный, не побоялся пойти против течения, т. е. против воли «Партии и Правительства», что в те времена было весьма опасно. Здесь, по-видимому, имелось несколько причин. Прежде всего, он понимал, что, как и в случае с Зошенко и Шостаковичем, идет очередная кампания, без которых сталинское государство обойтись не могло. Будучи человеком прямым и искренним, Артем Исаакович не колебался в выборе позиции. Во-вторых, он руководствовался интересами дела, помогая многим другим физикам, кто, как он считал, этого заслуживал. Недоброжелатели А.И. Алиханяна упрекали его в том, что делал он это небескорыстно. Но если интересы дела – корысть, то за такую корысть я голосую обеими руками.

Было, мне кажется, и третье немаловажное обстоятельство. Артем Исаакович многого достиг, многое ему удавалось, и он верил в свою удачу. Это порождало такой напор и такую энергию, против которых чиновникам трудно было устоять. После создания советской атомной бомбы физики были в почете. И хотя сам А.И. Алиханян в закрытых работах участия не принимал, за ним, придавая ему уверенность и неуязвимость, маячила тень его старшего

брата А.И. Алиханова – одного из столпов советского атомного проекта.

Итак, в октябре 1952 г. я оказался в маленькой лаборатории ФИАН, где работали всего семь научных работников и аспирантов: М.И. Дайон, В.Г. Кириллов-Угрюмов, Л.П. Котенко, Ю.С. Попов, Л.И. Потапов, В.М. Федоров и Н.В. Шостакович (жена композитора), два инженера – М.М. Веремеев и Б.Н. Дерягин, три искусных механика – Н.А. Голубчиков, В.А. Николаев и С.Г. Рюмин, а также радиотехник и радист Г.Д. Давимус. Через месяц вместе с В.М. Федоровым я снова оказался на Арагаце.

Между тем, мрачная обстановка в стране сгушалась все сильнее. В декабре газеты и радио оповестили о заговоре кремлевских врачей против Сталина. Провокационный характер этих новостей не вызывал сомнения. Не могу здесь не вспомнить реакцию Славы Федорова. «Какая чепуха!», – воскликнул он, бросая газету на пол. Точно так же реагировал и Сергей Кайтмазов. Но больше других удивил и порадовал меня рабочий-дизелист Герман Котляревский. «Мы не верим этому сообщению!» – сказал он. Таким образом, я вовсе не был одинок в оценке происходящего.

В те дни на Арагаце случилось еще одно трагическое событие, заставившее забыть о том, что происходило в далекой Москве. В один из хмурых январских дней, когда уже смеркалось, издали послышался нечеловеческий, почти звериный вопль. С балкона в тумане удалось различить фигуру человека с рюкзаком за спиной, который отрывисто выкрикивал нечто непонятное, обращая руки к подножью крутого склона. Схватив лыжи, мы бросились вниз и увидели засыпанных снегом людей, одного по пояс, а другого по шею, примерно так, как Саид в кинобоевике «Белое солнце пустыни». Это были рабочие, поднимавшие грузы на станцию и застигнутые снежной лавиной. Они кричали, что нужно искать еще двоих, погребенных живо. Вскоре удалось откопать одного из них, увы, уже бездыханного. Другого нашли лишь на следующий день с помощью альпинистов.

Я впервые столь близко соприкоснулся со смертью и находился в шоковом состоянии. «Стоят ли все наши

научные поиски того, чтобы из-за них другие люди гибли, мысленно вопрошал я себя. За пять лет с 1948 по 1953 г.г. здесь погибли пять человек: студент Юра Амирагов упал в пропасть, замерз Борис Белоусов, утонул в озере плотник из Еревана, и вот еще двое попали в лавину. Имеют ли право ученые привлекать к своей работе других, если это сопряжено с опасностью для их жизни?». В запальчивости эти упреки я мысленно (и справедливо) адресовал А.И. Алиханяну.

Вскоре, спускаясь с крутого склона на горных лыжах, я повредил ногу и целый месяц хромал, используя вместо костылей лыжные палки. В первых числах марта мне удалось потихоньку спуститься в Ереван, чтобы показаться врачу. Здесь-то меня и застало известие о смерти Сталина. Я бродил по улицам весеннего города, где из уличных репродукторов лилась траурная музыка. Из Москвы приходили слухи о толпах людей, истово рвавшихся к гробу, и жертвах бессмысленной давки. И предчувствие перемен к лучшему не покидало меня.

В Москву мы с В.М. Федоровым вернулись лишь в мае 1953 г. В спектре, измеренном нами, частиц с массой в 500 раз тяжелее электрона, ранее наблюдаемых А.И. Алиханяном, не оказалось. Артем Исаакович был раздосадован: он искренне верил в их существование и посчитал наши результаты ошибочными. Измерения продолжались еще два-три года, причем снизу и сверху Большого электромагнитного спектрометра были установлены камеры Вильсона. Они позволяли более уверенно распознавать характер остановок частиц в поглотителях и их генерации в мишени над спектрометром.

Надо заметить, что утверждение братьев Алихановых о существовании варитронов (частиц с массой промежуточной между пионом и каоном) уже с 1950 г. стало подвергаться критике в научной печати. Реакция А.И. Алиханяна была однозначной: – «Мы сами должны разобраться в этой проблеме». Работы на Арагаце в 1954-1956 гг. были нацелены на ее решение. Мне же захотелось перепроверить данные, относившиеся к опубликованным в 1956 г. А.И. Алиханяном и др. в Журнале

экспериментальной и теоретической Физики шестнадцати варитронам с массой, близкой к 500 масс электрона. Тщательный анализ этих событий убедил меня, что они не удовлетворяют необходимым критериям отбора: у большинства из них пробег был определен неверно. Свои подходы и оценки я изложил на бумаге и с некоторым вызовом передал этот «трактат» Артему Исааковичу. (Несколько позже я узнал, что и другие сотрудники лаборатории, например, М.И. Дайон, тоже говорили ему об этом). Примерно через неделю, когда я уже немного поостыл, Артем Исаакович вызвал меня к себе. Я ожидал крика, разноса, резкого разговора и мысленно приготовился к ним. Но ничего подобного не случилось. «Я внимательно прочитал эти бумаги», – сказал А.И. Алиханян, – «я не согласен с Вашими выводами, но понял, что Вы больше не желаете работать по этой проблеме. Скажите, чем Вы хотите заниматься. Я не только не буду этому препятствовать, но и помогу Вам».

Лучшее лекарство от любви – новая любовь. И примерно через месяц после этого разговора Артем Исаакович объявил, что принял решение построить в Ереване электронный кольцевой ускоритель с энергией 6 ГэВ. А.И. Алиханян не любил и не умел признавать свои ошибки. Я думаю, что в истории с варитронами он заблуждался вполне искренне, став невольной жертвой безоглядной уверенности в правоте своей идеи. Безгранично веря в нее, он подсознательно воспринимал только доводы в ее пользу и отвергал противоположные. Здесь он вел себя как большой ребенок, каким, во многом, и был.

И все же идея о разнообразии, вариабельности элементарных частиц, высказанная Алихановым и Алиханяном в 1948 г., имела значительную эвристическую ценность. В дальнейшем она нашла свое полное подтверждение, хотя не там и не так, как предполагали ее создатели. Эта идея отражает неотъемлемые свойства материи и лежит в основе всей современной физики элементарных частиц.

3. Электронный кольцевой ускоритель, Ереванские школы физики

В 1958 г. Артем Исаакович женился. Марина Алексеевна была на 30 лет моложе его: ему было 48, ей 18. Через несколько лет появились дети: дочь Нина, а потом и сын Артем, которых Артем Исаакович очень любил. «Я счастливее Вас, – говорил он молодым ученикам, – я люблю своих детей одновременно и как отец, и как дедушка!»

Женитьба А.И. Алиханяна совпала по времени с переориентацией его научных интересов на сооружение в Ереване электронного кольцевого ускорителя (ЭКУ). Артем Исаакович стал реже бывать в Москве. Приезжая сюда, он чаще посещал Государственный Комитет по атомной энергии (ГКАЭ), чем свою лабораторию, поскольку именно ГКАЭ финансировал строительство ЭКУ. Артему Исааковичу удалось добиться, чтобы немалые средства на сооружение ускорителя выделялись из союзного бюджета, а не бюджета Армянской республики. «Строительство ускорителя, – говорил он, – это прежде всего строительство социализма: значительную часть средств я обязан потратить на жилье, школы, детские сады, магазины».

Действительно, вместе с ускорителем на окраине Еревана вырос благоустроенный городок. Немаловажным делом стала и подготовка кадров. ЕрФИ быстро разрастался. Большая группа его сотрудников стажировалась и в нашей московской лаборатории, которая все дальше уходила от физики космических лучей к физике высоких энергий. Артем Исаакович стал больше интересоваться методами исследования элементарных частиц и, в особенности, искровыми камерами, которые разрабатывались в ФИАН и МИФИ, а затем и в ЕрФИ. Поместив широкозаязорную искровую камеру в магнитное поле, А.И. Алиханян и Т.Л. Асатиани показали, что искровой разряд в ней точно следует круговой траектории заряженной частицы. Впоследствии в 1970 г. за эти работы Артем Исаакович вместе с другими физиками, в том числе его учениками Т.Л. Асатиани, Б.А. Долгошеиным и Б.И. Лучковым, были удостоены Ленинской премии.

Но все же более всего в то время увлекало его сооружение ЭКУ. В его проектировании вместе с А.И. Алиханяном участвовали В.М. Харитонов, С.А. Хейфец и замечательный физик, будущий правозащитник Ю.Ф. Орлов. В 1956 г. Юрий Орлов был исключен из КПСС и уволен из ИТЭФ за «антисоветское» выступление на партийном собрании при обсуждении закрытого доклада Хрущева о культе личности Сталина. Артем Исаакович, как и прежде, пошел против течения и пригласил Орлова в ЕрФИ, где он стал главным теоретиком проекта ЭКУ и сыграл значительную роль при запуске ускорителя. Впоследствии Орлов снова переехал в Москву, и за свою правозащитную деятельность был арестован и после 12 лет лагерей и ссылок уже во времена перестройки был выслан в США, где проживает и сейчас.



Наземная часть здания Ереванского электронного кольцевого ускорителя электронов

Шестидесятые годы были, наверное, самыми счастливыми в жизни Артема Исааковича. В Армении он снискал уважение властей как всемирно известный ученый и руководитель крупнейшей в республике стройки. Своим авторитетом и влиянием республиканские власти поддерживали его в непростых отношениях с чиновниками ГКАЭ. Последние тоже считались с А.И. Алиханяном, следуя политике того времени, которая способствовала развитию науки в национальных республиках СССР. На экраны страны вышел и пользовался успехом новый

двухсерийный художественный фильм «Здравствуй, это я» по мотивам биографии Артема Исааковича. Главные роли в фильме исполнили замечательные актеры Армен Джигарханян, Наталья Фатеева, Ролан Быков и восходящая звезда тех лет Маргарита Терехова. В Ереване и на Арагаце несколько месяцев гостил и часто беседовал с Артемом Исааковичем известный американский писатель Митчел Уилсон, работавший над романом о физиках «Встреча на далеком меридиане».

В этот период Артем Исаакович стал больше бывать за границей, общаться с иностранными коллегами, чему способствовало и то, что ученые Советского союза стали чаще посещать международные научные конференции. Несмотря на стремление властей ограничивать контакты, последние быстро развивались. На ЭКУ побывало много известных зарубежных ученых. Позже, некоторые из них выступали лекторами на знаменитых Ереванских школах физики.



А.И. Алиханян и Ю.Ф. Орлов (1960 годы)

Идея проведения таких школ была воплощена Артемом Исааковичем после окончания строительства Нор-Амбердской научной станции. Ее здание, воздвигнутое из черного туфа по проекту архитектора Израеляна, возвышается над небольшой сосновой рощей на южном склоне Арагаца чуть выше Бюракана. Вот как выглядит это сооружение в описании Митчела Уилсона. «...Оно было из черного камня, трехэтажное, и венчала его черная башня с рядом окон, идущим от основания до самого ее верха. Это

массивное черное здание выглядело сурово, даже несколько мрачно и, как будто не принадлежало ни к какой эпохе: оно могло быть построено и в прошлом году, и тысячу лет назад...». Первая школа состоялась в начале апреля 1961 г. и тон в ней задавали лекторы-теоретики из ИТЭФ. 12 апреля около четырех часов дня лекция профессора Льва Окуня была прервана торжественным радиосообщением, прочитанным Левитаном: первый землянин Юрий Гагарин полетел в космос.



Высокогорная научная станция «Нор-Амберд»
(2000 м над уровнем моря)

На следующую школу были приглашены известные американские ученые – С. Гольдхабер, М. Гелл-Манн, К. Штраух и другие, всего семь или восемь лекторов. Итоги этой школы бурно обсуждались на коллегии ГКАЭ, где Артему Исааковичу был, в частности, задан и такой характерный вопрос: – «Почему среди приглашенных американских физиков было много евреев?» Ответ был столь же остроумен, сколь и груб: – «Когда я их приглашал, то в штаны к ним не заглядывал!». Раздался смех, и проблема была снята. Артем Исаакович уставал от постоянных придинок чиновников ГКАЭ. Они же недолго любили его за независимость характера и нонконформизм. «Эти чиновники присылают мне массу ненужных бумаг, и если отвечать на каждую из них, заниматься наукой будет попросту некогда, – сетовал

А.И. Алиханян, – но я научился, как с этим бороться. Накладываю резолюции: – «Подшить к делу», «Принять к сведению», или «В архив», и тем самым сберегаю время!»

1967 г. стал годом запуска ЭКУ, которому Артем Исаакович отдавал все свои силы. Когда мы, несколько сотрудников московской лаборатории, как-то вечерним рейсом прилетели в Ереван на очередную школу, он прямо из аэропорта привез нас на ускоритель, до 2-х часов ночи водил по его залам и увлеченно рассказывал о нем.

Приезжая в Москву, большую часть дел московской лаборатории Артем Исаакович решал, беседуя с сотрудниками у себя дома. Я любил бывать в его большой тихой квартире с окнами на Нескучный сад. Проходил по хорошо натертому скрипучему паркету в просторную гостиную, где угощали горячим душистым чаем с лимоном, а часто чем-нибудь и покрепче. За столом обсуждали текущие научные и политические новости. Артем Исаакович продолжал следить за тем, как и чем живет московская лаборатория. Узнав о проводимых Л.П. Котенко и мною расчетах и экспериментах по исследованию ионизирующей способности быстрых частиц, он усмехнулся: – «Константмахерством занимаетесь!». Однако позже он с вниманием относился к нашей работе и признавал, что она содержит интересные физические идеи.

У Артема Исааковича была богатая домашняя библиотека, и он охотно предлагал для прочтения книги Зошенко, Льюиса, Синклера, Хемингуэя. Но наиболее интересны были самиздатовские романы Александра Солженицына: «Раковый корпус», и в особенности, «В круге первом». Напомню, что иметь, а тем более распространять, такие книги было в ту пору делом небезопасным. Кроме библиотеки А.И. Алиханян владел обширной фильмотекой. Он хорошо знал и любил творчество Чаплина и привил эту любовь многим своим ученикам. У себя дома Артем Исаакович демонстрировал нам чаплинские фильмы: «Золотую лихорадку», «Огни большого города», «Новые времена» и «Диктатор». Последний кинофильм был запрещен в то время к показу в СССР во избежание нежелательных аналогий.

В доме Артема Исааковича я встречал многих известных физиков – А.И. Алиханова, Л.А. Арцимовича, И.И. Гуревича, В.П. Джелепова, М.С. Козодаева, Л.Д. Ландау, А.Б. Мигдала, С.Я. Никитина, И.Я. Померанчука. Бывали там также художники и литераторы. В этом доме я познакомился с Лилей Брик и ее мужем В.В. Катаняном. К столу было подано настоящее французское «Бордо». Лиля Юрьевна держалась уверенно, много рассказывала о литературе и литераторах. Смушало лишь, что в разговоре она свободно употребляла нецензурные выражения. К миру искусств Артем Исаакович был равнодушен. Во время ереванских школ он познакомил многих слушателей с замечательными армянскими художниками Галенцем и Минасом, скульптором Чахмакчяном.

4. Семидесятые годы. Рентгеновское переходное излучение

В 1946 г. В.Л. Гинзбург и И.М. Франк теоретически предсказали новый вид излучения быстрых заряженных частиц, возникающего при пересечении ими границы двух разнородных сред. Излучение это было названо переходным. Авторы, по-видимому, имели в виду чисто оптическое излучение. Так, в своей Нобелевской лекции И.М. Франк сказал: – «...Переходное излучение в оптической области частот, где оно только и имеет место...» Однако развитие теории этого явления Г.Н. Гарибяном в ЕрФИ показало, что при некоторых условиях преобладающая доля энергии переходного излучения сосредоточена в рентгеновской области частот и возрастает пропорционально энергии частицы.

А.И. Алиханян, который до войны в ленинградском Физтехе работал с рентгеновскими лучами, сразу же понял, что рентгеновское переходное излучение (РПИ) можно применить для идентификации ультрарелятивистских заряженных частиц. Со временем эта мысль полностью завладела им и стала наряду с ЭКУ доминантой его научной деятельности. Ему удалось увлечь идеей РПИ не только экспериментаторов из ЕрФИ, но и московских физиков из МИФИ и ФИАН.

Мысль о применении РПИ для нужд физики высоких энергий поначалу была воспринята научной общественностью весьма прохладно. Его интенсивность была слаба, для генерации требовались многослойные радиаторы, регистрации мешал сильный фон ионизации, производимой самой же регистрируемой частицей. Впервые РПИ космических мюонов в бумажных радиаторах было измерено в ЕрФИ в 1964 г. На Дубненской Международной конференции это известие было встречено с любопытством, но не более. Американский физик Норман Рамсей в своем репортерском докладе на той конференции отделился по этому поводу шуткой, заявив, что «никогда раньше бумага не применялась для нужд физики с такой пользой». Поворот в отношении к РПИ произошел, мне кажется, после Международной конференции в Киеве в 1970 г., где Артем Исаакович продемонстрировал фотографии треков электронов, сопровождаемых квантами РПИ, которые конвертировали в газе ксеноновой стримерной камеры, образуя фотоэлектроны. Кроме того, А.И. Алиханян, М.П. Лорикян и др. показали, что РПИ эффективно генерируется не только в периодических пленочных радиаторах, но и в нерегулярных пористых материалах типа пенопласта. После этого число работ по РПИ стало быстро расти, причем многие из них были выполнены в Армении с участием А.И. Алиханяна. В 1972 г. Артем Исаакович был приглашен в США для чтения так называемых Лёбовских лекций по проблеме РПИ. А в 1977 г. в Ереване состоялся первый симпозиум, посвященный РПИ, с участием физиков из Армении, России, а также США.

Однако в те же 1970 годы А.И. Алиханян испытал и несколько чувствительных ударов судьбы. В 1972 г. он баллотировался в действительные члены Академии наук СССР. В день выборов Артем Исаакович заметно волновался и пригласил меня к себе, чтобы отвлечься и поговорить о делах. Здесь я познакомился с его бывшим коллегой по Физтеху Наумом Рейновым, который тоже «болел» за Артема Исааковича. Вечерело. Старинные напольные часы, стоявшие в углу гостиной, пробили шесть ударов и внезапно остановились. Попытки Н. Рейнова

завести их ни к чему не привели. Артем Исаакович поблел и произнес: – «Дурной знак!». В академики его так и не выбрали.

В 1973 г. руководство ГКАЭ сместило А.И. Алиханяна с поста директора ЕрФИ. Формальная причина на то имелась, ему исполнилось 65 лет. Случилось так, что по случайности я оказался в доме Артема Исааковича в Ереване как раз в момент рокового звонка из Москвы со злосчастливым известием. Впервые я увидел А.И. Алиханяна столь подавленным и растерянным. У него отнимали его любимые детища – Ереванский физический институт и ЭКУ. Марина Алексеевна отнеслась к происшедшему весьма равнодушно, и утешения от нее Артем Исаакович не дождался. Мы обсуждали с ним возможные шаги, способные повернуть события вспять. Я, как мог, успокаивал Артема Исааковича, звал его вернуться в московскую лабораторию, где он имел много друзей и единомышленников, что в дальнейшем и случилось.

5. Последние годы

Последние четыре года жизни Артем Исаакович провел в Москве, лишь изредка наезжая в Ереван. Годы эти были для него нелегкими. Его семейная жизнь дала глубокую трещину. Обострились болезни. Он стал частым пациентом академического санатория «Узкое». Но интерес к науке не покидал его. Он высказывал идею компьютеризованного идентификатора ультрарелятивистских частиц на основе РПИ, идею, реализованную его последователями лишь в наши дни. Он обдумывал идею электронного ускорителя на встречных пучках с энергией 50 ГэВ каждый. Этот ускоритель по его мысли нужно было бы построить не в Армении, а на юге России, где он хотел основать Южно-Российский научный центр на манер Сибирского. «Там есть амбициозные, сильные секретари обкомов, – говорил он – они могли бы добиться денег на сооружение такого ускорителя».

Осенью 1977 г. Артем Исаакович попал в академическую больницу с неизлечимым заболеванием печени. Кто-то уговорил его провести альтернативную терапию, которая, якобы, давала поразительные результаты.

Делать это нужно было нелегально. Он попросил разрешения проводить лечение у меня, благо наш дом находился поблизости от больницы, и его отлучка выглядела бы как обычная прогулка. Но Артем Исаакович слабел на глазах. С каждой неделей ему было все труднее преодолевать даже небольшие расстояния. С начала февраля 1978 г. он почти не вставал. Мы, сотрудники московской лаборатории, как могли, старались скрасить его последние дни, еще не веря, что приговор уже вынесен. 25 февраля 1978 г. Артема Исааковича не стало.

Была гражданская панихида в Колонном зале ФИАН, торжественные похороны в Ереване с вереницами людей у гроба – ведь его недаром звали Просветителем Армении, которую, как он сказал: – «Я не перестану любить до тех пор, пока сам не стану частицей ее земли». Потом было кладбище, горсти той самой земли, с глухим стуком падавшей на гроб, и ... Артем Исаакович ушел в вечность.

Через два года, приехав в Ереван, я пришел положить первые весенние цветы на его могилу. Мраморное надгробье – стилизованное изображение Арагаца, окруженного кольцом, символизировало два главных направления его научной деятельности: высокогорные исследования космических лучей и электронный кольцевой ускоритель. Замысел памятника соответствовал свершениям Артема Исааковича, но год кончины был указан неверно. К счастью, эта ошибка вскоре была исправлена.

Когда размышляешь о жизни Артема Исааковича Алиханяна, вспоминаются не многочисленные высокие звания, которыми он был удостоен, а богатое наследие, оставленное им для нас. Физический институт в Ереване. Лаборатория в ФИАН. Кафедра ядерной физики в МИФИ. Высокогорные научные станции Арагац и Нор-Амберд. Электронный кольцевой ускоритель с энергией 6 ГэВ. Знаменитые ереванские школы физики. Множество экспериментальных работ по физике космических лучей и физике высоких энергий. Но главное его духовное наследие – любовь к науке, которой он заражал своих коллег, последователей и учеников. Каждый, кто соприкасался с ним, не мог не восхищаться его идеями, энергией,

изобретательностью, организаторским талантом, доброжелательностью к людям.

Приложение

Артем Исаакович был превосходным рассказчиком. Люди, факты, события буквально оживали в его рассказах. Вот несколько коротких историй (изложенных от первого лица), которые были услышаны от него и записаны по памяти.

О Сергее Ивановиче Вавилове

Однажды мне понадобилось срочно подписать у Президента Академии наук С.И. Вавилова документ, касающийся Арагацкой высокогорной экспедиции. Вавилов был нездоров и пригласил меня приехать к нему домой. Покончив с бумагами, он сказал: «Вот, Артем Исаакович, хоть я и болен, но как Президент Академии вынужден пойти на юбилейный вечер, и поздравлять Трофима Лысенко, убийцу моего брата!».

Видимо, такие переживания доконали Сергея Ивановича и преждевременно свели его в могилу.

А вот еще один эпизод, связанный с Сергеем Ивановичем в бытность его директором ФИАН. Во время вечернего обхода института дежурный по пожарной части обнаружил молодую парочку, лежащую в обнимку на диване в служебном кабинете. Наутро он подал рапорт о случившемся на имя Сергея Ивановича. Последний наложил на рапорт краткую резолюцию: «Пожарной опасности не представляет! С. Вавилов».

О вселении в дом КГБ

В 1948 г. Академия наук предоставила мне трехкомнатную квартиру в доме вблизи здания КГБ, и я перевез туда кое-какую мебель. Через несколько дней, когда мы с моим заместителем по Ереванскому институту Гаспаряном обсуждали проблемы Арагацкой станции, в дверь громко постучали и в квартиру вошли несколько военных в чине не ниже полковника. Среди них находился и некто в штатском, одетый в кожаное пальто. Но я узнал его. Это был сподвижник Берия Председатель КГБ Абакумов.

– По какому праву Вы заняли эту квартиру? – спросил он.

– По праву, которое дает мне ордер Академии наук, подписанный ее президентом академиком Вавиловым! – ответил я.

– Забудьте об этом, – сказал Абакумов, – «эта квартира нужна нам. Вы должны освободить ее к завтрашнему дню. В противном случае мы сделаем это сами!».

Они ушли. А на завтра я попросил Гаспаряна ни под каким видом не покидать квартиру добровольно и поехал на прием к С.И. Вавилову. Как рассказал мне потом Гаспарян, вскоре пришли солдаты и стали выносить мебель на чердак. Он молча наблюдал за происходящим, сидя в массивном кожаном кресле и куря трубку. Наконец, солдаты подошли к нему и потребовали, чтобы он встал и покинул квартиру. Гаспарян не подчинился и с кресла не встал. Его так и вынесли на чердак в кресле с трубкой в зубах.

Продолжение этой истории я узнал от Сергея Ивановича Вавилова. Как Президент Академии наук он был вхож к Сталину и пожаловался ему на самоуправство Абакумова. Тот позвонил Берия и потребовал:

– Лаврентий, твои люди выселили ученого, отобрали у него квартиру. Верни ее или дай ему новую в доме КГБ!

Так я и поселился в доме КГБ, на Большой Калужской, 30, построенном заключенными.

О А.И. Солженицыне

Однажды у меня дома побывал Александр Исаевич Солженицын. Первое, о чем он спросил, войдя в квартиру, не скрипит ли паркет. Тот, действительно, сильно поскрипывал. «Что же Вы хотите, – сказал Солженицын, – Ваш дом был *зоной*». Его строили заключенные, а рабы все делают кое-как. В этом доме мне тоже пришлось настилать паркет, может быть, и в Вашей квартире».

С тех пор я бережно отношусь к своему паркету, который, возможно, настилал великий писатель!

Заслуживает упоминания и история переезда Солженицына из Рязани в Подмосковье. На одном из традиционных концертов по случаю Дня милиции выступал Мстислав Ростропович, друживший с Александром Исаевичем. После концерта высокий милицкий чин

поблагодарил Ростроповича и осведомился, нет ли у него к милиции каких-либо просьб. Такая просьба нашлась. Ростропович попросил прописать у него на даче садовника. Его заверили, что это будет выполнено незамедлительно. Действительно, садовника прописали на следующий же день. Когда спохватились, было поздно. Этим садовником оказался А.И. Солженицын.

О Д.Д. Шостаковиче

Однажды в Ленинградской филармонии состоялся концерт, на котором Д.Д. Шостакович дирижировал оркестром, исполнявшим его новую симфонию. Вначале Дмитрий Дмитриевич сказал несколько слов о содержании симфонии. Ее темой были заблуждения личности, их осознание, муки совести, внутренняя борьба, мучительные поиски правды и, наконец, апофеоз чистого и гуманного начала, его победа над всем мелочным и преходящим.

На концерте присутствовал представитель Отдела культуры ЦК КПСС некто С. Сразу же после исполнения первой части симфонии он неожиданно встал и вышел из зала. Музыкальная общественность всполошилась. Боялись нового разгромного постановления ЦК, направленного против Д.Д. Шостаковича. Но вскоре все объяснилось. Во время исполнения симфонии С. почувствовал себя плохо. Он вернулся домой и через несколько часов умер.

Об Анне Ахматовой

Осенью 1941 г. институты Академии наук были эвакуированы в Казань. Тамашнее руководство отнеслось к нам внимательно и всем, чем могло, помогало. Однажды Президента Академии наук академика Комарова посетил Первый секретарь Татарского обкома и спросил, довольны ли ученые пребыванием в Татарии. На это Комаров не очень удачно ответил: «Спасибо, трудно было бы ожидать лучшего приема. Мы же здесь незваные гости, которые, как говорится, хуже татарина...».

В Казани же оказались и некоторые ленинградские писатели. Устроены они были не столь удачно как мы, а поэтому решили переехать в Среднюю Азию. Моя первая жена Муза Павловна, поэтесса и переводчица, хотела проводить Анну Андреевну Ахматову, которую хорошо

знала по Ленинграду. В морозный декабрьский вечер мы пришли на перрон и застали там сидящую на чемоданах и совершенно иззябшую Анну Андреевну. В ее вагоне были разбиты стекла, и гулял ветер. «В таком холоде я ехать не могу, я замерзну», – сказала Ахматова. Чтобы как-то ей помочь, я решил разыскать коменданта поезда. Им оказался известный детский поэт. В его вагоне было жарко натоплено, горели свечи. «С удовольствием бы помог Ахматовой», – сказал он, – но в поезде, увы, нет других свободных мест».

Тут, произошло маленькое чудо почти невероятное для декабря 1941 г. На перроне появился человек, кричавший: – «Горячие пирожки с кониной!» Кому горячие пирожки?» Я тут же купил десяток и отнес их Анне Андреевне, чтобы хоть немного согреть и подкрепить ее. В это время мимо пробегает знакомый ленинградец химик Яша Сыркин.

– Яша, как ты здесь оказался? – спрашиваю его.

– Уезжаю вместе с писателями в Ташкент, не могу жить в холодной Казани! – отвечает он.

Рассказываю ему об Анне Андреевне, прошу чем-либо ей помочь. Конечно, – отвечает Яша, – я помощник коменданта поезда, мы с ним одни в пустом вагоне!

Мы посадили Анну Андреевну в уже знакомый жарко натопленный вагон и тепло попрощались с ней.

О Назыме Хикмете

Я был дружен с Назымом Хикметом. Нас объединяла любовь к поэзии и классическому кинематографу. Однажды, я высказал удивление по поводу того, что Хикмет хорошо знает кино 1950 годов, т. е. того времени, когда он сидел в турецкой тюрьме за свои коммунистические убеждения. Но, Хикмет рассказал, что тюрьма эта не была похожа на нашу. Сидел он там с понедельника по пятницу, а на субботу и воскресенье его отпускали домой. Потому-то Хикмет и успел посмотреть все эти кинофильмы.

Однако друзьям по партии его пребывание в тюрьме не понравилось, и они устроили ему побег. На небольшой парусной лодке он должен был переплыть Черное море и

достигнуть берегов Советского Союза. Побег удался, но море штормило и лодку несколько дней носило по волнам. Провиант и пресная вода закончились, беглец совсем обессилен.

По счастью, рядом проходил советский теплоход. Хикмет закричал из лодки: – «Спасите, я Назым Хикмет, я Назым Хикмет!». Крик был услышан, теплоход застопорил ход, но на помощь никто не спешил. Так прошло часа три или четыре. Теплоход лежал в дрейфе. По-видимому, капитан связывался с Москвой. Наконец, загремели цепи, от теплохода отвалила шлюпка, и матросы втащили обессиленного Хикмета на палубу. Первое, что бросилось ему в глаза, растянутое через всю палубу красное кумачовое полотнище, на котором красовался слова: – «Свободу Назыму Хикмету!».

О Л.Д. Ландау

Лев Давидович Ландау, которого я звал просто Дау, был высокого роста, худощав, даже костляв. Он был равнодушен к прекрасному полу, и я подшучивал над ним: «Дау, я не могу понять, почему дамы любят играть с тобой в кости?»

В 1937 г. он был арестован по нелепому обвинению о принадлежности к террористической организации и просидел год в тюрьме. Заключённые любили его: даже голодая, он отдавал им свою порцию манной каши, которую терпеть не мог с детства. Спас его П.Л. Капица, заявивший, что участие Ландау критически важно для решения проблемы промышленного производства жидкого кислорода. Капица не стал доказывать невиновность Ландау, но настоял на его освобождении. После этого Ландау оказался на свободе, но ещё долго время работал под надзором.

В 1944 г., проводя исследования космических лучей на Арагаце, мы обратили внимание на то, что ионизация, производимая быстрыми космическими частицами в газе нашего пропорционального счётчика, не одинакова и заметно флуктуирует. Я попросил Дау рассчитать ожидаемую ионизацию. Он довольно быстро вывел нужные формулы и показал, что распределение ионизации должно

подчиняться универсальному закону, позже получившему название распределения Ландау. Вскоре он опубликовал эти результаты в «Journal of Physics» не сославшись на то, что проблема была поставлена мною. Несколько обидевшись на Дау, при встрече я прямо спросил его об этом. «Какое это имеет значение», ответил он, и с этими словами достал оттиск статьи и написал на нём: «Дорогому Артюше с трогательной надписью!»

В Москве мы жили с ним по соседству. Однажды он позвонил мне по телефону и попросил:

– Артюша, я очень тороплюсь, опаздываю на свидание! Прошу тебя срочно взять такси на стоянке против твоего дома и подъехать ко мне!

Я тотчас исполнил его просьбу. И вот, из дома выбегает Дау в парадном костюме небесно-голубого цвета, прикрепляя на ходу к лацкану пиджака золотую звезду Героя Социалистического труда. Удивлённый, я спросил его:

– Дау, зачем тебе эта звезда, ты же никогда её не носишь?

– Так быстрее, – ответил он и махнул рукой.

Об А.И. Алиханове

Мы договорились с Абрамом Исааковичем, что если одному из нас придется участвовать в закрытых работах, другой должен заниматься только открытыми. Так и случилось. Ему пришлось иметь дело с ядерными реакторами, а мне – с космическими лучами. В наших совместных работах я всегда говорил – ЧТО делать, а он – КАК делать.

О Гленне Сиборге

Когда я впервые посетил США, наша делегация встретила с Председателем Комиссии по атомной энергии Гленном Сиборгом. Разговор с ним протекал очень официально. Мы никак не могли найти общий язык. Тогда я спросил его:

– Вы, по-видимому, имели дело с изучением радиоактивности?

– Да, – ответил Сиборг, – а как Вы об этом догадались?

– Очень просто. У Вас ногти на большом и указательном пальцах правой руки желтого цвета, как и у меня!» И я показал свои ногти, пожелтевшие от частого соприкосновения с препаратами радия во время работы в Физтехе. Сиборг рассмеялся. После этого мы общались с ним как добрые знакомые.

Об академике Иосифе Орбели

В 1958 г. в Ленинграде хоронили замечательного физиолога академика Леона Абгаровича Орбели. На похоронах присутствовал его брат тоже академик, всемирно известный востоковед Иосиф Абгарович Орбели. Гражданскую панихиду вел какой-то чиновник высокого ранга, плохо знавший обоих Орбели. Открывая ее, он неожиданно для всех произнес: – «Сегодня мы провожаем в последний путь нашего дорогого и незабвенного академика Иосифа Абгаровича Орбели». Среди присутствовавших возникло легкое замешательство. Тогда Иосиф Абгарович вышел вперед, повернулся к ним лицом, прижал руку к сердцу и поклонился...

О маршале С.М. Буденном

Как-то отдыхая в Сочинском санатории, я встретил там маршала С.М. Буденного и несколько раз гулял с ним по парку. Во время прогулки он постоянно доказывал мне, что в будущей большой войне основную роль будет играть кавалерия.

Об «агентах» КГБ

На одной из Ереванских школ произошла следующая курьезная история. Американский физик Андре Сесслер уверял профессора Льва Окуня из ИТЭФ, что среди слушателей школы находятся агенты КГБ.

– Где Вы их видели? – горячился Окунь.

– Сейчас я Вам покажу», – ответил Сесслер и поманил рукой оказавшегося поблизости молодого сотрудника нашей лаборатории Ю. выпускника МИФИ.

– Скажите, – спросил Сесслер, – из какого Вы института?

– Из ФИАН», – отвечал Ю., что было чистой правдой.

– А не могли ли бы Вы назвать каких-либо известных ученых, работающих в ФИАН?»

Сделать это Ю. почему-то не смог.

– Вот видите, – засмеялся Сесслер, – а что я Вам говорил?! Он дружески похлопал Окуня по плечу и вышел.

– Вы, в самом деле, не знаете Тамма, Черенкова, Басова, Прохорова? – спросил Окунь у Ю.

– Я забыл, – сконфузился тот.

Однако вскоре Ю. действительно ушел работать в КГБ. Может быть, Сесслер оказался проницательнее нас?

О Зангезуре



Зангезур – замечательный уголок Армении, настоящий рай для туристов. Если пустить их туда, можно заработать миллионы долларов. Но этого никогда не случится, и вот почему: там нет ни одного WC!

1999



Эдуард Бормашенко

К вопросу о...

בס"ד



Вопрос и просьба – родственники, и не только в русском языке, в английском question и request тоже расположились по близости, а в иврите הלאו попросту означает одновременно и вопрос и просьбу. Что общего между вопросом и просьбой? И честно спрашивающему и просящему неизвестен результат. На вопрос можно и не получить ответа, просящему – могут и отказать. И вопрос и просьба согласно Аристотелю «не есть высказывающая речь» (воистину, как говорил Мераб Мамардашвили, чем ни займись, – упрешься в железную задницу Аристотеля, то есть ты над чем-то бьешься, а до тебя уже обо всем подумали). Вот как у Аристотеля «...не всякая речь есть высказывающая речь, а лишь та, в которой содержится истинность или ложность чего-либо; мольба, например, есть речь, но она не истинна и не ложна» (Об Истолковании, 4).

Итак, вопрос сам по себе не истинен и не ложен, а со времен Аристотеля человеческое знание озабочено именно истиной и ложью. Вся наука занята различением между истиной и ложью. Средством этого различения служит логика, успехи, которой оказались столь велики, что Бертран Рассел полагал возможным сведение *всякого* человеческого знания к логике. Программа Рассела оказалось нереализуемой, но, так или иначе, высказывающей речи повезло больше чем вопрошающей, в ученых книгах много утверждений, и куда как меньше вопросов. И это несправедливо.

Логика, обращающая внимание только на ответы и пренебрегающая вопросами, – ложная логика
Р.Дж. Коллингвуд, «Автобиография»

Для того чтобы вернуть вопросу его поприданое достоинство, я приведу отрывок из изумительной, но, к сожалению, мало известной современному читателю «Автобиографии» английского историка Р.Дж. Коллингвуда.

Год или два спустя после начала войны я оказался в Лондоне... Каждый день я проходил через Кенсингтон-парк мимо мемориала Альберта. Постепенно этот памятник завладевал моими мыслями... Все в нем на первый взгляд было бесформенным, извращенным, змееподобным, отвратительным... я заставлял себя смотреть, и всякий раз задавал себе один и тот же вопрос. Если эта вещь так очевидно, так бесспорно, так неопровержимо плоха, то почему Скотт создал ее? Сказать, что Скотт был плохим архитектором, значило бы отделаться простой тавтологией; заявить, что о вкусах не спорят, тоже означало бы уход от решения проблемы... Какая связь существовала, начинал я спрашивать себя, между тем, что он сделал, и тем, что он собирался сделать? Пытался ли он создать прекрасную вещь или точнее вещь, которую мы должны были бы считать прекрасной? <...> Если мне этот памятник кажется просто безобразным то, возможно, это только моя вина? Не ищу ли я в нем тех качеств, которых он лишен, не вижу ли презирая те, которые ему действительно присущи?

Размышления привели Коллингвуда, к выводу, противоречащему всей философской традиции, простирающейся от Аристотеля до Рассела, и принимающей во внимание только высказывающую речь. Для Коллингвуда значимы только связки «вопрос-ответ», а именно: «если вы не можете сказать, что означает данное предложение, не зная вопроса, на который оно должно служить ответом, то вы неправильно поймете его смысл». Речь идет не о тривиальности, состоящей в том, что вопрос в мышлении предшествует ответу, нет, ход рассуждений Коллингвуда

иной: ответ, вне связи с вопросом, на который он отвечает, ни верен сам по себе, и ни неверен, он – бессмысленен.

Осознаем революционность мысли Коллингвуда: человеческое познание – не набор логически безукоризненных утверждений (что, греха таить, именно так представляют знание учебники), а процесс типа: «вызов (вопрос) – ответ». И место вопроса в этой связке – отнюдь не подчиненное.

Ну, хорошо, Коллингвуд – историк, а гуманитариям позволительны вольности, недопустимые в приличном обществе ученых-естественников. В точных науках уж наверняка царствует высказывающая, повествовательная речь. Напомню, что Рассел пытался все человеческое знание свести к логике. Среди текстов, которые я рекомендовал бы каждому, кто выбрал своей специальностью физику, химию или биологию, – небольшая статья Эрвина Шредингера «Обусловлено ли естествознание окружающей средой?» Самое заглавие статьи поражает воображение. А чем же еще обусловлено естествознание, если не окружающей средой? Но вот, что пишет Шредингер: *нередко, когда коллега докладывает о своих работах, закрадывается тихая неуважительная мысль: нет, почему они интересуются этим? В этом сказывается не ограниченность; подобные мысли являются лишь ясным свидетельством того, что совершенно особая установка интересов, призвана отобрать из многих вопросов, которые можно ставить природе, наиболее значительные и важные. И если непосвященный коллега достаточно дружелюбно к нам настроен и встречает нас вопросом: «скажите, дорогой, коллега, почему собственно вас это интересует, мне оно так безразлично...» – и если мы потратим усилие, добросовестно отвечая и выявляя взаимозависимости для защиты нашего интереса, то мы ясно поймем благодаря резко усилившемуся участию ума, что лишь теперь мы заговорили о глубоко спрятанном в сердце...*

Естествознание в первую очередь определяется вопросами, которые мы задаем природе. Примерно

последние триста лет настоящие ученые озабочены одним вопросом: можно ли сформулировать законы природы так, чтобы они стали проявлением некоего единого принципа? Как выглядит тот единый кирпичик мироздания, из которого построено ВСЕ? В чем фундаментальное единство природы? Фанатом идеи единства мироздания был Эйнштейн, не желая мириться с дуализмом полей и частиц, присущим современной физике. Эйнштейн ясно осознавал и религиозный характер этой веры. А почему, собственно, природа должна быть едина? И кому она это должна? А. Воронель, как-то заметил, что для практических целей, нет никакой необходимости в великом объединении физики. Можно, прекрасно обойтись функционирующими по отдельности, работоспособными механикой, электричеством, оптикой. Но именно постановка вопроса о фундаментальном единстве природы, привела к поразительному расцвету естествознания, а не вопросы, задаваемые инженерами.

Все начинается с вопроса. Вот Моше видит горящий куст. Какое дело беглому египетскому принцу до горящих кустов? Но Моше сворачивает с дороги, узнать: «отчего не сгорает этот куст?» (Шмот, 3, 3). Встреча с Богом начинается с вопроса, задаваемого Моше *себе*. Всевышний отвечает Моше, но отвечают только тем, кто спрашивает. Еврейского ребенка первым делом научают спрашивать. Весь Пасхальный Седер, центральная религиозная церемония года, строится вокруг вопроса, задаваемого детьми: «чем отличается *эта* ночь от других ночей?» Главенство вопрошания закреплено в Галахе: если у человека нет детей, ему надлежит спросить свою жену, а если не дай Бог, ты проводишь Седер в одиночестве, ты должен спросить *сам себя* (быть может, этот вид вопрошания – самый трудный и самый необходимый). Из года в год мы встречаем в Пасхальной Агаде четырех сыновей: мудреца, наивного, злодея и того, кто не умеет спросить. По мнению Рава Штейнзальца худший из них – отнюдь не злодей, но тот, кто не спрашивает. Ему не

интересно. Раздраженный вопрос лучше тупой немоты скучающего.

В средневековых ешивах был принят такой метод изучения Талмуда: ученику по ответу, записанному в Талмуде, предстояло восстановить вопрос, интересовавший мудрецов. Неплохо было все современное обучение, оснастить подобной методикой, развернув его от ответов к вопросам.

Неверно думать, что вопросы представляют собою рамку, в которую помещена картина позитивного знания, излагаемого повествовательно. Эта картина может быть извлечена из рамы только вместе с мясом.

Отвечай глупому по глупости его...
Притчи, 26, 5.

Вопрос всегда индивидуален. Он хранит в себе неповторимую интонацию спрашивающего. И ответ зависит от этой интонации, в которой свернута масса информации. Каждому изучающему Талмуд известно значение вопросительной интонации. Еврея, даже в глаза не видевшего Талмуда, безошибочно узнают в разговоре по этой недоуменной интонации, устойчиво и загадочно передающейся из поколения в поколение.

Важно *кто* и *как* спрашивает.

Виталий Лазаревич Гинзбург, выдающийся российский физик и недавний Нобелевский лауреат, всерьез озабочен усилением позиций религии в современной России и с большой страстью опровергает в печати то, что он считает вредными религиозными мифами. При нашей недавней встрече в Москве он серьезно спросил: «Верите ли Вы в Бога?». Я не сразу ответил, и он с полемическим азартом интерпретировал это как следование интеллектуальной моде заигрывания с религией.

Если бы такой вопрос задал мне Э. Бормашенко, мой ответ был бы безусловно положительным, потому что я приблизительно знаю, что он под этим вопросом понимает. Но Гинзбургу, воспитаннику ранней советской традиции, я вероятно, должен был бы ответить отрицательно,

потому что в понятие бога он вкладывал сугубо церковные модели организации человеческого опыта. То есть два человека, задающие один и тот же вопрос, спрашивают, в сущности, о разном. Бог Эдуарда Бормашенко – слово энергетически очень значимое, и потому в своем значении размытое. Для В.Л. Гинзбурга бог – слово, точно определенное в своем значении (например, церковным преданием или «Энциклопедическим словарем») и потому эмоционально почти пустое (А. Воронель, «Качающийся мост»).

Наука, добываясь однозначного смысла употребляемых ее слов, и однозначного же смысла своих утверждений, делает эти утверждения все более *безличными* и потому все более *неинтересными*. Уже упоминавшийся Рассел полагал все мучительные проблемы мышления – болезнями языка, и предпринял героическую попытку изложить всю математику при помощи искусственного символического языка, в котором, как полагал Рассел, все символы могут быть истолкованы однозначно. Вселенский замах подобной попытки вызывает уважение, но человеческое знание, изложенное подобным образом – бессмысленно, ибо не оставляет места для вопросов.

Расселовский проект сведения мышления к логике оказался к тому же и ненужным. Логические цепи любой длины сегодня с легкостью переключаются на плечи компьютера. Компьютер умеет почти все и обыгрывает в шахматы Каспарова, вот чего он пока не умеет, так это задать небанальный вопрос. Вопрос, с которого начнется новое понимание.

– Что вы сидите в темноте, хотела бы я знать?

Хаймл улыбнулся:

– Мы ждем ответа.

И.-Б. Зингер, «Шоша»

«Мы говорим ребенку: ты задал хороший вопрос. А что такое хороший вопрос? Хороший вопрос нацелен на тонкую грань между тривиальным и непонятным. Эта грань индивидуальна и подвижна» (В. Турчин, «Феномен Науки»). Обратите внимание на то, с какой скоростью усвоенное

знание начинается казаться тривиальным. Дурацкий вопрос напротив нацелен или на пережеванное, истоптанное, дотла понятое или на полностью непроницаемое.

И еще: вопрос всегда больше самого полного ответа. И чем существеннее вопрос, тем меньше шансов ответить на него исчерпывающим образом. Имеет ли Вселенная цель? Для чего мы приходим в этот мир? Что нас ждет после смерти? Существует ли фундаментальный кирпичик мироздания? Что есть пространство и время? Человечество извело леса на бумагу, содержащую ответы на эти вопросы, притом ответы взаимоисключающие, а самим вопросам хоть бы хны, они по-прежнему нависают над разумом. Сегодня принято отмахиваться от этих вопросов, говоря: они ненаучны. Но настоящий вопрос – самоценен, ему все равно научен он или нет.

Большие, настоящие мудрецы, как правило, не давали ответов на вопросы, но ставили их по-новому, и тем самым задавали вызов познающему разуму. Поглядим, как это делал великий мастер вопрошания Кант. В «Критике практического разума», разбирая основы морали, Кант производит поразительное смещение вопроса: «мораль, собственно говоря, есть не учение о том, как мы должны *сделать* себя счастливыми, а том, как мы должны стать *достойными* счастья» (курсив Канта). Ответ, предложенный Кантом, может нам сегодня показаться неубедительным, но постановка вопроса, переключаящая проблему счастья с прав на обязанности человека, сверхактуальна. Честно спрашивающий всегда готов к поражению, он может не получить ответа, в поиске ли, ожидании ли которого может пройти жизнь. Но это наше, человеческое дело – спрашивать.

Все люди от природы стремятся к знанию.

<...> все начинают с удивления...

Аристотель, Метафизика

Всякое знание начинается с вопроса. Вопросу же предшествует удивление. Замечательный лектор, Я.Е. Гегузин, так обращался к студентам: «я приглашаю вас удивиться». И мне это приглашение запомнилось куда

больше чем непосредственное содержание лекций. В слове удивление спряталось диво, чудо. Любопытно, что в соответствующем ивритском глаголе להפליא тоже поселилось чудо – פלא . Удивляется и спрашивает тот, кто в состоянии увидеть чудо. И самое большое чудо – сама наша способность удивляться. Образование прилагает немалые усилия, чтобы из человека выбить эту способность, но вся надежда на тех, кто спрашивает.



Симон Шноль

**Л.А. Блюменфельд
Биофизика и Поэзия**

**К 50-летию кафедры Биофизики
Физического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова**

(продолжение. Начало в №4/2011)
ЭПР-спектрометр

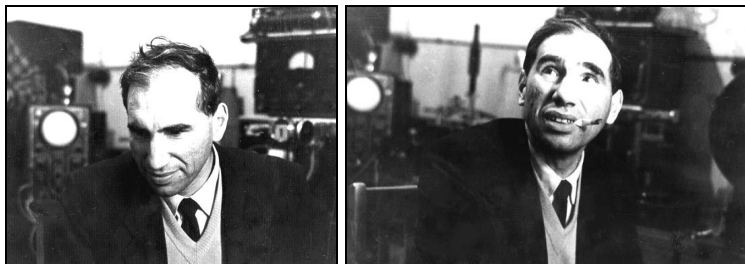


а 5 лет – с 1955 по 1961 г.г. они с Л.А. опубликовали в соавторстве 12 статей.

По Москве пошел слух: Л.А. Блюменфельд на кафедре Нервных болезней ЦИУ сделал уникальный прибор – спектрометр ЭПР и видит посредством этого прибора поразительные, ранее лишь предполагаемые вещи! Великие люди Н.Н. Семенов, И.Е. Тамм, П.Л. Капица. Я.К. Сыркин, А.И. Шальников обсуждали открывающиеся перспективы и просили Л.А. рассказывать подробности.

Известие о большом, имеющем приоритетный характер, научном событии в советской науке дошло до Отдела Науки ЦК КПСС. В Боткинскую больницу приехал представитель этого отдела – А.Н. Черкашин, со свитой менее значительных товарищей. Они были настроены подчеркнуто доброжелательно. Все столпились перед экраном осциллографа, и Л.А. рассказывал им о природе наблюдаемых эффектов. Л.А. сказал, что если он сейчас опустит этот капилляр (с дифенилпикрилгидразилом) в это отверстие резонатора, то на экране появится ЭПР-спектр вещества в виде совокупности пяти полос – экстремумов. А.Н. Черкашин был взволнован. Он спросил: «Вы, в самом

деле, можете это предвидеть?» «Да!», сказал Л.А. и опустил капилляр в резонатор. На экране появился спектр, такой же, как нарисованный мелом на доске при объяснении ожидаемых эффектов. Присутствующие были взволнованы. «Товарищи – сказал А.Н. – мы присутствуем при знаменательном событии – мы видим, что это истинная наука, поскольку она обладает свойством предвиденья...».



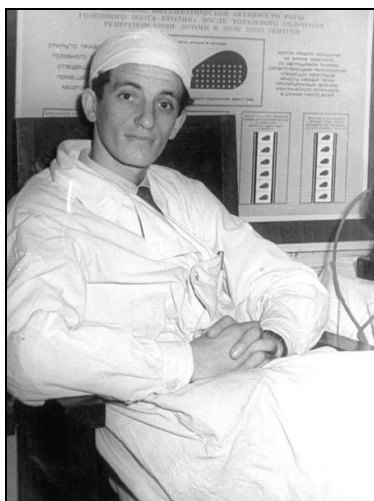
1955 год. 4-й корпус Боткинской больницы.

(Под этими фотографиями была подпись Саши Калмансона: «Если фактов нет пока, взять их можно с потолка...»)

В Москве, рядом с Уголовным розыском – Петровка 38, в Колобовском переулке есть небольшая, прекрасная церковь. В ней тогда (кошунственно) размещалась лаборатория «Анизотропных структур» АН СССР при Институте Химической физики, созданная ярким человеком, архитектором и учёным Андреем Константиновичем Буровым. Там проводились эксперименты по изучению возможности лечения рака с помощью мощного ультразвука. В этой лаборатории были разработаны и созданы фокусирующие ультразвуковые преобразователи с рекордно высоким уровнем излучаемой мощности. А.К. Буров умер в 1957 г. Его уникальные медико-физические опыты были прекращены. Некоторое время директором этой лаборатории был сам Н.Н. Семенов. В 1959 году Н.Н. Семенов предложил Льву Александровичу возглавить, соответственно перестроив, эту лабораторию. Лабораторию назвали сначала «Физика биополимеров» а потом: «Лаборатория Неравновесных белковых структур».

Лисицы-биологи

Со времени нашего первого знакомства – доклада Л.А на заседании Московского Биохимического общества в 1950 году – мне очень хотелось услышать систематическое изложение основ квантовой механики применительно к возможным задачам химии и биохимии. За прошедшие годы мы многократно обсуждали разные, относящиеся сюда проблемы. Я, в качестве биохимика, был для Л.А. полезным собеседником. Он даже просил меня сделать для него обзоры принципиально важных разделов биохимии. (Потом, по его рекомендациям, я рассказывал о современной биохимии Я.К. Сыркину и С.З. Рогинскому)



...Я был тогда и.о. зав. кафедрой Медицинской радиологии...

Теперь, после успешного изготовления спектрометра ЭПР и возникновения общей благоприятной атмосферы, как-то все полегчало, и Л.А. согласился прочесть нам систематический курс лекций по физ. химии и квантовой механике. Нам – это я собрал группу биологов в 10-12 человек, в нее входили мы с М.Н., Игорь Корниенко, Саша Колмансон, Михаил Меркулов и еще несколько человек. Вечерами, поодиночке, таинственные люди шли по почти неосвещенным аллеям Боткинской больницы и собирались в

лекционной аудитории нашего (несуществующего ныне) корпуса кафедры Медицинской радиологии ЦИУ

Я в это время «исполнял обязанности» зав. кафедрой – проф. В.К.Модестов надолго уехал в Индию. Мы располагались тогда в отдельном одноэтажном корпусе № 26 в Боткинской больнице. Глубокая подвальная часть корпуса была оборудована под хранилище радиоактивных веществ и для работы с высокой радиоактивностью. Всюду были укреплены дозиметры, и действовала система звуковой и световой сигнализации на случай радиационной опасности. Наверху были обычные лаборатории, небольшая лекционная аудитория и кабинет заведующего. Из кабинета дверь вела прямо в аудиторию. Но эта дверь была из аудитории не видна – она была заслонена классной доской. Я это рассказываю потому, что во время лекций Л.А., в кабинете, в глубоком кожаном кресле, по своей инициативе, располагался наш сотрудник, отвечающий за секретность и безопасность. Он был обеспокоен странными вечерними собраниями, и, не видимый лектором и аудиторией, через открытую дверь, слушал, о чем идет речь. Слушать ему было трудно. Все было непонятно. Он быстро засыпал.

А Л.А. замечательно последовательно рассказывал о становлении квантовой механики. Когда он дошел до пси-функции Шредингера, наш секретный сотрудник не выдержал. После лекции он сказал мне (не без юмора): «Я думал, у тебя тут что-нибудь серьезное! А тут что-то о собаках – все пси и пси...». И больше слушать не стал.

А мы слушали с большим усердием. Мы далеко не все понимали с должной глубиной. Но лекции были очень полезны. И не только нам, но и лектору. Л.А. тщательно готовился к лекциям. Этот двухлетний курс потом составил основу его лекций на кафедре Биофизики Физического факультета МГУ.

Весной 1957 г. на последней лекции мы подарили лектору деревянную скульптуру «Журавль и лисица». Лисица умильно смотрит на журавля, который засунул свой длинный клюв в узкий, недоступный лисе кувшин. На скульптуре была укреплена бронзовая таблица с надписью:

«От лисиц-биологов в память о лекциях Льва Александровича. 1956-1957 г.г.»



«От лисиц-биологов в память о лекциях Льва Александровича.
1956-1957 г.г.»

Как я и предусмотрел, Л.А. обиделся. Он растеряно смотрел на меня. Но я сказал: «Здесь изображено, как журавль достает из узкого кувшина с недоступной нам наукой пищу и дает нам, лисицам...». Л.А. был тронут... Эта скульптура стояла все годы – 45 лет! – перед ним на его письменном столе. А после его смерти – стоит передо мной на моем письменном столе, подтверждая, что все это мне не показалось, а было на самом деле...

Кафедра Биофизики Физического факультета

Много сказано о разгроме нашей науки в результате сессии ВАСХНИЛ 1948 года и других, аналогичных «мероприятий». Подавление научной мысли угрожало существованию страны. Прошел XX съезд КПСС с докладом Хрущева. Наступила оттепель. Волновались студенты. Ректор МГУ И.Г. Петровский был остро озабочен состоянием биологии в стране и в МГУ. Он обсуждал эти

проблемы с И.Е. Таммом, Н.Н. Семеновым, П.Л. Капицей, А.А. Ляпуновым.

Они ясно понимали, что восстановление истинной биологии на Биологическом факультете университета в его тогдашнем состоянии невозможно. Сторонники Лысенко занимали все ключевые позиции. Студенты Физического факультета (Таня Шальникова, Виктор Липис, Валерий Иванов, Толя Ванин, Андрей Маленков, Георгий Гурский, Толя Жаботинский, Костя Турчин и др.) решили организовать изучение биологии у себя на факультете. Студенты сами подбирали себе лекторов, читали и обсуждали новые работы по биологии, пытались организовать систематические занятия. Лекторов они подбирали очень критично. Если лектор не нравился – они это не скрывали. Лекция Л.А. и он сам произвели на них сильное впечатление. Он, как и они, считал, что прогресс биологии зависит не только от прогресса в физике, но и от профессиональной подготовки исследователей, что именно профессиональные физики должны решать проблемы биологии. Это им нравилось... Студентов поддержали И.Г. Петровский и декан В.С. Фурсов. Так возникла идея кафедры Биофизики на Физическом факультете МГУ. Ректор предложил Л.А. Блюменфельду организовать новую специализацию и затем кафедру на Физическом факультете.

Л.А. сказал ректору, что в качестве лектора по биохимии должен быть приглашен С.Э. Шноль. Мне это было лестно... Однако, руководству Физического факультета, несмотря на оттепель, показалось, что сразу и Блюменфельда и Шноля на факультете будет слишком много... И мне сказали «кота в мешке мы покупать не можем» – почитайте лекции просто так, а там посмотрим. Меня это вполне устраивало. (Приказ о моем зачислении в штат факультета был 20 декабря 1960 года).

Мы обсуждали с Л.А. учебный план и состав будущей кафедры. У нас с М.Н. был многолетний дружеский и научный контакт с И.А. Корниенко. Он был склонен к глубокому анализу природы физиологических процессов, и в последующие годы оказался очень ценным сотрудником и преподавателем кафедры.

Я с большим трудом уговорил И.А. Корниенко перейти из Института Физиологии АМН СССР на работу на Физический факультет. В отличие от меня, он не вызвал опасений руководства факультета и 3 октября 1959 г был (одновременно с лаборантом Е.В. Денисенко), зачислен в сотрудники факультета. Курс лекций И.А. по физиологии был уникален. Он продолжал его около 10 лет. Но в условиях Физического факультета экспериментальные физиологические исследования были невозможны и И.А. ушел работать в Институт Возрастной Физиологии АПН. У Л.А. была мощная лаборатория в институте Химфизики и в МГУ он работал по совместительству.

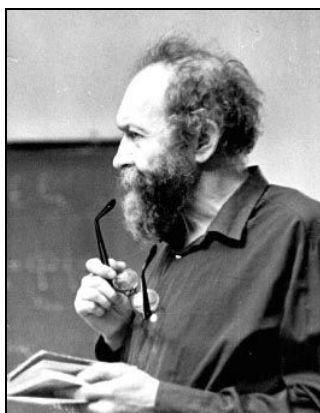


Самые первые сотрудники кафедры Игорь Андреевич Корниенко
и Елизавета Васильевна Денисенко
(Л.А. работал «по совместительству»)

Я не без сожаления оставил лабораторию на кафедре Медицинской радиологии ЦИУ. Там был большой простор для экспериментальной работы. В моем распоряжении была практически полная коллекция радиоактивных изотопов, производимых в Советском Союзе. Практически полный набор всех меченых радиоактивными изотопами веществ. Полное благорасположение руководства – зав. кафедрой Василия Корниловича Модестова, дирекции и Ученого

Совета института. Я был самым молодым доцентом ЦИУ... Но я стремился в Университет, на Физический факультет, в надежде на сотрудничество с Л.А., с мечтой оказаться в атмосфере высокого интеллекта и фундаментальных научных проблем. Мне пришлось почти на два года прекратить экспериментальные исследования и погрузиться в заботы, связанные с созданием новой кафедры.

Первые годы существования нашей кафедры совпали по времени с началом возрождения нашей науки после снятия идеологического пресса. Еще недавно шельмуемая, как империалистическое порождение, начала развиваться кибернетика. Во главе этого движения были А.А. Ляпунов и И.А. Полетаев.



Алексей Андреевич Ляпунов Игорь Андреевич Полетаев

Л.А увлекался проблемой связи теории информации и термодинамики, рассматривал эти проблемы на наших семинарах. Яркими явлениями были лекции и семинары М.М. Бонгардта по распознаванию образов и личность и работы М.Л. Цетлина по «конечным автоматам». Крайне своеобразным был биологический семинар, руководимый математиком И.М. Гельфандом. Высшая нервная деятельность, работа мозга были предметом увлекательных семинаров и лекций А.Р. Лурии. Но главным было возрождение исследований в генетике, цитологии, молекулярной биологии и теории биологической эволюции.

Тут у нас была уникальная возможность непосредственного общения с Н.В. Тимофеевым-Ресовским.

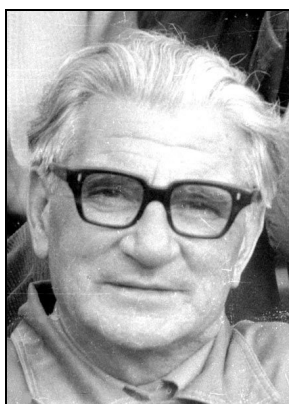
Л.А. читал фундаментальные курсы – «Квантовая химия и строение молекул». «Основы физической химии». Содержание курсов было очень широким. Л.А. рассматривал в них также проблемы термодинамики и квантовой механики, имеющие отношение к биофизике, рассказывал об истории ключевых открытий. Впоследствии чтение этих и других курсов было передано выпускникам кафедры, ставшим профессорами и доцентами: А.К. Кукушкину, В.А. Твердислову. Л.В. Яковенко. А.Н. Тихонову, Ф.И. Атауллаханову, В.И. Лобышеву, А.А. Бутылину, П.С. Иванову. Я продолжал многие годы лекционный курс «Общая биохимия». Из него выделились впоследствии отдельные курсы лекций «Молекулярная биология», «Иммунология», «Основы фармакологии». Отдельные курсы лекций были и есть в настоящее время по «Биофизике клетки», «Фотосинтезу», «Физиологии».



Наталья Алексеевна Ляпунова Маргарита Николаевна Виленкина

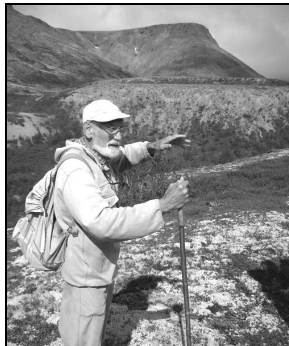
Это было замечательное время. Всё нужно было делать заново и впервые. Нужно было предоставить возможность студентам – физикам получить второе фундаментальное образование. Так, чтобы получение первого фундаментального образования – физики – не нарушалось. Так, чтобы огромный фактический материал

биологии не заслонил бы общие принципы и закономерности биологических явлений. Это было очень сложно.



Лариса Леонидовна Меньшенина Николай Андреевич Перцов

Были организованы курсы лекций – обзоров по основам биологии. В качестве преимущественной дисциплины для знакомства с принципами биологии была выбрана зоология беспозвоночных с бесценной месячной практикой на Беломорской биостанции МГУ (ББС) у Н.А. Перцова.



Владимир Николаевич Вехов Владимир Романович Филин

Дочь Алексея Андреевича Ляпунова – Наталья Алексеевна – только что кончившая «мичуринский» Биофак,

но получившая настоящее общебиологическое образование в «домашних условиях», вела занятия по зоологии и организовывала курсы лекций по другим разделам биологии.



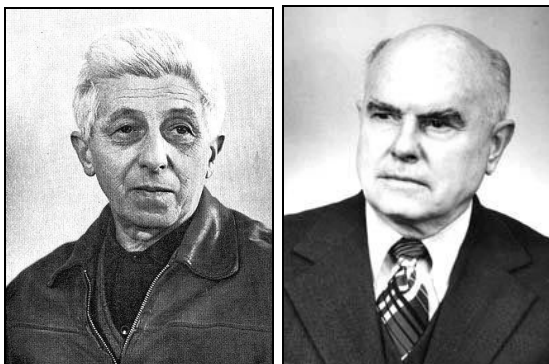
В.Р. Филин с группой студентов кафедры (выпуск № 49) на летней практике в Хибинах (август 2006 г)

Остро не хватало курса классической, «дрозофилиной» генетики. Его не было в то время ни в одном ВУЗе страны. Слова «ген», «хромосома», боясь обвинений в политической неблагонадежности, произносить все еще опасались. Но в это время, на Урале, в Миассово начал проводить свои «летние школы» Н.В. Тимофеев-Ресовский. Первыми на эти школы по собственной инициативе поехали студенты – инициаторы (Сойфер, Иванов, Маленков, Туманян). В 1961 – в Миассово на летнюю практику поехал уже 3-й курс. Л.А. Блюменфельд и Н.В.Тимофеев-Ресовский стали друзьями. Лекции Н.В. по теории эволюции, генетике, истории науки, основам радиобиологии стали существенной частью образования биофизиков-физиков.

Однако на факультете мы были чужими. Нам нужны были помещения, приборы, контакты.

Бесценную помощь в первые годы оказывал нам Александр Иосифович Шальников – заведующий кафедрой Низких температур – отец Тани Шальниковой. Мы

получили от него в подарок спектрофотометры, термостаты и самописцы.



Александр Иосифович Шальников, декан Василий Степанович Фурсов

Для облегчения «врастания» в Физический факультет к нам перешел с кафедры волновых процессов Г.Н. Берестовский. Его диссертация была посвящена кабельным свойствам нерва. Он был, в сущности, сложившимся биофизиком-физиком и у них с И.А. Корниенко очень быстро установился дружеский и научный контакт.



Генрих Николаевич Берестовский Сергей Николаевич Чернов

С той же целью к нам перевели трех аспирантов – И.Г. Харитonenкова – с кафедры, Э.Г. Рууге – с кафедры

ускорителей Ядерного Отделения и С.В. Тульского с кафедры радиотехники. Все они защитили кандидатские диссертации по новой для них, биофизической тематике под руководством Л.А. Прошло 50 лет. Профессор И.Г. Харитоненков работал (он умер 07.02.09.) на Биофаке. Профессор Э.К. Рууге – заведует лабораторией в Кардиологическом центре и все годы читает студентам нашей кафедры лекции по радиоспектроскопии. Доцент С.В. Тульский – «фундамент» кафедры, выполняющий множество обязанностей, связанных с ежедневными педагогическими и административными делами и читающий лекции и ведущий практикум по радиотехнике.



Э.К. Рууге, С.В. Тульский – 50 лет спустя...

Важная роль на кафедре в первые десятилетия была у Сергея Николаевича Чернова – механика, «мастера на все руки». Он, как и Л.А. ушел на фронт в 1941 году, и участвовал в тяжелейших боях в пехоте. Он рассказывал о «загранотрядах», созданных, чтобы не покидали бойцы передний край. Он рассказывал, как в боях в знойное лето 1943 года, из-за интенсивного обстрела на передний край, в окопы не доставляли воду. Ее выпивали в «загранотрядах». Была постоянная жажда. Засохшие, пропотевшие гимнастерки затвердевали – их можно было снять и поставить на землю – они сохраняли «фигуру». Он был очень тяжело ранен и демобилизован в 1943 году. Мы обязаны ему многими приспособлениями и приборами и стилем общения спокойного мудрого человека.

Завершением этого процесса кадрового укомплектования был приход к нам в 1961 году Галины Николаевны Зацепиной. До этого она занималась ядерной физикой. Об этих занятиях она ничего не рассказывала, но было известно, что ее работа была связана с опасностью облучения нейтронами.



Галина Николаевна Зацепина

Если облучение и было – оно не отразилось не ее облике красавицы. Она бесстрашно стала осваивать совсем новые для нее области знания. Это, несколько наивное, бесстрашие позволяло ей выдвигать оригинальные гипотезы для объяснения биофизических проблем. Эта оригинальность и смелость мысли ярко отразились в последующие годы в ее кандидатской и докторской диссертациях, посвященных свойствам воды и водных растворов.

В результате образовался разнообразный и бодрый коллектив. Потом, по мере окончания МГУ, в число сотрудников кафедры стали входить наши выпускники (2-й выпуск А.К. Кукушкин и Т.А. Преображенская, 4-й – В.А Твердислов; 6-й – В.И. Лобышев; 7-й – М.К. Солнцев; 9-й Ф.И. Атауллаханов; 12-й – А.Н. Тихонов и Л.В. Яковенко; 19-й – Г.Б. Хомутов; 26-й – А.А. Бутылин; 28-й –

П.С. Иванов; 30-й С.А. Яковенко; 38-й Е.Ю. Симоненко; 42-й А.А. Дементьев.

Н.С. Андреева, Н.Г. Есипова, рентгеновская кристаллография. Физика биополимеров. Вода. Коллаген. Журнал Биофизика

Было бы несправедливостью забыть, что еще за несколько лет до решения о создании специализации «Биофизика» на физическом факультете МГУ, **Наталья Сергеевна Андреева** неоднократно выступала с яркими рассказами на конференциях и семинарах о перспективах в изучении белков, открывающихся при исследовании их структуры методами рентгеновской кристаллографии. Она выступала от имени кафедры «Физики твердого тела», руководимых Г.С. Ждановым и В.И. Ивероновой. Н.С. приняла живое участие в комплектовании группы нашего будущего 2-го выпуска. Выпускница этой кафедры **Наталья Георгиевна Есипова** «приняла флаг» из рук Н.С. Андреевой, и с первых лет создания нашей кафедры создала и читает лекционный курс «Физика биополимеров».

Н.Г. принадлежат замечательные работы по структурам коллагенов и, особенно, по соответствию этих структур свойствам воды и разным температурным условиям, в которых функционируют эти белки. Ее эрудиция безгранична. Ее лекционный курс уникален.

Этому способствует ее, продолжающаяся многие десятилетия работа в качестве ответственного секретаря журнала Биофизика. Она знает все – ей по необходимости приходится читать все статьи, присылаемые в журнал. В этом качестве почти все эти годы она тесно сотрудничала с Л.А. Блюменфельдом.

Основателем журнала был **Глеб Михайлович Франк**. Им был определен особый стиль этого журнала, соответствующий его главному лозунгу: «Не гасите пламя!». Это, возможно, единственный академический журнал с таким лозунгом. Здесь особенно ценят статьи, содержащие новые экспериментальные данные, но могут опубликовать и гипотезы, посвященные трудным проблемам. Н.Г. и Л.А. вполне следовали этому лозунгу. После смерти Г.М. Франка

главным редактором много лет был **А.А. Красновский**. Он пытался сделать отбор публикуемых статей более строгим, полагая мерой достоинства журнала процент отклоняемых работ. Я был в те годы также членом этой редколлегии и получал большое удовольствие от того, как Л.А. и Н.Г. следовали лозунгу Г.М. Франка при сопротивлении А.А. Красновского.



Наталья Георгиевна Есипова (Фото В.А. Твердислова на «Блюменфельдовских чтениях» в ноябре 2008 (?) года)

Следует заметить, что острые дискуссии несколько не омрачали общую дружескую обстановку в редколлегии. Об этом отчасти можно судить по стихотворению, написанному Л.А. к юбилею А.А. Красновского.

А.А. Красновскому 26 августа 1983 г.

*Не в стиле оды иль элегии,
А просто от избытка чувств
От нашей сложной редколлегии
Я Вас приветствовать хочу*

*Вам «Биофизика» поручена,
И Вы, как смелый капитан,*

*Ее ведете по излучинам,
А мы – за Вами по пятам*

*Мы изменяем все названия,
Чтоб автор не вообразал,
И нет роскошнее издания,
Чем наш оранжевый журнал!*

*И рецензентов мы не спросим,
Что, рецензент умнее нас?
Статьи по профилю отбросим,
А Либермана, так анфас!*

*Покамест сроки сильно сдвинуты,
Но наша сбудется мечта,
Когда процент статей отринутых
Мы с Вами доведем до ста.*

*И если я не стану шизиком,
То эдак через десять лет,
Спрошу, что значит «Биофизика»?
И точный получу ответ.*

Прошло более 25-и лет. Точное определение понятия «Биофизика» еще не сформулировано... Редколлегию после А.А. Красновского возглавил **Е.Е. Фесенко**, а Л.А. остался в удобном для него качестве – зам. главного редактора. С Е.Е. у них не было разногласий и вместе с Н.Г. они еще много лет сохраняли «остров свободной научной прессы» в море научной информации.

**Эмоциональные впечатления необходимы для
восприятия научных истин.**

**Поэзия северных пейзажей – драматические истории
научных открытий – дружеское общение – как
необходимые компоненты формирования активных
исследователей**

Чтобы из первоначального физика образовался биофизик, очень важен эмоциональный настрой. Нужно, чтобы они хоть раз в жизни увидели (под микроскопом) как хищные инфузории <...> нападают на мирных тупелек, как

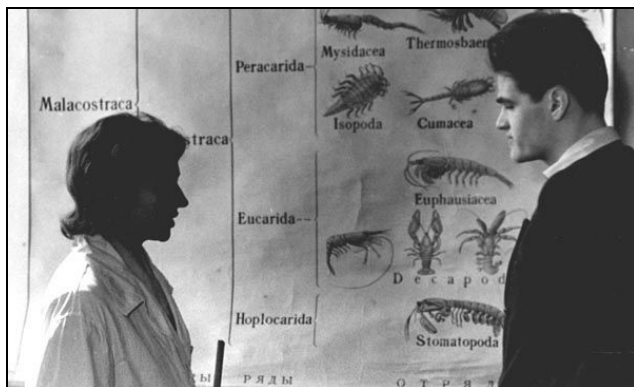
подобно вертолетам да еще с несколькими «винтами» плавают коловратки, как вспыхивают фиолетовым пламенем потревоженные гребневики. А двустворчатые моллюски мидии настраивают свои часы на ритм приливов и отливов, даже находясь в аквариуме. Нужно хоть раз в жизни пройти с В.Н. Веховым или В.Р. Филиным по нетронутой тайге среди зарослей спелой черники или по болотам, кочки которых желто-оранжевые от спелой морошки. И услышать рассказ, что Пушкин просил в последние минуты жизни дать ему морошки. И просто увидеть, как взволновался профессионал-ботаник при виде редчайшего папоротника. А еще на шлюпке, увлекаемой приливным течением, вытаскивать из воды треску или навагу. А вечером петь с друзьями лирическую песню: *Когда на старом корабле уходим вдаль мы, с родных берегов, в туманной мгле, нас провожают пальмы....* Или с должной энергией – пиратскую *Чернеют дыры в парусах, пропоротых ножом...* Это ведь все раз в жизни. Это поэзия.



1961 г. ББС. Практика будущего 4-го выпуска. Слева стоит А. Базыкин. За ним слева виден И. Харитоненков. Что-то показывает выразительным жестом В. Андрияхин. Перед ним Н.А. Ляпунова. За ней В. Стеблин, Справа на переднем плане И.А. Корниенко и Э.К. Рууге. За ними Г.Н. Зацепина
(Из архива А.А. Замятина)

Поэзия узнавания и впечатлений. Поразительно, что, следуя старому определителю, можно узнать, что это удивительное существо – голожаберный моллюск. А это

странное растение – росянка, которая питается мошками и комарами, заманивая их в листья, имеющие форму продолговатых ложек наполненных пищеварительными соками. И что на это знание отдали жизнь поколения наших предшественников. Последнее обстоятельство очень важно – молодой человек начинает свой путь в науке. Ему жизненно необходимо знать, как прошли аналогичный путь его предшественники. Как радовались озарениям и открытиям, как переживали неудачи и разочарования. Только это знание делает человека профессионалом и дает ему силы преодолеть предстоящие трудности. Для меня все это было стимулом рассказывать нашим студентам «сказки» – истории жизни великих людей. Эти истории потом соединялись с историями создания квантовой механики и теории относительности. Соединялись, формируя «гибридного» специалиста – биофизика. Ничто не может заменить такой «гибридизации», создающей на всю жизнь запас ассоциаций.

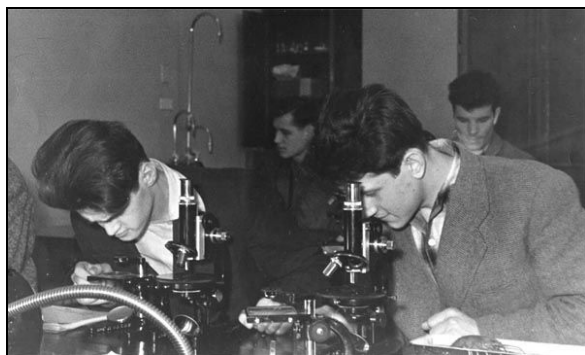


1962 г. Н.А. Ляпунова и А.А. Замятин. Говорят, эта таблица служит наглядным пособием до сих пор...
(Из архива А.А. Замятина)

Вот почему с самого начала создания кафедры было принято обязательным прохождением летней практики в естественной среде обитания. Лучшее место для этого уже упомянутая ББС. И соответственно наиболее подходящей

учебной дисциплиной оказывается зоология беспозвоночных.

Сам Л.А. также сначала не имел этих впечатлений. И я видел, как они на него действовали, когда летом 1962 года он сам приехал на ББС, познакомился с Н.А. Перцовым и посетил несколько занятий наших студентов с Н.А. Ляпуновой. И у него остались на всю жизнь впечатления от просторов тайги, почти незаходящего Солнца, поразительных красок Севера, криков чаек и пролетающих гагар, и от чрезвычайного разнообразия разных животных – губок, медуз, морских звезд, полихет, голожаберных моллюсков, гребневиков, баянусов. А тут еще приплывающие иногда тюлени, шумно дышащие белухи и весь строй жизни, определяемый приливами и отливами со всем понятными словами «низкая вода», «высокая вода»...



1961 г. А. Замятнин и Ю. Чайковский изображают усердное изучение зоологии беспозвоночных
(Из архива А.А. Замятнина)

Но кроме зоологии беспозвоночных на ББС и позже в Хибинах, студенты знакомились с наземными растениями. А в Москве, в крайне сжатые сроки они изучали (и изучают) целый спектр биологических дисциплин: генетику, цитологию, микробиологию, физиологию животных и растений, теорию эволюции. Это совсем особые курсы.

Они не похожи на одноименные курсы для биологов. Эти курсы нельзя перегружать материалом: главное –

сообщение о принципиальных основах, и создание убеждения, что все это очень интересно и в нужный момент все подробности можно будет узнать самостоятельно. Весь этот массив новых знаний «обрушивается» на студентов 3-го курса в весеннем семестре, сразу после выбора ими нашей специальности. И потому на летние практики после окончания этого семестра отправляются совсем другие люди – они уже прошли первую стадию метаморфоза и на поэтических практиках это превращение робких гусениц в прекрасных бабочек завершается (я не имел в виду каламбур...).



Август 1962 года. ББС МГУ. Незабываемые впечатления у наших студентов и у всех нас оставались от летней практики на ББС, от моря, тайги, почти незаходящего Солнца, личности Николая Андреевича Перцова и счастья общения друг с другом. Студенты разных выпусков: 1-го – А.М. Жаботинский, 2-го – Т.А. Преображенская, 3-го – М.В. Георгадзе, Е.А. Модянова, И.Л. Лисовская, А.Е. Букатина, 4-го – В.А. Твердислов, и 5-го: А. Клименко, В. Тимошенко, Г. Сырова, В. Михельсон, В.А. Вавилин, Г.Е. Добрецов, А.Н. Кузнецов, С.Г. Шароян, В. Маркин, В. Зенин. А еще А.Н. Заикин, А.Н. Тюрюканов, Л.А. Блюменфельд, Н.А. Ляпунова, И.А. Корниенко, С.Э. Шноль, сын Л.А. – Саша и его друг Леонид Маргулис...и еще...

Кроме Беломорской практики некоторым нашим курсам выпадала возможность поездки на Биостанцию в Ильменский заповедник, в Миассово, когда там был

Н.В. Тимофеев-Ресовский. Одному курсу Беломорская практика была заменена Звенигородской биостанцией. Студенты 2-го выпуска ездили на практику в Крым. Это также неплохо. Но ББС ни с чем не сравнить.

Однако эмоциональная окраска вообще свойственна юному возрасту и задача сотрудников кафедры создавать климат по возможности дружеского общения в ходе всех лекционных и семинарских курсов. Этому очень способствовали летние и зимние школы по молекулярной биологии и Пущинская практика в осеннем семестре 5-го курса.

(продолжение следует)



Вильям Баткин

Израненный поэт и политрук

или

Неоконченные споры



двадцатый век, кровавый и жестокий, помимо прочих трагизмов, разделил, словно казацкой острой шашкой, и нас, евреев, не только на большевиков и бундовцев, но и на Зеэва Жаботинского и Иосифа Трумпельдора – с одной стороны, и на Льва Троцкого, Якова Свердлова и Розу Землячку – с другой, да и многие семьи разорвал, разбросал безжалостно по планете.

8 мая 1919 года в молодой харьковской семье Слуцких – Абрама Наумовича и Александры Абрамовны – родился первенец Борис. В этом же году Хаим Наумович Слуцкий, старший брат Абрама, дядя поэта, уже репатриировался в Палестину, об этом – прямом и кровном – родстве в семье вслух не вспоминали.

А у Хаима родился сын Меир (впоследствии – генерал разведки Меир Амит), пошли его дети и внуки... Сегодня, после алии семидесятых–девяностых, точно подсчитано: на Земле Обетованной однокровников поэта Бориса Слуцкого – 120 человек. Двоюродных братьев и сестер, и племянников внучатых. Всю почтенную родню Слуцких – и сабр, и олим – ухитряется не растерять двоюродная сестра поэта, ныне живущая в Хайфе, энергичная и очаровательная Юлия Яковлевна Лейкина, моя харьковская сослуживица. В 1961 году именно она познакомила меня с Борисом.

Отечество и отчество

Когда раздутое почти до погромов «дело врачей» встревожило болото писательского антисемитизма (о его скандальных подробностях я намерен поведать ниже), Борис

Слуцкий, не мешкая, мгновенно, словно боксер, ответил точным ударом – мы, тогда молодые и дерзкие, читали его стихотворение взахлеб.

– По отчеству – учил Смирнов Василий, –
Их распознать возможно без усилий!

– Фамилии – сплошные псевдонимы,
а имена – ни охнуть, ни вздохнуть,
и только в отчествах одних хранимы
их подоплека, подлинность и суть.

Действительно: со Слуцкими князьями
делю фамилию, а Годунов –
мой тезка, и, ходите ходуном,
Бориса Слуцкого не уличить в изъяне.

Но отчество – Абрамович, Абрам –
отец, Абрам Наумович, бедняга.
Но он – отец, и отчества, однако,
я, как отчества, не выдам, не отдам.

Но, непритворно преданный тому Отечеству, прикрывавший его своей неширокой еврейской грудью, искалеченный в боях и высеченный критикой и партсобраниями, едва ли в самых страшных (а возможно, и радужных) снах Борис Абрамович Слуцкий мог представить, что его юбилей будут отмечать в Отечестве предков. Да и я, не обделенный знакомством с ним, многолетним и неровным, разве помышлял когда-то, что белые плотные листки бумаги, вбирающие мои размышления о поэте, будут освещены яркими лучами солнца, движущегося по дуге, от горизонта до горизонта, в нашем высоком и бездонно синем израильском небе.

Повинуясь музыке души

Литературная судьба поэтов, независимо от таланта, складывается по-разному: одни – юные, зеленые, дерзкие, не дав молоку на губах обсохнуть, уже выпускают в свет первые сборники, другие – тяжело, мучительно, до седых волос пробиваются к своим главным книгам, третьи – так и

уходят в мир иной, не напечатав, не издав своей одной-единственной строки, оставляя ворох черновиков, исписанных, исчерканных, которые едва ли обретут манящий и сладкий запах типографской краски. А что же Борис Слуцкий? Вырвавшись в сороковом году из родительских объятий украинского Харькова, живого, трудового, железобетонного, он в самый канун войны вместе с другими молодыми – Михаилом Лукониным и Павлом Коганом, Николаем Майоровым и Михаилом Кульчицким, Семеном Гудзенко и Давидом Самойловым – уже бушует на московских литературных вечерах, о нем упоминает «Литературная газета», но, вернувшись с войны, израненный и контуженный, неприкаянный и голодный, бездомный и безработный, захлебываясь от нахлынувших фронтовых стихов-воспоминаний, не скажу – долготерпеливо, порой отчаявшись, без малого 15 лет ждет первой публикации, первой книги.



Но та же «Литературная газета», по нескончаемым лабиринтам коридоров которой, сжав зубы и обламывая самолюбие, бродил, словно незамеченный, Борис Слуцкий, в одночасье сменив гнев на милость, публикует подборку его стихов – не по доброй воле, не пелена с глаз упала – поэта представил читателю Илья Эренбург. В том же номере газеты, тогда, в середине пятидесятых годов еще четырехполосной, в статье внушительных размеров и доброжелательной, продуманно запальчивой и

полемиической – Илья Григорьевич сравнил стихи Бориса Слуцкого с некрасовскими, превосходя его заметное и незаменимое, заслуженное и неоспоримое место в советской русской поэзии.

Сегодня, обращая взгляд в прошлое, забываемое и удаленное, можно по-разному относиться к этому, по выражению того же Бориса Слуцкого, «еврейскому печальнику, справедливцу и нетерпеливцу». В частности к его – с учетом того времени – резко отрицательному отношению к созданию еврейского государства на Земле Обетованной, к его утверждению: «решение еврейского вопроса – никакого еврейского вопроса». Но нельзя отказать Илье Эренбургу в прозорливом мировоззрении, в том числе в умении удачно выхватить из безвестия многие еврейские имена, талантливые и яркие.

Прошло почти полвека после публикации его статьи о Борисе Слуцком, но я помню – нет, не полемику – крик истощенный, порой переходящий в злобный вой: так на полосах той же «Литературной газеты» откликнулись именитые критики на непочтительные параллели между каким-то Борисом Абрамовичем и великим Николаем Алексеевичем, поэтом-гражданином, певцом мужицкой Руси. Но дело было сделано – Слуцкого начали печатать, теперь уже – всерьез и надолго.

Они на всю жизнь остались друзьями, слышал об этом от самого Бориса, и когда в 1967 году умер Илья Эренбург, Слуцкий, тяжело воспринимая уход старшего товарища, был в числе организаторов расшумевшихся на всю Москву похорон.

Мне бы лучше отойти в сторонку.
Не могу. Проворно и торопко
сучусь, мечусь
и его, уже посмертным светом,
я свечусь при этом,
может быть, в последний раз свечусь.

Нет, это не самоуничижение, к тому времени поэт уже светился своим светом...

Мы еще вернемся к роли еврейских имен в советской русской поэзии, но даже если судить только по фронтовому поколению, подчеркиваю и с удивлением, и с гордостью – перечень талантливых поэтов, рожденных еврейскими мамами, непропорционально высок, впрочем, как и Героев Советского Союза. Судите сами: Семен Гудзенко и Борис Слуцкий, Александр Межиров и Давид Самойлов, Константин Ваншенкин и Юрий Левитанский, Григорий Поженян и Виктор Урин – это, пользуясь армейским термином, только правофланговые, а сколько других, не дошедших до Победы, а если и выживших, то оставшихся неизвестными.

До сих пор не могу найти удовлетворяющего меня ответа на вопрос, заданный давным-давно самому себе: как же случилось, что «Мастера пера, не подмастерья, / властелины дум, а не вожди, – / мальчики из маленьких местечек, / из еврейских праведных местечек / в русскую поэзию вошли?»

Попытаюсь – на примере Бориса Слуцкого – осилить эту задачу.

...Рос еврейский мальчишка на харьковской близкой окраине, где трава зеленой, небеса голубей, в тени заводов, вставал затемно, как и весь район, по гудку, мальчишку до отрочества звали Бобом, он ненавидел это свое имя – имечко, мама Шура, как и все еврейские мамы, мечтала увидеть своего сына только пианистом, определила в музыкальную школу имени Бетховена (несколько лет назад, перед самым отъездом в Израиль, я проходил мимо и из высоких распахнутых окон школы упрямо и настойчиво звучали недоигранные поэтом гаммы). Боба несколько раз исключали за профнепригодность, но вмешивалась мама, хватала сына за шиворот, вновь отправляла учиться – на муки, а его угораздило – в поэты.

Так я мужал в музшколе той вечерней,
Одoleвал упорства рубежи,
Сопротивляясь музыке учебной
И повинуюсь музыке души.

Услышать музыку души своей – затаенную, не громкую, не бравурную, не утратить ее с годами, сердцем, словно радаром, уловить ее чистое и загадочное звучание, различить безошибочно пульс стиха, его надиктованный свыше ритм, не захлебнуться в потоке слов родного языка, отобрать единственные – так рождаются поэты, но это лишь одна составляющая, вторая – его судьба, доля, удел в круговороте времени: суметь устоять на ногах в доставшихся тебе координатах, без скулежа, без печалований нести свой жребий. Так мне представляются две составляющие, пользуясь математической терминологией, вектора Поэта, если он, Поэт, состоялся.

А Борис Слуцкий состоялся.

Как я ни доискивался, ни допытывался – отроческие, юношеские стихи поэта не сохранились, но воспоминания о харьковском предвоенном друге, хорошем поэте Михаиле Кульчицком, убитом па самом взлете судьбы, – в штыковом бою под Сталинградом, Борис пронес через всю свою жизнь, помог родным издать единственную книгу стихов, посвятил его памяти много своих стихов, в том числе «Декабрь 1941 года».

Та линия, которую мы гнули,
Дорога, по которой юность шла,
Была прямою от стиха до пули –
Кратчайшим расстоянием была.

<...>

Морозы лужи накрепко стеклят,
Трещат, искрятся, как в печи поленья:
Настали дни проверки исполненья,
Проверки исполненья наших клятв.

И когда в конце 1960-х, в нескончаемом горьком списке имен погибших, высеченных на мрачном мраморе мемориального комплекса в Волгограде, я не обнаружил свою фамилию, точнее – своего дяди Бориса Баткина, сержанта-пулеметчика (не похоронку, а последний фронтовой треугольник от него мы получили с волжских берегов), но натолкнулся случайно на имя «М. Кульчицкий» и помянул тогда и своего талантливомго земляка, поэта,

погибшего, как и миллионы других, повторюсь, на самом взлете судьбы.

**И в памяти, и в сердце не осталось,
кроме войны, ни звука, ни строки...**

В русской советской поэзии Борис Слуцкий останется поэтом фронтового поколения, но если Михаил Луконин и Семен Гудзенко свои обугленные строки, пропахшие порохом и кровью, писали в окопах, а стихотворение Константина Симонова «Жди меня», напечатанное в газете «Правда» в феврале 1942 года, сделало наутро имя его автора всемирно известным, что можно сравнить лишь со стихами «На смерть поэта» Михаила Лермонтова и «Бабьим Яром» Евгения Евтушенко, то фронтовая поэзия Бориса Слуцкого, пропитанные кровью и потом, но обращенные к прошлому строки, – боль неутихающая, честная исповедь участника войны уже из мирного времени.

В марте 1961 года, едва ли не при первой встрече, я спросил Бориса:

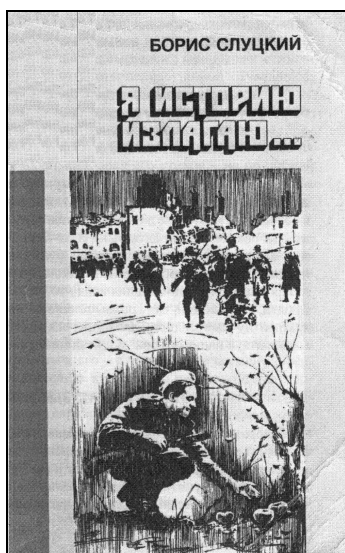
– Вы на фронте стихи писали? – И столкнулся с жестким взглядом поэта, недоуменным, раздраженным, словно затронул что-то недозволенное.

– А вы, Вильям, на шахте писали? – ответил вопросом на вопрос мой задумчивый, скупой на откровения собеседник, словно можно было сравнить мою в луганских угольных глубинах молодость с его – фронтовой.

Подхваченный страшным смерчем внезапной войны и волнами искреннего тогда патриотизма, Борис Слуцкий, не дождавшись повестки из военкомата, записывается в добровольцы и уже в июле сорок первого из покрытой «толстокожим брезентом» палатки под Серпуховым начинает свой путь – еврейского интеллигентного рыжего мальчика, молодого, 22-летнего – по фронтам Великой Отечественной войны.

Девятнадцатый год рожденья –
Двадцать два в сорок первом году –
Принимаю без возраженья,
Как планиду и как звезду.

Как он выжил – не плечистый, не мускулистый, но на поверку – не хлипкий, с выразительным библейским ликом – четыре года в пехоте, вначале отступая от Польши до Волги дорогой огня, затем, наступая от Волги до Польши – только Всевышнему известно. Он его и сберег, сегодня я так понимаю, затем, чтоб в новой должности – поэта – дать рассказать «современникам и потомкам»...



Вспоминаю и неуклонный расцвет стиха русского на войне Отечественной, и живой, всенародный, непритворный интерес к нему. Мальчишкой я часами выстаивал длинные и черные, колышущиеся и галдящие очереди – и за отрубным хлебом, зажав в кулаке скомканные продуктовые карточки, отнять их у меня могли только вместе с рукой, и за газетами свежими, непременно со стихами, – это в голодном сибирском тылу, а на фронте, в хляби окопной, рассказывают ветераны, газетные полосы со стихами Симонова, со статьями Эренбурга солдаты на махорочные самокрутки не изводили...

А в послевоенные годы по указкам Сталина и Жданова с корнем вырывали у того же народа мысль, что ему, поколению победителей, а не Верховному

Главнокомандующему, принадлежит право на Победу в Великой Отечественной: истинная правда о войне скупно дозировалась и процеживалась, вот отчего честные и суровые строки, в том числе и поэзия Бориса Слуцкого, его фронтовые баллады воспринимались и как надежда, и как откровение. И лишь спустя десятилетия загредело с телевизионной эстрады «Фронтовики, наденьте ордена» и «Этот праздник с сединою на висках», когда фронтовиков, словно защитников Брестской крепости, осталась горстка.

Лишь простое перечисление наименований военных стихов поэта, даже отдельных строчек, оставляет впечатление и точности, и сопричастности автора к увиденному и осмысленному: «Первый день войны», «Одиннадцатого июля», «На спину бросаюсь при бомбежке...», «И пока не стану горстью праха...», «Последнею усталостью устав, предсмертным равнодушием охвачен...», «Сбрасывая силу страха», «Роман Толстого в эти времена перечитала вся страна...», «Еще скребут по сердцу "мессера"...», «Ведро мертвецкой водки» и т. д., а два стихотворения – «Кельнская яма» («Не было семьдесят тысяч пленных...») и «Лошади в океане» («А все-таки мне жаль их – рыжих, не увидевших земли...») – вошли во все антологии фронтовой поэзии.

Не могу обойти молчанием, ибо было бы уже моей неправдой, одну, едва ли не стержневую тему в поэзии Бориса Слуцкого – речь веду о комиссарах, политруках, замполитах – скупыми, но точными мазками изображенных поэтом, отслужившим в самые тяжкие годы войны на этой проклятой и прóклятой по ответственности и опасности должности. Тогда – в сорок первом–сорок втором, чтобы остановить многоязыкую крестьянско-рабочую массу, бегущую от гусениц фашистских танков, на отступающую передовую были брошены комиссары, а среди них евреев – не счесть, вопреки антисемитским настроениям и слухам – храбрых и умных, грамотных и интеллигентных, но не празднословных.

И останавливали – первыми отрываясь от земли, первыми подставляя себя под немецкие пули, под разрывы снарядов, а передовую и прифронтовые зоны не только

бомбили, но и, словно листопадом, осыпали листовками типа «Бей жида-политрука, морда просит кирпича!» (вспомним стихотворение «Плохая рифма» Льва Вайншенкера, тоже иудея-политрука).

И в плену их, комиссаров-евреев, расстреливали первыми, и не оттого, что немцы были дотошными физиономистами, – выдавали свои, лишь накануне, перед боем, безропотно подчинявшиеся политруковскому слову.

Уже в предсмертной книге Бориса Слуцкого «Сроки» (1984), вобравшей стихи, написанные в разные годы, но не входившие в прежние сборники, я обнаружил строки:

...Охотники, рыбаки, бродяги,
Творческие командировщики с подвешенным языком,
А вы тянули ваши бодяги
Не перед залом – перед полком?
А вы играли в сорокаградусный
Мороз в пехоту, вжатую в лед,
И крик комиссара, нервный и радостный:
– За Родину!.. Вперед!

Многие строки из политруковской поэзии Бориса Слуцкого запомнились из его первых книг: «Не умел воевать, а умел я вставать, отрывать гимнастерку от глины...», «Я говорил от имени России, ее уполномочен правотой...», «Политработа – трудная работа...»

Опечаленно размышляю о будущих страницах романа «Война и мир» – его, уверен, напишет Лев Толстой третьего тысячелетия, – и не оттого, что мне его не прочесть, тут ничего не поделаешь, а оттого, что среди позитивных героев этого гипотетического повествования едва ли будут политруки, наши с вами однокровники, – отважные, несгибаемые...

В середине семидесятых, когда, по горестному признанию Бориса Слуцкого, «ухудшились мои дела и прямо вниз дорожка повела», после смерти жены Тани, в период беспросветной душевной депрессии, поэту повезло – к нему неожиданно пришел человек, прежде неведомый, – Юрий Леонардович Болдырев – саратовский филолог,

вдумчивый, добрейший и интеллигентнейший, большой знаток русской словесности, в том числе и творчества Бориса Слуцкого. Они подружились в ту пору, когда издерганный болями – и физическими, и душевными – поэт не желал даже с самыми близкими поддерживать отношения. Это было странно, но свершилось, и до последних дней Бориса Абрамовича и в течение нескольких лет после его смерти Юрий Леонардович не просто вернул из небытия доброе имя больного и приумолкшего поэта. Тщательно и заботливо, не проронив ни слова, он разобрал и перечел все доверчиво переданные ему рабочие тетради поэта, весь его архив, обнаружил огромное количество неопубликованного и подготовил, и издал не только новые книги поэта, но отдельные подборки новых (!) стихов в журнальной периодике.

Это был не просто заслуженный подарок судьбы для поэта, для многих друзей, приятелей, знакомых (в том числе и для меня), знавших о критическом состоянии Бориса, это была отрада нового соприкосновения с духовным миром писателя, который долгие годы – пятидесятые–семидесятые – был для нас и камертоном, и извечными неоконченными спорами, и рукой, скажу так, души наши поддерживающей.

Помянем добрым словом Юрия Леонардовича – к сожалению, в середине девяностых он, еще не старый человек, внезапно умер, но успел завершить свою главную задачу – собрать, упорядочить, издать и прокомментировать всего Бориса Слуцкого.

Именно Юрию Леонардовичу принадлежит мысль, что Борис Слуцкий сделал нечто, в русской поэзии до того небывалое: лирическим и балладным стихом он написал хронику жизни советского человека, правдивую и трагическую, более чем за полвека – с 20-х до 80-х годов двадцатого столетия.

И главная особенность поэтической летописи Бориса Слуцкого – она густо насыщена не только событиями историческими, масштабными: Отечественная война, послевоенное время и неширокая полоса оттепели, надежд после XX съезда, надвигающийся, словно черная туча, период брежневского застоя, – но и подробностями быта

нашей жизни, той духовной и материальной атмосферой, в которой жили и наши отцы, и деды, и мы – уже здесь, в Израиле, перебирая в памяти, ностальгически и незлобиво, реалии и частности.

Неосуществимо – и физически, и технически – перечислить все стихи, написанные Борисом Слуцким о том времени. Строки из одного, точно выразившего наши эйфорические, как оказалось, наивные надежды, приведу:

Десятилетия Двадцатого съезда,
ставшего личной моей судьбой,
праздную наедине с собой.

<...>

я утверждаю: все же ты был,
в самом конце зимы, у истока,
в самом начале весеннего срока.
Все же ты был.

Борису Слуцкому не довелось, но мы вновь пережили схожую эйфорию – в период начала горбачевской перестройки, и снова – тщетно, впустую, впрочем, я не прав, для нас, евреев, это обернулось Исходом.

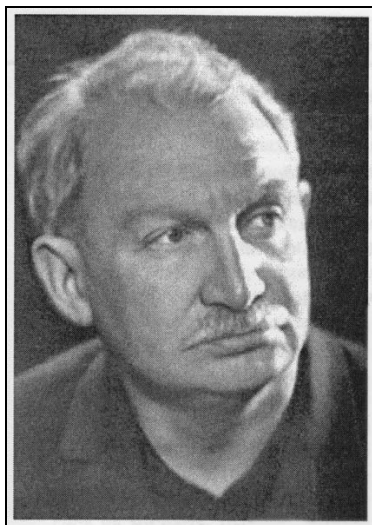
Прозреваю в себе еврея

Как правило, Борис Абрамович в разговоре со мной был лаконичен, раздражен извечно, но однажды вдруг разоткровенничался – то ли отпустила головная боль, тупая, всегдашняя (после контузии), то ли с утра удались хорошие строки:

– На фронте – по-другому: солдаты, русские крестьянские мальчики, которых я поднимал в атаку, знали, что их политрук – еврей, но что бы ни нашептывали антисемиты, они видели – я первым отрывал от промерзшей русской земли и подставлял под пули свое легкое еврейское тело, я впервые познакомил их с отечественной поэзией, не пил со старшинами «мертвецкую водку» – оставшуюся порцию погибших; там, на передовой, я был спокоен за свое человеческое и еврейское достоинство.

Борис встал со стула, сел, вновь поднялся, пятерней пригладил свои густые темные вихры (а в юности были рыжими), продолжил:

– Когда вернулся с войны – раненый, но живой, услышал этот истошный, извечный и злобный крик мещанства русского: «Евреи! Евреи!» Самое неизгладимое впечатление, страшнее, чем перепуг в окружении, – январь пятьдесят третьего. На фронте не болел, а тут – кашель, нутро выворачивает, мозги, и без того контуженные, сотрясает... Но вскакивал на рассвете, как на смену, – бегом к газетным киоскам, скупал – вчитывался, что же напророчат еще нации нашей...



И Борис Абрамович, словно в рукопашной, понятно, стихами – взбешенными, яростными, злыми – отбивался от антисемитского дьявольского воя: «Отечество и отчество» я уже упоминал, «Ваша нация», «Январь пятьдесят третьего», «Национальная особенность», «Еврейским хилым детям...», «А нам, евреям, повезло...», «Люблю антисемитов задарма...», «Про евреев», «Примазываются к России...» и много других – стихов, строчек – явных, нескрываемых или сокрытых, потаенных.

Не хочу – не имею на то права – никого упрекать, но еврейских звездных имен в русской советской поэзии щедро и достаточно: и Самуил Яковлевич, начинавший писать на иврите, и Михаил Аркадьевич, всегда подшофе, источающий остроумие – и в быту, и в стихах («И меня уже почетом, как селедку луком, окружают...»), и Илья Львович, и Лев Адольфович – поэты и педагоги отменные – все в стихах своих и ярких, и исповедальных, словно воды в рот набрали, молчали, и лишь Борис Абрамович не раз порывался в строках разгневанных выявить свою принадлежность к народу, инородному на земле русской, да и среди писательской братии распознавал юдофобов, хотя порой и ошибался.

Расскажу о таком эпизоде. В начале шестидесятых пришли мы с ним в редакцию журнала «Знамя» – на Тверском бульваре, от Литературного института поблизости. У входа – направо, застекленной перегородкой отгороженный – отдел поэзии. Разглядев Слуцкого, порывисто торопится навстречу молоденький заведующий отделом, блондин крутоплечий, в свитере крупной вязки – под горло, улыбчивый, умильный.

– Знакомьтесь, Вильям, – говорит Борис Слуцкий. – Это – Стас Куняев, хороший русский поэт, мой ученик...

Я еще несколько раз встречался с Куняевым, все разговоры его начинались и заканчивались: «Ах, Борис Абрамович – такой прекрасный поэт, мой учитель... Старик, передавай привет Борису Абрамовичу...»

А во второй половине восьмидесятых, только-только перестройка расшевелилась, в журнале «Наш современник» – огромная, погромная, программная статья Станислава Куняева – о засилье еврейских имен в русской советской поэзии, не намеки, не камушки в наш огород, а прямым, нахрапистым и непотребным текстом, с реестром фамилий – достойных, незабвенных, в том числе и Слуцкого.

Возвращение к своим корням, к своим истокам для каждого человека, рожденного еврейской мамой, – путь сложный, но обязательный, и Борис Слуцкий поведал о нем в стихах – внешне простых, но чеканных, глубоко философских:

Созреваю или старею –
Прозреваю в себе еврея.
Я-то думал, что я пробился,
Я-то думал, что я прорвался.
Не пробился я, а разбился,
Не прорвался я, а сорвался.
Я, шагнувший ногой одною
То ли в подданство,
То ли в гражданство,
Возвращаюсь в безродье родное,
Возвращаюсь из точки в пространство.

Мы не от старости умрем...

«Мы не от старости умрем, от старых ран умрем...», – горько и пророчески выкрикнул, словно выдохнул, в конце войны Семен Гудзенко, приговорив и себя, и своих поэтических однополчан, израненных и искалеченных, к преждевременной ранней смерти, как будто есть полный срок пребывания Человека на Земле, достаточный и благополучный. Это только лишь наши праотцы, благословенна их память, за свои несравнимые заслуги умирали в доброй седине, престарелые и насыщенные жизнью.

А Борис Слуцкий умер и от старых ран, и от старости надвигающейся, когда судьба в последние годы жизни потрясла такими жестокими подробностями, что поэт, не единожды глядевший на фронте в глаза смерти, вдруг дрогнул – и первыми состояние поэта выдали глаза. Мне рассказывал Константин Симонов, навещавший Слуцкого в больнице, – одной из лучших московских, куда он, всегда всесильный, и определил заболевшего Бориса: «Врачи ничего страшного, безысходного не находят, кроме старых ран и контузий, но их беспокоит депрессия, а меня более всего испугали глаза – столько в них боли, тоски, обреченности, непротivления...» Позже, в 1979-м, уже о симоновской предсмертной тоске в глазах напишет в некрологе Эдуардас Межелайтис.

Вспомнив Межелайтиса, не могу не упомянуть еще об одной стороне поэтического наследия Бориса Слуцкого – о многолетнем опыте работы Слуцкого-переводчика. Его

переводы, разбросанные по многочисленным изданиям, с украинского и польского, чешского и литовского, до сих пор не собраны в одной книге, но именно Борису Слуцкому принадлежит право первооткрывателя значительного советского литовского поэта Эдуардаса Межелайтиса, близкого Слуцкому и по мироощущению, и по поэтическим интонациям, и по крови еврейской.

Борис Слуцкий умирал долго, мучительно, жутко – от пометки под черновиком последнего стиха – 22.04.77 до намогильной даты – 23.02.86, вначале в московских больницах, затем в тульской квартире родного брата Ефима Абрамовича – полковника-артиллериста. Причины трагической развязки обговаривали – достаточно деликатно – и друзья поэта, и литературная критика, не буду пересуживать – покойный не одобрил бы, и хотя не люблю ссылаться на чужие мысли, приведу слова Льва Аннинского, знатока поэзии и аналитика глубокого, прозорливого, чуткого:

«...Борис Слуцкий смотрит в бездну с отчаянной решимостью... В яростном самосмирении Слуцкого перед законом, которому подчинено бытие, есть что-то от ветхозаветных пророков... Мысль о делах, что будут продолжены, о памяти, что останется, помогает скрутить себя Слуцкому-рационалисту, но личность поэта не может примириться с ощущением конца и финала – личность бьется на краю, сгорая от трезвой ясности, от горькой ясности сознания...»

...Ну что же, я в положенные сроки
Расчелся с жизнью за ее уроки...

А уроки были трагические... Пытаюсь не оправдать, понять Бориса Абрамовича – его выступление на писательском Пленуме, осудившем роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Разглядев глубокие противоречия в деяниях власть предержащих, Слуцкий всю жизнь надеялся – наивно, но искренне, как многие из нас, – на будущие светлые страницы в советской истории и не мог принять лютую антисоветскую ненависть романа, не равного таланту большого русского поэта Бориса

Пастернака, но в литературных кругах знали о его нелицеприятных отзывах о братьях по крови.

...Испытывая невысказанную вину перед погибшими в Катастрофе, Слуцкий при любой возможности посещал Освенцим, где однажды, обнаружив березку, – светлую, не кряжистую, написал:

...Березка у освенцимской стены!
Ты столько раз в мои вращала сны.
Случись, когда придется, надо мною...

Увы, пока не дано мне знать, есть ли сегодня березка на московском погосте – последнем пристанище Поэта.

Дань светлой памяти

Когда уже завершал эти свои размышления, фантастическая мысль вдруг вынырнула, оглушила меня именно своей предполагаемой реальностью: доживи Борис Абрамович до нынешних времен – ведь в майские дни 2007 года ему было бы всего семьдесят восемь! – и решишь он на репатриацию, в бен-гурионовском гудящем аэропорту его встретила бы и бесчисленная родня, и состарившиеся почитатели, и ваш покорный слуга. Всей своей жизнью и честной, своевольной поэзией Поэт заслужил право вернуться – из точки в пространство – в Отечество предков, чтобы продолжить неоконченные споры...

Скоро мне или не скоро
В мир отправиться иной –
Неоконченные споры
Не окончатся со мной.

Но, к сожалению, у человеческого удела нет сослагательного наклонения, и наши молвленные на Земле Обетованной добрые слова о Борисе Абрамовиче Слуцком – лишь малая дань его светлой памяти...



Сабирджан Курмаев

Vita brevis, ars longa

United States Has Secret Sonic Weapon, Jazz.

New York Times, November 6, 1955.

Je suis étonné que le jazz n'ait pas toujours existé. Rien n'est assez intense — à moins que ce ne soit du jazz.

Jean Cocteau

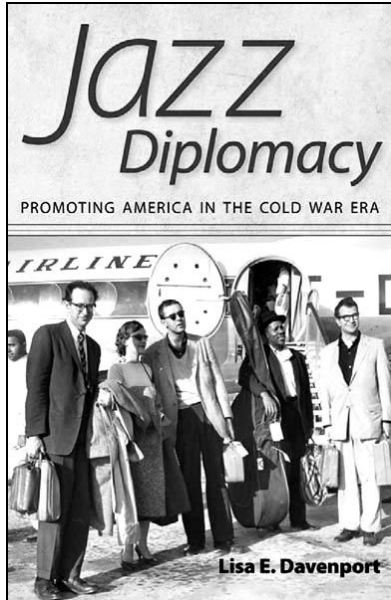
Music is the healing force of the universe.

Albert Ayler



Во времена Советов джаз был больше, чем музыка. Это был образ жизни. И эту жизнь строили по крохам. Когда в Риге возник джаз-клуб, я обратился к советскому «послу джаза» Владимиру Фейертагу с просьбой дать ответ на извечный русский вопрос: «Что делать?» Владимир Борисович ответил: «Собирать материалы». Но где их взять? Печатное слово о джазе было представлено двумя брошюрами: «Джаз-банд и современная музыка» издания 1926 года и «Джаз» Мысовского и Фейертага. Подписка на вырезки из газет на тему «джаз» дала небольшой, но курьезный урожай. Стало понятно, что надеяться на внутренние резервы не приходится. Материалы были за рубежом. Хотя музыка необязательно несла в себе языковой дискурс, но советская идеология, не колеблясь, лепила на музыку «оттуда» ярлыки «духовной нищеты» и «на службе реакции». Главным проводником музыкальных идей было радио. Ныне, в эпоху интернета принято спрашивать ссылку на всякое неоднозначное утверждение. В те времена происхождение осведомленности тоже имело значение, но иного рода. В любой дискуссии на джазовую тему всегда присутствовала своего рода эквилибристика – аргументы нужно было подбирать так, чтобы не

прослеживалось их происхождение. Я как-то не удержался на канате, когда подверг сомнению познания некоего джазоведа от комсомола. На его вопрос, с чего я взял, что у меня патент на джаз, я необдуманно похвалился тем, что слушал передачи Уиллиса Коновера.



Джазовая Дипломатия. На фото Квартет Дейва Брубeka в Ираке, 1958 г.

Джазовед прикинулся непонимающим: «А что это за передачи?» Я понял, что попался, но смело признался в слушании «Голос Америки». Джазовед во всеуслышание объявил, что империалисты умело ловят простачков, заманивая музыкой, после чего отравляют идеологической диверсией. Я неуверенно оборонялся: «Но это всего пятнадцать минут новостей и те на английском языке», но моя жалкая защита была тут же парирована: «Но ты же нам сказал, что знаешь английский!» Спустя годы пали Советы и осмелевший джазовед бесстрашно цитировал другого комсомольского вожака: «Джаз открыл для себя году в 1957-м. Эта ни на что не похожая музыка, уникальный голос У. Коновера пленили». Однако идеологи в какой-то мере

правильно понимали опасность. Советская действительность всегда была окрашена в какой-то оттенок серого цвета и все, что было покрасочнее, могло далеко увести от строительства коммунизма в отдельно взятой стране. В 2009 году вышла книга “Jazz Diplomacy” Лайзы Давенпорт, и вот, что она там написала о «Голосе Америки» и голосе Коновера: «... Уиллис Коновер, который приобрел известность как "самое важное лицо в международном джазе", защищал американизм джаза. Его радиопрограмма “Music USA”, транслируемая "Голосом Америки" с 1955 года, ежедневно доходила до миллионов людей по всему миру. Его радиопрограмма, живое выражение американских ценностей и центральный инструмент в холодной войне в сфере культуры, представляла собой "главную точку контакта" с джазом для музыкантов в коммунистических странах. Коновер говорил, что он ассоциируется у людей с "голосом в нижнем регистре, связанным с музыкой, символизирующей свободу"».



Уиллис Коновер у микрофона радиостанции «Голос Америки»

На нас воздействовали и самым главным материалом – грампластинками. В журнале «Даун Бит» из номера в номер печаталось объявление организации «Jazz Lift International», которая занималась сбором джазовых грампластинок для пересылки любителям за «железным занавесом». К сожалению, такого рода благотворительность

вырабатывала у облагодетельствованных не столько желание немедленно освободиться из коммунистического плена, сколько сознание того, что им что-то причитается. Это настроение описал Александр Кан в своей книге «Пока не начался jazz»: *Еще одна, побочная, но немаловажная причина походов в консульство – книги. Не помню, кто и как распустил этот слух, и до сих пор не знаю, в какой степени он соответствовал действительности, но в компании господствовала уверенность в том, что выставленные в книжных шкафах в библиотеке Солженицын, Набоков, Бродский, Саша Соколов, Аксенов и еще огромное количество политического и литературного «тамиздата» стоит там с одной целью – перекочевать к нам в карманы.* К этому можно добавить то, что и к грампластинкам было такое же отношение: их вам непременно должны были подарить.



Пока не начался Jazz.

На фото Сергей Курёхин и Борис Гребенщиков

Достоинством грампластинок было не только то, что в записи, отвлекшись от всего постороннего, можно глубже оценить мастерство музыкантов и, попутно, обратить внимание на какие-то несовершенства. Концертов практически не было, на телевидении джаз вообще не

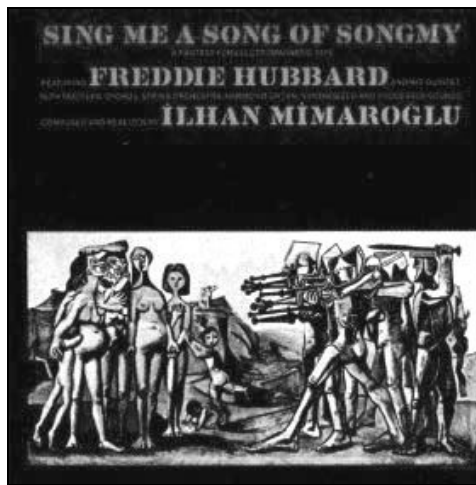
появлялся, а зарубежные радиопередачи с трудом продирались сквозь атмосферные шумы. Но зато добытая грампластинка всегда оставалась у владельца (если он ее не выменял на другую), и ее всегда можно было прослушать вновь, несмотря даже на то, что при каждом прослушивании качество звучания убывало как шагреневая кожа – пластинка «запиливалась». Сами коллекционеры причислялись к своего рода небожителям, пусть и не того класса, как писатели, художники или кинорежиссеры. На одной из ежегодных художественных выставок в Риге экспонировалась картина, изображающая известного любителя джаза Витаута Дранде. Он был представлен в виде романтического молодого человека, стоящего под сенью дерева с грампластинкой в руке.



Логотип фирмы грамзаписи Импалс

Несмотря на все усилия коллекционеров, грампластинок у них чаще всего было немного. Ими дорожили и ласково называли «пластами», «платами», «дисочками». И немудрено. Конец политической «оттепели» ознаменовался тем, что в магазинах появился первый выпуск серии «Польский джаз» – «Варшавские стомперсы», потом к ним добавились две пластинки хроники «Джаз джембори 64», далее было очень ограниченное количество югославского сборника с «Бледского фестиваля» (название пластинки приводило продавщиц в некоторое

замешательство). Потом добавились еще три пластинки из серии «Польский джаз». Через год появились первые советские джазовые «гиганты»: «Джаз 65», потом «Джаз 66», «Джаз 67», на чем бурное развитие застопорилось. Застой наконец-то остановил инерцию оттепели. Но пластинки прибывали по почте, проникая через плотные поры таможен. Это была продукция «оттуда», которую называли «фирменной». Для музыкантов она была «информацией». Эта «информация» им была нужна как образец для обучения или подражания. Поэтому преодолев отвращение к коллекционерам-«пластиночникам», они просили переписать им «информацию» на магнитофон. Благодаря импорту по почте можно было увеличить свой вес в обществе.



Спой мне песню Сонгми

В те времена человек, имеющий более трех американских джазовых грамзаписей приобретал определенный статус. К нему приходили послушать то, что он сумел достать. Получался своего рода культурный вечер, где хозяин чувствовал себя на высоте положения и снисходительно объяснял кто, что и как играет. Ключ к этим знаниям давали комментарии на обложке. Тогда на них было очень много места, т. к. большая долгоиграющая пластинка

имела в диаметре 30 сантиметров (а точнее – 12 дюймов). Записи можно было слушать не обязательно с гостями, а наедине и много раз. Тогда рассказывали историю о сыне какого-то чина из КГБ, которому отец приносил с таможни на сутки диски фирмы «Импалс». Даже далекий от джаза кагебинный папаша мог сразу распознать характерный дизайн «Импалса»: две буквы «i», одна обычная, а другая перевернутая. Сынок переписывал диски и, благодаря этому «новая волна джаза на Импалсе» (рекламный лозунг этой фирмы грамзаписи) доходила до любителей в СССР. Киевский коллекционер Григорий Дрофа мне рассказал свою историю. Дрофу пытались взять на испуг в «органах». Его вызвали и предъявили ему цифру суммарной пошлины за год, которую он уплатил за пластинки. Получалось около четырех тысяч – годовая зарплата. «Как же вы питаетесь, товарищ Дрофа?», – спросил с ложной участливостью допрашивающий чин. Дрофа утверждал, что его дословный ответ был: «Я кушаю "ге" на палочке!»

Я добывал свою «информацию» – грампластинки всеми возможными способами. Самым плодотворным был почтовый обмен. Во времена позднего застоя стали появляться немногочисленные лицензионные оригинальные записи американского джаза. То же самое происходило в странах, так называемого, соцлагеря. Поскольку в разных «бараках» соцлагеря выбирали разные записи, возникали естественные предпосылки для уравнивания этого разнообразия, по-возможности, равноценным обменом. Полученные таким образом «демократы» (название от «стран народной демократии») ценились ниже, чем «фирма» по причине, зачастую, низкого качества и в силу сравнительной доступности. Но «информация», т. е музыка была важнее всего. Мне в моих обменах удавалось выйти за пределы «соцлагеря». Как-то у меня появился корреспондент в Аргентине. Оказалось, что у них в Аргентине тоже выпускали лицензионные пластинки. Качество их было довольно низкое, сравнимое с продукцией польской «Музы». Но это была музыка. Корреспонденция иногда приносила сюрпризы. Так, однажды, я получил от своего аргентинца письмо в красивом конверте с

красочными марками, но с обратным адресом какого-то банка, причем, отпечатанным типографским способом. Раскрыв письмо я обнаружил любопытный текст по истории Фолклендских островов, которые у них именовались Мальвинскими.

Текст доказывал принадлежность Мальвин Аргентине, начиная с того момента, когда булла одного из Пап Римских как-то упомянула Арегнтины совместно с этими островами. Заканчивался этот исторический экскурс словами о том, что Аргентина долго проявляла добродетель терпения, а ныне пришел тот момент, когда Аргентина должна проявить добродетель решимости. В конце письма была приписка от руки моего аргентинца относительно наших пластиночных дел. Тогда начиналась война за эти острова между Аргентиной и Англией, а это необычное послание было патриотическим почином банка, использованное моим корреспондентом с целью сэкономить на стоимости пересылки за счет банка. Среди прочих пластинок я получил от аргентинца «Sing me a Song of Songmu» («Спой мне песню о Сонгми») Фредди Хаббарда и Ильхана Мимароглу. Этот альбом с подзаголовком «Фантазия для электромагнитной ленты» посвящена одному из самых бесславных событий Вьетнамской войны, когда подразделение американской армии перебило в южновьетнамской деревне Сонгми несколько сот безоружных гражданских лиц, большинство из которых были старики, женщины и дети, включая младенцев. На обложке альбома, а по оформлению, это был действительно альбом, была дана репродукция картины Пикассо «Резня в Корее». Пронзительно-проникающих электронных вариации Мимароглу и фри джаз квинтета Хаббарда перемежался речитативом, звучанием струнных инструментов и хора. Музыкальное полотно захватывало, происходило погружение в море звуков...

Спустя несколько лет я попал на джазовый фестиваль в Дебрецене в Венгрии. Звездой фестиваля был Фредди Хаббард. Он сыграл добротный хард боп, но без тени той драмы, что разворачивалась в том альбоме. В дальнейшем мне попадались и другие его записи. Отличный

музыкант с собственным звучанием и, в то же время, прекрасный сайдмен, вписывающийся в любой контекст. Стало понятно насколько велик был вклад Мимароглу в «Сонгми». Еще позже, уже после его смерти, я получил имейл от Дмитрия Савицкого, готовящего программу о Майлсе Дэвисе и Фредди Хаббарде для своих «49 минут джаза» на радио Свобода. Дмитрий спрашивал, как, по моему мнению, они соотносятся. Я ответил, что Хаббард – честный ремесленник, а Дэвис – бессовестный гений. Савицкий процитировал на своей передаче высказывания, которые прислали ему его корреспонденты, а мое назвал самым удачным из них.



Дейвид Айзензон, Орнет Коулмен и Чарлз Мофет в заснеженном Стокгольме, 1965 г.

История с другим альбомом началась еще раньше – в 1965 г., когда я услышал на программе Уиллиса Коновера двойной альбом, записанный на концерте трио Орнета Коулмена в клубе «Golden Circle» (Золотой круг) в Стокгольме. Это было ни на что не похоже. Я уже знал, что в джазе произошли изменения, что он освободился от гармонии и, с легкой руки, этого самого Коулмена такая музыка стала называться “The New Thing” (Новая вещь) и

“Free Jazz” (Свободный джаз). Первое название не прижилось, оно потеряло актуальность, когда новая «вещь» перестала быть новой, а «свободный джаз» остался свободным и сейчас, когда он уже стал историческим явлением. Потом «свободный джаз» стали называть «авангардом» и «импровизированной музыкой», последнее все больше касается европейской сцены, где «свободный джаз» особенно развился в силу своей абстрактной, не привязанной к определенной национальной культуре, природе. Но вначале появились и иные эпитеты. Консервативные критики окрестили его «антиджазом», но это не остановило шествие нового джаза (“new jazz” – новый джаз – еще одно название), хотя каждое явление имеет начало, развитие и конец. Наступил момент, когда выдающийся знаток джаза Йоахим-Эрнст Берендт констатировал, что «авангард остался позади». Но до этого нужно было прожить еще лет двадцать. Одновременно с Коулменом в новой области работал Джон Колтрейн, которому довелось сыграть более значительную роль, чем Коулмену, в силу того, что его музыка была все же больше организована в рамках модальности, но Коулмен был радикальнее и в этом его сила. Мне захотелось получить этот альбом во что бы то ни стало. Возможность представилась. В Ригу приехала моя американская знакомая по переписке и я ее попросил привезти мне эти записи. Так я стал счастливым обладателем этих пластинок. На обложке было фото трех американцев: двух негров и одного еврея в заснеженном стокгольмском парке. Они выглядели чужаками на фоне шведской зимы, особенно, Коулмен в белом плаще. Я выучил концерт в «Золотом Круге» наизусть и подпевал записи на всем протяжении звучания. Таково свойство музыки Коулмена: хотя в ней нет гармонии и формально мелодии, но спеть ее можно. Сам Коулмен называл особенности своей музыки «гармолодией», намекая на то, что вместо обычных гармонии и мелодии у него присутствует их синтез – «гармолодия». В дальнейшем у меня появилось много других пластинок, настолько много, что один мой приятель недоуменно заметил: «Зачем тебе столько, ты их все равно за один день не прослушаешь!», –

по-прежнему оставался самым любимым. Не один я «запал» на Коулмена. Контрабасист и организатор джазовой жизни в Риге Юрис Акис настолько вдохновился музыкой Коулмена, что даже назвал своего сына Орнетом.

Прошло время, не стало Советского Союза, а у меня открылись возможности бывать в командировках в Стокгольме. Мне очень хотелось найти этот «Золотой Круг», но такого клуба не было ни на картах ни в путеводителях по городу. И вот, однажды, когда мы ужинали в каком-то ресторане я спросил своего шведского коллегу, не знает ли он это место. Он не знал. Но женщина за соседним столом услышав наш разговор вмешалась и сказала, что может рассказать, где это находится. Мы пришли туда. Это был центр города, недалеко от кинотеатра, на выходе из которого застрелили Улофа Пальме. Там был уже не джаз-, а рок-клуб, в котором, к тому же, в тот вечер ничего не происходило, только бар был открыт. Мы выпили по малой порции виски за Коулмена и Пальме и пошли в гостиницу спать.

За многие годы у меня не пропадала надежда послушать Коулмена не в записи, а в концертном зале. Но в СССР он так и не появился; один раз, правда, он выступил в Варшаве на джазовом фестивале, но мне в те времена еще не удавалось выбраться за границу. И вот, я в Бостоне, в США. Джазовая жизнь бурлит, здесь работают Джазовая школа Беркли и Консерватория Новой Англии, среди выпускников которых немало именитых джазовых музыкантов, проходят концерты и фестивали, но Коулмен на них не появляется. Видимо, его музыка слишком свободна для Бостона. Но однажды я вынул почту из ящика и обнаружил буклет джазового фестиваля в Берлингтоне и, о чудо, среди прочих ансамблей был обозначен квартет Коулмена. Я пришел в восторг, ведь до Берлингтона от меня полчаса езды на автомобиле и стал смотреть, где можно заказать билеты. Но при этом выяснилось, что данный Берлингтон не в Массачусеттсе, а в Вермонте, до которого почти четыреста километров. Я думал сутки, а потом заказал билеты на концерт и номер в гостинице, чтобы переночевать, и мы с женой поехали. Берлингтон оказался живописным городком

недалеко от канадской границы, благодаря чему некоторые названия и объявления в нем повторяются по-французски. Там есть университет и много молодежи. Оказалось, что все в городе знали, что будет выступать такой знаменитый музыкант. Но слава славой, а восприятие – нечто иное. Когда-то, еще в той жизни на ежегодном рижском джазовом фестивале выступил американский авангардный саксофонный квартет «Рова». Когда об этом прошел слух, вдруг неожиданно оказалось, что в рядах тогдашней рижской номенклатуры вращается множество любителей свободного джаза. Пришлось отдать им часть билетов, им же пришлось бесславно покинуть зал филармонии спустя несколько минут после начала выступления квартета. В Берлингтоне часть зрителей тоже вскоре ушла, бросив места за которые было заплачено по 75 долларов. Но большинство слушателей осталось. Возможно, они получили удовольствие. Один пожилой человек обратился ко мне с вопросом: «Сколько Коулмену лет?», – «Семьдесят девять», – ответил я. «Да, – сказал мой новый собеседник, – это было прекрасно! А я недавно слушал Тони Беннета...» Это было очень некорректное сравнение. Хотя Беннет на четыре года старше Коулмена, а билеты на его представление в два раза дороже, я бы никуда не поехал, чтобы попасть концерт поп-музыки Беннета. Но тогда в Берлингтоне наконец сбылась моя мечта: я слушал живой концерт Коулмена! Коулмен заметно постарел и не мог играть продолжительные соло, которым я подпевал в Риге, но музыка, идеи, звучание, – все они были там. У входа меня предупредили, что фотографировать запрещено, но в самом конце выступления я вынул фотоаппарат с телеобъективом и сделал фото:

С другими пластинками связаны свои истории, может быть и не заслуживающие столь подробного описания. Но жизнь идет, уже нет СССР и я переселился за океан, ушли в прошлое грампластинки и трудности их добывания и постепенно исчезают компакт-диски. С пластинками ушла полиграфическая эстетика, которую не смогли заменить крошечные брошюрки, а то и листки, вкладываемые в коробочку компакт-диска. Ныне, при

скачивании музыкального файла от вербальной информации часто остается только название пьесы, да имя солирующего музыканта, даже альбомы, как таковые распадаются, т. к. можно скачать отдельные пьесы в формате MP3 по доллару за штуку. Материалы теперь можно собирать отвлеченно от материальных носителей: на жестком диске компьютера могут поместиться терабайты музыки, литературы, плакатов, афиш и всей остальной сопутствующей информации. Да, что там говорить о носителях информации, когда сам джаз теперь не тот, раз в десятилетие уже не появляется по гению, чтобы радикально изменить все наши предыдущие представления. Но созданная музыка осталась, а с нею все воспоминания.



Орнет Коулмен в Театре Флинн, Бёрлингтон, Вермонт, 2008 г.

Пока я писал этот текст, мне стало известно, что Витаута Дранде уже несколько лет нет в живых. На похоронах, по желанию покойного, звучал «Кельнский концерт» Кита Джарета.

Музыка осталась...

Бостон, 2011 г.



Виктор Юзефович

**«Если в Ваш лавровый суп
подсыпать немного перца...»**

**Переписка С.С. Прокофьева с С.А. и
Н.К. Кусевицкими
1910-1953**

(продолжение. Начало в № 3/2011)



анровая амбивалентность партитур Прокофьева, о которой будет идти речь впереди на примерах Третьей и Четвертой симфоний, дала себя знать уже в сочиненном им в 1924 Квинтете ор. 39. «Пишу небольшой балет для Б. Романова, бывшего балетмейстера Мариинского театра, – делился композитор с Мясковским. – Оркеструю его для пяти инструментов и вообще рассматриваю как квинтет, ибо он состоит из 6 совершенно отдельных и оформленных частей»¹. А позднее, в «Автобиографии», он пояснит: «...ради заработка я принял заказ на небольшой балет от одной путешествующей труппы, которая имела в виду заполнить вечер несколькими короткими балетами камерного характера, с музыкой, исполняемой ансамблем в пять человек. Я придумал следующий состав: гобой, кларнет, скрипка, альт и контрабас. По существу, незамысловатый сюжет из цирковой жизни под названием "Трапеция" был для меня предлогом сочинить камерную пьесу, которая могла бы исполняться без всякого сюжета»².

¹ Сергей Прокофьев – Николаю Мясковскому, 15 июля 1924, St.Gilles-sur-Vie, Vendrée. М-П. С. 200.

² Сергей Прокофьев. Автобиография. В кн.: Цит. по : МДВ. С. 173.

Контракт с Борисом Романовым на 10 тысяч франков был подписан 22 июня 1924, за день до отъезда Прокофьевых из Парижа в St. Gilles, откуда и возникла сумма, просимая Прокофьевым в долг у Кусевицкого. Тогда же, узнав о болезни Эберто, композитор инстинктивно почувствовал, что его обещание поставить оперу «Огненный ангел» может лопнуть подобно мыльному пузырю, что вскоре и случится.

Как и предполагал Прокофьев, Квинтет удалось закончить довольно быстро. По просьбе Романова для постановки балета были дописаны еще два номера. В Квинтет композитор их не включил. Премьера «Трапеции» состоялась 6 ноября 1925 в немецком городе Гота (Gotha) вместе с «Вальсами Шуберта» – двумя вальсами, аранжированными Прокофьевым для того же Романова для двух фортепиано. Оба балета были также исполнены в Ганновере и, весной 1926, на гастролях труппы Романова в Турине.

Сам Прокофьев причислял партитуру своего «квинтетного балета» к камерным сочинениям. Когда Квинтет в оригинальной своей версии исполнялся в Бостоне, Кусевицкий говорил Прокофьеву, что «...эта вещь совершенно не звучит»³. Тем большую радость принесет композитору исполнение Квинтета 6 марта 1927 в Москве во время его первых гастролей в СССР гобоистом Николаем Назаровым, кларнетистом Иваном Майоровым, скрипачом Дмитрием Цыгановым, альтистом Вадимом Борисовским и контрабасистом Иосифом Гертовичем (1887-1953). «Московские музыканты развернулись и сыграли его с неожиданным блеском и увлечением, – напишет он. – Квинтет звучал отлично»⁴.

Партитура и инструментальные голоса Квинтета были изданы в 1927 «А. Гутхейлем».

О замысле Второй симфонии Прокофьева Кусевицкий узнал со слов композитора, принимая его в своем парижском доме 12 июня 1924, и сразу же пообещал ее исполнение и в Париже, и в Бостоне. Тогда же

³ ПД-2. С. 539.

⁴ Там же.

посоветовал, чтобы одна из частей симфонии написана была в форме вариаций. О Второй симфонии, как и о поиске Кусевицким нового менеджера для Прокофьева, речь пойдет впереди. Здесь же скажем только, что еще два года назад, находясь в Эттале, радуясь возможности «спокойно сидеть, да поживать, да писать толстые опусы»⁵, с увлечением работая над оперой «Огненный ангел», Прокофьев был озабочен вопросом своих американских гастролой. «Заезжал ко мне турирующий Германию Хэнсель, – писал он тогда Нине Кошиц, – но он кажется не ангажировал мне много концертов, а мои так называемые друзья, взасос целуются с Габриловичами, Монтами⁶ и прочей американской сволочью, тоже отделались красивыми словами и эффектной патетикой»⁷.

С переездом Кусевицкого в Бостон Прокофьев связывал новые возможности продвижения своей музыки в Америку. О попытках Кусевицкого перевести Прокофьева от Фицхью Хеншеля (Хензеля) (Fitzhugh Haensel, of the partnership Haensel & Jones), с которым композитор был связан еще с 1918, к другим менеджерам речь будет идти в последующих письмах. Заметим однако, что еще в 1920, рекомендуя Хеншеля и Джонса Нине Кошиц, Прокофьев писал о них как о людях

«...безусловно честных и безукоризненных джентльменов, которые не будут тебя выжимать»⁸, что в конечном итоге и примирит композитора с их пассивностью – как по крайней мере ему казалось в 1924-м...

В июле 1924 Прокофьев получил взволновавшее его письмо от Эберга, который сообщал, что «...Nébertot с

⁵ Сергей Прокофьев – Нине Кошиц, 11 июля 1922, Этталь. Послано в Чикаго. – Коллекция С. Прокофьева, Отдел исполнительских искусств, БК.

⁶ Имеется в виду возглавлявшие, соответственно, Детройтский оркестр и БСО, Осип Габрилович (Gabrilowitch) (1878-1936) и Пьер Монте (Monteux) (1875-1964).

⁷ Отдел исполнительских искусств, БК.

⁸ Сергей Прокофьев – Нине Кошиц, 8 апреля 1920, Нью-Йорк. Послано в Тифлис. – Основная коллекция писем. Отдел исполнительских искусств, БК.

"Огненным Ангелом" ни с места и контракт не подписывает»⁹. Предчувствие композитора оправдалось – постановка, обещанная Эберто, осуществлена не была.

Известный американский музыкальный критик Олин Даунс (Даунз) (Olin Downes) (1886-1955), бывая в Париже, не раз слушал «Концерты Кусевицкого». Одним из первых представит он дирижера Америке¹⁰, а впоследствии будет регулярно писать о его выступлениях в Нью-Йорке во главе Бостонского оркестра.

Прокофьев также познакомился с Даунсом в Париже. «Днем гости, – записывает он в Дневнике 22 июня 1924, – Marnold (критик из “Mercure de France”), чрезвычайный мой поклонник, и Downes (критик из «Нью-Йорк Таймс»), еще не совсем поклонник мой, но уже весьма интересующийся моей музыкой, что уже много для американского критика»¹¹.

Назвав в упомянутой статье Кусевицкого «самым злободневным дирижером» Парижа (“conductor of the hour”), Даунс писал, в частности, о проведенной им премьере «Семеро их» Прокофьева. «Семеро их» – страстная и бесспорно эффектная композиция. Публику, привыкшую к нью-йоркским оркестровым концертам, она обратит в стремительное бегство к дверям концертного зала. Для этой публики Прокофьев – крутой и скверный молодой человек. Как будет звучать его музыка десять лет спустя – вопрос открытый. Как зазвучит она у дирижера менее темпераментного и менее симпатизирующего ее характеру, чем Кусевицкий – сказать трудно. Но на премьере сочинение произвело сильнейшее впечатление. Это нечто гигантское, вернее говоря, устрашающее и первозданное»¹².

⁹ ПД-2. С. 272.

¹⁰ См.: Olin Downes. “Koussevitzky as a Magnetic Personality – Prokofieff and the Powers of Evil”, “The New York Times”, June 15, 1924.

¹¹ ПД-2. С. 269. Олин Даунс был музыкальным обозревателем газеты “The New York Times” в 1924-1955.

¹² Olin Downes. “Koussevitzky as a Magnetic Personality – Prokofieff and the Powers of Evil”, “The New York Times”, June 15, 1924.

Шестая симфония Мясковского ор. 23 была издана в Universal Edition в 1925, Восьмая симфония ор. 26 и симфоническая притча «Молчание» ор. 9, мировую премьеру которой осуществил Кузевицкий (5 ноября 1914, Москва), будут изданы там же в 1929. Восьмая, как и другие симфонии Мясковского, не соблазнила Кузевицкого. Американскую ее премьеру (30 ноября 1928, Бостон) проведет с Бостонским оркестром ассистент Кузевицкого концертмейстер оркестра Ричард Бургин Речь о нем пойдет ниже в комментариях к письму С.С. Прокофьева к С.А. Кузевицкому от 2 января 1925.

Природу множества острых «шпилек» Прокофьева в адрес Кузевицкого лучше понимаешь в свете общего его, как правило, иронически-скептического отношения к дирижерам. Зачастую они столь же несправедливы, как и по отношению к Пьеру Монте. Что же до американского дирижера Вальтера Дамроша (Damrosch) (1862-1950), который в разные годы дирижировал крупнейшими симфоническими и оперными оркестрами США, то Прокофьев считал его слабым дирижером. Да и сам Дамрош признавался композитору, что ему не нравится его Третий фортепианный концерт. Когда же после премьеры кантаты «Семеро их», на которой присутствовали дочери Дамроша, он хвалил партитуру и просил ее для исполнения в Америке, Прокофьев заметил: «Старик потому и хвалил, что не слышал»¹³.

Австрийский дирижер Артур Боданцки (Bodanzky, 1877-1939) был всего тремя годами моложе Кузевицкого. Начав свою карьеру в Венской опере как ассистент Густава Малера, он сделался активным пропагандистом его музыки. Отто Клемперер отзывался о придворном капельмейстере из Мангейма Боданцки как о «...превосходном мастере, у которого я многому научился»¹⁴. Впоследствии Боданцки –

¹³ ПД-2. С. 272.

¹⁴ Отто Клемперер. набросок автобиографии. В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Выпуск третий. Составление, вступительная статья и редакция переводов Г. Эдельмана. Москва: «Музыка», 1967. С. 217.

дирижер «Общества друзей музыки» в Нью-Йорке и, на протяжении четверти века, дирижер «Метрополитен опера».

Хотя ко времени приглашения Боданcki в «Концерты С. Кусевицкого» он не был еще столь известен – в России тем более, его талант и мастерство были по достоинству оценены здесь публикой и критикой. О нем писали, что как о дирижере «...с ясно выраженной системой эстетических намерений и с умением, в полной мере, достигать их осуществления»¹⁵, как об «...отличном музыканте, артисте опытном и серьезном»¹⁶.

Прозвучавшие под управлением Боданcki Седьмая симфония Брукнера (26 января 1911 года, Москва), Четвертая (11 января 1912, Петербург; 18 января, Москва) и Седьмая (9 января 1913, Петербург, 16 января, Москва) симфонии Малера не нашли тем не менее понимания у критики. Музыка этих композиторов звучала в России в 10-х годах XX века очень редко. Мало кому из критиков дано было при этом, подобно Вячеславу Каратыгину, не приняв саму музыку Брукнера, высоко оценить ее исполнение. Для Кусевицкого однако приглашаемые им в свои концерты дирижеры были, как и собственные его программы, инструментом для решительного расширения привычного в России симфонического репертуара.

Л.И. Прокофьева – Н.К. Кусевицкой

31 августа 1924, St. Gilles-sur-Vie, Vendrée

Дорогая Наталия Константиновна,

Посылаю Вам снимки Святослава. Маленькие, которые я сама сделала, хотя и туманные, удачнее, чем большой снимок, сделанный местным странствующим фотографом. На нем особенно плохо вышла я сама – можно подумать, что у меня длинные зубы и грязная шея!

У бобика прорезаются зубки. Он делает попытки самостоятельно сидеть. Отлично выдерживает сухое

¹⁵ [Вячеслав] Каратыгин. «Концерты Зилоти и Кусевицкого», «Аполлон. Русская художественная летопись», февраль 1911, № 4. С. 57.

¹⁶ [Вячеслав] Каратыгин. «Музыка», «Аполлон. Русская художественная летопись», декабрь 1911, № 20. С. 261.

молоко “Druco” и почти никогда не страдает желудком. До сих пор я его прикармливала грудью два раза в день, но в ближайшее время думаю прекратить, т[ак] к[ак] он скоро начнет есть кашки согласно с директивами американских книг¹⁷. Норвежка оказалась достойной своих предков и я ею довольна.

От Марии Викторовны¹⁸ слышала, что Вы очень поправились¹⁹ в Баден-Бадене, похудели и прекрасно выглядите. Я очень рада, что Вы и Сергей Александрович отдохнули от всех весенних забот и волнений. Мы все шлем Вам и Сергею Александровичу пожелания благополучного плавания и интересного пребывания в Америке.

У нас жизнь протекает тихо. Сережа каждый день работает над Симфонией. Я довольно аккуратно занимаюсь пением.

Примите самые сердечные приветствия от Сережи и от меня, Вам и Сергею Александровичу.

Искренне преданная Вам

Лина Прокофьева

Сережа интересуется, насколько С[ергей] А[лександрович] подвинулся в английском языке.

Рукопись. Послано в Париж. АК-БК.

Старший сын Прокофьевых Святослав родился в Париже 27 февраля 1924. После рождения Святослава и перед отъездом в St. Gilles Прокофьевы наняли няньку Miss Mask. Норвежка по происхождению, она была, как заметил Прокофьев, «...приятная, чистая и скромная»²⁰.

Лина Прокофьева занималась у Фелии Литвин, затем у французской певицы Эммы Калве (Calvé). Она

¹⁷ Согласно утверждению Дэвида Найса, это была книга “Wise Parenthood” (David Nice. Prokofiev. From Russia to the West. 1891-1935. New Haven and London: Yale University Press, 2003. P. 198).

¹⁸ М.В. Барановская (Боровская) – знакомая С.С. Прокофьева, ученица В.Э. Мейерхольда, жена пианиста А.К. Боровского.

¹⁹ Хотя под словом «поправились» имеется в виду «улучшили свое здоровье», слово это, неудачно выбранное, приводит к противоречию с последующим «похудели».

²⁰ ПД-2. С. 267.

многократно участвовала в концертах Прокофьева, исполняя вместе с ним его вокальные сочинения. Первоначально предполагалось ее выступление в партии Нинетты в кельнской постановке «Апельсинов».

«...у нас тихо, если не считать дующих ветров; Пташка поет, Святослав тоже; оба мы плонжируем в Атлантике, Пташка плавает, а меня воды не держат», – писал Прокофьев Фатьме Ханум Самойленко о времяпровождении на вилле Бетани (Villa Béthanie) в St. Gilles летом 1924²¹. Три года спустя она прочитает в его письме: «Пайчадзе научил меня плавать и, хотя было очень страшно утопить физиономию в воде, пришлось подчиниться, ибо он сказал, что издательство не потерпит у себя композитора, не умеющего держаться на поверхности»²².

С.С. Прокофьев – В.Н. Цедербауму

2 сентября 1924, St. Gilles-sur-Vie, Vendrée

Многоуважаемый Владимир Николаевич,

Благодарю Вас за Ваше милое письмо от 24 августа и шлю Вам наилучшие пожелания в Вашем заграничноокеанском плавании. Не забывают иногда сообщать мне о том, как мои вещи будут проходить в Бостоне и Нью-Йорке. Напишите мне о впечатлении, которое вынесете от Америки. Мой постоянный адрес: c/o Guaranty Trust Co., 3, Rue des Italiens, Paris IX-e.

Я не совсем согласен с Вами относительно того, что в тот момент, когда Эберто обещал постановку «Огненного Ангела», он не имел в виду его ставить. Ведь как-никак у него со мною есть и другие контракты (10 концертов по 2,000 фр[анков]), и потому он едва ли стал

²¹ Сергей Прокофьев – Фатьме Ханум Самойленко, 31 августа 1924, St. Gilles-sur-Vie, Vendée. Послано в Париж. – Библиотека Гарвардского университета (Houghton Library), Кэмбридж, США. Фонд 58М (Fund 58М), No. 118.

²² Сергей Прокофьев – Фатьме Ханум Самойленко, 10 сентября 1927, Villa “Les Phares”, St. Palais. s/Mer, Charente Inférieure. Послано в Juan les Pins, Alpes Maritimes. – Библиотека Гарвардского университета (Houghton Library), Кэмбридж, США. Фонд 58М (Fund 58М), No. 118.

бы просто врать в глаза. Но, зная, что Сергей Александрович заинтересован в постановке «Огненного Ангела», он впоследствии придумал эту репрессию в наказание за отказ Сергея Александровича выступать в его театре.

Сердечный привет от меня и жены.

Ваш

СПрокофьев

Машинопись с подписью от руки. АК-БК.

Копия: РГАЛИ, ф. 1929 (С.С. Прокофьев), оп. 5, ед. хр. 13.

Послано в Париж.

Публикуется впервые.

Постановка «Огненного Ангела», как уже сказано, не была осуществлена Эберто по той причине, что прогорело все его оперное предприятие.

С.С. Прокофьев – С.А. и Н.К. Кусевицким

3 сентября 1924, St. Gilles-sur-Vie, Vendée

Дорогим странствующим и путешествующим сердечный привет и напутственные заклания от морских чудовищ, а главное от кормления их чрез посредство морской болезни. Когда maestro будет сидеть перед камином в курительном салоне, пусть он вспомнит меня. Я тоже ехал в Америку на «Аквитании» (когда был знатен и богат) и любил сидеть перед этим камином.

Большое спасибо за октябрьский чек, который получил сегодня.

Примите от меня букет цветов и наилучшие пожелания от нас всех.

Любящий Вас

СПркфв

Рукопись. АК-БК.

Рукопись. Послано в Париж. АК-БК. Копия: РГАЛИ, ф. 1929 (С.С. Прокофьев), оп. 5, ед. хр. 6.

С.С. Прокофьев – С.А. Кусевицкому

25 сентября 1924, Ст. Жиль

Дорогой Сергей Александрович,

Во-первых, не именинник ли ты сегодня?²³ Если да, крепко обнимаю тебя. Впрочем, если нет, то тоже. Во-

²³ Именины Кусевицкого были 24 сентября.

вторых, поздравляю тебя с Легионом. Можно сказать, французы засыпали тебя почестями. Я даже представляю себе картину, как ты и Дамрош, взявшись под-ручки и надев Ваши Почетные Легионы, медленно идете по Пятой авеню в Нью-Йорке, а ошеломленные американцы, расступившись пред Вами, почтительно шепчут: «Это два наших лучших дирижера!..»

Симфония движется: кончил эскизы первой части, вышла очень суровая, и набросал 5 вариаций. Но вероятно двумя частями не ограничусь – придется писать финал. Пришли мне пожалуйста школу тромбонов, которую ты видел у Мийо, а если попадутся аналогичные школы для каких-нибудь других инструментов, то я очень хотел бы и их. Только не откладывай присылку в особенно долгий ящик, т[ак] к[ак] они будут весьма кстати при оркестровке симфонии.

Не удивись, если к тебе явится молодой человек с рекомендательным письмом от меня – для того, чтобы застраховать твою жизнь от смерти или увечья (и в самом деле, всегда можно, увлекшись аччелерандо, слететь с эстрады). Фамилия молодого человека – Готтлиб, это мой чикагский приятель, который много работает по пропаганде моей музыки, насколько позволяет ему его скромное положение страхового агента, – поэтому я не мог отказать ему в рекомендации к тебе, когда он попросил таковую, Разумеется, она ни к чему тебя не обязывает: я отлично знаю, что тебе некого обеспечивать, ибо два твои сына – Гутхейль и РМИ – и так цветут от продажи Стравинского, Прокофьева и цыганских романсов. Словом, если ты страховать не намерен, то милостиво отпусти его на все четыре стороны, а если да, намерен, то лучше страхуйся у него, а не у кого-нибудь другого²⁴.

Сейчас меня завалили корректурами партитуры и голосов Скрипичного концерта. «Паршивый Ниель»,

²⁴ Об Эфраиме Готтлибе речь пойдет еще впереди в связи с сохранением зарубежных гонораров Прокофьева.

как его называет Эберг, тянет свою «изготовку» (т[ак] к[ак] в данном случае нельзя сказать: гравировку) без конца²⁵, а затем Эрнест Александрович отыгрывается на мне и гонит меня с корректурой, так что я теперь глотаю по 25 страниц в день, не считая сочинения вариаций.

Крепко обнимаю тебя, целую ладошки у Наталии Константиновны и благодарю ее за аквитанскую открытку²⁶. Мама, Пташка и Святослав Сергеевич многократно приветствуют Вас. В Ст. Жиле мы пробудем еще неизвестно сколько времени²⁷, поэтому Школы пошли мне на мой постоянный адрес: с/o Guaranty Trust Co, 3 rue des Italiens, Paris IX.

Любящий тебя

СПрокофьев.

Машинопись с подписью от руки. Послано в Бостон. АК-БК. Копия – РГАЛИ, ф. 1929, оп. 5, ед. хр. 6. Опубликовано: Советская музыка. 1991. № 4. С. 60.

В декабре 1924 группа французских музыкантов, в которую входили, среди других, Поль Дюка, Албер Руссель, Морис Равель, Артур Онеггер, Дариус Мийо, Флоран Шмитт. Анри Казадезюс (Paul Dukas, Albert Roussel, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Florent Schmitt, Henri Casadesus), обратилась к министру народного образования и изящных искусств Полю Леону с ходатайством о награждении Кусевицкого Орденом Почетного Легиона (*Ordre national de la Légion d'honneur* in France). «За долгие годы своей деятельности г-н Кусевицкий много сделал для пропаганды французской музыки, включая в программы своих концертов как во Франции, так и за границей, многие произведения французских композиторов, – писали они.<...> Г-н Кусевицкий только что приглашен главным дирижером самого известного оркестра Соединенных Штатов Америки – Бостонского симфонического оркестра.

²⁵ Ниель (Niel) – парижский гравер, услугами которого пользовалось РМИ.

²⁶ Никаких посланий от Кусевицких с парохода «Аквитания» в Архиве Кусевицкого не обнаружено.

²⁷ 7 октября 1924 Прокофьевы переехали из St. Gilles-sur-Vie, Vendrée на снятую ими зимнюю дачу Bellevue под Парижем.

Нет никакого сомнения, что французское искусство найдет в нем самого горячего защитника, и награда его орденом Почетного легиона значительно упрочит его авторитет у американской публики»²⁸.

Ходатайство французских музыкантов было удовлетворено. Кусевицкий был отмечен высшей наградой Франции (1924 – офицер, 1936 – командор Ордена Почетного легиона). 18 июня 1924 в Париже в зале газеты «Комедия» [Comœdia] состоялся прием, данный в честь Кусевицкого министром народного образования и изящных искусств Франции. Чествование организовывал Анри Казадезюс. «Это было одно из самых блестящих и элегантных собраний», – писала затем газета²⁹. Среди приглашенных – Жак Руше, редакторы крупнейших газет и журналов, французские композиторы Равель, Руссель, Шмитт, Жак Ибер, Жермена Тайефер, Андре Мессаже [Jaques Ibert, Andre Messenger, Germaine Tailleferre], их русские коллеги Александр Гречанинов, Сергей Прокофьев, Артур Лурье, Лазарь Саминский, польский композитор Александр Тансман [Alexander Tansman, 1897–1986], дирижеры Владимир Гольшман, Роже Дезормье [Wladimir Golschmann, Roger Desormières], французские – Анри и Франсуа Луи Казадезюс, Альфред Корто, Надя Буланже [Henry and Francis Casadesus, Alfred Cortot, Nadia Boulanger] и русские – Александр Боровский, Александр Могилевский, Фелия Литвин [Alexander Borovsky, Alexander Mogilevsky, Felia Litvinne] – музыканты-исполнители.

По инициативе Анри Казадезюса несколько композиторов, включая Онеггера, Русселя, Тансмана, Прокофьева, сочинили короткие пьесы для различных инструментальных ансамблей, которые прозвучали в этот вечер после речей и приветствий. «Я несколько дней назад написал отрывок для пианолы, читаем мы в Дневнике Прокофьева, – начинается очень скромно, а затем пассажи,

²⁸ Оригинал настоящего Обращения хранится в НБФ. Копия была любезно прислана мне в 1970 г.г. возглавлявшим тогда ее Музыкальный отдел Владимиром Федоровым.

²⁹ “Comœdia”, 19 juin 1925.

как будто играют на рояле в двенадцать рук. Это было наиграно на пианолу. <...> Casadesus разыграл маленькую комедию, сказав, что Прокофьев стал *très timide* (слишком застенчив – *фр.*) и боится играть в публику, поэтому, когда я вышел, опустил занавес на эстраду, и затем заиграла пианола. Пока шла простенькая музыка, было ничего, а когда пошло в двенадцать рук, было очень смешно. Сам Кусевицкий был не слишком мил: с сознанием своего достоинства»³⁰.

По просьбе Прокофьева Кусевицкий будет посылать ему американские руководства по технике игры на духовых инструментах.

С.А. Кусевицкий – С.С. Прокофьеву

26 октября 1924, Бостон

Скифская сюита принята триумфально и требуется ее повторение.

Кусевицкий

Телеграмма. В оригинале по-французски. Послана в Бельвю. – АК-БК.

Опубликована в кн.: В музыкальном кругу русского зарубежья. Письма к Петру Сувчинскому. Публикация, сопровождающие тексты и комментарии Елены Польдяевой. Берлин, 2005. С. 131.

В написанном несколькими днями спустя письме к Петру Сувчинскому Прокофьев, комментируя эту телеграмму Кусевицкого, пишет: «Или Америка шустро развивается в сторону новой музыки, или кавалер почетного легиона (400 интервью при приезде) стал так знаменит, что любая вещь, им поднесенная, приемлется как закон»³¹. Характерно, что ироничный тон этого высказывания совершенно не согласуется с тоном письма к Кусевицкому от 28 ноября 1924 года.

³⁰ ПД-2. С. 329.

³¹ Сергей Прокофьев – Петру Сувчинскому, 30 октября 1924, Бельвю. Послано в Берлин. Цит. по кн.: В музыкальном кругу русского зарубежья. Письма к Петру Сувчинскому. Публикация, сопровождающие тексты и комментарии Елены Польдяевой. Берлин, 2005. С. 131.

С.С. Прокофьев – Н.К. Кусевицкой

27 октября 1924, Bellevue

Дорогая Наталия Константиновна,

Во-первых, повергаю к Вашим стопам мой новый адрес. За цену нашей тесной квартирki на Чарлз Диккенс мы получили здесь просторный дом с садом. Очень тихо, не пристают досужие люди, – можно спокойно заниматься симфонией.

Эскизы этой последней я закончил. Сделал ее все-таки в двух частях, но во второй части развил последнюю вариацию, введя в нее темы из первой части, что и послужило заключением симфонии. Теперь занимаюсь отделкой, что возьмет около месяца, в конце же ноября рассчитываю сесть за оркестровку.

Эрнест Александрович, после окончательного провала постановки «Огненного Ангела» (что случилось не по его вине, как я думал раньше, а оттого, что у Эберто вообще не будет оперного сезона), сообщил мне приятную новость: какая-то новая компания предложила поставить «Три апельсина» в Лондоне и после трех спектаклей поехать с ними по провинции. Платят, впрочем, гроши, да еще Эберг оттяпал 50 процентов Издательству за комиссию. Был симпатичным господином, а стал хуже Зальтера³². На мои упреки он объясняет, что у Издательства нет оборотных средств. Мне кажется, он скоро подсыпет чего-нибудь Стравинскому и мне, чтобы мы больше не сочиняли, а то Издательство лопнет от избытка рукописей.

Был в новом магазине, выглядит нарядно, и Эберг важный и солидный. Покупателей по-моему еще маловато, но Эрнест Александрович утверждает, что наоборот, их очень много, не бывает же только как раз когда я прихожу.

Мое обширное семейство состоит в твердом уме и здоровой памяти и сердечно вас приветствует. Я же целую

³² Норберт Зальтер – театральный менеджер в Берлине.

**Ваши бостонские перчатки³³, а ослепительного
легионера крепко обнимаю.**

Любящий тебя

СПрокофьев

Привет Вл[адимиру] Николаевичу

[Смотри] на обороте

**Только что Эрнест Александрович по телефону
передал Вашу телеграмму об успехе « Скифской сюиты».
Я в восторге. Спасибо маэстре: не посрамил земли
скифской! Целую его.**

СП

Машинопись с подписью от руки. Послано в Бостон. АК-
БК. Последние строки написаны на обороте письма от руки. Две
копии – РГАЛИ, ф. 1929 (С.С. Прокофьев), оп. 5, ед. хр. 7 и 8.
Опубликовано: Советская музыка. 1991. № 4. С. 60-61.

Преимущество дома в Бельвю, в который переехали
Прокофьевы, заключалось для композитора, помимо его
просторности, в том, что находился он всего в 15 минутах
езды от Парижа, куда он регулярно наезжал.

Судьба РМИ складывалась после переноса его
деятельности в 1920 в Париж очень непросто. В первые
годы Кусевицкий, Струве и вслед за ним Эберг пытались
скоординировать работу различных русских музыкальных
издательств в диаспоре. Разногласия между их директорами
сделались однако непреодолимым препятствием для
совместной деятельности. Амбиции взяли верх над здоровой
и конструктивной точкой зрения. Тогда Кусевицкий создал
Анонимное общество больших музыкальных издательств,
которое объединило РМИ, издательства «А. Гутхейль» и
«Циммерман». Председателем его правления стал директор
РМИ Эберг. Штаб-квартирой РМИ сделался нотный магазин
Анонимного общества, открытый Кусевицким в 1924 в
Париже на улице д'Анжу (rue d'Anjou).

Финансируя работу магазина, Кусевицкий не
преследовал никаких коммерческих целей. Магазин
приносил РМИ одни убытки. Вместе с тем он оставался едва
ли не единственным во всей Европе нотным магазином вне

³³ Прокофьев подтрунивает над сохранявшей бостонскими дамами
традиции ходить в концерты в белых перчатках.

пределов России, предлагавшим вплоть до начала Второй мировой войны столь широкий ассортимент произведений новейших русских композиторов, изданных как на Западе, так и в СССР. Пакеты с нотами отправлялись отсюда по многим адресам Европы и Америки.

Тем самым возмещалось – пусть и частично – несостоявшееся объединение музыкальных издательств. Тем самым претворялась в жизнь «центральная линия» всей деятельности Кусевицкого – широкая пропаганда русской музыки, всесторонняя помощь русским композиторам.

Эберг не разделял мнения Прокофьева о безлюдности магазина. Как писал он Кусевицкому, за один только октябрь 1924 здесь было продано нот на 6 000 франков. Вместе с тем Эберг сетовал: «Само издательское дело так быстро развивается, что положительно нет времени заняться устройством магазина»³⁴.

«Скифская сюита» оказалась первым произведением Прокофьева, представленным Кусевицким Америке. Она прозвучала в первом же сезоне его работы с Бостонским оркестром – как в самом Бостоне (24-25 октября 1924), так и на гастролях оркестра в Нью-Йорке (29 ноября).

С.С. Прокофьев – С.А. Кусевицкому

28 ноября 1924, Bellevue

Дорогой Сергей Александрович,

Очень оценил я, что среди успехов и каторжной работы ты сумел выбрать время, чтобы прислать мне длинное письмо³⁵. Машинка отличная, шрифт очень красивый, особенное же впечатление на меня произвело то, что она по-видимому обладает и русским и латинским алфавитами. Только скажи Владимиру Николаевичу, чтобы он с левой стороны листа оставлял более широкую и более прямую маржу, а после точки делал три проскока. Этого требует хороший тон.

³⁴ Эрнест Эберг – Сергею Кусевицкому, 11 ноября 1924, Париж. – АК-БК.

³⁵ Имеется в виду письмо, полученное Прокофьевым 19 ноября 1924 – «...довольно длинное, милостивое. Видно, что мы очень знамениты, но благосклонны». (ПД-2. С. 292). Копии этого письма в Архиве Кусевицкого не обнаружено.

Еще раз спасибо тебе за пропаганду, которую ты делаешь мне в Америке. Успех «Скифской сюиты» меня очень окрылил. Цедербаум писал мне, что он говорил с Бренненом, который согласен взять мой менеджмент на будущий сезон. В ответ я послал Цедербауму подробное изложение технических подробностей о переходе моем от одного менеджера к другому³⁶. Тем временем пришло от В[ладимира] Н[иколаевича] второе письмо о том, что Бреннен не только согласен взять меня, но и готов заплатить мои долги предыдущему менеджеру, чтобы тот отпустил меня. Это уже большой шаг вперед и свидетельствует о том, что дело становится на рельсы.

Конечно, я отлично понимаю, что этими рельсами я обязан прежде всего тебе и что без твоей поддержки Цедербауму не удалось бы сделать для меня и четверти, – но, с другой стороны, мне ясно, что тебе самому совершенно некогда возиться с технической стороной дела, да может быть и не вполне удобно спускаться с дирижерского пьедестала, чтобы входить в детали. Поэтому вероятно очень хорошо, что Вл[адимир] Ник[олаевич] взял на себя инициативу по переводу меня от Хенселя к Бреннену и по налаживанию моего предстоящего турне. Я только прошу тебя держать в твоих руках концы и быть, так сказать, верховным руководителем этого дела, а со всеми техническими извещениями я уверен В[ладимир] Н[иколаевич] справится отлично. Передай ему пожалуйста мою благодарность за заботы и скажи, что на днях я напишу ему ответы на все вопросы в его письме от 9 ноября.

Над твоей симфонией работаю каждое утро, но движется она довольно медленно, во-первых, потому что построение ее сложное, во-вторых, потому что мне не хочется валять ее зря, а хочется каждый отдельный момент сделать хорошо. Осталось отделать еще 3 вариации, в том числе большую заключительную, а затем можно будет начать инструментовку. Когда последний концерт твоего сезона?

³⁶ Имеется в виду письмо С.С. Прокофьева к В.Н. Цедербауму от 20 ноября 1924. В Архиве Кусевицкого копии его не обнаружено.

Благодарю за выгодный совет посвятить симфонию Бостонскому оркестру и его лидеру, но только мне кажется, что композитору делать свои посвящения для карьеры так же неладно, как женщине отдаваться ради устройства своих делишек. Я отлично отдаю себе отчет в том, что это очень помогло бы моей американской карьере, но все же, если я симфонию сочиняю для тебя, то не лежит моей душе такое посвящение! Конечно, пококетничать немного можно, и я прошу тебя при случае рассказать Бостонскому оркестру, что и пишу-то я симфонию для того, чтобы они первые ее исполняли, и ни о каком другом оркестре не думаю, и оркеструя, представляю себе только их звук, ничей другой, и что я в восторге от всех их, начиная от тамтамиста и кончая добавочным фаготом, и что я обожаю и Бостон, и их зал, и их пюпитры, и даже слюни, которые они выливают из тромбонов, – но все-таки лидер их мне милее, и именно ему, а не каким-нибудь собирательным величинам, я хочу посвятить эту симфонию.

Корректуры Скрипичного концерта были закончены на прошлой неделе, и он теперь печатается в срочном порядке. Задерживал корректуры разумеется не я, а те рабочие, которые должны выполнять сделанные мною поправки. В тот же день как концерт будет отпечатан, мы его вышлем тебе; вероятно это будет в начале декабря. 3-й концерт будет готов вслед за Скрипичным. Его тоже начали печатать и кажется квартет уже отпечатали, но отложили³⁷, чтобы пропустить вперед Скрипичный. Эберг уехал в Германию. Он все хватается за голову, что у Издательства нет денег и что он даже несколько десятков тысяч вложил своих. Вследствие этого отменил печатание моего Второго концерта, что чрезвычайно

³⁷ Прокофьев имеет в виду часть оркестровых голосов (для струнных инструментов) Третьего фортепианного концерта.

меня огорчило³⁸. Награвировал 5-ю сонату и несколько старых романсов и тем ограничился. Выходит, что наше Издательство похоже на престарелого турка, который взял себе в жены двух здоровенных баб, а затем больше пускает на них слюни.

Напиши мне, как ты хочешь, чтобы я поступил с Сюитой из «Трех Апельсинов». Хочешь ли ты быть ее первым исполнителем или можно ее дать кому-нибудь другому? (я еще никого не имею в виду и никому ее не показывал)³⁹. Конечно, эта Сюита по своему музыкальному значению менее существенна, чем Сюита, которую я хочу сделать из «Огненного Ангела» (из пяти частей, три части для сопрано и оркестра и две для оркестра одного). Но я еще не вполне уверен, поспеет ли последняя к маю. Если бы она однако поспела и ты сыграл бы ее здесь в мае, то хорошей исполнительницей была бы Кошиц, которая кстати теперь в Париже. Напиши мне, что ты думаешь. Да пришли мне пожалуйста руководство для тромбонов, а также, если есть, аналогичные руководства для других инструментов, напр[имер], для саксофонов или иных духовиков.

Про Эберто говорят, что он в январе лопнет совсем, и я даже начал с ним переговоры о разводе, чтобы получить свободу для концертов в Париже. Говорят, у него на чужое имя куплены большие имения, но все же его крах, по-видимому, очень угнетает его: он сильно постарел и сбавил тон. Дягилев заказал новый балет Орику и кажется Дукельскому, довольно способному юноше, из которого он, по-видимому, проектирует вылепить новую звезду. Моего же «Шута»

³⁸ Второй фортепианный концерт, ор. 16 (вторая редакция) будет опубликован «А. Гутхейлем» в 1925 только в виде авторского переложения для двух фортепиано

³⁹ Еще 26 октября 1922 Кусевицкий исполнил в Париже Марш и Скерцо из оперы «Любовь к трем апельсинам», которые множество раз играл и впоследствии. Сюита из «Апельсинов» была однако впервые исполнена под управлением Филиппа Гобера (Philippe Gaubert) (29 ноября 1925, Париж).

совсем не дает: видно, если кто идет под крыло к Кусевицкому, того Дягилев проклинает. А правда ли, что Метнер сделал в Америке трескучий успех? Пожалуй еще Издательству придется снова принять его на свое нежное лоно?!

Был я в Брюсселе, играл 3-й концерт. Там же Рутьман исполнил сюиту из «Шута». Сыграл он ее очень чисто, т[ак] к[ак] имел 6 репетиций. Публика принимала горячо: Брюссель идет вперед и уже не боится новой музыки. На январь мне некая Мэри Бран предложила для Германии и Польши 8 концертов по 125 долларов, плюс дорога. Контакт с обоюдно неустойкой, так что надо думать все это состоится⁴⁰.

Я в восторге, что Наталия Константиновна правит автомобилем. Когда весною она повезет меня, то я возьму с собой и симфонию: если наедем на столб, то – погибать, так вместе! Мои домашние цветут. Святослав умнеет и пытается ползать. Все мы сердечно приветствует тебя и Наталью Константиновну, я же сверх того крепко тебя целую. Наталия Константиновна вероятно менее занята, чем ты. Было бы чрезвычайно мило, если бы она мне написала как-нибудь.

Любящий тебя

СПрокофьев

Пожалуйста передай мой поклон Владимиру Николаевичу.

Машинопись с подписью от руки. Послано в Бостон. АК-БК. Копия – РГАЛИ, ф. 1929 (С.С. Прокофьев), оп. 5, ед. хр. 8. Опубликовано: Советская музыка. 1991. № 5. С. 75-77.

Инструкции Прокофьева по «хорошему тону» печатания на пишущей машинке, которого сам он безукоснительно придерживался – еще одно свидетельство чрезвычайной его любви к порядку – будь то распорядок дня, точность прихода на деловые встречи или чистота написанного – от руки ли, на машинке ли – текста.

Согласно Дневнику Прокофьева, об успехе исполнения «Скифской сюиты» он узнал как из телеграммы

⁴⁰ Мэри Бран – берлинский концертный агент. Гастроли Прокофьева в Польше и Германии состоялись в январе 1925.

Кусевичского, о которой сообщил ему Эберг, так и из подробного письма Цедербаума, которое получил 7 ноября 1924. Прочитав его, композитор записал: «Когда в 1918 году я приехал в Америку, то эта великая республика была слишком глупа для меня, но за шесть лет эта дурафья заметно развилась. Я рад, ибо в других отношениях Америка мне очень симпатична...»⁴¹.



Бостонский симфонический оркестр

«...был у Кусевичского, рассказал ему про мою идею написать симфонию, – записывает композитор 12 июня 1924. – Он хвалил идею и обещал сыграть симфонию в Америке и Париже, как только напишу. Советовал мне непременно сделать одну часть – тему с вариациями. Идея мне понравилась»⁴².

Весь август, сентябрь и октябрь 1924 композитор продолжает работать над симфонией. Из писем его Кусевичский узнает обо всех этапах этой работы, оказавшейся необычно трудной для композитора. Свидетельством тому его регулярные пометки в Дневнике.

17 августа: «Надо обдумывать Симфонию. То, что она будет в двух частях, первая – сонатное аллегро, вторая – тема с вариациями, у меня давно решено. Главная партия и темы для вариаций были сочинены уже давно: первая в

⁴¹ ПД-2. С. 291.

⁴² Там же. С.С. 265-266.

Rochelets, вторая еще в Америке. Теперь обдумываю побочные партии, несколько хорального характера».

20 августа: «Симфония ни с места, что не способствует хорошему настроению».

22 августа: «Симфония положительно не ладится, хотя каждое утро думаю или сижу за роялем. Решил пока отложить первую часть и взяться за вариации: на них легко раскачаться».

5 сентября: «Симфония движется медленно, но все же движется. Эскизы очень грубые, без всяких отделок, но самое важное – сделать скелет».

29 сентября: «Пять вариаций вчерне готовы».

30 сентября: «Обдумывал: какой избрать конец для Симфонии. Писать третью часть, финал, но не вижу как. Идея: разработать последнюю вариацию с введением в нее тем из первой части».

11 октября: «Сочинил последнюю вариацию».

13 октября: «Симфония движется. Виден конец скелета...»

17 октября: «Кончил эскиз Симфонии. Но какая работа еще! Сначала отделка, потом оркестровка».

19 октября: «Принялся за отделку Симфонии, это большая работа, так как местами скелет весьма субстанциален».

6 ноября: «Работал над симфонией. Виден конец первой части»⁴³.

К предполагавшейся премьере в бостонском сезоне 1924-25 Вторая симфония завершена не была. Решено было провести ее премьеру летом 1925 года в Париже.

Бостонскому оркестру окажется в 1930 посвящена Четвертая симфония Прокофьева ор. 47, заказанная композитору к 50-летию юбилею этого коллектива.

Авторское переложение Первого скрипичного концерта, ор. 19 для скрипки и фортепиано было издано «А. Гутхейлем» еще в 1921. Партитура его и оркестровые голоса, а также партитура и авторское переложение для двух фортепиано Третьего фортепианного концерта, ор. 26 были опубликованы «А. Гутхейлем» до конца 1924. Публикация

⁴³ Там же. С.С. 277-291.

оркестровых голосов Третьего фортепианного концерта будет завершена в начале 1925 (см. ниже письмо С.С. Прокофьева к Н.К. Кусевицкой от 23 декабря 1924).

В строках Прокофьева о новых балетах, заказанных Дягилевым Жоржу Орику («Матросы» и «Пастораль», поставлены, соответственно в 1925 и 1926) и Владимиру Дукельскому («Зефир и Флора», поставлен в 1925), нельзя не ощутить ревность к новым фаворитам импресарио. Однако вопреки утверждению Прокофьева, он вовсе не был проклят Дягилевым. По его заказу им будут написаны еще три балета, поставленные впоследствии дягилевской труппой – «Стальной скок» ор. 41 (премьеры 7 июня 1927), «Блудный сын» ор. 46 (премьеры 21 мая 1929) и «На Днепре» ор. 51 (премьеры 16 декабря 1932).

Ограниченность финансовых возможностей РМИ была очевидна Прокофьеву. «...теперь в Германии так взлетели цены, – писал он еще в 1923, – что Кусевицкий временно прекратил печатание: сюиту из «Шута» оттиснут всего лишь в нескольких экземплярах для сдачи партитуры и голосов в наем, маленькие партитуры пока делать не будем, а гравировку «Классической симфонии» и вовсе отложили»⁴⁴. Вместе с тем, награждая РМИ все новыми пикантными эпитетами, композитор, как и прежде, то и дело подгоняет Кусевицкого-издателя.

Уходить из РМИ Прокофьев тем не менее не хотел – и когда, в 1920 Стравинский рекомендовал ему издаваться у Честера (Chester), и в середине 20-х годов, когда его пыталось переманить Универсальное издательство (Universal Edition) в Вене. «Гутхейльцы теперь окрыли отделения в Париже, Брюсселе и Лондоне и имеют ходы в Испанию и Нью-Йорк, так что хорошо распространяют вещи, – пишет он в январе 1923. – Условия у них со мною такие: при печатании ничего не платят, по покрытии же продажей гравировальных расходов дают 50 % с последующей продажи. На экземпляре пишут: “propriété de

⁴⁴ Сергей Прокофьев – Николаю Мясковскому, 5 октября 1923, Этгаль – М-П. С. 171.

l'auteur et de l'editeur» (собственность автора и издателя – франц.)»⁴⁵.

Не соглашался Прокофьев и на неоднократные предложения публиковать свои сочинения в Советской России. Не потому только, что, как писал он в 1924, «...нелепо мне есть хлеб ждущих очереди московских композиторов»⁴⁶. Потому прежде всего, что прекрасно понимал, как важно для него, чтобы сочинения его публиковались на Западе.

Лишь однажды, в 1933, соблазнился было Прокофьев на предложение издать в России фортепианное переложение своей Третьей симфонии, сделанное Мясковским вместе с Шебалиным, и собственную обработку шубертовских вальсов. Поинтересовавшись, как отнесся бы к этому Пайчадзе, Прокофьев сетовал Мясковскому: «Он закинулся, находя, что невозможно делить вещь между двумя издательствами»⁴⁷. Прокофьев предлагал затем, чтобы переложение это было награвировано в Москве на те суммы в русских рублях, которые оставались после его гастролей на счету «Международной книги». Но и это сделать не удалось. Так и осталось переложение Третьей симфонии неизданным. «Ситцами торговать легче, нежели вести прогрессивное музыкальное издательство», – негодовал Мясковский⁴⁸.

Сюита из оперы «Огненный ангел», как говорилось уже, не была написана Прокофьевым. Нина Кошиц примет однако участие в премьере фрагментов оперы, которую проведет Кусевицкий в Париже в 1928.

Два фрагмента из оперы «Любовь к трем апельсинам» ор. 33-ter (Скерцо и Марш) Кусевицкий, как говорилось выше, дирижировал в Париже еще 26 октября

⁴⁵ Сергей Прокофьев – Николаю Мясковскому, 4 января 1923, Этгаль. – Там же. С. 149.

⁴⁶ Сергей Прокофьев – Николаю Мясковскому, 1 июня 1924, Париж. – Там же. С. 194.

⁴⁷ Сергей Прокофьев – Николаю Мясковскому, 13 июля 1933, Париж. – Там же. С. 401.

⁴⁸ Николай Мясковский – Сергею Прокофьеву, 29 августа 1933, Москва. – Там же. С. 405.

1922, однако Сюиту из оперы ор. 33-bis играть здесь не стал. Мировую премьеру ее осуществил (29 ноября 1925, Париж) французский дирижер Филипп Гобер (Philippe Gaubert) (1879-1941). В США Сюита впервые прозвучала под управлением Кусевицкого в Бостоне (12-13 ноября 1926), была сыграна затем в концерте Бостонского оркестра в Нью-Йорке (25 ноября) и многократно исполнялась Кусевицким (хотя и фрагментарно) впоследствии.



Сергей Кусевицкий

Ирония Прокофьева в отношении Николая Метнера имела под собой двойную почву. С одной стороны, она коренилась в том, что ему была хорошо известна давняя антипатия Метнера к его творчеству. Вместе с Рахманиновым Метнер, как мы помним, тормозил попытки молодого Прокофьева опубликовать свои сочинения в РМИ. С другой стороны, ирония эта основывалась на охлаждении отношения к Метнеру со стороны Кусевицкого. Именно по этой причине слова Прокофьева о Метнере требуют несколько более подробного комментария.

Эмигрировав из Советской России в 1921, Метнер очень надеялся на поддержку Кусевицкого. Ведь именно он провел в Москве вместе с автором премьеру его Первого фортепианного концерта (12 мая 1918), музыка которого произвела на него тогда сильное впечатление, именно с ним Метнер вторично играл его (24 декабря 1918). В письмах к

Эбергу композитор спрашивал о перспективах своего сотрудничества с Кусевицким как издателем и дирижером.

Кусевицкий пригласил было Метнера сыграть Фортепианный концерт в одной из своих ноябрьских программ 1921 в Grand Opéra. Однако не будучи уверен, что живший тогда еще в Ревеле композитор успеет вовремя получить французскую визу, он изменил программу и выслал Метнеру чек на 25 000 марок взаимобразно. Ободренный этим, композитор спрашивает в письме к Кусевицкому, может ли он надеяться на издание своих произведений в РМИ и участие в его парижских концертах. Ответ, пришедший за подписью Наталии Кусевицкой, окончательно разбивает его надежды. Метнер чувствует себя уязвленным. Получив в январе 1923 чек на 50 000 марок от Рахманинова и следуя его совету, он возвратит полученные от Кусевицкого деньги в кассу РМИ в счет будущих публикаций своих сочинений.

В Дневнике Прокофьева зафиксирован пересказанный ему Эбергом диалог с Метнером: «Метнер: почему издательство не печатает моих сочинений? Эберг: нет денег. Метнер: ну, а Стравинского вы печатаете? Эберг: на печатание Стравинского Н[аталия] К[онстантиновна] дает деньги из своих частных средств. Метнер: а Прокофьев? Эберг: тоже»⁴⁹.

Гастролируя осенью 1924 – весной 1925 в Америке, Метнер исполнял свой Фортепианный концерт в Филадельфии и Нью-Йорке под управлением Леопольда Стоковского, в Чикаго – Фредерика Стока, в Цинциннати – Фрица Рейнера (1888-1963), в Детройте – Осипа Габриловича. «Итак, почти везде в главных пунктах мне придется играть, – делится он, – **кроме Бостона**, резиденции Его Кусевичества... Ну, да Бог с ним»⁵⁰.

Полтора десятилетия спустя к Кусевицкому обратятся организаторы новых гастролей Метнера в США с

⁴⁹ ПД-2. С. 261.

⁵⁰ Николай Метнер – Эмилию Метнеру, 20 октября 1924, Нью-Йорк. – В кн.: Н.К. Метнер. Письма. Составление и редакция З.А. Апетян. Москва: «Советский композитор», 1973. С. 288.

вопросом о возможности выступления композитора с Бостонским оркестром в качестве солиста.

За рубежами России обострилось несходство музыкальных идеалов Кусевицкого – поборника новой музыки и Метнера – яростного антипода модернизма. Фортепианный концерт Стравинского, на премьерке которого в Париже Метнер побывал, явил собой для него «...не только безобразную музыку или даже не музыку, а голый ритм, наполненный случайными звуками, но и не менее безобразную звучность!»⁵¹.

Изменение творческих приоритетов дирижера стало, надо думать, основной причиной его охлаждения к Метнеру. Возможно однако предположить и другую. Невольно для самого себя Кусевицкий мог распространить на композитора свое крайне негативное отношение к его брату Эмилию Метнеру. Ярый антисемит, в равной мере обращал он свое юдофобство против Карла Маркса, Зигмунда Фрейда и Рудольфа Штейнера, а в начале 30-х г.г. сделался апологетом Гитлера и Муссолини⁵².

Бельгийский дирижер Франсуа (Франц) Рульман (Rühlmann, Françs) (1868-1948), после окончания Брюссельской консерватории выступал в Льеже, Антверпене, работал ассистентом дирижера театра de la Monnaie (Théâtre Royal de la Monnaie) в Брюсселе. В 1905-1913 – главный дирижер Opéra-Comique в Париже, с 1916 – работал в Grand Opéra. Осуществил мировую премьеру Сюиты из балета Прокофьева «Шут» (15 января 1924, Брюссель) и, годом ранее, первое в Бельгии исполнение его «Скифской сюиты» (14 января 1923).

«Полевлением» своей музыкальной жизни Брюссель был во многом обязан пианисту, дирижеру и музыковеду, энтузиасту современной музыки Полю Коллару (Paul Collaer) (1891-1989) – организатору камерных Концертов “Pro Arte”(1920), активному участником популярных

⁵¹ Николай Метнер – Сергею Рахманинову, 28 мая 1924, Эрки [Erquy], Бретань. – Там же. С. 271.

⁵² См.: Магнус Юнггрен. Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. Санкт-Петербург: «Академический проект», 2001.

симфонических концертов, позднее – многолетнему директору Фламандского Радио (Flemish Radio). Подтверждением мысли Прокофьева об изменении отношения в столице Бельгии к современной музыке сделаются мировые премьеры оперы Прокофьева «Игрок» – 29 апреля 1929, (Théâtre de la Monnaie, дирижер М. Корнейль де Торана (Maurice Corneil de Thoran) (1881-1953) и «Симфонии псалмов» Стравинского -13 декабря 1930, брюссельский Дворец искусств, дирижер Эрнест Ансерме (Ansermet) (1883-1969).

С.С. Прокофьев – В.Н. Цедербауму

3 декабря 1924, Bellevue

Многоуважаемый Владимир Николаевич,

Едва я Вам отправил мое подробное письмо 20 ноября, как через несколько дней пришло Ваше от 9 ноября. Это очень хороший симптом, что Бреннен предлагает расплатиться за меня с Хенселем. Разумеется я и не желаю иного менеджера, чем Бреннен, ибо, находясь при Бостонском оркестре, он имеет самые широкие возможности, каких Хенселю и не снилось.

Крепко жму Вашу руку и благодарю Вас за успешные демарши. Постараюсь Вам исчерпывающе ответить на все Ваши вопросы.

1. О моем финансовом отношении к Хенселю я Вам излагаю в отдельном прилагаемом письме, которое нарочно пишу по-английски, дабы Вы могли в случае надобности передать его Бреннену для руководства при производстве расчета. Как Вы увидите, там есть спорных 500 долларов.

2. Относительно процентов, которые будет взимать с меня Бреннен, я думаю, что у него должны быть свои правила на этот счет и что скорее он должен предложить мне свои условия, а не я назначить ему. Я уже писал Вам, что Хенсель брал с меня 15 – это очень добросовестно; 20 было бы туда-сюда, терпимо, а 25 моему уже процент разбойный.

3. Что касается моих дирижерских выступлений, то в самом деле, я не помню, когда я дирижировал чужими вещами. Но у меня есть некоторые симпатии,

которые вероятно покажутся странными и не совсем выгодными, но все же я охотно за них взялся бы. Например: симфонии Мясковского; или некоторые симфонии Глазунова, которые хотя я и не считаю первоклассными, но которые знаю с детства и люблю по детским воспоминаниям; из Р[имского]-Корсакова я люблю некоторые мало известные его вещи, как Симфониетту или «Сказку»; из Даргомыжского – «Чухонскую фантазию». Но я совершенно не представляю себя исполнителем «стандартных» русских вещей, как симфонии Бородина или Чайковского, «Шехеразады», «Ночи на Лысой горе» или «Петрушки». Еще меньше – классического репертуара или иностранного модерна! Так или иначе – относительно моих дирижерских выступлений лучший совет сможет дать Сергей Александрович.

4. Из концертов с оркестром я могу, кроме трех моих, играть Концерт Римского-Корсакова – и точка. Сергей Александрович кажется поругивает этот последний, но это напрасно: он очаровательно звучит с оркестром и неизменно производит хорошее впечатление. Я между прочим уже играл его со Странским⁵³ в Нью-Йорке, вообще же его в Америке почти не знают.

5. О программах реситалей и писал Вам в прошлый раз. Кроме моих сочинений, я могу играть: мои транскрипции вальсов Шуберта и фуги Букстехуде; затем 6 «Картинок с выставки» Мусоргского, 4 «Причуды» Мясковского, «Сказку» Метнера, первую часть Сонаты Чайковского и еще несколько русских мелочей. Между прочим это Боровский догадался играть не всю Сонату Чайковского, а только первую часть, и поступил чрезвычайно остроумно, ибо первая часть превосходная, а остальные – дрянь, и именно по этой причине Сонату почти никогда не играют. Зубрить еще классический репертуар было бы для меня величайшею

⁵³ Йозеф Странский (1872-1936) – чешский дирижер, ученик Дворжака и Брукнера, в 1911-1923 – дирижер (вслед за Малером) Оркестра Нью-Йоркской филармонии.

отравую, и я прошу меня избавить от этого. Времени я ухлопаю пропасть, а сыграю посредственно. Что касается пополнения моего русского репертуара, то это не так просто: пополнять модерном не имеет смысла, а среди фортепианной русской литературы прошлого века прямо-таки ничего не найдешь! Если Бреннен будет устраивать мне ресайтли в Нью-Йорке или Чикаго, то пусть имеет в виду, что там я вышеупомянутые вещи русских авторов уже играл, поэтому в этих двух городах я буду играть только мои сочинения, – надо думать они уже дозрели до этого.

6. Из вокальных сочинений у меня, слава Богу, есть 22 романса плюс «Гадкий Утенок». Все это скоро будет напечатано с текстами на четырех языках.

7. Для камерных выступлений у меня есть, кроме виолончельной Баллады, «Еврейской увертюры» и фаготного скерцо, новый Квintет для гобоя, кларнета, скрипки, альты и контрабаса. Хотя фортепиано в нем не участвует, но все же этот Квintет может идти а тот же вечер без меня. Я также могу сыграть Виолончельную сонату Мясковского.

8. Вам может быть покажется странным, что я даю не ходовой репертуар, а какой-то странный подбор вещей, которые не могут рассчитывать на тот же успех, как другие, более популярные комбинации. Вы и, может быть, Бреннен скажете, что я сам себе порчу мой будущий успех. Но не надо забывать, что всякий исполнитель силен только в том, что близко его сердцу. Если же меня будут заставлять играть то, к чему я не чувствую призвания, то я буду исполнять эту барщину как второразрядный пианист, проклиная при этом свою судьбу. Поэтому, если Бреннен хочет, чтобы я давал максимум того, что я могу дать, – надо чтобы он позволил мне держаться главным образом моих сочинений.

9. В прошлом письме я сообщал Вам, что, кроме долгов Хенселю, у меня есть еще долги журналам за объявления. Долги эти следующие: “Musical Courier” \$390.15, “Musical America” \$317.51, “Musical Leader”

\$60.00. Очень было бы хорошо, если бы Бреннен взял на себя немедленно расплатиться с ними. Я Вам сейчас расскажу почему: эти журналы давно потеряли всякую надежду получить с меня деньги, ибо объявления, за которые я им должен, относятся к 1919 году. Поэтому, если предложить теперь первым двум по 150-200 долларов, а последнему 25, то они вероятно согласятся этими суммами удовлетвориться и аннулировать мои долги. Если же я через год торжественно явлюсь в Америку, то разумеется они будут требовать все суммы сполна. Еще лучше даже, если к ним обратится не Бреннен (если к ним обратится Бреннен, то они пронюхают, что у меня какие-то перспективы), а скажем Хенсель, которого Бреннен может попросить это сделать, когда будет улаживать с ним мой переход. Деньги даст Бреннен, но переговоры с журналами поведет Хенсель, как бы от себя. Я уверен, что таким способом можно будет отвертеться 300-400 долларами вместо 767. Между прочим возможно, что эти журналы будут предлагать новые абонементы на объявления, но я надеюсь Бреннен не найдет нужным этого делать: до сих пор эти объявления не принесли мне никакой пользы, а денег, как видите, ухлопано пропасть.

10. Если при принятии Бренненом моего менеджмента, возникнут еще какие-нибудь вопросы, то пожалуйста посоветуйтесь с Сергеем Александровичем. Я до сих пор всегда следовал его советам и очень верю им. Я уверен, что ему с высоты бостонского дирижерского пульта многие вопросы даже яснее, чем мне из глубины бельвюсской долины, а потому я всецело полагаюсь на его добрые решения.

Посылаю вам копии моих европейских рецензий, которые, если надо, передайте Бреннену. В январе я буду играть в Германии, тогда смогу добавить и немецкие, с которыми кажется очень в Америке считаются. Прилагаю также несколько старых моих американских 1919/20 года. В них, к сожалению, не указаны даты газет, но оригиналы находятся у Хенселя, они наклеены в

отдельной книге, которую Бреннен может взять у него, когда будет обсуждать мой уход от Хенслея.

Итак, кончаю с моими делами. Вчера (2-го) звонил мне Люблинский⁵⁴: он получил от Бреннена телеграмму – прислать немедленно материал 3-го концерта для исполнения его 9 декабря Боровским. Сделать этого мы не могли, т[ак к[ак] печатный материал все еще не готов (хотя и вот-вот будет), а если бы я даже рискнул послать мой рукописный, который может мне понадобиться для моих собственных выступлений, то «Аквитания» шла 3 декабря, следовательно в Нью-Йорке она 8-го, а потому материал раньше 9-го в Бостоне быть бы не мог. Т[ак к[ак] без репетиций концерт все равно не пошел бы, то я советовал Люблинскому телеграфировать отказ.

Когда Боровский был у меня в октябре, он спрашивал, к какому времени будет напечатан материал 3-го концерта. Я ответил: к концу ноября. Полагаю, что так и случилось бы, но тем временем Эберг получил от Вас директиву прислать как можно скорее материал Скрипичного концерта, о фортепианном же – ни слова. Поэтому остановили печатание 3-го, чтобы пропустить вперед Скрипичный. Завтра я пойду в нотопечатню, чтобы подогнуть подлецов и, если можно, узнать даты выпуска 3-го концерта и Скрипичного⁵⁵.

Передайте пожалуйста мои лучшие приветствия Наталие Константиновне и Сергею Александровичу, Вам же еще раз жму руку и благодарю Вас за радения.

Искренне Ваш

СПрокофьев

Разумеется, в обмен надо получить от журналов расписки, что они удовлетворены и больше с меня ничего не требуют.

⁵⁴ Личность Люблинского установить не удалось.

⁵⁵ Американская премьера Первого Скрипичного концерта была проведена в Бостоне Ричардом Бургиным под управлением Кусевицкого (24-25 апреля 1925). Третий фортепианный концерт исполнялся бостонцами Прокофьевым и Кусевицким (29-30 января 1926, Бостон; 4 и 6 февраля, Нью-Йорк).

Машинопись с подписью от руки, сноски написана Прокофьевым от руки. Послано в Бостон. АК-БК. Копия – РГАЛИ, ф. 1929 (С.С. Прокофьев), оп. 5, ед. хр. 13. Опубликовано не полностью: Советская музыка. 1991. № 5. С. 78.

Вальсы Шуберта-Прокофьева, выбранные и объединенные в Сюиту для фортепиано в две руки, как и Органная прелюдия и fuga для фортепиано Букстехуде-Прокофьева были изданы «А. Гутхейлем» в 1923. Как говорилось выше, для балетмейстера Бориса Романова Прокофьев сделал четырехручное переложение шубертовских вальсов. В этой версии они увидели свет в 1938 в Музгизе, Москва.

Соображения Прокофьева относительно своего исполнительского репертуара интересны помимо всего еще и тем, что как дирижер он готов был исполнять сочинения композиторов, к творчеству которых в целом относился скептически – Метнера и Глазунова, а как пианист играть того же Глазунова – его Гавот op. 49 № 3 был записан им в компании Aeolian Duo-Art (1920). Из названных в письме фортепианных сочинений Прокофьевым-пианистом были записаны в той же компании «Быдло», «Балет невылупившихся птенцов» (1923), «Променад» и «Старый замок» (1926) из «Картинок с выставки» Мусоргского и две пьесы (№№ 1 и 6) из цикла Мясковского «Причуды» (1930).

Говоря об издании Кусевицким своих вокальных сочинений, Прокофьев имеет в виду Два стихотворения: «Есть другие планеты» (К. Бальмонт) и «Отчалила лодка» (А. Апухтин) для голоса с фортепиано op. 9, «Гадкий утенок» op. 18, Пять стихотворений для голоса с фортепиано op. 23, Пять стихотворений А. Ахматовой для голоса с фортепиано op. 27, Пять песен без слов для голоса с фортепиано op. 35, Пять стихотворений Бальмонта op. 36, Две песни для голоса с фортепиано из музыки к кинофильму «Поручик Киж» op. 60-bis. Упомянув камерные произведения, Прокофьев имеет в виду Балладу для виолончели и фортепиано op. 15, Увертюру на еврейские темы для кларнета, двух скрипок, альты, виолончели и фортепиано op. 34, и Квintет op. 39. Юмористическое скерцо для четырех фаготов op. 12-bis было издано Юргенсоном.

С.С. Прокофьев – Н.К. Кусевицкой

23 декабря 1924, Bellevue

**Дорогая Наталия Константиновна,
Поздравляю Вас и дорогого Сергея Александровича с праздниками и желаю обоим, чтобы в Новом Году в Вашем домашнем хозяйстве Вы каждый день за обедом ели бы лавровый суп!**

Вы вероятно уже получили отпечатанные партитуры и материал Скрипичного концерта, которые были отосланы неделю тому назад. А сегодня поехал в Бостон и материал Третьего концерта, рукописный, потому что печатный, хотя и отпечатали, но из-за праздников еще не доставили в Издательство, а т[ак] к[ак] Эберг, страдая бедностью, как огня боится нового счета за печатание 3-го концерта, то получение этого материала может затянуться еще дней на 10. Поэтому, чтобы не затягивать, я и просил Эрнеста Александровича отправить сегодня Вам рукописные партитуру и голоса.

Пташка присоединяется к моим поздравлениям и шлет Вам и Сергею Александровичу ее лучшие пожелания. Рождество мы не собираемся проводить никак, т[ак] к[ак] проходим сейчас через полосу траура: скончалась моя мама от разрыва сердца. Ее здоровье было в корне подорвано российскими событиями. Прошлой зимою она была опасно больна, этим летом чувствовала себя гораздо лучше, но то была последняя вспышка. Похоронили ее здесь, в Бельвю. После этого печального события нам хотелось бы переехать в другое место, – дом, в котором все это разыгралось, опротивел, но контракт с хозяином заключен до мая – и потому придется остаться.

Передайте маэстро, что я все жду от него американские трактаты про духовые инструменты – это мне нужно для оркестровки симфонии, к которой я теперь приступил.

Целую Ваши ручки и буду чрезвычайно рад получить от Вас весточку. Вы пока были очень молчаливы. Сергея Александровича крепко обнимаю.

Любящий Вас

СПрокофьев

Прошу передать Владимиру Николаевичу мои лучшие пожелания к Новому Году.

Машинопись с подписью от руки. Послано в Бостон. АК-БК. Копия – РГАЛИ, ф. 1929 (С.С. Прокофьев), оп. 5, ед. хр. 7. Опубликовано: Советская музыка. 1991. № 5. С. 78-79.

Во фразе Прокофьева о лавровом супе сквозит его ирония относительно лавровых венков, которых достаивается Кусевицкий.



На одной из последних фотографий Мария Григорьевна Прокофьева запечатлена сидящей в саду вблизи дома в Бельвю в окружении С.С. Прокофьева, Л.И. Прокофьевой и с маленьким Святославом на коленях – «все еще статная и крепкая на вид женщина...»⁵⁶. Прокофьев в дневнике: «Кончина мамы у меня на руках, в 12.15 ночи на тринадцатое декабря»⁵⁷.

⁵⁶ David Nice. Prokofiev. From Russia to the West. 1891 -1935. New Haven and London: Yale University Press, 2003. P. 207. ("A still handsome and substantial-looking woman...")

⁵⁷ ПД-2. С. 294.

С.С. Прокофьев – С.А. Кусевицкому

2 января 1925, Bellevue

Дорогой Сергей Александрович,

Третьего дня была у меня Лия Любошиц, которая играла мне мой Скрипичный концерт. Играла она хорошо, лучше Дарье. Вчера она уехала в Америку, где собирается исполнять его в нескольких местах, но первое исполнение желала бы иметь с тобою. Эрнест Александрович говорил мне, что из последнего письма Наталии Константиновны он понял, будто материал Скрипичного концерта опоздал к выступлению Бургина. Поэтому, если исполнение Бургиным этого концерта полетело к козлу на рога, то может быть очень хорошо, если бы его сыграла Лия? Во всяком случае сообщаю тебе, что ее менеджер – Юрок, и что она очень бы хотела это сделать. Между прочим Э[рнест] А[лександрович] винит меня в том, что я не согласился в свое время отправить тебе оттиски непрокорректированного материала Скрипичного концерта; тогда ты получил бы его на месяц раньше. Но я никак не мог решиться на такой поступок, т[ак] к[ак] знаю, что ты проклял бы меня на первой же репетиции, если бы у тебя оказался материал, полный ошибок!

Вчера я был чрезвычайно удивлен, встретив Цедера⁵⁸, который сообщил мне, что у Вас вышла размолвка и потому он неожиданно порхнул из Америки в Европу. Вот тебе и раз! Кто же теперь будет стучать на машинке под твой диктант? Наталия Константиновна сделалась очень черствой по отношению ко мне и пока не подарила меня ни одной буквой, а у тебя наверно рука запухла от палочки, – неужели я так-таки теперь от Вас до весны ничего и не услышу?!

А какая судьба может постичь переговоры с Бренненом относительно моего менеджества на будущий сезон? Цедербаум, когда был еще в Америке, прислал мне два длинных письма, сообщая, что с твоего благословления он начал с Бренненом переговоры обо мне. Я тогда послал Цедербауму все необходимые

⁵⁸ Речь идет о В.Н. Цедербауме.

материалы обо мне, о моих отношениях с предыдущим менеджером, о долгах, программах и пр[очее].

Теперь же, когда Цедербаум так неожиданно вылетел в Европу⁵⁹, это дело как-то по-моему повисло в воздухе и я не знаю, где остановились переговоры. Конечно, я отлично понимаю, что роль тут у Цедера маленькая и что мое турне зависит не от милости Бреннена, а прежде всего и главным образом от тебя, но с другой стороны, я тоже понимаю, что тебе с твоими 125 концертами совершенно некогда входить в различные детали обо мне. Поэтому не думаешь ли ты, что мне пора обратиться с письмом непосредственно к Бреннену? На всякий случай я при сем прилагаю письмо к нему по-английски, в котором излагаю все детали. Прилагаю также русский перевод этого письма⁶⁰. Пожалуйста, прочти его, и если ты находишь, что оно написано правильно *и момент подходящий*⁶¹, то передай его Бреннену.

Симфонию оркеструю, но партитура ползет медленно. Не потому, что я занимаюсь ею мало, наоборот, я сижу над ней каждое утро, но оттого, что страницы партитуры заполнены сверху до низу, притом очень цветисто. А для того, чтобы разводить все эти цветы, надо не мало времени и изобретательности. Во всяком случае ты отведи ей место в какой-нибудь апрельской программе, такой срок был бы для меня спокойнее всего. А что же ты ничего не ответил про Сюиту из «Апельсинов»? Нужна она тебе для майского Парижа или нет? А школу тромбонов тоже не прислал. Вообще наплевал на меня. Это ужасно не ласково.

С Издательством мое положение прямо трагическое. Печатается только 5-я соната (с лета – 22

⁵⁹ Напомним, что слова о неожиданном вылете Цедербаума в Европу написаны Прокофьевым до эры трансатлантической авиации и, таким образом, слово «вылетел» приобретает здесь совершенно иной смысл.

⁶⁰ См. ниже письмо С.С. Прокофьева к Бреннену от 3 января 1925.

⁶¹ Взятые в курсив слова приписаны С.С. Прокофьевым между строк от руки.

страницы) да перепечатывается несколько старых романсов. «Классическая симфония» приостановлена. О Втором концерте Эдуард Александрович и слышать не хочет, ни о партитуре, ни о клавири. А между тем к весне у меня для печати будут еще: 2-я симфония, Сюита из «Апельсинов», Квintет и клавир «Семеро их», а к осени вероятно опера⁶². Я чувствую себя каким-то Ипполитовым-Ивановым или просто Ивановым, но и тех кажется в свое время печатали оживленнее. Ведь так еще год или два, и у меня окажется воз неизданных рукописей, особенно если мне удастся достать из России те, которые уже принадлежат Издательству по контракту! Вот ты и рассуди, какое у меня в связи с этим возникает настроение.

Крепко тебя обнимаю и прошу тебе поцеловать ручки у Наталии Константиновны. Желаю Вам обоим яркого цветения в этом году, здоровья, успехов и удачных пасьянсов (что тоже очень важно для настроения!)

Любящий тебя

СПрокофьев

Машинопись с подписью от руки. Послано в Бостон. АК-БК. Копия – РГАЛИ, ф. 1929 (С.С. Прокофьев), оп. 5, ед. хр. 8.

Перевод моего письма Бреннену от 3 января 1925:

С.С. Прокофьев – У. Бреннену

3 января 1925, Bellevue

Уважаемый Мр. Бреннен,

Секретарь г. Кусевичского Цедербаум писал мне из Бостона, что Вы склонны взять мой менеджмент для Соед[иненных] Штатов. Т[ак] к[ак] г. Цедербаум в настоящее время покинул Америку, то я думаю, что нам лучше всего войти в непосредственные отношения. Я сочту для себя большим удовольствием работать с Вами, ибо я знаю, каким вниманием пользуется Ваше имя в Соед[иненных] Штатах. До сих пор моим менеджером был мистер Хенсель, Нью-Йорк. В течение трех последних лет он не смог достать мне ни одного

⁶² Прокофьев имеет в виду оперу «Огненный ангел».

ангажмента; полагаю, что это может быть достаточным объяснением, почему я покидаю его. Мы с ним не имели контракта, все дела велись на слово, поэтому я хотел бы, чтобы мы расстались как джентльмены.

Будьте добры сообщить мне Ваши условия для нашей будущей совместной работы. Мистер Хенсель брал с меня 15 процентов.

Секретарь г. Кусевицкого писал мне, что Вы имели любезное намерение заплатить Хенселю ту сумму, которую я ему должен с тем условием, что я возьму Вам это из гонораров тех концертов, которые Вы мне устроите. Согласно счету, предъявленному мне Хенселем, я должен ему 1294 доллара 42 цента, но я полагаю, что эта сумма может быть уменьшена до 789 долларов 42 центов. В конце этого письма я дам детальные объяснения, на каких основаниях я предвижу это уменьшение.

Кроме долга Хенселю я имею несколько других, которые было бы хорошо ликвидировать до моего возвращения в Америку. Я имею в виду долги музыкальным журналам за объявления. Я должен:

390 долларов 15 центов – «Музыкальному курьеру»

317 долларов 51 цент – «Музыкальной Америке»

60 долларов – «Музыкальному лидеру».

Если по возвращении в Америку я буду иметь успех, то эти журналы потребуют от меня уплаты сполна. Но если бы Вы сейчас предложили им половину или даже меньше, то я уверен, они были бы готовы на этом аннулировать счета, ибо мои долги являются результатами контрактов, заключенных с журналами еще в 1919 году, и потому эти господа уже давно потеряли надежды получить от меня.

Могу ли я надеяться, что вы заплатите этим журналам на тех же основаниях, на которых Вы готовы заплатить Хенселю? Если да, то лучше, чтобы это дело было проведено мистером Хенселем. Если расчет будете производить Вы, то журналы почувствуют, что предо мною открылись новые возможности и будут настаивать на выплате сполна.

Возможно, что аннулируя мои счета, они будут предлагать новые контракты на объявления. Я бы не хотел соглашаться на это, т[ак] к[ак] мой предыдущий опыт не принес мне никаких выгод.

Когда Вы будете доставать мне ангажементы на будущий сезон, нельзя ли их так распределить, чтобы моя поездка в Америку не превзошла 2 или 3 месяцев, ибо в течение будущего сезона я предвижу постановки моих опер в нескольких европейских театрах, на которых я хотел бы присутствовать. Однако я не хотел бы приезжать в Соединенные Штаты, если общая сумма моих гонораров оказалась бы слишком скромной: если после вычета расходов по переездам и пребыванию, а также долгов Хенселю и журналам мне останется мало, то интерес поездки будет сомнителен – тогда для меня интереснее сидеть спокойно, посвящая время сочинению новых произведений.

Разумеется, я хотел бы, чтобы мой дебют имел место с Бостонской Симфонией.

Что касается характера моих концертов, то лучше всего мне удастся исполнение моих собственных сочинений. Я могу исполнять русскую музыку, но в меньшем количестве. Я должен признаться, что хотя я уважаю классиков, их исполнение не так удается мне, а потому я надеюсь, что Вы избавите меня от необходимости ставить их на программы.

С оркестром я могу играть три моих концерта и Концерт Римского-Корсакова. Для реситалей я имею две различные программы из моих сочинений и почти целую программу из русской музыки. Для камерных концертов я имею Сонату-Балладу для виолончели и ф[орте]п[иано]⁶³, Увертюру на еврейские темы для кларнета, двух скрипок, альты, виолончели и ф[орте]п[иано], Квintет для гобоя, кларнета, скрипки, альты и контрабаса, а также Скерцо для четырех

⁶³ Не ясно, какое произведение имеет здесь в виду композитор: Виолончельная соната оп. 119 будет сочинена им только в 1949, Баллада же для виолончели и фортепиано оп. 15 (1912) не имеет в своем названии слово «соната».

фаготов. Я также могу исполнить интересную Сонату Мясковского для виолончели и ф[орте]п[иано](в первый раз в Америке). Для реситалей с певцом или певицей у меня есть 23 романса моего сочинения. Все они изданы с английским текстом. Как дирижер, я могу продирижировать несколько русских партитур, некоторые из них в первый раз в Америке.

Буду ждать Вашего ответа с большим интересом. Если у Вас явятся некоторые вопросы, которые недостаточно освещены в этом письме, то будьте добры переговорить о них с г. Кусевицким, на мнение которого я в высокой степени полагаюсь.

Искренне Ваш
Сергей Прокофьев.

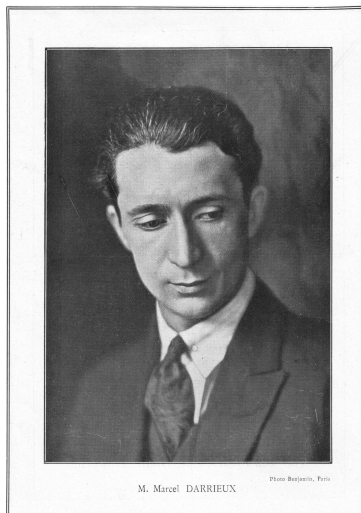
Далее следует постскрипtum с подробным изложением, почему я считаю, что мой долг Хенселю может быть уменьшен не 505 долларов, то есть с 1294 долларов низведен к 789 долларам. Переводить тебе весь этот постскрипtum я не буду, так как тебе эти технические подробности не интересны. Заканчивается оно так:

Я буду очень рад, если Вы сможете уладить это с мистером Хенселем. Однако, если Вам покажется, что вмешательство третьего лица в эти детали сможет быть неприятным для Хенселя, то я могу написать ему непосредственно. Все же, постольку поскольку Вы предложили уладить мои дела с Хенселем, я счел необходимым поставить Вас в известность о всех подробностях.

Машинопись с подписью от руки. Послано в Бостон. АК-БК. Вложено в один конверт с письмом к Кусевицкому от 2 января 1925. Копия: РГАЛИ, ф. 1929 (С.С. Прокофьев), оп. 5, ед. хр. 8.

Осуществленная Кусевицким мировая премьера Первого скрипичного концерта Прокофьева (18 октября 1923, Grand Opéra) привлекла внимание всего артистического Парижа. В зале присутствовали Кароль Шимановский, Артур Рубинштейн, Жозеф Сигети, Пауль Коханский, Пабло Пикассо, Александр Бенуа, Анна Павлова (Szymanowski, Szigeti). «Мы попали "с корабля на бал" – после эттальской тишины в бурный, кипящий Париж, на

премьеру, где встретили множество интересных людей, старых и новых знакомых...», – вспомнит впоследствии Лина Прокофьева⁶⁴.



Первый исполнитель Первого скрипичного концерта
С. Прокофьева Марсель Дарье

Успех Скрипичного концерта радовал Кусевичского – в «А. Гутхейле» готовилось его издание. Радовал он и Прокофьева, сознававшего, сколь велика в этом успехе роль солиста и дирижера. Константин Сараджев в рецензии на московскую премьеру Скрипичного концерта, осуществленную 21 октября 1923 – всего через три дня после его мировой премьеры в Париже – Натаном Мильштейном под аккомпанемент Владимира Горовица, призывал Прокофьева переработать его сольную партию. «К сведению джентльменов, считающих последний мало скрипичным, – парировал этот упрек композитор, – сообщая, что в Париже имел успех не столько самый концерт, сколько его исполнитель, который до тех пор был в

⁶⁴ Лина Прокофьева. Из воспоминаний. – В кн.: С.С. Прокофьев. 1953-1963. Статьи и материалы. Составление и редакция И. Нестьев и Г. Эдельман. Москва: «Советский композитор», 1962. С. 167.

абсолютной безвестности, а сыграв мой концерт у Кусевицкого, получил приглашения исполнить его в Париже еще 3 раза в течение сезона, не считая приглашений в провинцию»⁶⁵. И далее, адресуясь к Сараджеву, продолжал: «Пусть он пойдет и поцелуется с Ауэром, испепелившим в свое время концерт Чайкина»⁶⁶.

Вопреки изначальному скептицизму Прокофьев отзывался о Марселе Дарьё как о блестящем виртуозе и весьма даровитом музыканте. Премьера Первого концерта вписала его имя в историю. Два года спустя Дарьё сыграет в Париже (11 June 1925) премьеру Скрипичного концерта Курта Вайля (Kurt Weill). Хотя концерт этот был посвящен Жозефу Сигети, он так и не исполнил его. Позднее, скрипач примет также участие в концертной премьере в Париже Квинтета Прокофьева для гобоя, кларнета, скрипки, альты и контрабаса (12 апреля 1927).

В успехе парижской премьеры Скрипичного концерта немалая заслуга принадлежала Кусевицкому. После первых исполнений концерта в России, отвечая на упреки Мясковского в изъянах оркестровки партитуры концерта⁶⁷, Прокофьев подчеркивал: «...многие из Ваших упреков надо отнести все-таки на счет недостаточной срепетированности оркестра и второсортности дирижера. Вылезаящая туба, козящая труба, исчезающие альты – все это симптомы одной болезни: недостаточной эквилиброванности оркестра. Этот концерт так инструментован, что если не уравновесить звучность отдельных групп, то получится черт знает что. Кусевицкий этого достиг, – у него и альты доканчивали тему, и трубы

⁶⁵ Сергей Прокофьев – Николаю Мясковскому и Владимиру Держановскому, 4 декабря 1923, Oberammergau. В кн.: М-П. С. 178.

⁶⁶ Там же. Прокофьев имеет в виду Скрипичный концерт Чайковского, играть который, как известно, отказался поначалу Леопольд Ауэр.

⁶⁷ Мясковский имел, по всей вероятности, в виду исполнение Первого скрипичного концерта Жозефом Сигети с оркестром под управлением Александра Хессина (19 октября 1924, Москва).

звучали издалека, и туба выглядела симпатичным увальнем»⁶⁸.

При всем этом неизменно критически настроенный в отношении самого себя композитор сетовал, что, если бы первая часть Скрипичного концерта и его финал писались бы не семь лет назад, многое он сделал бы ныне по-другому. «Так противно, когда напишешь вещь и она ждет 7 лет милости исполнителя! На подобную тему (неисполнение «Семеро их») я даже бурно поссорился с Кусевицким, который считается моим пропагандистом. Теперь нас помирили, а Семеро все-таки лежат»⁶⁹.

Премьера Скрипичного концерта, как и прежде Третьего фортепианного, встретила в Париже далеко не однозначную реакцию. «Жаль, что, с точки зрения идей, произведение слишком напоминает мендельсоновское, – писал о скрипичном концерте композитор Жорж Орик, – а с точки зрения развития – богатую родственницу бедного Грига, одним словом, утопает в живописной, но весьма искусственной оркестровке»⁷⁰. Восторженно отзывавшаяся о премьерке Надя Буланже подмечала однако, что «...одаренный блестящим, даже слишком блестящим талантом, музыкант пишет, руководствуясь вдохновением и мало заботясь о выборе средств»⁷¹. Борис Шлецер усматривал в лирике Скрипичного концерта чрезмерную непосредственность, отсутствие должного самоограничения, отбора, как он выразился, самопожертвования, услышал в его музыке интонации а la Римский-Корсаков и Глазунов⁷².

⁶⁸ Сергей Прокофьев – Николаю Мясковскому, 9 ноября 1924, Bellevue, Seine et Oise. М-П. С. 205.

⁶⁹ Сергей Прокофьев – Петру Сувчинскому, 23 ноября 1923, Париж. Цит. по кн.: Петр Сувчинский и его время. Автор проекта, редактор-составитель А. Бретаницкая. Москва: Композитор, 1999. С. 93.

⁷⁰ Georges Auric. “Les Concerts”, “Nouvelle Litteraires”, 27 Octobre 1923.

⁷¹ Nadia Boulanger. “Concerts Koussevitzky», Le Monde Musical, 1 Novembre 1923.)

⁷² См.: Борис Шлецер. «Концерт Кусевицкого», «Последние новости», Париж, 24 октября 1923.

После парижской премьеры возникал ряд планов исполнения Первого скрипичного концерта в Америке. В июне 1924 о намерении (так и не осуществленном) включить его в программу своих гастролей по США в сезоне 1924-25 говорил Прокофьеву Павел Коханский.

Лия (Лея) Любошиц (Luboshutz) (1885-1965), игравшая Прокофьеву его Скрипичный концерт в Париже в начале 1925, принадлежала к лучшим представителям московской скрипичной школой. С Большой золотой медалью окончила она в 1903 Московскую консерваторию по классу профессора Яна (Ивана Войцеховича) Гржимали (1844-1915), гастролеровала в России и за рубежом, где занималась у Эжена Изаи. Участница (вместе с братом, пианистом Петром и сестрой, виолончелисткой Анной) широко известного в предреволюционной России Трио Любошиц, она эмигрировала в 1921, жила в Берлине и Париже, а с 1925 – в США. В 1927-1947 преподавала в Кертис Институте (Curtis Institute) в Филадельфии и возглавляла Curtis String Quartet.

Кусевицкий многие годы был тесно связан с семьей Любошиц. Еще в августе 1905 с помощью известного в Москве юриста Онисима Голдовского – будущего мужа Леи Любошиц – было достигнуто соглашение Кусевицкого со своей первой женой артисткой кордебалета Большого театра Надеждой Петровной Галат (1875-?), не желавшей давать ему развода. Брат скрипачки Петр Любошиц аккомпанировал Кусевицкому как контрабасисту еще в России, с ним же состоятся в 1928 выступления Кусевицкого-контрабасиста в Америке. С сыном Лии Любошиц и Онисима Голдовского пианистом и оперным режиссером Борисом Голдовским (1908-2001) Кусевицкий будет впоследствии сотрудничать в Беркширском музыкальном центре в Танглвуде.

Американскую премьеру Первого скрипичного концерта Прокофьева (24-25 апреля 1925, Бостон) провел однако под управлением Кусевицкого концертмейстер БСО Ричард Бургин (1892-1981). Американский скрипач русского происхождения, Бургин играл на скрипке с восьми лет, учился у Йозефа Иоахима в Берлине и у Леопольда Ауэра в

Петербурге (1908-1912), дебютировал в 11 лет с оркестром Варшавской филармонии. Как солист выступал в крупных городах России и Западной Европы, впервые в Америке гастролировал в 1907-1908. Был некоторое время ассистентом Ауэра в Стокгольме и Христиании. Работая концертмейстером оркестров Петербурга, Хельсинки, Христиании и Стокгольма, он возглавлял струнные квартеты, выступал под управлением множества знаменитых дирижеров (в том числе бывших руководителей БСО Макса Фидлера и Артура Никиша), а также композиторов Рихарда Штрауса и Сибелиуса. Играл Скрипичный концерт Сибелиуса с автором-дирижером.

В 1920 в Бостоне был объявлен конкурс на место концертмейстера оркестра. Бургин встретился в Париже с возглавлявшим тогда оркестр Пьером Монте. «Я слушал игру Бургина не более пяти минут, – напишет много лет спустя дирижер. – Он был поражен, когда услышал от меня: «Вы – новый концертмейстер Бостонского симфонического оркестра». Мы пожали друг другу руки и я сказал: «Добро пожаловать в Бостон!» <...> Замечательный музыкант – скрипач, он сделался впоследствии очень хорошим дирижером. Я был счастлив своим выбором Бургина. Моя вера в него <...> никогда не была поколеблена»⁷³.

Еще будучи студентом Петербургской консерватории, Бургин многократно слушал Кусевицкого – и как контрабасиста, и как дирижера. Весной 1922 скрипач присутствовал на концерте Кусевицкого в Париже и зашел после окончания программы в артистическую приветствовать его. Кусевицкий пригласил Бургина посетить его на следующий день дома. За первой встречей последовала вторая – дирижер интересовался новостями музыкальной жизни Америки. «Как только вы обменивались рукопожатием с Сергеем Кусевицким, – вспоминал позднее Бургин, – вы ощущали себя совершенно легко и свободно <...>. Покидая Париж, я уносил с собой замечательные воспоминания о нескольких часах, проведенных с исключительно сердечным человеком,

⁷³ Цит. по: Doris Monteux. It's All In The Music. The Life and Work of Pierre Monteux. London: William Kimber, 1966. P. 115.

человеком, который был, как принято говорить, важной персоной»⁷⁴.

В апреле 1923 Пьера Монтё сказал Бургину, что покидает Бостон. На вопрос, кто будет его приемником, дирижер ответил уклончиво: музыкант, которого Вы встречали год назад в Париже... Бургин без труда сделал соответствующее умозаключение. Летом в Париже состоялись его новые встречи с будущим музыкальным директором БСО.

Кусевицкий относился к Бургину с неизменным уважением, ценил в нем не только великолепного скрипача, лидера оркестра, но и музыканта широкого кругозора. Как солист Бургин появлялся в программах БСО с концертами Бетховена, Брамса, Сибелиуса, играл – вместе с концертмейстером группы виолончелей Жаном Бедетти (Jean Bedetti) – Двойной концерт Брамса. Многократно выступал и как камерный исполнитель. За три с лишним десятилетия работы в БСО Бургиным не был однако записан под управлением Кусевицкого ни один скрипичный концерт. Записаны лишь Второй, Четвертый и Пятый Бранденбургские концерты Баха.

В октябре 1934 Кусевицкий назначил Бургина дирижером-ассистентом БСО, настаивал, чтобы он дирижировал не менее трех недель каждого сезона. Писал, что «...его осязаемый прогресс в дирижировании признан всеми»⁷⁵. В программах Бургина часто звучали произведения советских авторов – Вторая симфония Рейнгольда Глиэра, Восьмая Николая Мясковского, Симфонию ор. 11 Юрия Шапорина (1887-1966), Первая и Пятая симфонии Дмитрия Шостаковича.

Современники вспоминали Бургина как «...человека острого аналитического ума, живую, сердечную личность, богатую знаниями – музыкальными и всяческими другими», как «заядлого игрока» и о «человеке, интересующимся

⁷⁴ Цит. по: “The Koussevitzky Symposium at Tanglewood. July 27, 1974”. “Koussevitzky Recording Society's Newsletter”, Vol. VIII, No. 2, Fall 1995. P.P. 3-4.

⁷⁵ Serge Koussevitzky to Jerome D. Green, August 30, 1943, Lenox, Massachusetts. – AK-LC.

политикой»⁷⁶. Не послужило ли последнее – в добавок к его русскому происхождению – причиной того, что во времена сенатора Маккарти и «погони за ведьмами» Бургин считался одним из участников так называемой антиамериканской деятельности и за ним была установлена слежка? Перу дочери Ричарда Бургина, профессору славистики Дайаны Бургин принадлежит интересная книга об отце, написанная стихами по-английски в «Онегинской строфе»⁷⁷.

Исполнение Бургиным прокофьевского концерта сделалось, по словам одного из рецензентов, «...вехой артистической карьеры скрипача <...>, никогда прежде он не играл здесь с большей чуткостью понимания, с большей поэтичностью концепции, с большим контролем над самим собой и своим инструментом»⁷⁸.

«Телеграмма Кузевицкого об успехе Скрипичного концерта в Бостоне», – записывает Прокофьев в дневнике⁷⁹. Неделью спустя Наталия Кузевицкая присылает композитору рецензии. «Блестящие, – замечает он. – Вот и разбирайтесь в прихотливости успеха: в Лондоне ругали и издевались, в Бостоне, хотя скрипач был хуже, чрезвычайные похвалы»⁸⁰.

После выхода на пенсию в 1966 Бургин переехал во Флориду, где в Университете Теллахасси продолжал педагогическую деятельность, которой активно занимался еще в Бостоне.

В начале 1926 о возможности дебюта с БСО снова просила Кузевицкого Лия Любошиц. Выступления скрипачки под его управлением с Первым концертом

⁷⁶ Harry Ellis Dickson. *“Gentlemen, More Dolce, Please!”* Boston: Beacon Press, 1974. P. 28. [“keen, analytical mind, a warm, vibrant personality, and a wealth of knowledge, musical and otherwise <...> an inveterate gambler, and a student of politics”].

⁷⁷ Diana Burgin. Richard Burgin. *A Life in Verse*. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1988.

⁷⁸ S[uart] M[ason]. “Prokofiev Violin Concerto in Boston”, “Boston Monitor”, April 25, 1925. [“milestone in his artistic progress”, “he has never played here with more sympathetic understanding, with a more poetic conception, with a greater command, both of himself and his instrument”].

⁷⁹ ПД-2. С. 316.

⁸⁰ ПД-2. С. 318.

Прокофьева состоялось 14-15 декабря 1928. То было единственное ее появление в регулярных программах бостонцев.

Позднее Первый концерт Прокофьева будет неоднократно играть под управлением Кусевицкого Исаак Стерн (9-10 января и 1-2 апреля 1948, Бостон; 31 июля 1948, Танглвуд). Многократное обращение дирижера к концерту во многом способствовало закреплению этого произведения в репертуаре скрипачей.

«Днем был Цедербаум <...>, не вынесший характер Наталии Константиновны и после ссоры вернувшийся в Европу», – записывает Прокофьев 1 января 1925⁸¹. Встреча эта скорее огорчила, чем обрадовала его. Именно Цедербаум вел по поручению Кусевицкого переговоры с менеджером Бостонского оркестра Уильямом Бренненом. Они затянутся на несколько лет и так и не приведут к положительному результату.

С.С. Прокофьев – Н.К. Кусевицкой

19 января 1925, Варшава

Пользуюсь длинными губами, чтобы поцеловать Вам ручку из Варшавы. 3-й концерт здесь встретили очень ладно и завтра даю recital. А когда же Вы мне напишете, мой каменный друг?! Нежновзмашистого маэстро обнимаю, Вам же стелюсь под стопки из великой Польши.

С.П.

Почтовая открытка с видом Замковой площади в Варшаве. Послана в Бостон. АК-БК.

После концерта, данного в Берлине, где Прокофьев рад был встретиться с Петром Сувчинским, он приехал 15 января 1925 в Варшаву. Третий фортепианный концерт прозвучал здесь в его исполнении в тот же вечер под управлением возглавлявшего Варшавскую филармонию Грегора Фительберга (Fitelberg) (1879-1953). Как и Кусевицкий, работавший с дирижером в первые послереволюционные годы в Большом театре в Москве, Прокофьев был хорошо знаком с дирижером по России. «Фитель старался и вызубрил недурно», – записал он после

⁸¹ПД-2. С. 297.

единственной репетиции с оркестром⁸². А после концерта добавил: «...большой успех. <...> По мнению всех, мой успех был больше успеха Стравинского, который был здесь в начале сезона со своим Концертом»⁸³.

Пять дней спустя состоялся и сольный концерт Прокофьева в Варшавской Филармонии. Его музыку знали уже здесь по выступлениям пианистов Артура Рубинштейна, Александра Боровского и Николая Орлова (1892-1964). Месяц спустя Жозеф Сигети с большим успехом сыграет в Варшаве под управлением Фительберга Первый скрипичный концерт. «Кто бы мог подумать, что Варшава оказалась «моей»?», – заметит, узнав об этом, композитор⁸⁴.

В дни пребывания в Польше Прокофьев встречался с известным русским литературным критиком, в прошлом – руководителем литературного отдела журнала «Мир искусства» Дмитрием Владимировичем Философовым (1872-1940). В Варшаве он издавал русскую газету «За свободу!». Год назад, когда в апреле 1924 с шестью концертами в Варшаве и Лодзи выступал Кусевицкий, Философов написал рецензию на один из его концертов. И хотя, он, по собственному признанию, «...в музыке ничего не понимал или, вернее, почти ничего», ему удалось достаточно четко определить смысл творческой миссии дирижёра. «Сергей Кусевицкий, – писал он, – своей убедительной, талантливой пропагандой русской музыки совершает громадное культурное дело, и имя его останется, конечно, в истории русской музыки». И прозорливо добавлял: «Может быть, в этом рассеянии русской подлинной культуры <...> по всему земному шару есть нечто провиденциальное»⁸⁵.

Хозяйка дома, в котором останавливался Прокофьев в Варшаве, представительница местного отделения фирмы «Плейель», просила его оставить автограф в своем альбоме. Открыв альбом, композитор увидел в нем автограф

⁸² ПД-2. С. 300.

⁸³ Там же.

⁸⁴ ПД-2. С. 306.

⁸⁵ Дмитрий Философов. «Привет Сергею Кусевицкому», «За свободу!», 25 апреля 1924.

Стравинского. Гордый недавними пианистическими дебютами, он обвел карандашом пальцы своей руки. Прокофьев замечает: «...я приписал внизу: «Когда я к сорока годам немного подучусь играть на фаготе, я вам нарисую мои легкие»⁸⁶.

С.С. Прокофьев – Н.К. Кусевицкой

10 февраля 1925, Bellevue

Дорогая Наталия Константиновна,

Очень рад был получить Ваше письмо от 7 января и благодарю Вас за него. Вы долго собирались его написать, зато написали довольно ласково. Я в восторге, что Вы взяли в Ваши руки мое менеджерское дело: это значит, что у меня будет хороший контракт. Я по своей спине знаю, как дивно Вы торгуетесь.

С нетерпением жду вестей про исполнение Скрипичного концерта. Смотрели ли Вы, как издана партитура? По-моему очень хорошо. Но только вот что скверно: издательство совершенно прекратило меня печатать, выпустило на днях 5-ю сонату (22 страницы) и теперь больше ничего нет в работе – кроме нескольких паршивых старых романсов, которые лениво перепечатаываются наново. А между тем у меня ждут очереди: 1/ «Классическая симфония», 2/ клавир 2-го концерта, 3/ партитура 2-го концерта, 4/ симфоническая сюита из «Трех Апельсинов», 5/ Квинтет, – а через несколько месяцев: 6/ Вторая симфония и 7/ оркестровая сюита из «Огненного Ангела».

Когда я говорю об этом Эбергу, он отвечает, что ему нужны деньги на содержание магазина и что у него ни гроша нет на печатание моих сочинений, он итак еще никак не расплатится за партитуру 3-го концерта, которая печатается с 1923 года. А когда я пишу об этом Вам, Вы не благоволите даже отвечать на этот вопрос. Это очень обидно и неприятно. Даже у Мясковского Универсальное Издательство сейчас гравировает две больших симфонических вещи, сонату и кучу

⁸⁶ ПД-2. С. 301.

романсов⁸⁷. Я же все бегаю к Эбергу, глажу его по лысине – и возвращаюсь домой ни с чем. Очень прошу вас ответить мне: когда и какие мои вещи Вы будут печатать? А то с Вашим отъездом в Америку получилась какая-то игра в прятки: идешь к Эбергу – Эберг валит на Вас; пишешь Вам – Вы отмалчиваетесь, очевидно считая, что этими делами надлежит ведать Эбергу. А я сижу на рукописях и высчитываю, сколько пудов их накопилось.

Над симфонией работаю, и она движется вперед, но не скрою – сознание, что мои сочинения не печатаются, действует на меня деморализующе и расхолаживает работу.

Премьеру «Апельсинов» опять отложили – на 14 марта⁸⁸. Monteux едет кажется в Москву и будет играть там «Весну» и Сюиту из «Шута»⁸⁹. Эберто скрылся, оставил дефицит в 1 800 000 фр[анков]. Но т[ак] к[ак] он имеет еще контракт в Champs-Élysées на 10 лет, то образовалась новая компания, которая согласна заплатить его долги, с тем, чтобы получить его контракт и устроить в Champs-Élysées мюзик-холл. Очень большой успех в Париже имеет Кошиц: пела 8 раз в симфонических и попала в Орéга. Бальмонт по-прежнему неудержим в своем творчестве и создал Шаховской второго эбса – мальчика или девочку, это выяснится в мае. Пташка и Святослав в добром здравии и шлют Вам тысячу приветов. А когда прикажете ждать

⁸⁷ Летом минувшего года Прокофьев укорял Мясковского за то, что он отдал в Универсальное издательство в Вене свою старую партитуру симфонической притчи «Молчание» и длинную Шестую симфонию. «...получается впечатление, будто Вы нарочно делаете все возможное для затруднения распространения Ваших вещей по Европе», – писал он (С.С. Прокофьев – Н.Я. Мясковскому, 15 июля 1924, Ст. Жиль. М-П. С. 198).

⁸⁸ Имеется в виду предстоящая постановка оперы в Кельне.

⁸⁹ Пьер Монте гастролировал в России впервые в 1926, осуществив, в частности, первое исполнение в Москве Сюиты из балета «Шут» Прокофьева (3 марта 1926), позднее – в 1931 и, с Бостонским симфоническим оркестром, в 1956.

Вас в Париже? Я уже соскучился о Вас и о маэстро, хотя последний совсем забыл меня, школы для тромбонов не прислал и про Сюиту из «Апельсинов» ни слова не ответил. Должно быть уже очень большой у него успех!

Ручки Ваши целую и прошу не сердиться, что свирепствую в этом письме. Но во-первых, чудосочный «Гутхейль» ведет себя со мною в самом деле неприлично, а во-вторых, если в Ваш лавровый суп подсыпать немножко перца, то это супа не испортит.

Любящий Вас

СПрокофьев

Машинопись с подписью от руки. Послано в Бостон. АК-БК. Копия: РГАЛИ, ф. 1929 (С.С. Прокофьев), оп. 5, ед. хр. 8.

Как говорилось уже, переговоры о новом менеджменте для Прокофьева зашли в тупик. Не помогла делу и Наталия Константиновна Кусевицкая. В строках письма («...по своей спине знаю...») прочитывается намек Прокофьева на беспрестанную торговлю, которую он вынужден был вести с РМИ. Однако вопреки постоянным сетованиям Прокофьева музыка его с каждым годом занимает все более прочное место в планах издательства Кусевицкого. В 1924 были опубликованы партитура и оркестровые голоса Первого скрипичного концерта ор. 19, Симфоническая сюита в 12 частях из балета «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» ор. 21-bis, оркестровые голоса Третьего фортепианного концерта ор. 26. В 1925 вышли в свет авторское переложение для двух фортепиано Второго фортепианного концерта ор. 16 (вторая редакция), партитура «Семеро их» ор. 30⁹⁰, Пять мелодий для скрипки и фортепиано ор. 35-bis, Пятая фортепианная соната ор. 38, второе издание Пяти стихотворений А.Ахматовой для голоса с фортепиано ор. 27.

К сказанному выше о творческих контактах Прокофьева с Ниной Кошиц добавим, что чрезвычайно требовательный к исполнителям и их репертуару,

⁹⁰ Первое издание партитуры, как говорилось выше, было осуществлено в 1922 в Москве Музсектором Госиздата. У С. Шлифштейна ошибочно сказано об издании в Москве фортепианного переложения кантаты. См: МДВ. С. 564.

композитор не всегда оставался удовлетворен выступлениями певицы. Укоряя ее за то, что она «поет пошлятинку», он констатировал вместе с тем, что Кошиц «...теперь знаменита, как в Москве, и разбогатела»⁹¹. «Кошиц, набитый зал, приподнятое настроение, цветы, – помечает Прокофьев в дневнике в феврале 1925. – «Есть иные планеты» – врет [что – *В.Ю.*] первый раз. Вообще очень хорошо, но «Планеты» растянула, и надо их больше рассказывать и меньше петь»⁹².

В том же месяце композитор слушает в Орéга «Бориса Годунова» с Кошиц в партии Марины Мнишек. «Ужасный спектакль, – пишет он. – Как не стыдно в Париже иметь такое учреждение! <...> Сама Кошиц тоже неважна: партия для нее низка, да и растолстела больно Нина Павловна! Но вообще у нее во Франции и соседних странах большие успехи»⁹³.

Иронический тон слов Прокофьева о Бальмонте объясняется некоторым отчуждением от его поэзии, которое композитор ощущал в то время. Еще в конце 1922 он писал: «...я люблю Бальмонта за изумительные переводы («Семеро их», «Малайские заклинания»); за ошеломляющие мистические картины («Столбы», «Есть иные планеты») наконец, за музыку слова, с которою не сравнится никто (Маяковский музыкален, но в другой плоскости, относясь к Бальмонту как ударный инструмент к струнному)»⁹⁴. Теперь же, после посещения в 1925 в Париже поэтического вечера Бальмонта, Прокофьев, всегда выступавший в защиту поэта, поддерживавший его, как и Кусевитский, морально и материально, замечает: «...Бальмонт как-то отошел и чужд.<...> Раздражали сапфиры, изумруды, от которых он

⁹¹ ПД-2. С. 306.

⁹² Там же.

⁹³ Там же. С. 305.

⁹⁴ Сергей Прокофьев – Петру Сувчинскому, 12 декабря 1922, Этталь. Послано в Берлин. // В музыкальном кругу русского зарубежья. Письма к Петру Сувчинскому. Публикация, сопровождающие тексты и комментарии Е. Польдяевой. Берлин, 2005. С. 83.

никак не отделается»⁹⁵. Пять стихотворений для голоса и фортепиано ор. 36 (1921) становятся последним сочинением Прокофьева на стихи поэта.

С.С. Прокофьев – С.А. Кусевицкому

6 марта 1925, Bellevue

Дорогой Сергей Александрович,

Сообщаю тебе, что сегодня наконец закончил оркестровку первой части симфонии. Вышло 98 страниц, густо записанных сверху донизу, – оттого так долго и провозился. Завтра начну оркестровку вариаций, но уже теперь ясно, что для Бостона симфония в этом сезоне не поспеет – поспеет лишь к твоим парижским концертам. Не сыграешь ли ты в Бостоне, вместо нее, Сюиту из «Шута»? Эрнест Александрович говорил, что у тебя есть материал.

Ты мне до сих пор ни слова не ответил про Сюиту из «Трех Апельсинов». Ее уже не раз предлагали мне исполнить в Париже, но, не имея от тебя ответа, я не говорил ни да ни нет. Разумеется, мне хотелось бы, чтобы она шла у тебя, но если ты не будешь ее играть, то лучше пусть ее сыграет кто-нибудь, чем никто. Очень прошу тебя, не откладывая, написать мне только одно слово: да, будешь играть ее в Париже, или нет, не будешь, чтобы мне знать, как быть.

В Кельне уже идут оркестровые репетиции моей оперы, и на днях мы с Пташкой туда уезжаем. Оба мы шлем тебе и Натальи Константиновне наши самые сердечные гуссы и ждем с нетерпением Вашего возвращения. Мы соскучились по Вас.

Крепко целую тебя.

Любящий тебя

СПрокофьев.

Эберг чуть-чуть смилостивился и дал приказ возобновить работу над изданием «Классической симфонии». Не есть ли это доброе влияние Наталии Константиновны?!

Машинопись с подписью от руки. Послано в Бостон. АК-БК. Копия: РГАЛИ, ф. 1929 (С.С. Прокофьев), оп. 5, ед. хр. 8.

⁹⁵ Там же. С. 306.

Мировая премьера Второй симфонии Прокофьева будет проведена Кусевицким в Париже 6 июня 1925. Сюита из балета «Шут» прозвучит впервые также под его управлением в Париже 3 июня 1926, а 27 ноября она будет впервые представлена им в Америке в концерте БСО в Нью-Йорке.

Партитура и оркестровые голоса «Классической симфонии» Прокофьева ор. 25 будут опубликованы РМИ в 1926⁹⁶. В 1931 в РМИ выйдет в свет авторское переложение симфонии для фортепиано в две руки.

С.С. Прокофьев – Н.К. Кусевицкой

16 марта 1925, Кельн

Сердечный привет из Кельна от Пташки и меня. Только что были даны «Апельсины», очень хорошо и с любовью; в целом – более художественно, чем в Чикаго.

Ручки целую. Мастера обнимаю

Ваш

СПркфв

Почтовая открытка с видом Рейна и Кёльнского собора. Послана в Бостон. АК-БК.

Прокофьевы приехали в Кельн 9 марта 1925. Молодой дирижер Эйген Сенкар (Eugen Szenkar) (1891-1977), увлеченный музыкой оперы «Любовь к трем апельсинам», берет на репетициях непривычные для композитора темпы. Прокофьев не настаивает на их изменении. «...мой принцип вообще не вмешиваться в толкование артиста, если оно делается сознательно и продуманно», – пишет он⁹⁷. Соображение это характерно для исполнительской эстетики Прокофьева, прямо противоположной взглядам на исполнительство Стравинского с его представлением об исполнительстве как информации слушателя о партитуре.

Премьера «Апельсинов» в Кельнской опере (14 марта 1925) прошла с большим успехом и сделалась первой

⁹⁶ Указание на издание «Классической симфонии» в 1925 у С. Шлифштейна (См.: МДВ. С. 562) и у К. Томпсона (Kenneth Thompson. A Dictionary of Twentieth-Century Composers. 1911-1971. London: Faber and Faber, 1973. P. 375) ошибочно.

⁹⁷ ПД-2. С.С. 308-309.

театральной постановкой прокофьевской музыки в Германии, которая последовала вслед за его первым (в январе 1925) пианистическим выступлением в Берлине. Композитор остался удовлетворен продуманной режиссурой, живым сценическим поведением хора (режиссер – Ганс Штробах) (Strohbach) и декорациями кельнской постановки «Апельсинов» – менее пышными, более схематичными, чем у Бориса Анисфельда в Чикаго. «...рейнцы отличились и поставили здорово, – писал он, – и дирижер и режиссер работали с большой любовью и очень талантливо»⁹⁸.

С.С. Прокофьев – Н.К. Кусевицкой

25 марта 1925, Монте-Карло

Дорогая Наталия Константиновна,

Ваше письмо от 22 февраля и инструментационные книги получил, за кои чувствительно благодарю Вас⁹⁹. В них довольно много интересного, хотя и нет тех всяческих изумительностей, которые Сер[гей] Ал[ександрович] нашел в книге Мийо. Однако я никак не ожидал, что поиски причинят Вам столько хлопот, иначе конечно не приставал бы.

От Brennan'a до сих пор ни слова. Вы мне не написали, передали ли ему мое длинное английское письмо, посланное аих bons soins de Сер[гея] Ал[ександровича]. Поцелуйте С[ергея] А[лександровича] и поблагодарите его очень за пять симфонических, которые он мне сулит. Я 3-й концерт играю теперь совсем бойко, а 2-й дозубрю летом.

Сегодня играл тут 3-й под управлением 80-летнего Jehi... (неразборчиво – В.Ю.) и в высочайшем присутствии Принца Рулеточного, который затем представлялся и которого оказывается надо называть

⁹⁸ Сергей Прокофьев – Борису Асафьеву, 21 марта 1925, Bellevue. Цит. по: Письма С.С. Прокофьева – Б.В. Асафьеву (1920-1944). Публикация М. Козловой. В сб.: Из прошлого советской музыкальной культуры. Составление и редакция Т. Ливановой. Выпуск 2. Москва: «Советский композитор», 1976. С. 12.

⁹⁹ Копии указанного письма в Архиве Кусевицкого не обнаружено.

«монсиньором», т[о] е[сть] так же, как настоятеля монастыря в Ettal'e¹⁰⁰.

Вчера был на новой опере Равеля «L'enfant et les sortilèges»¹⁰¹. Дивно оркестровано, придумано много очаровательных трюков, хотя к[а]к часто у Равеля, музыка не слишком субстанциональна.

Еще играл мне Дукельский свой балет, который пойдет у Дягилева. Очень здорово! Хорошие темы, хороший дух и хорошо разработано. Пожалуй Р[оссийскому] М[узыкальному] Издательству придется принять его на свое лоно, потому что это по-видимому настоящий композитор. Услышите весною.

Через 2 дня возвращаемся в Париж и я снова засяду за оркестровку вариаций Симфонии. 1-ая часть уже расписывается на голоса.

Успех «Трех Апельсинов» увеличивается, т[ак] к[ак] все берлинские рецензенты, приехавшие в Кельн, дали отличную критику, требуя постановку этой оперы в Берлине.

За январский реситаль берлинская критика обиделась не серьезно: реситаль начался с опозданием на час, так как меня забижала менеджерша в смокинге, но ввиду того, что моя программа длится час, а немцы приучены к трехчасовым клавирабендам, то в общем я кончил все-таки раньше, чем они привыкли.

Ручки Ваши целую сверху и снизу, а мастера – в черепную коробку. Самый сердечный привет от Пташки скот дазур.

Ваш СПрокофьев

Рукопись. На бланке «Grand Hôtel National, Monte-Carlo». Послано в Бостон. АК-БК. Две копии: РГАЛИ, ф. 1929 (С.С.Прокофьев), оп. 5, ед. хр. 7 и 8.

¹⁰⁰ Принц Монакский принял Прокофьева после концерта.

¹⁰¹ Премьера оперы-балета (лирической фантазии) Равеля «Дитя и волшебство» (1920-25) состоялась 21 марта 1925 в театре Монте-Карло под управлением Виктора де Сабата (Victor de Sabata). В Париже она прозвучала впервые 1 февраля 1925 в Opera Comique под управлением Алберта Волфа (Albert Wolff).

С интересом наблюдал Прокофьев в Монте-Карло посетителей игорного дома, которых воспринимал сквозь призму романа Достоевского «Игрок», положенного им в основу своей одноименной оперы. «...вечером сидели в вестибюле казино и глядели на публику, выходящую и выбегавшую из игорного зала, угадывая по лицам: выиграл или проиграл, – записывает композитор. – Впечатление тяжелое: многие выходили в трансе, шаркая ногами, ничего не видя; ужасные старухи»¹⁰².

К творчеству Равеля Прокофьев и Кусевицкий относились с одинаковым пиететом, подчеркивая как его самобытность, так и глубокое воздействие, оказанное на композитора традициями русской классической музыки.

Кусевицкий сделался «крестным отцом» выполненной Равелем по его заказу оркестровой версии цикла Мусоргского «с выставки». В сознании дирижера давно уже жила идея оркестровки «Картинок», фортепианный оригинал которого вобрал в себя, по его убеждению, широкий спектр оркестровых красок. Характерно, что много лет спустя одной из самых существенных сторон дарования композитора Геннадий Рождественский назовет «...концентрацию воображения, концентрацию фантазии»¹⁰³.

Мысль поручить оркестровку «Картинок» Равелю оказалась поистине счастливой. Страстный поклонник русской музыки, Равель призывал своих французских коллег, следуя опыту русских композиторов, высвободиться из-под власти захлестнувшего Европу культа Вагнера. Суждение его об отдельных авторах были при этом достаточно необычными. Если в партитурах Бородина, Римского-Корсакова и прежде всего Мусоргского его восхищали спонтанность музыкального развития, навеянная Востоком оркестровая красочность, то Чайковского он считал менее русским композитором, а потому менее интересным для Запада.

¹⁰² ПД-2. С. 311.

¹⁰³ Геннадий Рождественский. Прембулы. Москва: «Советский композитор», 1989. С. 171.

Гением Мусоргского Равель был покорен еще в 1908, когда услышал представленного Парижу Дягилевым «Бориса Годунова». Нереализованным остался его замысел оркестровать «Женитьбу» Мусоргского (1911), два года спустя вместе со Стравинским работал он над «Хованщиной» для дягилевской постановки оперы, целью которой была попытка вернуть завершенную Римским-Корсаковым оперу к ее подлинной авторской версии.

Большую симпатию ощущал Кусевицкий не только к музыке Равеля, но и к его личности, находил немало общего в его и своей художественных натурах. В особенности привлекали его открытость Равеля к музыкальным культурам иных стран – России, Испании, и отсутствие какого бы то ни было шовинизма в отношении к иностранным музыкантам, всегдашняя его готовность прийти на помощь молодым, никому неизвестным композиторам.



Дом М. Равеля в Лион ла Форэ

Равель с готовностью принял предложение оркестровать «Картинки с выставки». «Я провел у него целый день, – читал Кусевицкий в письме Цедербаума, – мы вместе смотрели «Картинки» <...>. Он нашел, что многое будет чрезвычайно занято в оркестре (например, в «Самуил Гольденберг и Шмуль» он даже чуть не наизусть назвал кое-какие инструменты). <...> Чем больше я его наблюдал, тем больше он привлекает к себе. Редко я встречал такого простого, скромного артиста – без малейшей рисовки; мы

провели с ним в беседе около 6 часов (он не хотел отпускать меня), и он ни разу ничего не говорил о себе...»¹⁰⁴.

Получив от Цедербаума экземпляр «Картинок с выставки» в редакции Римского-Корсакова, Равель выразил неудовлетворение. Он просил достать для него оригинальную версию фортепианного цикла Мусоргского. Однако раздобыть ее в Париже не удалось, и Равелю ничего не оставалось, как удовольствоваться присланным ему экземпляром¹⁰⁵.

Не все номера фортепианного цикла Мусоргского Равель находил равноценными. Так, слабым называл он «Старый замок». («Il Vecchio castello»), «Богатырские ворота» представлялись ему наименее интересной пьесой потому, быть может, что в ней больше, чем в какой-нибудь другой части цикла Мусоргского, оркестровые краски «зашифрованы» в самой фортепианной фактуре.

В РМИ с нетерпением ожидали партитуру Равеля. Чтобы выиграть время композитор посылал ее в издательство по частям. «Я наконец завершил "Богатырские ворота в Киеве", – писал Кусевицкому он в мае 1922. – Я начал с конца, потому что это была наименее интересная пьеса для оркестровки. Но Вы бы не поверили, как много времени требует такая простая вещь. Остальное пойдет значительно быстрее»¹⁰⁶.

Равелевская оркестровка «Картинок с выставки» не была первой. Геннадий Рождественский упоминал о наличии семи различных версий¹⁰⁷. Ни одна из них не

¹⁰⁴ Владимир Цедербаум – Сергею Кусевицкому, 25 января 1922, Париж. – АК-БК.

¹⁰⁵ Ныне он хранится в музыкальном отделе НБФ.

¹⁰⁶ Maurice Ravel to Serge Koussevitzky, May 1, 1922, Montfort l'Amaury. – АК-БК.

¹⁰⁷ Геннадий Рождественский. Прембулы. Москва: «Советский композитор», 1989. С. 171. «Картинки с выставки» оркестровали, помимо Равеля, Генри Вуд, Михаил Тушмалов, Гренвилл Банток, Лео Фунтик, Сергей Горчаков, Леопольд Стоковский. Существует также версия Леонида Леонарди (Леонардо Леонардис) (Leonid S. Leonardi).

утвердилась однако в концертном репертуаре. Иная судьба ожидала партитуру Равеля.

Осуществленная Кусевицким в Париже премьера «Картинок с выставки» Мусоргского-Равеля (19 октября 1922) вызвала огромный интерес у публики и музыкантов. Некоторые номера пришлось бисировать. В парижских концертах дирижера «Картинки» прозвучали шесть раз. Ни одно другое сочинение не повторялось им в 20-е годы так часто.

Реакция музыкантов на появление «Картинок с выставки» была не однозначной. Прокофьев трижды слушал их в «Концертах Кусевицкого». Он очень любил «Картинки», не раз включал их в свои пианистические программы, играл их, в частности, в Париже 27 октября 1922 – всего через несколько дней после осуществленной Кусевицким премьеры их оркестровой версии, еще раньше записал, как говорилось уже, фрагменты «Картинок» в компании Duo-Art. Не все нравилось Прокофьеву в оркестровой партитуре. «Равель достиг большего, чем «фортепианная вещь, переложенная для оркестра», – писал он, – но все же не достиг «вещи, сочиненной для оркестра». <...> Не удалась: первая *Променада* и *Замок*, несмотря на перец в виде соло саксофона, приписанный к последнему. Недурно, но все же на фортепиано лучше *Цыплята* и *Иудеи*. Отлично вышли *Быдло* (соло тубы), *Тюльри* (деревянные духовые) и *Избушка*. Пышно и даже слишком «всурьез» *Киевские ворота*. Сделать хорошо эти «Ворота», вероятно, вовсе нельзя, и Равель выжал лучшее»¹⁰⁸.

Через два года Прокофьев напишет: «...он юлою вился, инструментуя "Картинки" Мусоргского, и стараясь создавать что-то в оркестровке – иногда срывался, но иногда

¹⁰⁸ Сергей Прокофьев – Владимиру Держановскому, 23 ноября 1922, Этталь. Цит. по: «Долгая дорога в "родные края"... Из переписки С.С. Прокофьева с его российскими друзьями. Публикация Ю. Деклерк. В сб.: Сергей Прокофьев. К 110-летию со дня рождения. Письма, воспоминания, статьи. Москва: Труды ГЦММК, 2001. С. 51.

достигал изумительных звучностей...»¹⁰⁹. В 1938 в отклике на кончину Равеля Прокофьев тем не менее напишет о «Картинках с выставки» как о «...превосходной оркестровой транскрипции»¹¹⁰.

Более критично отнесся к партитуре Равеля Борис Шлецер, вообще не относивший цикл Мусоргского к произведениям особенно значительным. «Пока она довольствовалась скромной фортепианной звучностью, пьеса эта пленяла своими своеобразными характеристиками, непосредственностью своей, удачными выдумками – писал он. – Теперь же, в пышных одеяниях своих она лишилась этой милой непосредственности; форма ее оказалась растянутой, изобилующей повторениями; обнаружились общие места, готовые формулы псевдорусского стиля (богатырские ворота, например)»¹¹¹. После вторичного прослушивания «Картинок» критик утвердился в своем суждении, заявив, что «...мы имеем тут дело с пестро раскрашенным рисунком, увеличенным до размеров фрески»¹¹².

Любопытно, что отрицательное отношение к партитуре Равеля разделял и Дмитрий Шостакович – об этом поведет в воспоминаниях о нем Борис Тищенко¹¹³. Еще более негативно отзывался о партитуре Равеля Святослав Рихтер, многократно игравший «Картинки» и

¹⁰⁹ Сергей Прокофьев – Николаю Мясковскому, 3 января 1924, Сэвр. М-П. С. 182.

¹¹⁰ Сергей Прокофьев. «Морис Равель», «Советское искусство», 4 января 1938. Цит. по: С.С. Прокофьев. Материалы. Документы. Воспоминания. 2-е изд. Москва, 1961. С. 225.

¹¹¹ Борис Шлецер. «Концерты Кусевицкого», «Последние новости», 26 октября 1922.

¹¹² Борис Шлецер. «Концерты Кусевицкого», «Последние новости», 3 ноября 1922.

¹¹³ См.: Письма Дмитрия Дмитриевича Шостаковича Борису Тищенко с комментариями и воспоминаниями адресата. Санкт-Петербург: «Композитор», 1997. С. 11.

сделавший их великолепную грамзапись. «Не признаю и ненавижу это сочинение в оркестровом варианте...»¹¹⁴.

Близкими к шлецеровским окажутся после премьеры «Картинок с выставки» в Бостоне (7-8 ноября 1924) выводы одного из самых пронизательных бостонских критиков Генри Тэйлора Паркера (Henry Taylor Parker) (1867-1934), выступавшего под псевдонимом Н.Т.Р. «Когда Римский отретушировал партитуру «Бориса», – напишет он, – Равель укорял его: ревизор уплотнил и размягчил музыку. Оркеструя «Картинки с выставки», Равель сам не избежал того же»¹¹⁵.

Публикация партитуры «Картинок с выставки» в инструментовке Равеля сделалась заметным событием в истории РМИ. Партитура вышла в свет только в 1929 – по окончании семилетнего периода, на протяжении которого за Кусевицким сохранялось право эксклюзивного исполнения партитуры. Долгие годы он пользовался автографом партитуры, в которой имеется несколько карандашных исправлений Равеля, а также множество его собственных дирижерских пометок, внесенных привычным для него синим карандашом¹¹⁶.

За годы работы Кусевицкого в БСО «Картинки с выставки» прозвучат под его управлением более 60 раз. В 1930 БСО и Кусевицкий осуществят грамзапись «Картинок с выставки»¹¹⁷.

¹¹⁴ Святослав Рихтер. Дневники «О музыке» 1971-1995. В кн: Бруно Монсенжон. Рихтер. Диалоги. Дневники. Москва: Классика XXI, 2002. Р. 136.

¹¹⁵ Н.Т.Р. [arker]. “Mozart Luminous, Debussy Vaporous, Musorgsky Mated”, “Boston Transcript”, November 8, 1924. (“When Rimsky retouched the score of "Boris" Ravel was reproachful. The revisor had thickened and softened the music. Scoring in his turn "Pictures at an Exhibition" Ravel himself may not escape admonition”).

¹¹⁶ Автограф хранится в БК (депонирован издательством “Boosey and Hawkes”).

¹¹⁷ Запись была сделана в Бостонском Симфони холл 28-30 октября 1930 фирмой Victor/RCA. 78:in album M-102, 7372-5, 7376-79, HMV DB-1890-93; LP: CAL – 111, CVE 568686 – 1 CVE 56874-2; CD: ORG – 1005 (Japan), “Pearl Gemm” in “Koussevitzky conducts

Впечатления Прокофьева от услышанной в Монте-Карло оперы Равеля «Дитя и волшебство» оказались противоречивыми. Он писал о неровности музыки: «...с одной стороны, масса блеска, веселости, эlegantности, мастерства и совершенно ошеломляющая оркестровка, с другой – целые куски бесцветного, водянистого, вчерашнего, никому не нужного...»¹¹⁸.

Работая за пределами России, РМИ уже в 20-е г.г. столкнулось с проблемой молодых авторов. В 30-е проблема эта сделалась поистине критической. Отрезанные от родины, русские композиторы оказались на сломе стилевых тенденций европейской музыки. В большинстве своем они приехали в эмиграцию уже сложившимися художниками. Отречься от вскормивших их традиций русской классической музыки, точно так же, как ассимилироваться в чужой музыке или впитывать тенденции модернизма они были не способны, да и не хотели этого. Достаточно красноречивы здесь примеры Метнера и Гречанинова. Неуклонно множившаяся с годами слава Стравинского и Прокофьева не способна была изменить общей картины русской музыки в диаспоре. Два ее гиганта так и оставались в ней блистательными исключениями.

Драматизм ситуации окрашивался в трагические тона из-за отсутствия достойной смены старшему композиторскому поколению. В России только в последние десятилетия начали выстраивать единую панораму развития отечественной музыки XX века. В диаспоре Леонид Сабанеев грезил о грядущем слиянии русской музыки в России и вне ее. Единой оставалась всегда русская музыка и для Кусевицкого. Как издатель и как дирижер пропагандировал он новые сочинения вне зависимости от того, где жили и творили их авторы. Вовсе не в консервации былых традиций видело свою миссию РМИ. Судьба издательства определялась однако прежде всего логикой существования русских композиторов вне родины.

Stravinsky and Mussorgsky-Ravel” GEMM CD 9020, LYS in “The Koussevitzky Edition. Vol. I” Dante Production LYS 113.

¹¹⁸ Сергей Прокофьев. «Париж, весенний сезон 1923». МДВ. С. 209.

Стремление открыть и поддержать молодых композиторов всегда было приоритетом для Кусевицкого, Эберга и, позднее, и Пайчадзе. Первым и наиболее одаренным из всех новых в диаспоре авторов РМИ оказался Владимир Дукельский (1903-1969).



Зинаида Серебрякова. Портрет Владимира Дукельского

Встреча в Монте-Карло с Дукельским произвела на Прокофьева сильное впечатление, хотя он встречался здесь также с Сергеем Дягилевым, Борисом Кохно, Александром Черепниным. Если еще осенью 1924 после встречи с Дукельским Прокофьев писал о его балете «Зефир и Флора» Петру Сувчинскому: «...Я не решаюсь судить, открыл ли Дягилев на горизонте новую звезду или же звезда окажется керосиновым фонарем, как в свое время обласканные Черепнин и Штейнберг»¹¹⁹, – то теперь сомнения его растворяются: «...Это был вечер, который, вероятно, случается нечасто: то есть когда перед глазами встает настоящий большой композитор. Я думаю, я не ошибаюсь»¹²⁰. В тот же день, снова обращаясь к

¹¹⁹ Сергей Прокофьев – Петру Сувчинскому, 30 октября 1924, Бельвю. – Национальная библиотека Франции. Цит. по копии, находящейся в личном архиве А.М. Кузнецова (Москва).

¹²⁰ ПД-2. С. 311.

Сувчинскому, подчеркивает: «Дукельский написал отличный балет: хороший материал, хороший дух и хорошо сделано. Кажется, перед нами настоящий композитор»¹²¹.

Прокофьев вскоре станет близким другом Дукельского, будет неоднократно оказывать ему творческую поддержку. На Кусевицкого же музыка Дукельского не произвела поначалу сильного впечатления. После первого знакомления с балетом «Зефир и Флора» – Прокофьев играл дирижеру фрагменты – он заметил, что в музыке явно ошутимо воздействие Прокофьева. Мнение это было полностью поддержано П.П. Сувчинским. Но когда сам Дукельский познакомил Кусевицкого в июле 1925 со своими сочинениями, дирижер был в восторге и тотчас же сказал, что будет печатать их в РМИ.

Ученик Рейнгольда Глиэра и Болеслава Яворского по Киевской консерватории, Дукельский покинул Россию в один год с Кусевицким, попал сначала в Константинополь, затем два года провел в Америке и появился в Париже только в 1924-м. Живя попеременно в Париже и Лондоне, он переселился в 1929 в Америку. Честь «открытия» Дукельского принадлежала Сергею Дягилеву, в труппе которого состоялась в 1925 премьера балета «Зефир и Флора». Поставленный Леонидом Мясным и оформленный Жоржем Браком, спектакль призван был явить миру новую звезду русской музыки.

В том же году Прокофьев привел Дукельского в РМИ. Он не только продвигал музыку своего младшего коллеги, не только помогал ему профессионально – в оркестровке сочинений, в вылавливании ошибок, за которые приходилось немало краснеть автору, но и по-отечески опекал его в житейском плане. «Племянником» ласково будет называть Дукельского Гавриил Пайчадзе. Бабушка композитора была грузинкой и, быть может, еще и поэтому Пайчадзе особенно симпатизировал ему.

История знакомства Кусевицкого с Дукельским весьма характерна для тактики его как издателя.

¹²¹ Сергей Прокофьев – Петру Сувчинскому, 30 марта 1925, Бельвю. – НБФ. Цит. по копии, находящейся в архиве А. Кузнецова (Москва).

«Слонимский представил нас, – вспоминал композитор, – и Кусевицкий сказал безо всякой преамбулы: "Я пропустил Ваш балет, но уже знаю о нем от Сережи Прокофьева и нашего друга Николаса [Слонимского. – В.Ю.]. Я хотел бы получить Ваш балет и как дирижер, и как издатель, и я хочу, чтобы Вы написали для меня симфонию". <...> Прежде чем я смог заикнуться о благодарности, Кусевицкий пожал мне руку и заключил: "Я должен уходить. Если у Вас есть время завтра, зайдите в дом 22 по улице Анжу и повидайте мистера Эберга, директора моего издательства. Я уверен, что мы согласимся относительно условий". <...>

На следующий день я получил чек на 6 000 франков за «Зефира» от очень любезного Эберга, который сказал мне, что Кусевицкий желает подписать со мной пожизненный контракт, согласно которому он обязуется издавать все, что я буду писать...»¹²².

К сожалению, подобная оперативность Кусевицкого расходилась, зачастую с реальными финансовыми возможностями издательства. В июле 1925 в дневнике Прокофьева появляется запись: «...наше издательство приняло в свое лоно Дукельского, частью из-за моих интриг, частью из-за того, что Дягилев дал его балет, а теперь вдруг решило не печатать "Зефира": и успех был не так велик, и многие ругают, да и денег у издательства не хватает»¹²³.

Прокофьев удержал вскипавшего злостью Дукельского от ухода из РМИ и убедил его переговорить с Кусевицким. При новой встрече с Кусевицким и Эрнестом Эбергом Дукельский получил заверение, что сочинения его будут печататься РМИ. В 1926 вышел из печати клави́р «Зефира и Флоры», хотя и после публикации его Гавриил Пайчадзе сетовал: «"Зефир", вероятно, будет тяжелой вещью, так как он написан не для широкой публики»¹²⁴. Исполнение Кусевицким в Бостоне Сюиты из балета «Зефир

¹²² Vernon Duke. Passport to Paris. Boston, Toronto: Little, Brown and Company, 1955. P.P. 153-154.

¹²³ ПД-2. С. 333.

¹²⁴ Гавриил Пайчадзе – Наталии Кусевицкой, 13 апреля 1926, Париж. – АК-БК.

и Флора» сделалось ее мировой премьерой (29-30 апреля 1927).

В 1927 РМИ выпустило в свет Три романса Дукельского на слова Ипполита Богдановича. Четыре года спустя на стихи того же поэта композитор напишет Дуэт для женского хора и камерного оркестра «Душенька», который также будет издан в РМИ. Год спустя вышла из печати исполненная в Концертах Кусевицкого Соната Дукельского для фортепиано и оркестра. Речь о ней пойдет в комментариях к письму С.С. Прокофьева к Н.К. Кусевицкой от 31 января 1928.

(продолжение следует)



Борис Тененбаум

Генерал Республики

I



Тереза Каббаррюс вышла замуж столь же рано, как и Летиция Рамолино¹ – ей было тогда, в 1788 году, неполных 14 лет. Но на этом сходство между этими юными особами заканчивалось – если Летиция Рамолино была девушкой необразованной и преданной семейным ценностям, то Тереза имела поистине артистические наклонности, серьезно училась искусству рисовать, а темперамент имела настолько бурный, что ее батюшка, почтенный испанский финансист, дон Франциско Кабаррюс, поспешил от греха подальше выдать ее замуж, ибо у нее намечался роман с юношей-французом на год ее старше, месье Лабордом, и дон Франциско опасался, что дело может зайти слишком далеко. Таким образом Хуана Мария Игнация Тереза де Кабаррюс стала маркизой де Фонтане и в этом качестве была представлена ко двору Людовика XVI. В 1789 она родила сына, но согласно злой молве его отцом был не ее супруг, а некий французский дворянин, сильно превосходивший его и умом, и внешностью, и галантностью.

Когда грянула революция, и ее муж бежал из Франции, она не последовала за ним, а осталась в стране – все ее симпатии были на стороне нового строя. Даже обратилась однажды к Конвенту с петицией о предоставлении политических прав женщинам... Она взяла себе свою девичью фамилию, и с мужем в 1791 году развелась – но Террора в версии Максимилиана Робеспьера, она, конечно, не предвидела. Она решила бежать в родную Испанию, но была задержана в Бордо и как *...жена*

¹ Мать Наполеона Бонапарта. Рамолино – ее девичья фамилия.

эмигранта... угодила в местную тюрьму. Дело могло бы закончиться очень плохо, но ей повезло – она досталась в качестве добычи уполномоченному Конвента в Бордо, некоему Тальену. Он был человек вроде Фрерона или Барраса, и охотно использовал свои неограниченные полномочия не только для казней, но и для личных целей, вроде грабежа и вымогательства. Его отец был экономом в имении некоего маркиза, и, по-видимому, идея получить бывшую маркизу де Фонтане в качестве покорной наложницы грела его сердце.

Впрочем, очень скоро из рабыни гражданина Тальена – как с суровой республиканской простотой было принято тогда выражаться – Тереза стала скорее его госпожой. Он не на шутку в нее влюбился, слушался во всем, и когда окончился срок его полномочий, взял с собой в Париж. Робеспьер отказался его принять. Он готовил новый виток Террора. В списках вероятных жертв в нем фигурировали многие из уполномоченных Конвента, обвиняемых в коррупции, в том числе Баррас, Фрерон и Тальен.

Терезу заключили в тюрьму. Она ожидала казни со дня на день – головы в те дни с плеч слетали легко. Тереза сумела тогда переправить Тальену записку, ставшую знаменитой:

...Я умираю оттого, что принадлежу трусу...

Утверждают, что это подтолкнуло его к участию в заговоре 9 Термидора, свалившего Робеспьера – но, честно говоря, это сомнительно. Он безусловно любил свою подругу, но свою жизнь, наверное, ценил не меньше, так что побудительных причин к действиям у него было достаточно и без записки. Заговор удался, на гильотину отправился сам Робеспьер, Тереза вышла из тюрьмы, а 26 декабря 1794 года вышла за Тальена замуж.

Впрочем, она вскоре его оставила для Барраса.

В общем, она заслужила прозвище *Notre-Dame de Thermidor*, была признанной первой дамой, законодательницей мод и причуд, в ее салоне собирались самые интересные люди Парижа, которых хозяйка любила шокировать, появляясь перед гостями в платьях, сделанных

из тончайшего прозрачного муслина. Есть ее портрет, на котором и этот откровенный наряд спадает с одного плеча так, что оставляет одну ее грудь совсем открытой. Баррас был в ту пору главой Директории, располагал практически неограниченными средствами, закатывал частные приемы, о которых ходили легенды, и содержал целый гарем красавиц, в котором состояла и Тереза Тальен, и ее близкие подруги.



Тереза Тальен

О существовании бригадного генерала Бонапарта она не имела ни малейшего представления – вплоть до октября 1795 года.

II

Зима 1794 года была для Наполеона Бонапарта неудачной. Он прибыл в Париж, где должен был получить назначение в артиллерию так называемой «Западной Армии», она вела войну в Вандее. Там пылало роялистское восстание, обильно подпитываемое эмигрантами – людьми, деньгами и припасами. Доставлялось это все из Англии, с самым активным содействием со стороны английского правительства. Командовал на Западе генерал Гош, и ему требовались артиллеристы. Однако в силу каких-то непонятных бюрократических причин военное

министерство предложило генералу Бонапарту назначение в пехоту. Он вспыхнул, отказался – и остался ни с чем.

Средств у него не было никаких, а вся свита состоял из двух адъютантов – Жюно и Мармона, которые не покинули своего генерала и в такой беде. В 1795 ему удалось наконец пристроиться в топографический отдел военного министерства, к Карно.

Крупный шанс ему выпал в октябре. В Париже полыхнуло роялистское восстание. Роялисты были уверены, что на этот раз они победят – на их сторону перешли многие части Национальной Гвардии. Конвент передал все полномочия по подавлению восстания Баррасу, которому понадобился *...решительный военный...*

Бонапарт получил назначение примерно так же, как и пост начальника артиллерии когда-то под Тулоном: у него была репутация хорошего специалиста и верного сторонника Конвента, он был знаком с Баррасом, и он подвернулся под руку. Все, что удалось наскрести на защиту Тюильри, где заседал Конвент, составляло 6 тысяч солдат, восставшие превосходили его численностью по крайней мере в пять раз, и вроде бы имели все шансы на победу. Но дело решили пушки: когда толпы роялистов хлынули на открытую площадь у церкви Св. Роха, их встретила картечь. Восстание было подавлено.

Конвент благодарил Барраса, называя его спасителем Отечества, и вознося должную хвалу *...ему и его соратникам...* – в числе которых был и генерал Бонапарт. Его немедленно повысили в ранге до чина дивизионного генерала, а потом Баррас и вовсе передал ему командование Внутренней Армией, то есть всеми частями французской республиканской армии, которые не были на фронте. Теперь он был важной персоной, и по Парижу уже передвигался не пешком.

Как знак своего нового статуса, он счел нужным обзавестись каретой. Теперь он был знаком с людьми круга Терезы Тальен, а за одной из ее подруг даже начал ухаживать. В марте 1796 года мадам Тальен получила приглашение на церемонию их бракосочетания.

Дело дошло до свадьбы.

III

Новобрачная в девичестве звалась Мари Жозефа Роза Ташер де ла Пажери, родилась она на Мартинике, а замуж вышла в 16 лет, став супругой виконта де Богарне. Несмотря на наличие двух детей, брак их не удался, мадам Богарне с мужем часто ссорилась, но в 1794 судьба свела их вновь – оба были арестованы. Виконта казнили, а его жену – ставшую «вдовой Богарне» – спас переворот 9 термидора. В тюрьме она познакомилась с Терезой и они подружились. Такие вещи, как совместное заключение – и ожидание смерти на эшафоте – все-таки сильно сближают.

Они продолжали дружить и после счастливого спасения, хотя Роза де Богарне была и старше своей подруги Терезы на целых 12 лет. В голове у нее, в отличие от мадам Тальен, было довольно пусто, но она была весела, обладала живым характером, все еще была красива – и нравилась Баррасу, который, право же, ценил женщин не за их интеллектуальные качества. Она была его любовницей, неизменной гостьей на его частных приемах, и по слухам, танцевала для хозяина дома *...будучи без всяких покровов...*, как деликатно выражались в ту далекую пору.

У нее были и другие близкие друзья, помимо Барраса – например, генерал Лазарь Гош, тоже, как и она, угодивший в тюрьму, и тоже спасенный термидорианским переворотом. Баррас против романов своей подруги Розы де Богарне не возражал – он не был ревнив. Среди ее окружения появился и еще один генерал – по сравнению с Гошем и Баррасом не столь счастливый, ибо он не делил с ней радости жизни, а лишь следил за ней с нескрываемым обожанием.

В конце концов она написала ему письмецо – оно было датировано 20 октября 1795 года – в котором написала следующее:

...Вы совсем забыли вашего друга, который к вам расположен, и больше не приходите навестить меня. Приходите ко мне завтра к обеду. Доброй ночи, мой друг, я вас обнимаю, (Mon ami, je vous embrasse)...

Подписано письмо было как обычно – вдова Богарне.

Он ответил ей самым нежным образом, а уже в следующем письме обратился к ней на «ты», заменив

формальное “vous” неформальным “tu”. Принимая во внимание правила времени и среды, в которой эта переписка происходила, мы можем с уверенностью предполагать, что генерал наконец был ошастливлен интимной близостью с предметом своего обожания. Во всяком случае, влюбился он просто неистово. Настолько, что настаивал на том, чтобы называть свою возлюбленную Жозефиной, а не так, как все – Розой. Он хотел иметь для нее особое имя, которым называл бы ее только он сам. Во всяком случае, он – к немалому, надо полагать, изумлению своей подруги – настаивал на браке.

В итоге она посоветовалась со своими друзьями – в первую очередь, с Баррасом. Тот посоветовал ей не отказываться – генерал был на виду, уже командовал так называемой «внутренней армией», и должен был вскоре получить и другое назначение. Вдова Богарне согласилась с доводами ее давнего и преданного друга.

Она приняла предложение.

Бракосочетание происходило в мэрии. Свидетелями со стороны невесты были Жан-Ламберт Тальен, его супруга, Тереза Тальен, и Поль Франсуа Жан Никола, (виконт де) Баррас, фактический глава правительства Франции. Жениха представлял только капитан Ле Маруа (Le Marois), а сам он прибыл на собственное бракосочетание с большим опозданием, когда мэр, уже и не чая его увидеть, ушел домой.

Тем не менее – церемония состоялась. В документах Наполеон Бонапарт прибавил себе один год, указав, что родился в 1768 (вместо 1769), и в силу каких-то непонятных причин сообщил, что местом его рождения является город Париж – вместо Аяччо.

Вдова Богарне со своей стороны убавила себе 4 года, записав годом своего рождения 1767 вместо 1763. В довершение всего – что выяснилось уже много позже – свидетель генерала Бонапарта не имел права быть свидетелем (ему, несмотря на его капитанский чин, было всего 18 лет), а служащий мэрии, заменивший самого мэра по случаю его отсутствия, не имел законных прав на регистрацию браков.

Медовый месяц длился два дня. По истечении этого времени счастливый новобрачный, генерал Наполеон Бонапарт, отбыл в Ниццу, в штаб-квартиру Итальянской Армии.

Его безутешная супруга осталась в Париже.



Карикатура из английского журнала того времени (1797). На ней изображен Баррас в обществе жен влиятельных людей Республики – Терезы Тальен и Жозефины Бонапарт

IV

Франция при Бурбонах в социальном смысле делилась на духовенство, дворянство – и всех остальных. Это Третье Сословие включало в себя 96 % населения, платило все налоги – и не имело никакого голоса в принятии государственных решений, как бы серьезно они ни затрагивали его интересы. Люди, входившие в него, были лишены всех прав на серьезное продвижение, что воспринималось как нечто естественное во времена, когда огромное большинство податного населения составляли крестьяне, и как нечто совсем неестественное, когда в нем стали появляться люди вроде Вольтера.

Общее настроение, наверное, лучше всех выразил аббат Сийес с его знаменитым:

*Что такое третье сословие? – Все!
– Чем оно было до сих пор? – Ничем!*

– *Чем оно желает быть? – Чем-нибудь!*

Сказал он это в 1789, но система дала трещину чуть раньше – в 1787.

Государственные финансы Франции находились в состоянии кризиса еще со времен неудачной «Войны за Испанское Наследство», с 1714 года. Правление Людовика XV превратило кризис в катастрофу – долги государства достигли фантастической суммы в четыре с половиной миллиарда ливров. Выплаты по ним оказались уже совершенно непосильны. В попытке поправить дело было созвано Национальное Собрание. Монархия как главная несущая конструкция государства рухнула.

К сожалению, вместе с ней рухнуло и государство. Жизнь во Франции пошла в точности так, как и указывал Гоббс в своем «Левиафане». Он умер за 100 лет до Великой Французской Революции, но угадал все совершенно верно – общество, живущее вне государственных структур, действительно делало *...жизнь людей в их естественном состоянии одинокой, бедной, неприятной, жестокой и короткой...*

Он, правда не предусмотрел ни возможностей газетной травли, ни Трора – но в этом смысле Демулен, Марат, Дантон и Робеспьер поправили его теоретические недоработки. Они убили очень многих – и погибли сами. Революция пожрала своих детей. После казни Робеспьера пожар поутих, время радикалов миновало.

Остались наследники – коррумпированный термидорианский режим, державшийся на людях вроде Тальена, Фрерона, Барраса. Желание как-то закрепить достигнутую шаткую стабильность, но оставить правление в своих руках, привело к попытке ввести новую Конституцию. Ее главным положением, с их точки зрения, было правило, по которому две трети состава Конвента нового созыва гарантировалось тем депутатам, которые уже были в нем раньше.

Собственно, именно это и вызвало мятеж 13 вандемьера (5 октября) 1795 года. Мятеж был подавлен решимостью правительства Барраса и пушками генерала

Бонапарта. Баррас упрочил свое положение – а генерала щедро вознаградил.

Он вручил ему вдову Богарне и командование Итальянской Армией.

V

Ох, и нагнал же этот молодчик на меня страху! – сказал генерал Ожеро после первого военного совета, на котором председательствовал новый командующий Итальянской Армией, генерал Бонапарт. Это было сильное заявление, если принять во внимание, личность того, кто это сказал. Пьер-Франсуа-Шарль Ожеро в королевскую армию Франции поступил в 17 лет – и успешно из нее дезертировал. Он послужил в войсках Пруссии, Саксонии, Неаполя. В 1792 году вступил в батальон волонтеров французской революционной армии. В июне 1793 года получил чин капитана, потом, в том же году – подполковника и полковника, а в декабре – сразу, минуя чин бригадира – в дивизионные генералы.

К 1795 из своих 38 лет жизни он провел в армии (той или иной) больше 20 лет – и назначению нового командира – больше чем на 10 лет моложе его самого, и не отличившегося ничем, кроме Тулона, да еще расстрела толпы в Париже – вовсе не обрадовался.

Генерал Массена насчет нового командующего держался того же мнения. В конце концов, сам Массена тоже был под Тулоном, и командовал дивизией, а не какими-то там артиллерийскими батареями. Он был всего на год моложе Ожеро, и до Революции, чего только в жизни не делал – по слухам, даже занимался контрабандой. Но военный совет с участием генерала Бонапарта и на него произвел впечатление. По крайней мере, шуток насчет того, что *...Бонапарт получил Итальянскую Армию в качестве приданого от Барраса...* никто уже больше не отпускал.

Как-то сразу стало понятно, что приказы Наполеона Бонапарта следует выполнять, и что он ожидает не только их своевременного выполнения, но даже и предупреждения их отдачи – отсутствие инициативы у подчиненных он рассматривал как признак недостаточной компетенции.

Что же касается должной субординации, то рассказывался такой случай: генерал Бонапарт сказал генералу Ожеро:

Вы, генерал, на голову выше меня – но, если вы будете мне грубить, я устраню это различие.

И Ожеро ему поверил...

Не поверить было трудно – в раздерганной, разбросанной, раздетой и голодной Итальянской Армии установилась твердая дисциплина. Несмотря на то, что в армии был некомплект личного состава, несколько бунтующих батальонов было расформировано, зачинщики беспорядков расстреливались, все части приводились в порядок во всех отношениях, кроме материального снабжения.

Что же касается снабжения, то генералом Бонапартом был издан знаменитый приказ:

Солдаты, вы не одеты, вы плохо накормлены. Я поведу вас в самые плодородные страны на свете...

Воздействовать на солдат призывами к революционному братству он не надеялся, но зато обещал возможности для захвата хорошей добычи. Вообще говоря – тоже ничего особо нового.

Захват добычи ожидался правительством Республики от всех ее армий.

VI

Дело тут было в том, что Национальное Собрание, реорганизовав управление Францией, надеялось разрешить финансовый кризис национализацией церковных земель и введением новых прямых налогов². Под это и выпускались ассигнации – они обеспечивались результатами распродаж конфискованных имений. Все это, увы, провалилось. Собрать новые налоги не удалось, а выпуск все новых и новых ассигнаций привел к тому, что стоимость их упала вдесятеро, и выкуп церковных земель, за которые платили именно ассигнациями, средств правительству не давал, отчего они падали еще больше. Жозеф Бонапарт был не

² Politics and War, by David Kaiser, Harvard University Press, 1990, page 216.

единственным чиновником, кто сожалел о том, что жалование ему платят не звонкой монетой, а бумажками.

Уже правительству жирондистов, державшихся у власти в течение нескольких месяцев 1792 года, приходила мысль поправить дела посредством войны – помимо захватов и контрибуций, полезных для казначейства, это было и политически полезно, потому что могло сплотить нацию.

Военный министр, Карно, в речи перед Конвентом 14 февраля 1793 года, определял цели внешней политики Республики в следующих терминах:

Всякий политический акт, который полезен государству, уже в силу этого законен.

Между ноябрем 1792 и мартом 1793 Республика захватила и аннексировала Савойю, Ниццу, современную Бельгию – в то время австрийское владение – и некоторые германские территории.

Взявшие власть в июне 1793, якобинцы во главе с Робеспьером продолжали ту же практику – они были в принципе против войны, считая, что сначала надо консолидировать завоевания Революции – но у них не было выхода. Расходы правительства превышали доходы в 5 раз – и армии Республики получили приказ выжимать все, что только возможно, с завоеванных территорий. Деятели Термидора, свалившие якобинцев, остановили Террор, но политики внешних захватов и контрибуций не изменили.

В пять месяцев – между сентябрем 1794 и январем 1795 – доходы государства составили 266 миллионов франков, а расходы – 1734 миллиона. Дефицит покрывался печатанием ассигнаций. Понятное дело, их курс покатился вниз. С завоеванных территорий в австрийских владениях в Нидерландах было собрано примерно 70 миллионов франков золотом, из которых около половины достигло Франции. Все остальное досталось армии – деньги, конечно, в основном пошли ее командирам, но и солдаты были сыты и одеты, их кормили за счет побежденных. Из завоеванной Голландии создали так называемую Батавскую Республику – что не помешало содрать с нее контрибуцию в 100 миллионов золотых флоринов.

Так что у голодных и оборванных солдат Итальянской Армии были вполне разумные ожидания на то, что победы их и накормят, и оденут. Им очень хотелось надеяться, что новый командующий, генерал Бонапарт, способен повести их к победам.

Он их не разочаровал.

VII

Описывать Итальянскую Кампанию 1796-1797 Наполеона Бонапарта в каких-то хоть более или менее оригинальных тонах – задача примерно соответствующая по сложности попытке вырастить фиалку на голом бетоне. Существует совершенно необъятная библиография трудов, посвященная нашему герою, включающая буквально десятки тысяч названий книг и имен авторов, и ни одна из этих работ не обходится без упоминания о так называемой «Первой Итальянской Кампании», сделавшей его имя известным по всей Европе. То есть поле утопано так, что сказать нечего – можно разве что сравнить «крайние» случаи, определить границы оценок.

Если взять биографические книги, написанные на эту тему известными авторами на русском, то можно начать с Дм. Мережковского и его книги «Наполеон». Ну, приведем образчик стиля, в котором написан ее первый том – вот что он пишет о властолюбию Наполеона Бонапарта:

...Властолюбие сильная страсть, но не самая сильная. Из всех человеческих страстей – сильнейшая, огненнейшая, раскаляющая душу трансцендентным огнем – страсть мысли; а из всех страстных мыслей самая страстная та, которая владела им – «последняя мука людей», неутомимейшая жажда их, – мысль о всемирности...

Вы что-нибудь поняли? Приходит в головы мысль, что тут, пожалуй, мы можем скорее узнать что-то про автора, чем про предмет его описаний. Сейчас, когда метафизическая патетика (или патетическая метафизика?) несколько вышла из моды, читать весь этот высокопарный бред немного странно. Тем не менее, автор в своем смешном захлебе дальше говорит и кое-что дельное. Например, он роняет замечание, что знакомится с военными кампаниями

Наполеона Бонапарта без подробнейших карт и объяснений, доступных разве что специалистам, понимающим предмет – дело довольно бессмысленное. После чего добавляет бессмысленности собственного изобретения – он объясняет все успехи Итальянской Армии тем, что душа солдат и душа их командующего были неким единым целым, связанным кровью (он имеет в виду полученные раны), и потому-то они летели от победы к победе.

На противоположном конце шкалы расположена работа Дэвида Чандлера³, «Военные Кампании Наполеона» – которая, кстати, была переведена на русский. Д. Чандлер, во-первых, специалист – он преподавал в Королевской Военной Академии в Сэндхерсте – во-вторых, он англичанин, и уже в силу этого к пафосу не склонен.

Так вот – он быстроту действий Итальянской Армии объясняет тем, что армии революционной Франции всегда двигались быстро, потому что не имели ни обозов, ни тылов, а всегда рассчитывали добыть все нужное, захватив это на территории противника. Так что стремительный марш был стандартной тактикой ВСЕХ армий Республики, и солдаты несли на себе только трехдневный запас продовольствия, в отличие от австрийских, располагавших 9-дневным запасом, который волей-неволей надо было не нести, а возить.

Солдаты Франции отличались от солдат стран «старого режима» низким уровнем выучки – Революция не могла тратить год или больше на то, чтобы научить новобранцев стрелять аккуратными залпами, или разворачиваться в строгие, геометрически выверенные

³ David G. Chandler (15 January 1934 – 10 October 2004) – британский историк, преимущественно занимавшийся веком Наполеона. Преподавал в Сэндхерсте (Королевской Военной Академии) и в военных школах США. Получил докторскую степень в Оксфорде.

(A British historian whose study focused on the Napoleonic era. As a young man he served briefly in the army, reaching the rank of captain, and in later life he taught at the Royal Military Academy Sandhurst. Oxford University awarded him the D. Litt. in 1991. He has held three Visiting Professorships at Ohio State in 1970, at the Virginia Military Institute in 1988, and Marine Corps University in 1991).

боевые порядки. Зато дисциплина не сковывала их инициативы. Рассыпной строй стрелков, идущих через густой подлесок, для французов был нормой – солдаты не разбегались и без надзора сержантов, и делали то, что нужно, без особой на то команды. И в атаки они ходили не развернутой цепью, а густыми тесными колоннами – потери их не смущали, а штыковой удар колонны приводил к прорыву на узком фронте, и часто тем самым решал исход боя. В общем, все это – и быстрые марши, и использование вроде бы неподходящей для боя местности, и штыковые удары – все это было изобретено и до генерала Бонапарта.

Но сейчас, в Итальянскую Кампанию 1796 года, этот уже хорошо известный арсенал использовал гений и виртуоз.

VIII

Полководцы Республики, как правило, могли рассчитывать на то, что у них будет численный перевес – генерал Дюмурье во время своей кампании 1791 года в Австрийских Нидерландах (современной Бельгии) имел около 50 тысяч человек против 15 тысяч австрийцев. Австрийцы долго держались за счет своего профессионального мастерства, но в конце концов вынуждены были уступить подавляющей массе противника. Итальянская Армия отправлялась в поход, имея всего 37 тысяч человек.

Против нее были пьемонтские и австрийские войска, общим числом превышавшие 50 тысяч. Но генерал Бонапарт отличался от генерала Дюмурье – немедленно после вторжения в Италию, он всеми силами, что у него были, атаковал австрийцев у Монтенотте. Их главнокомандующий, генерал Болье, с основной частью своей армии находился южнее, и на помощь им не поспел. Уступая австрийцам в общем количестве солдат, Бонапарт за счет быстроты и решительности своих действий создал то самое подавляющее численное превосходство, которое имел Дюмурье - но не повсюду, а только в нужном ему месте – и победил.

Тут же, не теряя ни минуты, он развернул свою армию против войск Пьемонта, и разгромил их наголову.

Позднее специалисты посчитали, что достигнутые Итальянской Армией результаты – *...шесть побед в шесть дней...* – были на самом деле одним непрерывным шестидневным сражением. Уже 28 апреля Пьемонт запросил перемирия.

Оно было ему даровано, но на тяжелых условиях: король Пьемонта, Виктор-Амедей, сдавал без боя две сильных крепости, обязывался не пропускать через свою территорию никаких других войск, кроме французских, отказывался от Ниццы и от Савойи (уже, впрочем, и так оккупированных французской армией) и обязывался поставлять Итальянской Армии все необходимые ей припасы. Но у Виктора-Амедея и выхода не было – ему грозили тем, что отберут у него его столицу, Турин.

Следующим пострадал герцог Пармы. Он, собственно, с Францией не воевал, и всячески настаивал на своем нейтралитете. Генерал Бонапарт доводам его не внял. На Парму была наложена контрибуция в два миллиона франков золотом, и уж заодно – герцогству было велено немедленно выделить для нужд французской армии 1 700 лошадей. Это было важно – Бонапарт начал поход, имея только две сотни мулов для всех своих транспортных нужд, и практически не имея кавалерии.

10 мая 1796 года произошло знаменитое сражение при Лоди. Бонапарт сам со знаменем бросился на мост, под картечь. В завязавшейся отчаянной схватке он был ранен, и даже сброшен с моста, уцелел просто чудом. На эту тему, многократно обсуждавшуюся в литературе, мы можем привести два крайне отличающихся друг от друга мнения.

Первое из них принадлежит истинному литератору и интеллектуалу, Дмитрию Сергеевичу Мережковскому:

...Он упал в болото, угруз по пояс в тине; барахтался и только еще больше угрузал. Хорошо было стоять на мосту героем, но скверно сидеть лягушкой, в болоте. Слышал, казалось, и сквозь шум сражения, только тихий шелест сухих тростников над собой; видел только серое, тихое небо, и сам затих; ждал конца: то ли тина засосет с головой, то ли австрийцы зарубят или захватят в плен. А может быть, знал – «помнил», что будет спасен...

То есть храбрый генерал *знал-помнил*, что будет спасен, и во всем происшедшем Дмитрию Сергеевичу виден Перст Судьбы. Этот речитатив *знал-помнил* он вообще повторяет на страницах своей книги очень охотно.

Дэвид Чандлер, профессор военной истории в Королевской Военной Академии, преподававший также в военных школах США, и получивший от Оксфорда почетную докторскую степень, был куда более прозаичен. Про эпизод с мостом в ходе сражения при Лоди он сказал просто:

Повезло...

IX

15 мая 1796 года французские войска вошли в Милан. За день до этого генерал Бонапарт отправил Директории в Париж донесение:

Ломбардия принадлежит Республике.

Город Ливорно был занят без боя – просто туда был направлен отряд под командой расторопного и исполнительного офицера. Звали его Иоахим Мюрат, и он был знаком Бонапарту по Парижу – в день 13 вандемьера, при подавлении роялистского восстания, он послал его в пригородный военный лагерь за пушками – приказ был выполнен быстро, и пушки доставлены вовремя. Так что в Ливорно отправлялся человек надежный, и он не подвел и на этот раз.

Генерал Ожеро занял Болонью. Великое герцогство Тосканское было занято, можно сказать, мимоходом, хотя, как и Парма, было нейтральным – но такие мелочи генерала Бонапарта не интересовали. Убийством 5-и французских драгун в Луго (недалеко от Феррары) он заинтересовался гораздо больше. Туда был послан карательный отряд, который разгромил и разграбил город до основания, истребив в нем все мужское население в возрасте старше 16-и лет. Количество изнасилований учету не поддается.

Армия, не задерживаясь в Тоскане, двинулась на осаду неприступной крепости Мантуи, где засел австрийский гарнизон. Уже под Мантуей Бонапарт получил известие о том, что на выручку крепости из Тироля идет сильная австрийская армия под командой генерала

Вурмзера. Этот генерал оказался орешком покрепче разбитого французами Болье – он шел к Мантуе, невзирая на все попытки задержать его, и сумел разбить сперва корпус Андре Массена, а потом – Ожеро.

В тылу у французов был Пьемонт, через который и шли все коммуникации между Итальянской Армией и собственно Францией, и что может там случиться, наглядно показал случай в Луго.

В таком трудном положении Бонапарт снял осаду Мантуи. Войска Вурмзера вошли туда, можно сказать, с триумфом – и тут узнали, что тем временем французы напали на австрийский корпус, который шел к Милану. Вурмзер двинулся на выручку, но не успел – корпус был к этому времени вдребезги разбит, и ему самому пришлось думать уже не о победе, а о спасении.

Генерал не посрамил своей репутации – Бонапарт его не поймал, и он смог уйти от него, и запереться в Мантуе – но теперь Вене надо было думать о том, как выручить из беды самого Вурмзера. В Северную Италию была направлена спешно собранная австрийская армия, уже третья по счету, под командой генерала Альвинци.

В ноябре 1796 года она была отброшена французами в сражении при Арколе, и отступила с большими потерями. Через полтора месяца после этого, в битве при Риволи 14-15 января 1797 года, Альвинци был разбит окончательно, наголову, и с остатками своей армии буквально бежал к перевалам через Альпы, только и надеясь на то, что ему удастся спастись в Тироле.

В итоге, потеряв всякую надежду на выручку, в начале февраля Вурмзер капитулировал и сдал Мантую. Наполеон Бонапарт принял генерала Вурмзера самым дружеским образом. Видимо, оценил в коллеге профессиональные качества.

А потом пошел на север, угрожая уже самой Австрии.

Х

В начале апреля 1797 года генерал Бонапарт получил послание из Вены – его уведомляли, что австрийский император Франц хотел бы начать переговоры о мире. Дело

было в том, что собранная с бору по сосенке новая австрийская армия, на этот раз под командованием эрцгерцога Карла, после нескольких неудач отступала, а в Вене уже и вовсе шептались, что в Шенбрунне пакуют коронные драгоценности и куда-то их увозят.

Переговоры начались в Леобене, небольшом городке в Штирии – и окончились до того, как правительство Франции успело сказать хоть слово. Генерал Бонапарт сам переговоры провел, сам их окончил, сам подписал все необходимые документы, и мнением Директории при этом ничуть не озаботился. Вообще весной 1797 он занимался главным образом проблемами политическими и дипломатическими, а вовсе не военными.

Даже его февральская военная экспедиция против Папской Области – и та носила политический характер. Папские войска потерпели поражение, и с побежденных была взыскана огромная контрибуция в 30 миллионов франков золотом, не считая того, что армия награбила на месте – так сказать, по ходу дела. В Париж отправлялись картины, скульптуры, и, самое главное – звонкая монета, которая помогала держаться шаткой системе французских государственных ассигнаций.

Вот это последнее обстоятельство – как и то, что немалая часть денег прилипла к рукам высоких персон в правительстве Республики – и давало генералу Бонапарту нужный ему политический эффект. Он становился лицом несменяемым, и его даже не пожурили за самостоятельное заключение перемирия с австрийцами – хотя это явно выходило за пределы его полномочий.

Он не постеснялся и окончательный мир с Австрией заключить сам – в мае 1797 его войска, прицепившись к инциденту в Венеции, заняли все владения Светлейшей Республики. Теперь, в Камп-Формио, он предложил австрийцам компенсацию за их потери – владения Венеции в Италии переходили к созданной им Цизальпинской Республике, а сам город на лагунах он, так уж и быть, отдавал Австрии.

Генералы все-таки не так уж часто создают вассальные государства для своей страны по собственной

инициативе – но Бонапарту простили и это. Он сумел оказать Директории важную услугу – его подчиненный, генерал Бернадотт, перехватил в Триесте некоего графа Д'Антрага, эмиссара роялистов.

В бумагах, найденных у него, обнаружилось неопровержимое доказательство заговора, в котором участвовал генерал Пишегрю, отважный завоеватель Голландии, а ныне – президент Совета Пятисот, главного органа законодательной власти Республики.

Документы были срочно отправлены Баррасу. Тот не стал торопиться, а сперва подтянул к столице верные части, дождался посланного ему из Италии генерала Ожеро, получил срочно отправленные Бонапартом в Париж 3 миллиона франков – естественно, в золоте – и только тогда начал действовать. 4 сентября 1797 года в Париже прошли массовые аресты, в число подозреваемых включили и двух членов Директории, чьи имена оказались упомянуты в захваченных в Триесте бумагах – Бартеlemi и Карно – и дело было сделано.

Баррас в сентябре полностью победил своих соперников в Париже, а в октябре Наполеон Бонапарт заставил австрийцев подписать в Кампо-Формио тяжелый для Австрии мир, куда больше походивший не на мир, а на капитуляцию.

В ноябре он получил извещение из Парижа: *...его присутствие в столице совершенно необходимо...* Его ждала там триумфальная встреча – и даже день для нее был уже назначен.

10 декабря 1797 года.



Слава Бродский
Большая Кулинарная Книга
Развитого Социализма

(Для гурманов и простых людей Москвы и Ленинграда)

Выдержки из книги
Предисловие к публикации



Перебирая недавно старые бумаги на чердаке своего миллбурнского дома, я нашел одну мою давнишнюю рукопись. Это была практически готовая к изданию книга кулинарных рецептов. Я написал ее еще в Москве в конце восьмидесятых годов прошедшего столетия. Последние добавления были сделаны там же в самом начале девяностых годов. Опубликована книга не была. Хотя она могла бы быть весьма ценной и полезной для того времени. В наши дни она, как мне сначала показалось, потеряла остроту момента именно как кулинарная книга. Хотя те из моих друзей, которые читали ее когда-то давно в рукописи и сейчас живут в Москве, говорили мне, что в чем-то она свою актуальность сохранила и до сих пор. Тем не менее, я сначала подумал, что издавать книгу теперь нет никакого резона. Однако же, перечитав ее, изменил свое мнение на этот счет, и вот по какой причине.

Не все, наверное, знают, что в восьмидесятом году в России был построен коммунизм. Все его ждали так долго. А вот когда он наступил, его как-то пропустили. Сами коммунисты, правда, именно в это время немного передумали и стали называть то, что они построили, развитым социализмом. Они полагали, наверное, что будет

еще какая-то фаза, более продвинутая, чем этот развитой социализм. И вот тогда-то они и будут называть ее коммунизмом.

Многие считают, что никакой другой фазы не было. А я думаю, что коммунисты были правы. Все-таки то, что было в восьмидесятых годах – это был еще не полный коммунизм. И называть его развитым социализмом, наверное, очень правильно. Коммунизм – это, по определению самих коммунистов, последняя стадия развития социалистического общества. И вот в девяностом году наступила уже последняя стадия развития социализма и превращения его в коммунизм. И то, что это была последняя стадия и, следовательно, вполне законно тогда называть ее коммунизмом, стало ясно буквально через два года.

Но на самом-то деле не имеет большого значения – считать, что коммунизм наступил в восьмидесятом году или считать, что он наступил в девяностом, а в восьмидесятых годах был только развитой социализм. Между этими двумя периодами была хоть и видимая, но не такая уж значительная разница. И многие полагают, что коммунизм и развитой социализм – это вообще одно и то же. Ну что ж, как ни считать, в любом случае я могу утверждать, что я жил при коммунизме. И я иногда думаю, как мне в этом все-таки повезло. А людей, которые не жили при коммунизме, мне по-настоящему жалко. Жалею я их, так сказать, в информационном смысле. Из-за того богатого информационного потока, который прошел, не коснувшись их. Разумеется, еще больше я сочувствую тем, кто жил при коммунизме. Но это сочувствие уже совсем другого плана.

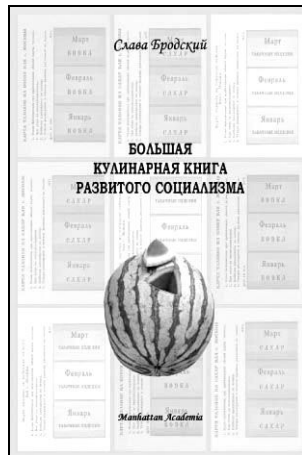
И я подумал, что, может быть, моя кулинарная книга будет интересна тем, кому не удалось пожить при коммунизме. Не своими кулинарными рецептами, а вот этой самой информацией от прямого свидетеля того времени. Опять же, никогда не знаешь, где, когда и в каком виде может возродиться социализм. Именно в то время, когда кажется, что он дискредитировал себя полностью и окончательно, кто-то приклеивает на щит своей избирательной кампании все социалистические лозунги. И по какой-то причине (по-видимому, по какому-то всеобщему

закону природы) эти лозунги опять становятся привлекательными для многих.

И вот представьте себе, что где-то еще будет построен настоящий социализм, который неминуемо должен будет со временем перейти в развитой социализм, а потом и в коммунизм. А моя книга уже тут как тут. И людям легче и, скорее всего, веселее будет жить при коммунизме с моими кулинарными рецептами. Во-первых, они будут знать, что не они первые, кому так повезло. А во-вторых, они смогут использовать книгу по прямому назначению.

Именно по совокупности изложенных причин я и решил опубликовать мою книгу именно сейчас. И я надеюсь, что читающий народ встретит ее благосклонно.

Слава Бродский



Отказ от ответственности

Автор ни в коей мере не гарантирует безопасность его рецептов и советов. Любой из них может вызвать сильнейшее желудочное расстройство, пагубно повлиять на здоровье и даже привести к смертельному исходу. Все кулинарные рецепты и советы данной книги должны приниматься читателем на свой страх и риск.

Салат «Оливье»

Для приготовления этой вкуснейшей закуски вам будут нужны, к сожалению, два весьма редких ингредиента: зеленый горошек и майонез. Но поскольку это блюдо

готовится только к особо торжественным случаям, есть надежда, что вы сможете заранее их купить. И если уж вам посчастливилось их достать, вы и ваши гости будете вознаграждены.

Другие продукты для салата сравнительно легко найти. Вам еще нужна вареная картошка и соленые огурцы. Все это надо смешать в любой пропорции в зависимости от того, сколько и чего у вас есть в наличии. Не переложите только соленых огурцов. Украсить салат хорошо зеленью. К сожалению, ее нельзя купить впрок. Поэтому к вашему празднику у вас ее, скорее всего, не должно быть.

Я подскажу вам простой выход. Возьмите зеленый бумажный лист. Согните его пополам и склейте. Теперь у вас получился лист бумаги, который зеленый с двух сторон. Вырежьте из него ажурные фигурки, похожие на зелень петрушки. Воткните три-четыре таких фигурки в салат. Получится красиво.

Многие, наверное, спросят, как достать зеленую бумагу. Это очень просто, если вы обладаете хотя бы небольшой жилкой запасливости. В Москве и Ленинграде, хотя и редко, но устраиваются различные международные выставки. На выставках представители иностранных фирм раздают каталоги своей продукции совершенно бесплатно. Каждый из них напечатан на изумительной бумаге. Внутри – масса цветных страниц. И, естественно, желающих получить эти каталоги гораздо больше, чем самих каталогов. Поэтому, чтобы избежать большой конкуренции, я вам советую встать около чего-нибудь такого, что не очень интересно всем. Не вставляйте там, где показывают фотоаппараты или магнитофоны. Пристройтесь к каким-нибудь насосам и терпеливо ждите. И, главное, не суетитесь. Если вам удастся заполучить каталог, не просите сразу другой. Сделайте вид, что вы его читаете. Тогда представитель фирмы может обмануться и дать вам еще несколько каталогов. При умелом и спокойном поведении не более чем через полчаса вы будете обладать стопкой фирменных каталогов.

Надеюсь, вы понимаете, что не надо полагаться на случай. И я надеюсь, что вы припрячете каталоги, прежде чем пойдете к выходу. В противном случае гэбэшники могут

эти каталоги у вас отнять. И конечно же, вероятность такого исхода зависит от того, из какого павильона вы выходите. Если это – финские насосы, то, скорее всего, пронести каталоги будет легко.

Мне как-то пришлось выносить каталоги из павильона израильской книги. Гэбэшники стояли на выходе плотными рядами. Я поступил так: засунул каталоги в штаны сзади, рубашку выпустил сверху и медленно двинулся к выходу. Для надежности я сделал рассеянное скучное лицо и как бы думал о чем-то постороннем. Тогда никто меня не остановил. Но когда я шел к выходу, пожалел, что не потренировался накануне перед зеркалом.

Теперь вернемся к нашему праздничному блюду. Вы вырезали из зеленой бумаги ажурные листочки петрушки и воткнули три-четыре таких украшения в ваш салат Оливье. Теперь его можно подавать на стол!

Сыр

Мы не едим сыр каждый день. Сыр мы подаем на стол, когда к нам приходят гости. И сыр всегда был и остается одной из самых популярных закусок. И вы в этом можете убедиться сами. Еще до того, как вы подали на стол горячее, весь сыр уже обычно бывает съеден. На столе еще может остаться селедка или какой-нибудь салат, но сыр остаться на столе не может. Правда, сейчас, наверное, я не поверил бы в то, что на столе может остаться селедка или салат. Но совсем недавно такое запросто могло случиться.

Ну, совсем в давние времена, лет двадцать тому назад, я помню, даже сыр мог остаться на столе. Особенно в богатых семьях. И тогда много разговоров было о том, как нарезанный сыр хранить в холодильнике, чтобы он не засох там и не скосovorотился. И кто-то придумал феноменально простой способ: класть в баночку с сыром кусок сахара. Как и почему сыр оставался абсолютно свежим в этой баночке – этого никто не знал. Сейчас этого тоже никто не знает. Сейчас никто не помнит даже, я думаю, про сам этот способ хранения сыра с сахаром. Не помнит никто об этом по той простой причине, что сейчас уже нарезанный сыр не остается на праздничном столе. Сейчас уже проблема состоит не в том, как сохранить сыр после ухода гостей.

Сейчас проблема заключается в том, чтобы сохранить сыр к приходу гостей.

А теперь о том, что может случиться с сыром, если он у вас пролежал долго (надеюсь, что в холодильнике) в ожидании особо почетных гостей. Ничего такого страшного с ним не должно было произойти. Однако же он мог немного заплесневеть.

Ну, если мы говорим, что сыр немного заплесневел, то это, вообще говоря, не значит буквально, что он заплесневел немного. Он, может быть, заплесневел вполне прилично. Но и в этом случае принято говорить, что сыр немного заплесневел.

Почему мы так говорим? А как вы хотите, чтобы мы говорили в подобных случаях? Что сыр заплесневел весь к чертовой матери? Нет, так интеллигентные люди не говорят. А вы же живете в Москве или Ленинграде? Так? Значит, вы интеллигентный человек.

Что же делать, если сыр немного заплесневел? К счастью, на сыре плесень всегда очень заметна. К тому же на сыре плесень не может пойти внутрь продукта. Это упрощает борьбу с ней. Надо просто срезать заплесневевшие участки. Я видел однажды, как это делала одна моя знакомая. Она срезала тонкий заплесневевший слой со всех шести сторон сырного куска. И хоть слои, которые она срезала, и были тонкими, но в результате ей пришлось выбросить сыра довольно порядочно. В некоторых запущенных случаях такой способ является единственно возможным. Но чаще всего достаточно просто соскоблить плесень ножом. Только надо использовать нож с гладким (не зазубренным) лезвием.

Гурманам я рекомендую каждую сторону сырного куска проходить дважды. Первый раз соскабливается основной слой. Потом моется нож. Второе соскабливание делается с очень маленьким нажимом. И делается оно только для того, чтобы убрать случайно оставшиеся части сыра при первом соскабливании.

Теперь сыр можно подавать на стол. Может случиться, что какой-то ваш гость почувствует привкус или запах плесени. Спросите его тогда, ел ли он когда-нибудь

французский сыр. И не дожидаясь ответа, переставьте тарелку с сыром подальше от него и поближе к другим гостям.

Мойва соленая и вяленая

Все, что вам необходимо – это мойва и соль. Когда мойва нужна, ее не так-то легко найти. Хотя она часто лежит в магазинах и ее никто не покупает. А не покупают ее по глупости людской. Потому, что не знают, насколько она хороша в вяленом виде. А потому иногда незаслуженно называют ее штрафной ротой.

Когда вы наткнетесь на мойву в магазине, советуем купить ее побольше. Хотя бы килограмма три или даже четыре.

Засолите ее и оставьте на день. Не бойтесь пересолить. Мойва не впитает соли больше, чем нужно.

Теперь вам нужно нанизать всех ваших мойв на какое-то основание. Проще всего использовать для этой цели проволоку. Ее можно найти практически около любой стройки. Надо только вашу проволоку очистить от ржавчины и хорошенько помыть.

Нанизывать мойву вы будете через глаза. И остатки ржавчины, так или иначе, попадут в рыбы головы. Что делать в таком случае? Выбрасывать головы?

Нет. Это слишком расточительно. Многие не любят есть рыбы головы. Я считаю это большой ошибкой. Рыбья голова – пожалуй, самое вкусное рыбье место. Так что же делать? Есть ли какой-то заменитель проволоки?

Тут я опять надеюсь, что вы обладаете некоторой степенью запасливости и у вас найдется суровая нитка. Только ее надо скрутить – так, чтобы получилась многожильная нитка. И, конечно же, лучшим заменителем проволоки будет толстая рыболовная леска.

После того, как вы нанизали всех своих мойв на проволоку (на нитку или на леску), надо эти связки куда-то пристроить. Кстати, когда мойвы все висят в связке, вот тогда-то я и вспоминаю про штрафную роту. Но, должен сказать, эта ассоциация для меня не является неприятной.

Куда же теперь пристроить вашу штрафную роту? Если у вас коммунальная квартира, можно повесить все

ваше хозяйство за окном. У меня отдельная квартира, и в ней есть балкон. А на балконе можно подвесить столько связок, сколько мне даже и не нужно. Поэтому у меня с подвеской мойв вообще нет никаких проблем.

Ну, почти нет проблем. Дело в том, что сначала с моей штрафной роты начинает капать соленая вода. А через несколько дней начинает скапывать рыбий жир. Конечно, все домашние страдают от густого рыбьего запаха. Но, к счастью, это продолжается не долго. Через неделю все к запаху привыкают, хотя пахнет с каждым днем все сильнее и сильнее.

Еще одна небольшая проблема возникает вот по какой причине. В какой-то момент мойву начинают атаковать мухи. Что с этим делать? Сейчас я вас научу, что с этим делать.

Лучше не делать ничего. Если вы закроете мойву даже, например, марлей, естественный поток воздуха ослабнет. И возникнет большая вероятность того, что мойва не просушится достаточно быстро. И, следовательно, она может подтuhnуть. Так что пусть уж на вашу мойву садятся мухи. От мух, насколько я знаю, никто еще не умирал.

Сколько времени надо вялить мойву на открытом воздухе? Это зависит от погоды. При жаркой погоде, может быть, будет достаточно одного месяца. При плохой погоде может оказаться недостаточным и двух месяцев. Но в любом случае уже через несколько дней вы можете свою мойву попробовать. Это еще не будет вяленая мойва. Это будет соленая мойва. Но абсолютно хорошие гастрономические ощущения я вам могу гарантировать.

Не надо, чтобы ваша мойва пересушилась. Через пару месяцев, когда она приобретет приятный коричневатый цвет, вы должны ее положить в холодильник.

Хочу вас спросить: выбрасываете ли вы использованные полиэтиленовые пакетики? Нет, конечно же, нет. Так могут поступать только тупики. Я уверен, что вы их не выбрасываете. Вы моете ваши пакетики, сушите и храните их где-то на кухне. И вот теперь они очень и очень вам пригодятся. Держать в холодильнике мойву, не упакованную в пакетики, я вам категорически не советую.

Если вы меня не послушали и купили мойвы менее двух килограммов, то в холодильник вам будет класть нечего. К тому моменту, когда мойва достигнет полной степени готовности, вы уже ее всю перепробуете. Что же тогда делать? Успокойте себя мыслью, что на ошибках учатся.

Но я все-таки надеюсь, что в любом случае вы сможете что-то припрятать для какого-нибудь торжественного случая. И когда вы будете кормить вашей мойвой своих друзей, они, несомненно, будут просто поражены ее вкусом. И, скорее всего, они будут вас расспрашивать, как вы ее приготовили. Так вот, если среди ваших друзей попадутся гурманы, им необязательно знать про мух.

Колбаса кружочками

Вряд ли кто-то не согласится со мной, что колбаса является украшением праздничного стола. Готовить ее не надо. Ее только надо нарезать. И все уже давно знают, как ее надо резать перед подачей на стол. Разумеется, не надо резать ее толстыми кусками. Так поступают только идиоты. Резать ее надо тоненько-тоненько. И как бы под углом. Тогда кружочки получаются не скучно круглыми, а нарядно овальными.

Да, я знаю, я прекрасно знаю, что кружочки не могут быть овальными. А если уж у вас есть что-то овальное, то это не кружочки. Но так мне говорил однажды кто-то в какой-то лесополосе между двумя квадратами подсолнуха близ города Саратова. И мне до сих пор это кажется очень милым.

А на самом-то деле, конечно же, проблема не в том, как нарезать колбасу, а как ее достать. Но если вы побегаετε по магазинам в течение месяца перед, скажем, своим днем рождения, то вам в конце концов должно повезти.

К сожалению, во всех магазинах сейчас действует униженное правило: отпускать колбасу только по двести граммов в одни руки. Что тут можно посоветовать? Да ничего тут уже нельзя посоветовать.

Ну, не то, что совсем уж ничего. Кое-что попробовать все-таки можно. Вам ничего не стоит сказать

продавщице, что ваш сын был все время с вами и вот в самом конце куда-то убежал. И что вы его за это убьете. После этой фразы скривите лицо в нервной улыбке. Вместо сына можно назвать жену или мужа. И важно при этом выразить свое возмущение крайне энергично. Можно (и даже нужно) назвать мужа дураком. Про жену можно сказать что-нибудь неразборчивое сквозь зубы и запнуться посередине фразы. Продавщица все поймет и может сжалиться над вами.

Занимайте очередь в кассу, пока вы стоите в очереди за колбасой. Очередь за колбасой движется медленно. Поэтому занимайте очередь в кассу несколько раз. Занимайте очередь в разные кассы.

Не все, кстати, знают, как правильно надо занимать очередь. Казалось бы, такая простая штука – занять очередь. А вот и тут нужна смекалка.

Нужно привлечь к себе как можно больше внимания. Ну, как рядовой покупатель занимает очередь? Он спрашивает: «Кто последний?» И когда ему отвечают, говорит: «Я за вами». И все.

Это, конечно, совершенно недопустимо. Кто же вас запомнит? Представьте, что вы смогли вернуться в очередь только через десять или пятнадцать минут. Ну кто вас там будет помнить? Скорее всего, никто.

Как же нужно правильно занимать очередь? Ну, естественно, надо спросить, кто последний. Потом надо спросить, за кем этот последний стоит. Еще надо спросить, за кем стоит тот, кто стоит перед последним. Теперь надо с ними со всеми обязательно поговорить. Но не просто так поговорить. Надо сказать что-то запоминающееся. Женщине можно сказать, что она похожа на Софи Лорен. И неважно, на кого она на самом деле похожа. И делаете вы это не для того, чтобы польстить. Вы делаете это вот для чего. Когда вы вернетесь в очередь, и все будут говорить, что вы тут не стояли, вы тогда скажете: «Ну, как же?! Помните, я еще сказал, что вы похожи на Софи Лорен?»

Если кто-то читает газету, можно спросить, что там написано про погоду. Если это лето, скажите, что завтра, вы слышали, ожидается снег. Если это зима, скажите, что, по

слухам, будет двадцать градусов тепла. Если кто-то читает про спорт, скажите, что вчера Башашкин забил необыкновенно красивый гол, в падении через себя, но, к сожалению, в свои ворота. Чем нелепее будет ваша фраза, тем надежнее про вас вспомнят потом.

Многие считают, что надо обязательно дожждаться, когда за вами займут очередь. Конечно, это очень и очень неплохо – дожждаться, когда за вами займут очередь. А если вы должны срочно побегать и проверить какую-то другую вашу очередь? Что тогда делать?

Попросите женщину, за которой вы стоите, предупредить, что вы за ней занимали. Она, наверное, с неудовольствием пожмет плечами. Но вы на это не должны обращать много внимания. Но обязательно должны сказать что-то запоминающееся. Скажите, например, что вы завтра ложитесь на операцию. При чем тут операция – это не важно. Важно – не упустить очередь.

Я бы даже сказал так: в умении правильно занимать очередь и держать ее – залог вашего продуктового благополучия. И если вы научитесь это делать, ваш праздничный стол всегда будут украшать нарядные овальные кружочки колбасы.

Жареная картошка аппетитная

Как вы моете картошку? Я советую отмывать основные комки грязи над большой кастрюлей. И потом вы должны вылить всю эту грязь в унитаз. В противном случае можно серьезно засорить раковину. После этого картошку надо почистить и еще раз помыть. Нужно ли вырезать зеленые места у картошки? Гурманам, наверное, так и надо поступать. Однако особой нужды в этом нет. Теперь надо картошку нарезать и жарить на сковородке. Для этого годится любое масло, которое вы смогли найти.

Меня иногда спрашивают, хорошо ли жарить картошку на топленом масле. спрашивают это люди, которые не знают, как получается топленое масло и для чего оно существует.

Топленое масло получается вытапливанием обыкновенного сливочного масла. При этом масло теряет в весе, но приобретает одно полезное свойство. Его можно

хранить долгое время без холодильника. Поэтому, если вы находитесь в условиях, когда у вас есть только топленое масло, вам ничего не остается другого, как жарить картошку на нем. Во всех остальных случаях использование топленого масла является непростительным расточительством.

Еще чаще меня спрашивают, что делать, если масла нет никакого. А один мой приятель спросил меня, что делать, если нет картошки. И я посоветовал ему выпить стакан водки и лечь спать.

И он так и сделал. А потом он мне рассказал, что ему приснился какой-то сказочный сон. Будто он сидит летом на террасе своего загородного дома в тени под зонтом. Вокруг него снуют слуги. Один из них открывает ему ледяное баночное пиво. Другой выворачивает на раскаленную сковородку все содержимое пол-литровой банки с топленым маслом. А третий нарезает соломкой уже почищенные картофелины, абсолютно гладкие и без единого дефекта, каждая размером с футбольный мяч.

Консервы

Каждый из нас, конечно, не раз видел вздутую консервную банку. Общепринятое мнение таково, что такие консервы есть чрезвычайно опасно. Не пытаясь оспаривать такую точку зрения, я хочу дать вам один совет, который поможет в некоторых ситуациях спасти консервы.

Вскройте банку. Понюхайте содержимое. Если запах ужасный, то может быть действительно лучше такую банку выбросить. Но если неприятного запаха нет или он очень небольшой, тогда можно поступить так, как меня когда-то научили в одной саратовской деревне.

Переложите содержимое в чистую стеклянную банку. Тогда у вас будет больше шансов, что плохие процессы прекратились. Теперь надо содержимое попробовать. Возьмите маленький кусочек. Величиной с фасолину. Я не думаю, что от такой небольшой порции вам станет плохо, даже если содержимое банки действительно испортилось. После того, как вы проглотили пробную порцию, не вздумайте сразу есть все остальное, даже если вам это очень понравилось. Теперь ждите как минимум один

день. Если с вами ничего не случилось, консервы признаются годными.

Гурманы, правда, считают, что необходима вторая проверка. Они считают, что второй раз надо съесть чайную ложку продукта. И опять ждать один день.

Некоторые советуют дать попробовать консервы кошке. К сожалению, кошка вздутые консервы не ест.

Гуляш из мясных обрезков

Мясные обрезки. От этих слов у бывалого ленинградца все замирает внутри. Потому что мясные обрезки – это настоящее мясо по цене сорок пять копеек за килограмм. Продаются эти обрезки, насколько мне известно, только в Ленинграде и только в одном единственном магазине на Крестовском острове, неподалеку от Свердловской больницы.

Народ считает, что магазин этот торгует для собак. И обрезки эти иногда называют собачьими. Хотя никаких собачников в этом магазине никто никогда не видел. Все покупают обрезки для себя. Тем не менее, обрезки все-таки называются собачьими. И называет их так народ без всякой обиды и, я бы даже сказал, почтительно.

Как готовится гуляш? Это, в сущности, не так уж и важно – знать точный рецепт. Самое главное – это купить мясные обрезки.

Нарежьте свои мясные обрезки на более мелкие кусочки и положите тушиться в кастрюлю с любым наполнителем, который у вас есть в доме.

Приятные гастрономические ощущения, дополненные чувством глубокого удовлетворения от воспоминания о цене обрезков, – гарантированы.

Пирожки и блинчики

Когда-то муку продавали только по большим праздникам. И для того, чтобы ее купить, приходилось провести целый день в очереди. К счастью, эти времена уже давным-давно прошли. К сожалению, прошли также времена, когда муку можно было купить в обычный день и в обычном магазине.

Поэтому сейчас, если у вас даже и есть мука, то она была куплена давно, по случаю. И хранилась у вас с тех пор.

А если мука у вас хранилась долго, в ней почти наверняка завелись черви. Гурманы могут такую муку выбросить. И это будет весьма глупо – выбросить муку только из-за того, что в ней завелись черви. Отделаться от червей (абсолютно без всякой потери муки) можно довольно легко. Надо просеять муку через сито.

Что делать потом, вы прекрасно знаете и без моих советов. Можно просто испечь блины. А можно из этих блинов приготовить блинчики с капустой.

Раньше, я помню, многие пекли яблочные пироги. Но где же достать яблоки теперь? Яблоки сейчас найти абсолютно невозможно. Правда, я мог бы подсказать кое-что ленинградцам.

Скажите мне, любите ли вы Пушкина? Ну, тем, кто любит Пушкина, уже можно ничего более и не подсказывать. Как я только упомянул его имя, так уже истинные его ценители сразу все поняли. Ну конечно же, я имею в виду Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских горах. Дело в том, что в этих местах – богатые яблочные сады. А сбыт яблок совсем не налажен. Поэтому яблоки можно там купить сравнительно дешево. Но простому человеку добраться туда чрезвычайно трудно. И экскурсионный автобус является просто спасением для многих любителей Пушкина и яблок.

Знает о Пушкинских яблоках только очень тонкий культурный слой интеллигенции. Но все равно осенью в Ленинградском городском экскурсионном бюро добыть путевку на экскурсию в Пушкинские горы практически невозможно. Спрос на эти экскурсии так велик, что экскурсоводов не хватает. Приходится экскурсоводов набирать с других линий. Ну, они, конечно, не спутают такие октябрьские дни, как девятнадцатое и двадцать пятое. И не скажут они, что Пушкин родился в Святогорском монастыре или что-нибудь еще в таком же роде. Но какую-нибудь неточность до своих экскурсантов запросто могут донести.

Однако дело они свое все-таки знают. Я имею в виду, что яблочное дело они знают. И точно подскажут своим экскурсантам, какая цена нынче правильная и когда лучше всего затовариться – по дороге туда или обратно. Обычно они советуют яблоки закупать на обратной дороге, но хоть немного яблочек купить еще до въезда в заповедник. Потому что если экскурсантов без яблок водить по Михайловскому ли, Тригорскому или Петровскому, они начинают со столов из ваз яблоки тащить и по карманам рассовывать. Только экскурсовод куда-то там в сторону отвернется, а уж половины яблок в вазе и нет.

Раньше гурманы яблочные норовили ехать в Пушкинские горы задолго до того, как лес начинал ронять багряный свой убор. И в этом был свой резон. Дело в том, что народ местный (весь поголовно набожный) до Яблочного спаса, то есть до 19 августа, яблоки не собирал. В это время яблоки (если пропустить какие-нибудь экскурсии и побродить по соседним деревням) можно было прямо с земли подбирать. И никто против этого не возражал. Сейчас, конечно, надеяться на это нельзя. Тем не менее, ленинградские любители Пушкина пока еще без яблок зимой не сидят.

А если вы живете в Москве? Что тогда делать? Яблочный пирог для вас – закрытый сюжет. И вам ничего не остается другого, как готовить блинчики с капустой. Но сожалеть об этом вам не надо. Потому что как ни хороши пироги с яблоками, а все-таки, я думаю, все согласятся со мной, что вкуснее, чем блинчики с капустой, нет ничего на свете.

Хлеб

Сладкий горячий чай с ломтиками черного хлеба и сахаром внакладку – это то, что так понравилось Мандельштаму, когда он пировал у Гумилева на первом в Петербурге чтении «Тристии» в начале 1921 года. Что же тогда так понравилось Осипу Эмильевичу?

Николай Степанович приготовил настоящий (не морковный) горячий чай, нарезал черный хлеб, полил его подсолнечным маслом, немного подсоллил. Каждый из гостей насыпал на хлеб сверху сахарный песок.

К сожалению, этот рецепт содержит сразу три трудно доставаемых продукта (кроме сахара, продающегося по карточкам): настоящий чай, хлеб и подсолнечное масло. Поэтому он не всегда может быть реализуем сейчас.

Хочу еще вот что сказать о хлебе. Мы знаем, что он быстро черствеет. Однако же выбрасывать черствый хлеб абсолютно непозволительно. Что же можно сделать с почерствевшим хлебом?

Если это белый хлеб, его надо размочить немного в воде и поджарить. Получится даже еще вкуснее, чем свежий хлеб. Если вы добавите на сковородку немного сахара, у вас уже получится что-то вроде пирожных. Старайтесь только переворачивать хлеб на сковородке почаще, чтобы сахар не подгорел.

Кстати, о сахаре. Как вы его храните? Если он у вас только в сахарнице или небольшом пакете, то можно особенно не волноваться, как его хранить. Я знаю, что многие даже не задумывались о том, чтобы запастись сахаром, пока он продавался без карточек. Более того, от него пытались избавиться, когда он был частью продуктового заказа на работе. Но я надеюсь, что вы не были столь легкомысленны и запаслись сахаром хотя бы на какое-то время. И я также надеюсь, что вы его храните не в открытых емкостях. Дело в том, что сахар хорошо впитывает воду. Говорят, что если около мешка с сахаром поставить ведро воды, то за ночь этот мешок всю воду-то и выпьет. Ну, и продавщицы в магазинах этим пользуются. Поэтому сахар продают всегда мокрым. И в сахарнице он костенеет.

Что тут можно посоветовать? Старайтесь покупать сахар в фабричной упаковке. Ну, а если вы покупаете развесной сахар и продавщица сворачивает вам кулек из бумаги и сыпет сахар туда? Тут уже ничего посоветовать невозможно. Конечно, сахар у вас будет мокрым. Сушить его хлопотно и, в сущности, бесполезно. Но это, в общем-то, не большая беда. Особенно, когда вы его используете для поджарки хлеба.

Что еще можно сделать с черствым хлебом? Черный хлеб можно нарезать на небольшие кусочки, посолить и

оставить сохнуть дальше. Его очень хорошо подавать гостям, которые пришли к вам поиграть в карты или лото или побеседовать с вами на кухне об особенностях социалистической системы хозяйствования.

Чайный гриб

Сейчас у всех на подоконнике стоит трехлитровая банка с чайным грибом. И все знают, как достать этот гриб и как его кормить. Если вам отщипнут маленький кусочек гриба, то через пару месяцев при хорошем уходе он уже разрастется по всей поверхности банки. Каждый день можно отпивать из банки одну чашку вкуснейшего напитка. Естественно, при этом надо добавлять в банку чашку воды. Периодически надо также добавлять туда сахар и испитой чай.

Я знаю, что и сахар, и чай сейчас не так легко достать. Но я все-таки надеюсь на вашу изворотливость и запасливость.

Чай, конечно, не является продуктом первой необходимости. Но никому не помешает им запастись, если представится такой случай. Удача может сопутствовать вам только один раз жизни. Как это случилось со мной.

Как-то я случайно забрел в один маленький магазинчик в саратовской глуши. Там я увидел здоровенный фанерный ящик, обклеенный фольгой изнутри. У меня сразу екнуло сердце. И я подошел поближе.

Это был индийский чай по цене шесть рублей за килограмм. Крупные листья со светлыми прожилками – я не видел такого чая никогда. По какой-то непонятной причине на ящике была наклейка: «Второй сорт». Поэтому-то он и стоил только шесть рублей.

Я отчетливо осознавал тогда, что такой удачи у меня в жизни больше никогда не будет. Надо было только не торопиться и не испортить все. Для начала я спросил у продавщицы, есть ли у нее чай первого сорта. Она, естественно, сказала, что у нее нет чая первого сорта. И я сделал огорченное лицо. Потом я попросил ее насыпать чай в большой кулек. Потом попросил свернуть второй. И потом, постепенно, с шутками и прибаутками я купил все, что оставалось в этом ящике.

Чай очень быстро впитывает в себя посторонние запахи. Поэтому я, как только вернулся в Москву, достал с антресоли приспособление для закрутки консервных крышек и «закрутил» все это мое богатство в тридцать две трехлитровые банки. И вот уже третий год завариваю превосходный индийский чай с крупными листьями и светлыми прожилками.

Моя книга подходит к концу. И мне остается сказать только вот что еще. Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы вы прочитали ее вдумчиво. И конечно же, мне очень хотелось бы, чтобы вы действительно стали пользоваться моими кулинарными рецептами и советами. И если вы начнете это делать, то надеюсь, что несмотря на то трудное время, в которое мы все здесь живем, вы тоже будете есть те прекрасные кушанья, которые ем я, и будете, как и я, всегда заваривать такой же превосходный чай, хоть и второго сорта, но с крупными листьями и светлыми прожилками.

Кстати, есть ли у вас приспособление для закрутки консервных крышек? Не помню точную цитату, но какой-то теоретик коммунизма сказал примерно следующее. Вы можете жить при коммунизме лишь тогда, когда вы обогатили себя знанием всех богатств, которые выработало человечество. Не знаю, насколько это изречение справедливо в общем смысле. Но применительно к консервным крышкам оно бьет прямо в точку. Я думаю, что приспособление для закрутки консервных крышек в первую очередь относится к таким необходимым богатствам. И если этого приспособления у вас нет, то, простите, вы еще не готовы для жизни в коммунистическом обществе.

Миллбурн, Нью-Джерси
11 июня 2010 года



Соломон Воложин

«Кисло!»



ак весело кричат на свадьбе: «Горько!»
Счастье, то-бишь, даёшь.

Kis'lev – так подписал художник свою... И не знаю, как назвать. Это литография с несколькими мазками краски по ней. И сделана она из двух частей. Мода такая.



Изображён Иерусалим. Святой город для иудеев. И висит это произведение в доме верующих в иудаизм. Только как-то так, что они согласны иметь дело с живописью, с чем, я слышал, иудаизм не позволяет вроде иметь дело. Семья купила «картину» в Иерусалиме же лично у автора. Тот, видно, тоже не ощущал своё произведение как явную антирелигиозную (антииудейскую) вещь (если не предполагал, что не поймут подколки). И поэтому стиль примитива, который он применил тут, не следует понимать как жёсткий негативизм по отношению к религии вообще и к иудаизму в частности.

Даже несколько наоборот, смею подумать я, религиозно необразованный, но читавший Владимира Соловьёва.

Что связывает религиозную идею Израиля с человеческой самодеятельностью иудейства и с жидовским материализмом? По-видимому, всецелая преданность единому Богу должна упразднить или, по крайней мере, ослаблять и энергию человеческого Я, и привязанность к материальным благам. Так, мы видим, например, в индийском браманизме преобладающее чувство божественного единства приводило религиозных людей к совершенному отрицанию и человеческой индивидуальности, и материальной природы. В свою очередь, преобладающее развитие человеческого начала – гуманизм, в той или другой форме, должен, казалось бы, с одной стороны, вытеснить сверхчеловеческую власть религии, с другой стороны, поднимать человеческий дух выше грубого материализма, как мы это и видим у лучших представителей древней Греции и Рима, а также и в новой Европе.

Столь же ясным представляется и то, что господство материализма во взглядах и стремлениях несовместимо ни с религиозными, ни с гуманитарными идеалами. Однако в иудействе все это уживается вместе, нисколько не нарушая цельности народного характера. Чтобы найти ключ к разрешению этой загадки, не нужно останавливаться на отвлеченных понятиях о религии вообще, об идеализме и материализме вообще, а нужно внимательно рассмотреть особенности иудейской религии, иудейского гуманизма и иудейского материализма.

Веруя в единство Бога, еврей никогда не полагал религиозной задачи человека в том, чтобы слиться с Божеством, исчезнуть в Его всеединстве. Да он и не признавал в Боге такого отрицательного и отвлеченного всеединства или безразличия <...> религия должна быть не уничтожением человека в универсальном божестве, а личным взаимодействием между божеским и человеческим Я. [Потому у них в Храме торговали. Земное, мол, небесному не мешает и наоборот.] Именно потому, что еврейский народ был способен к такому пониманию Бога и религии, он и мог стать избранным народом Божиим» <...> Праотец Авраам <...> искал личного и нравственного Бога,

в которого человеку не унижительно верить, и этот Бог явился и призвал его и дал обетования его роду <...>

Это высокое понятие о человеке несколько не нарушает величия Божия, а, напротив, дает ему обнаруживаться во всей силе. В самостоятельном нравственном существе человека Бог находит Себе достойный предмет действия, иначе Ему не на что было бы воздействовать. Если бы человек не был свободной личностью, как возможно было бы Богу проявить в мире Свое личное существо?

...та истинная религия, которую мы находим у народа израильского, не исключает, а напротив, требует развития свободной человеческой личности, ее самочувствия, самосознания и самодеятельности <...> энергия свободного человеческого начала всего лучше проявляется именно в вере <...>

Это соединение глубочайшей веры в Бога с высочайшим напряжением человеческой энергии сохранилось и в позднейшем иудействе. Как резко, например, оно выражается в заключительной пасхальной молитве о пришествии Мессии: «Боже всемогущий, ныне близко и скоро храм Твой создай, в дни наши как можно ближе, ныне создай, ныне создай, ныне близко храм Твой создай! Милосердый Боже, великий Боже, кроткий Боже, всевышний Боже, благий Боже, безмерный Боже, Боже израилев, в близкое время храм Твой создай, скоро, скоро, в дни наши, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне скоро храм Твой создай! Могущественный Боже, живой Боже, крепкий Боже, славный Боже, милостивый Боже, вечный Боже, страшный Боже, превосходный Боже, царствующий Боже, богатый Боже, великолепный Боже, верный Боже, ныне немедля храм Твой восставь, скоро, скоро, в дни наши, немедля скоро, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне скоро храм Твой создай!» (с латинского перевода Буксторфа)

(http://krotov.info/library/18_s/solovyov/evreistv.html).

То есть идеал пользы, быстро достижимого будущего, этот характерный для мещанства идеал, не имеет большого отличия от идеала иудаизма.

А как с точки зрения, внешней этим идеалам? – Такая лёгкая достижимость несколько ущербна.

У Кислева, кажется, именно эта внешняя точка зрения: он не всюду примитивист на своей «картине».

Вот нижняя левая часть. Спускающиеся вниз ступеньки.



Эта постимпрессионистская обводка контуров предметов – ещё не примитивизм. Как и чистый цвет. А перспективное сужение ступенек – вполне ж реалистично. И не знаменательно ли, что именно там и сделал художник те несколько мазков (жёлтым) на несколько мёртвой же всё-таки литографии. Там, мол, его, художника, суть: он-де не примитивист.

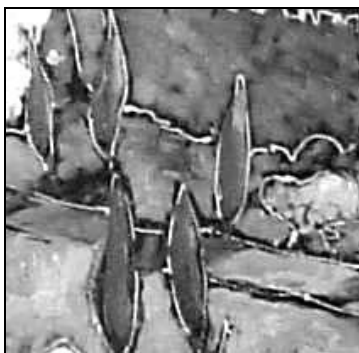
То есть, если примитивизм – не ограничен для автора, то выражаемая с помощью примитивизма достижительность так же ущербна, как и сам примитивизм. Примитивизм себя ж примитивным не ощущает.

И направлено это неоощущение ляпа именно на рукотворное – на строения. Ибо когда он применён в отношении природы (вырисованность буквально каждого листочка дерева на переднем плане), то лёгкой насмешки над зрителем (покупателем «картины») почти не ощущаешь.

Дерево-то всё же очень близко стоящим изображено. Чуть ли не так же и сам Левитан писал.



Ко вдали стоящим кипарисам – с реалистической (заданной ступеньками) точки зрения – тоже почти не придерёшься. Они и в жизни настолько густы, что сплошным массивом листва их выглядит.



Вот только обведено каждое – как и всё тут – очень тонкой кисточкой, обмакнутой в белила.

Но это и не замечаешь, если не всматриваешься.

А работает эта обводка на главное, что сразу ощущаешь в произведении, на переживание скоро достижимого, даже достигнутого счастья. Вот же оно, вот – эта ослепительность летнего солнца, отдающаяся и в этих тонких обводках, и в яркости всего-всего. Сияют же стены домов, их крыши, купола, небо, сами тени – крепостной стены, например, – сияют.



Сами сезанновские чёрные контуры обводки предметов, и те снабжены внутри – ради сияния, наверно – тончайшей белой линией. А темно-зелёные листья в тени – белыми точками.



Ну а то, что так без стеснения корявы дома, косы башни?..



Так не без того, чтоб детским счастьем это отдавало. Есть же свой плюс в примитивизме!

«Блаженны верующие в достижимость своего насквозь материалистичного идеала безбожники! Способные этим лишь и удовлетвориться...» – как бы говорит нам художник, не лишённый реализма. Лукаво подозревая, что и верующие в иудаизм этим моментом больше дорожат, чем духовным. Как факт (для него): покупают же его «картины» религиозные евреи Иерусалима.

Слабым подтверждением того, что Кислев не религиозный фундаменталист, служит то, что, слышно, он родом из СССР, атеистического государства, насквозь пронизанного мещанством по сути и высокой идейностью по форме, не выдержавшей испытание временем. Не в пример, правда, фундаментальному иудаизму, выдержавшему всё. Но всё же последний живописи чурается, а вот Кислев – нет. Поэтому можно думать, что к фундаментальному иудаизму он относится так же, как к лживой высокой советской идейности. И склонен быть артистом, то есть притворяться. Не без усмешки, хорошо скрытой, чтоб не сказалась на успешности (тем более в Иерусалиме, где, можно слышать, фундаменталисты задают жару людям, к иудаизму не так, как они, неровно

дышащим). Сама форма существования рассмотренного его произведения тоже несколько двусмысленна и работает на усмешку – литография, предмет ширпотреба, но... с несколькими подлинными мазками кистью в присутствии покупателя. Как бы подлинник...

1 мая 2011 г

Проверка

Надо признать, что основания для несколько юмористической трактовки произведения Кислева у меня довольно шаткие – один угол полукартины, реалистический, и слабо выраженный примитивизм в изображении созданий природных, да метод создания вещи.

Можно ли что-то подобное увидеть на других его произведениях? – Можно. В той же семье есть и другая его литография.



Тут выражено настроение не безудержного и бездумного счастья, как в первой, а едва ли не строгого торжества. – Столица иудейская!.. Её высотное преобладание над районами города со следами других религий: христианской церковью, мусульманской мечетью...

Влияет панорамность, большее количество неба, большая отдалённость города от точки зрения зрителя, большая масштабность гор на заднем плане.

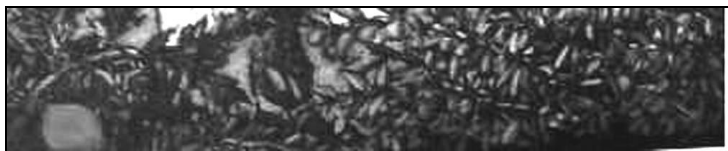
Тут вполне реалистичны облака и... передний план: гранатовое и инжирное деревья.

Казалось бы, какая реалистичность в этих деревьях? Плоды, вон, как выпячены.

Случилось так, что дом хозяев «картин» стоит над прилегающим к дому, «ступенью» горы ниже, садом. И из

окон точно так же видны несорванные гранаты на самой макушке дерева. Будто художник именно отсюда их и живописал.

Правда, опять вполне по-примитивистски выписан каждый листок.



Но мы уже помним, что такой примитивизм не очень проявляет себя.

А примитивизм строений – чуть ли не такой же.



На этот дом вид на композиции – сверху, но нарисован он так, будто на него смотрят снизу: его плоской крыши снизу не видно. Таких нарушений несколько (при рядом стоящих домах, видных сверху).



Сикось-накось стоят дома.





Тут, для случая государственности, вспоминаются слова Жаботинского, что евреи тогда могут стать полноценным народом, когда среди них появятся, также как и у других народов, свои бандиты и проститутки. Не до жиру – быть бы живу... Не до аристократии. Сначала – полноценный народ. – И вот полноценный народ образовался. Из тех, кто веками, не имея свой государственности, не имел и аристократии. И в этом даже есть некая гордость. В XX веке, на волне выхода на историческую арену низов, художникам было совсем не стыдно обратиться к примитивизму. Одного Шагала тут достаточно вспомнить.

Вот так вторая сторона амбивалентности примитивизма и проявляется во второй «картине» Кислева. Совсем мала тут доля улыбки художника. И всё-таки она есть.

То есть проверка удалась.

2 мая 2011 г.



Валерий Койфман

Восток – дело тонкое!

Рассказы об искусстве



Богатое искусство Китая и Японии складывалось тысячелетиями, оно поражает своей утонченностью, многообразием, многозначностью и таит в себе массу загадок, таинственных символов, магических знаков.



Культурное достояние этих стран оставило след в истории практически всех стран мира, поскольку отсюда родом многие явления, имевшие и имеющие общечеловеческую культурную ценность.

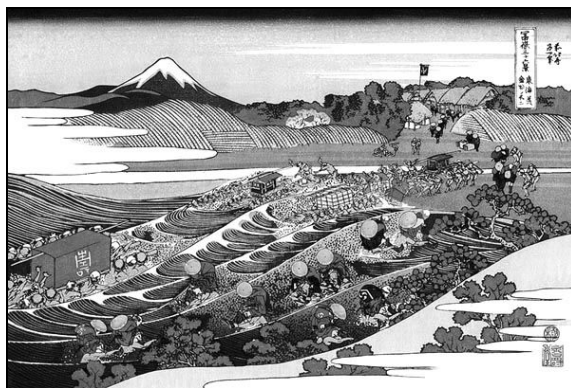
Несмотря на значительную сложность восприятия, особенно для неподготовленного зрителя, искусство стран Дальнего Востока, было всегда явлением необыкновенно привлекательным и притягательным.

Не претендуя на какие-либо обобщения, предлагаю вниманию читателей три рассказа о некоторых фрагментах истории искусства двух великих дальневосточных стран.

Мастер Кацусика Хокусай. Человек с 50-ю именами

*Если ты хочешь нарисовать птицу,
ты должен стать птицей*
Хокусай

«Считается, что популярность японского искусства в Европе пришла из Парижа во второй половине XIX века, благодаря импрессионистам. В 1856 году Феликс Бракмон, близкий к импрессионистам живописец, гравер и художник по фарфору, обратил внимание, что в парижском магазине Делатра пачки китайского чая заворачивают в какие-то бумажные цветные картинки с восточными мотивами. Оказалось, что это были оттиски гравюр на дереве японского художника Кацусика Хокусая (1760-1849).



Вид на Фудзи из Каная

«Картинки» восхитили Бракмона, который обратил на них внимание Эдгара Дега и других своих друзей-художников, будущих импрессионистов. Оказалось, что Восток не так уж был им далек по духу, и не родился в Японии мастер Хокусай, может и не засияли бы так ярко звезды Э. Мане, К. Моне, Э. Дега, В. Ван Гога, А. Тулуз-Лотрека и многих других знаменитостей.

Неожиданно для себя они нашли в гравюрах японца то, что давно искали: декоративность организации плоскости, широкое применение цветового пятна, выразительность силуэта и извивающихся контуров.

Правда, уже в середине XIX века слишком большие тиражи оттисков японских гравюр превратили их в некое подобие газетно-журнальных иллюстраций, но даже эти не очень качественные оттиски гравюр Хокусая, случайно попавшие на Запад, сумели оказать огромное влияние на все современное европейское искусство.



Ван Гог «Портрет Пере Танги»

За 15 лет до своей смерти Хокусай написал: «Я люблю живопись с тех самых пор, как осознал это, будучи шестилетним мальчиком. В 50 лет я написал несколько картин, которые показались мне довольно неплохими. В 73 года я уже познал все, что есть в природе: птиц, рыб, животных, насекомых, деревья, травы. В 80 лет я пойду еще дальше и по-настоящему овладею секретами искусств, а конечной цели я достигну приблизительно к 110-ти годам, когда на моих картинах каждая линия и точка будут полны жизни». Таким требовательным был к оценке своего творчества самый прославленный и узнаваемый в мире японский художник.

Родился Хокусай в городе Эдо (старое наименование Токио) 21 октября 1760 в семье ремесленника. Имя, данное ребенку при рождении, было Накадзима Тамэкадзу. Его называли так всего несколько лет, пока он не стал рисовать (всего за свою жизнь художник сменил одно за другим более

50 имён, следуя обычаю японских мастеров постоянно менять свои имена и псевдонимы в зависимости от важных перемен в их жизни). Мальчик рано начал работать у торговца. Тогда же он стал интересоваться гравюрами, выставленными в магазине.



На мосту под дождем

В 13 лет он уже был подмастерьем у резчика гравюр и начал делать свои первые ксилографии для книжных иллюстраций. **Ксилография** – от греч. *xylon* (дерево) и *graphein* (пишу) – основная и древнейшая техника гравюр по дереву.

С 1778 года юноша поступил в мастерскую Кацукава Сюнсё – одного из художников школы **укиё-э**, основного вида ксилографии в Японии еще со второй половине XVII века. **Укиё-э** переводится с японского примерно, как «картины проплывающего мимо мира» – прекрасное воплощение принципа Дзен: постоянное в своей вечной переменчивости **«здесь и сейчас»**.

Гравюры укиё-э к тому же были доступны по цене из-за возможности их массового тиражирования и

предназначались в основном для тех, кто не мог позволить себе потратить деньги на живопись.

С 1797 года Хокусай много лет успешно работает в самой малой форме японской ксилографии – **суримоно** (прообразе современных поздравительных открыток).



Женщина с хворостом (суримоно)

Суримоно изготавливались на восьми и более досках, а оттиски делались на самой высокосортной бумаге. Гравюры отличала сложная разработка поверхности, применение золочения, серебрения, присыпки перламутром, пылью слюды, патинированной меди. Особенно хороши суримоно Хокусая с шутивными стихами – кёка, которыми мастер стал дополнять изобразительные мотивы. Его изобретательность и чувство юмора нашли в этой области блестящее применение.

Имя Кацусика Хокусай («Хокусай» – «проживший вечность»), под которым художник теперь известен всему миру, появилось лишь в 1807 году, как подпись под его самой знаменитой серией гравюр – «Тридцать шесть видов Фудзи».

Японцы очень любят свою гору Фудзи (по-японски – Фудзисан). Мы называем ее Фудзиямой. Фудзи, самая

высокая в Японии гора-вулкан (3776 м), – главная святыня японцев уже много веков. Первыми начали обожествлять ее аборигены племени айну, которые дали этой горе имя своей богини огня Фудзи. По японской буддийской легенде, гора появилась за одну ночь в 286 году до н. э., когда разверзлась земля и образовалось самое большое в Японии пресноводное озеро Бива, а из выброшенной земли сформировалась гора Фудзисан. Ей поклонялись, в честь ее писали оды и гимны, танки и хокку. Возвышаясь над полями и пашнями, Фудзи кажется особенно грандиозной. Ее подошва часто скрыта тучами, густым туманом, и кажется, что гора плавно взлетает и парит над Страной восходящего солнца.

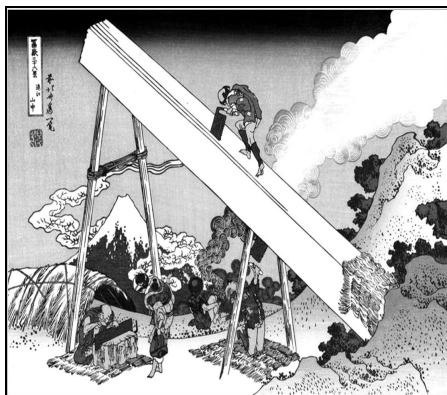


Фото. Гора Фудзи

Художник всегда много внимания уделял изображению разнообразных явлений жизни человека в неразрывной связи с природой. Под влиянием таких идей и возникли «Тридцать шесть видов Фудзи» (вся серия состоит из 46 листов, 36+10). Они были изготовлены в стиле укиё-э и стали вершиной японской пейзажной гравюры. В «Тридцати шести видах Фудзи» Хокусай был верен старому принципу иерархии явлений, так называемому закону «тэнгидзин» («небо, земля и человек»). Этот принцип составляет основу всех его композиций.

Большинство листов представляют различные жанровые сцены. Очертания Фудзи то ясно выступают, занимая большую часть горизонта, как в листе «Порыв

ветра», где внезапно налетевший вихрь застиг идущих по дороге крестьян, то ее вершина неожиданно оказывается видна через огромный круг лишенной дна бадьи, над которой трудится бочар (лист «Бочар»), то виднеется в треугольнике бревенчатой подпоры, на которой громоздится колоссальный деревянный брус, распиливаемый пильщиками (лист «Пильщики»), или выглядывает из-за леса вертикально поставленных досок дровяного склада (лист «Дровяной склад»).



Пильщики

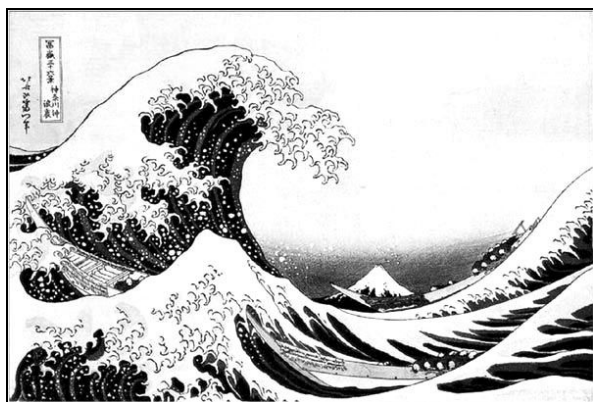
Первой гравюрой из серии «Тридцать шесть видов Фудзи», а также самым известным и мистическим произведением Кацусика Хокусая является «Большая волна в Канагава».

Она понятна даже зрителям, далеким от японской культуры. Многие видят в гравюре отражение замечательной восточной поговорки: «Море поссорилось с ветром, а пострадает лодка!».

На гравюре изображена огромная волна, нависшая над лодкой рыбака. Гора Фудзи виднеется вдалеке и является как бы бесстрастным свидетелем развивающихся драматических событий.

Именно Хокусай, путешествуя по Японии, увидел в природе и ввел в свои работы то, чего до него, казалось бы, даже не замечали – стихию Великого океана.

Один за другим листы серии разворачивают перед зрителем многообразную картину природы Японии – ее скалистые берега, о которые разбиваются волны океана, поля, лежащие у подножия Фудзи, ее живописные горные деревни. Лишь два мотива остаются постоянными почти в каждой гравюре серии: неустанно трудящиеся люди и гора Фудзи. Гора сначала выступает исподволь, почти как бы случайно, постепенно вырастая в самостоятельную тему.



Большая волна в Канагава

Одной из лучших гравюр серии является лист «Красная Фудзи». На листе изображена гора, высоко поднявшая свой конус в небо и пламенеющая в лучах раскаленного солнца. Хокусай и раньше изображал священную гору, но на прежних гравюрах она представлялась лишь красивой частью естественного ландшафта. Здесь же, на фоне сверкающего синего простора, чуть светлеющего к горизонту, красным заревом пламенеет гора. Художник импрессионистически точно уловил одно из многочисленных мгновений жизни. Цвет горы, цвет неба, цвет облаков – все это передача только одного кратковременного момента жизни природы, когда само утро еще только занимается.

Фудзи на гравюре ни с чем не сопоставляется, но постепенно взгляд, переходя вниз и вдаль, осознает безбрежность неба, уходящего к подножию горы. И тогда

гора вырастает на наших глазах, становится величавой и, как мир, огромной.

В этой грандиозности как бы торжество вечного начала природы, здесь теряются и исчезают все усилия человеческих жизней. В этом усиливается постепенно нарастающее драматическое звучание темы Фудзи, хотя при всей своей колоссальности и мощи, величие Фудзи не подавляет.



Красная Фудзи

Выразительность листов Хокусая основана на сочетании обобщенного рисунка и тончайших цветовых переходов фона гравюр, передающих пространство, воздух и воду. Обычно мастер развивает композицию листа в глубину, однако перспектива и масштабы в его пейзажах почти всегда произвольны и подчинены художественному замыслу.

Позднее Хокусай создает другие великолепные графические серии («Путешествие по водопадам различных провинций», «Сто видов Фудзи», «Иллюстрированный каталог воинов из кланов Минамото и Тайраг»).

Талант, круг интересов и размах деятельности Хокусая были исключительно разнообразные – он был известен не только как резчик и гравёр, но и как писатель, поэт и живописец. Много путешествуя, он создавал самый лучший для художника вариант мемуаров: рисовал всё, что привлекало его внимание. Хокусай составил 15 томов черно-белых рисунков, выполненных тушью, с видами Японии и

назвал их **манга**, что в интерпретации самого художника переводится как «непроизвольные эскизы». Теперь название «манга» получают серии рисованных книг, которые выпускаются в современной Японии огромными тиражами. Их японцы рассматривают практически ежедневно.



Каталог воинов

Хokusай рисовал до последних дней жизни и создал 30 тысяч гравюр и рисунков, а также проиллюстрировал 500 книг. Работал он непрерывно путешествуя. Обойдя всю Японию, Хokusай не оставил ни одного мало-мальски интересного уголка страны без внимания, тонко анализируя все виденное, а иногда словно скальпелем препарирруя его.

Творчество Хокусая вызвало многочисленные подражания. Число его учеников было чрезвычайно велико.

Последними картинами художника стали «Голова рыбака» и «Рыбак и дровосек».



Голова рыбака

Как и другие его работы, они учат уважать мудрость и старость, подчеркивают своеобразие японской культуры, утверждая, что «красота не вечна, и созерцать ее тоже искусство».

Круг жизни художника замкнулся 10 мая 1849 года. Он умирает в своем родном городе Эдо. Можно долго с восторгом описывать миры, созданные талантом великого мастера Кацусика Хокусая, но, если захотеть глубже понять японскую культуру, то лучше его работы увидеть. Ведь недаром говорят: «**Хокусай – это японское все**».

Китайская Терракотовая Армия.

2000 лет скульптуры защищали императора

Очень часто страна или город в массовом сознании людей ассоциируется с одной или несколькими достопримечательностями, ставшими их символами: Москва – храм Василия Блаженного и башни Кремля; Париж – Эйфелева башня и собор Нотр-Дам де Пари; Петербург – «Медный всадник» и кораблик-флюгер Адмиралтейства; Лондон – башня Биг-Бен; Берлин – Бранденбургские ворота; Индия – мавзолей-мечеть Тадж Махал; Египет – пирамида Хеопса и т. д.

Когда же речь заходит о Китае, сразу вспоминается ее главный символ – Великая Китайская Стена. И, казалось, что конкурента ей как символу в Поднебесной нет.

Все изменилось в 1974 году, когда простой китайский крестьянин Янь Дживан, проживавший в провинции Сиань, решил выкопать на своем участке колодец.

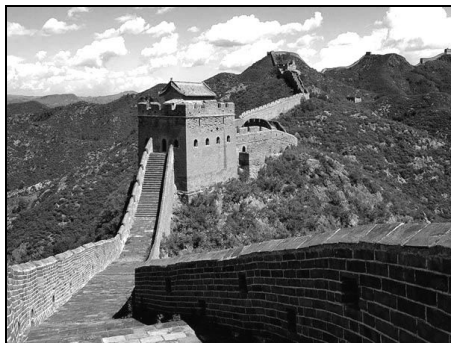


Фото. Великая Китайская стена

Воду он не нашел, зато обнаружил нечто другое, заставившее его забыть и о колодце, и о воде. На глубине 5 метров он наткнулся на статую вооруженного древнего воина в полный рост. Археологи были потрясены находкой.

Раскопки показали, что воин здесь не один. Ученые обнаружили целую армию из глины – несколько тысяч фигур в походных колоннах, а также боевые колесницы с возницами и лошадьми.



Исследования показали, что глиняные солдаты «простояли» в земле уже больше 2000 лет, т. е. они были созданы в эпоху легендарного объединителя Китая императора Цинь Шихуанди.

Лица воинов повернуты на восток, где находились царства, завоеванные императором. По легенде, император хотел после своей смерти похоронить с собой множество молодых воинов. Советники смогли убедить правителя не делать этого. Тогда-то и решили вместо живых людей похоронить 8 000 глиняных статуй. Статуи были выполнены с ювелирной точностью и удивительным старанием. Невозможно найти ни одного одинакового лица. Они, кстати, отражают многонациональный характер империи Цинь. Среди воинов встречаются не только китайцы, но и монголы, уйгуры, тибетцы и многие другие.



Все детали одежды или прически строго соответствуют тому времени. Обувь, доспехи воспроизведены с поразительной точностью.



Находка терракотовой армии, настоящего скульптурного чуда из провинции Сиань, стала в ряду

важнейших археологических открытий XX века. Еще в 1987 году комплекс гробницы Цинь Шихуанди был включен ЮНЕСКО в Реестр объектов мирового культурного значения.

Искусствоведы считают, что на создание этого «парка циньского периода» ушло около 40 лет, и что не менее 700 тысяч людей трудились над созданием терракотового войска, которое можно поставить в ряд древних чудес света.



Технология изготовления «войска» была следующей. Главный материал для статуй – терракота (terra – земля, глина; cotta – обожжённая), то есть жёлтая или красная обожжённая неглазурованная глина. Сначала лепилось туловище. Верхняя часть статуи – полая, а нижняя часть для устойчивости была монолитной. Голова и руки крепились к туловищу после первого обжига. В завершение скульптор покрывал голову дополнительным слоем глины и придавал персонажу индивидуальный облик.



Пожалуй, единственное отступление от реальности это преувеличенная высота воинов – 1,90-1,95 метра. Обжиг фигур в огромных печах длился несколько дней, при температуре не ниже 1 000 градусов. В результате глина становилась крепкой, как камень. Затем лучшие художники раскрашивали фигуры в естественные цвета. Удивительно, что хрупкая глина сохранилась лучше, чем грозное оружие, которым должны смелые воины охранять императора.

По положению рук можно догадаться, чем были вооружены бойцы – копьями, арбалетами, мечами.



Оружие тоже сохранилось, но только в металлических фрагментах, деревянные детали не дошли до нашего времени. Найденное оружие показывает высочайшую технику обработки металла.

Зачем китайцам понадобилось потратить столько сил и средств на сооружение такой гигантской композиции? И что еще может скрывать пыльная земля этих мест? Для того чтобы получить ответы на эти вопросы, нужно обратиться к тем смутным временам и личности первого китайского императора.

К 221 году до н. э. царство Цинь победоносно закончило длительную борьбу за объединение Китая. На месте разрозненных царств создается единая империя с централизованной властью. Первым императором циньской династии стал Ин Чжэн, известный как Цинь Шихуанди. Он

обладал неограниченной властью главы государства и отличался особой деспотичностью.

Для того чтобы оградить от врагов окраины империи, именно Цинь Шихуанди решил приступить к строительству грандиозного сооружения – оборонительной стены вдоль всей северной границы империи, которая известна нашим современникам, как Великая Китайская стена.



Император Цинь Шихуанди

В то же время по указанию императора сотни тысяч работников начали возводить для него усыпальницу. Был создан целый город мертвых, о размерах которого еще и сегодня можно судить с большим трудом.



Древние свитки содержат информацию о том, что вместе с божественным Цинем были похоронены несметные

сокровища, которые до сих пор не найдены, в том числе и золотой трон первого императора. Цинь Шихуанди умел загадывать загадки. По одной из версий, на самом деле он похоронен совсем в другом месте, а это лишь декорация.

Многие века грабители пытались найти сокровища в императорских гробницах. Некоторым эти попытки стоили жизни. Рассказывают, что среди раскопанных статуй был найден не один человеческий скелет. Удивительно, но глиняные солдаты как могли, охраняли своего повелителя.

Ныне на месте исторической находки возник целый город. Три больших павильона скрывают от непогоды и вандалов погребальную армию первого китайского императора. В наши дни на терракотовую армию может взглянуть каждый желающий.



Правда, для этого ученым пришлось изрядно потрудиться. По свидетельству археолога из Мюнхена Хейнза Ланхолса, «после извлечения из грунта статуи сразу же начинают подсыхать, и буквально через пять минут их раскраска начинает лущиться и облезать». Оказалось, что состав грунтового покрытия во влажном грунте претерпел необратимые химические изменения. Теперь он, подсыхая, начал отслаиваться от основы вместе с нанесённым пигментом. Чтобы избежать уничтожения покровов, ученые предложили следующий метод. Статуи, извлекаемые из

грунта, помещают в контейнеры, влажность в которых на таком же уровне, как и в земле, и сразу обрабатывают гидроксиэтилметакрилатом (ГЭМА), мономером, используемым при производстве пластмасс. Молекулы ГЭМА проникают в мельчайшие поры. Потом статуи облучают высокоэнергетическими электронами, что вызывает полимеризацию молекул и образование «клея», удерживающего покрытие статуи. Учёные успешно обработали описанным образом сначала обломки нескольких фигур, теперь уже очищено и закреплено более 1300 статуй.



Тихая «жизнь» терракотовых воинов закончилась. Теперь они гостеприимные хозяева у себя в Китае и желанные гости на выставках по всему миру.

Одну из самых впечатляющих выставок подземного воинства в Европе можно было увидеть в Стокгольме, где с 28 августа 2010 по 16 января 2011 года выставлялась на обозрение внушительная часть глиняных китайских воинов. Выставка размещалась в центре Стокгольма в катакомбах под островом Шеппсхольмен (Skeppsholmen) с целью усилить воздействие подземной экспозиции на зрителя и напомнить об обстоятельствах обнаружения терракотовой армии. Как и предполагали организаторы из Музея восточной культуры в Стокгольме (Östasiatiska museet), интерес к выставке был огромен. Всем хотелось своими глазами увидеть новое чудо света, которое вполне достойно

стать одним из главных культурных и исторических символов Китая.

Окимоно – изящный мостик между искусством Японии и Европы

Скульптура – самый древний вид японского изобразительного искусства. Исследователи утверждают, что она зародилась в Японии раньше живописи еще на заре ее цивилизации, и долгий период была фактически единственной областью изобразительного искусства.

Именно в пластике получили воплощение самые древние представления японцев о взаимосвязи человека с окружающим миром.



Надгробная скульптура (Ханива), ок. V века, терракота

К сожалению, так сложилось, что в европейском искусствоведении японская скульптура до сих пор остается наименее изученной областью. Вот почему, когда мы говорим об искусстве Страны восходящего солнца, память выдает, прежде всего, информацию о замечательных

японских гравюрах, а представления о японской пластике часто ограничивается лишь нэцке, привлекательными резными миниатюрными фигурками-брелками из кости или дерева.



Крестьянин с фруктами. Нецке

Своим возникновением нэцке обязано особенностям «конструкции» японской традиционной одежды. Уже само название «нэцке», или «нэ-цукэ» (два иероглифа «корень» и «прикреплять»), выявляет их назначение.



Нецке (видно отверстие «химотоши»)

Поскольку в японской одежде отсутствовали карманы, мужчины держали мелкие предметы (личные печати, ключи, лекарства, табак и т. п.) в небольших лаковых коробочках («инро»), емкостях, кисетах, которые с помощью шнура прикрепляли на поясе, используя фигурки нэцкэ (размером 3-15 см) в качестве брелка-противовеса (японские женщины использовали для этого рукава кимоно).

Очень важным является тот факт, что нэцкэ не имеет острых углов и должно обязательно иметь сквозное отверстие («химотоши») для шнура.

Отсутствие химотоши в резной фигурке говорит о том, что это «неправильное» нэцке скорее всего относится к другому виду миниатюрной японской пластики – окимонó (ударение на последнее «о»), как в слове «кимоно»).



Крестьянин и утки. Окимонó (слоновая кость)

Введение в Японию в конце XIX века европейской одежды в качестве официальной и закрытие множества буддийских монастырей привело к тому, что смысл ношения нэцке в качестве брелков отпал, и многие резчики нэцкэ даже потеряли работу.

Вот тут на сцену выходит, другой традиционный, но менее известный вид японской пластики, окимонó –

станковая (имеющая самостоятельное значение) скульптура малых форм.

Сформировалось **окимонó** (дословно – «поставленная вещь») еще в XVI веке, когда в традиционных японских жилищах появились специальные ниши культового назначения («**токонома**»), в которые помещали религиозные свитки, икебану и статуэтки **окимонó** в качестве оберега, хранителя домашнего очага.



Ниша «токонома»

Своими размерами, технологией изготовления и сюжетами **окимонó** напоминали **нэцке**, но имели подставки и, конечно, не имели отверстий для шнура. До второй половины XIX века **окимонó** были мало известны вне Дальнего Востока.

После Революции Мэйдзи (1866-1869) Япония вступает на путь модернизации своей политической и социальной жизни и становится открытой миру.

В 1873 году Всемирная выставка впервые проводилась за пределами Англии и Франции в столице Австро-Венгрии, Вене. И впервые на Всемирной выставке принимали участие экзотические страны Африки, а также

Япония. Отличительной чертой выставки в Вене было внимание к национальным культурам стран-участниц.

Среди экспонатов, представляющих культурные традиции и ремесла Японии, были выставлены и окимоно, которые ошеломили европейцев своей изысканностью и тонкостью исполнения.

Интерес европейцев к окимоно наметил новые требования к этим резным скульптуркам, предназначенным теперь в основном для коллекционирования и украшения европейских интерьеров. Размеры окимоно стали значительно больше (от 20 до 60 см), поверхность их тщательно обрабатывалась. Для того чтобы общаться с европейским зрителем, на понятном ему пластическом языке, талантливые и трудолюбивые японские резчики окимоно за несколько десятилетий освоили пластические традиции, развивавшиеся в Европе в течение веков.



Кокон над городом Богини природы
Окимоно (слоновая кость)

Так возник феномен японского европеизированного реализма в скульптуре, в русле которого работали мастера окимоно. Изготавливались окимоно чаще всего из слоновой

кости (иногда их тонируют раствором чая), дерева, бронзы, серебра или из комбинации этих материалов.

Для большей декоративности мастера использовали гравировку орнаментов, золотой лак, инкрустацию перламутром, эмальями и кораллом.



Окимонó (слоновая кость, коралл)

Наиболее популярными сюжетами для резчиков окимонó были: боги, исторические персонажи, герои сказок и легенд, крестьяне и рыбаки, музыканты и актеры, старики и женщины с детьми, игры детей, животные, птицы, морская фауна, овощи и фрукты.



Играющие дети. Окимонó (слоновая кость)

Весной 1910 года, когда в Лондоне прошла масштабная промышленная Японско-Британская выставка, японские мастера «европеизированных» окимоно́ произвели уже настоящий фурор.

Расцвет окимоно в конце XIX века связан с именами выдающихся мастеров токийской школы, таких как Асахи Гёкудзан (1843-1923) Исикава Комэй (1852-1913) и Удагава Кадзуо (1900-1910).

Изначально окимоно́ появились в Европе, включая Россию, как дипломатические дары. Например, Николаю II (тогда еще цесаревичу) великолепные окимоно́ и нэцке были презентованы в Японии в 1891 году. Известно, что российский император постоянно носил нэцке с собой в кармане как амулет. В настоящее время эти раритеты хранятся в Эрмитаже.

После Русско-японской войны нэцке и окимоно стали широко известны в России.

В числе ценителей и собирателей окимоно были Максим Горький, Карл Фаберже, Федор Шаляпин.



Ребенок на быке. Окимоно́ (кость, дерево)

В Японии нет значительных музейных коллекций окимоно, ибо в начале прошлого века лучшие работы были вывезены из страны и стали украшениями европейских и американских музеев и частных собраний. Ценные и редкие окимоно́ так называемой Белой эпохи (из слоновой кости) в

Японии сегодня можно встретить только в Императорском дворце.

Самыми значительными коллекциями окимонó обладают Антропологический музей университета Миссури, Музей Виктории и Альберта, Краковский национальный музей, Эрмитаж. Из крупных частных собраний окимонó можно назвать коллекции профессора Нассера Халили (Лондон), Курта С. Эриха (Бохум) и бизнесмена Александра Фельдмана (Украина).



Дедушка с внуком. Окимонó(слоновая кость)

Харьковскому меценату и коллекционеру Александру Фельдману за 20 лет удалось собрать одну из лучших и крупнейших в мире коллекций окимонó (около 400 произведений).

Среди настоящих жемчужин этой коллекции – «Мать, кормящая ребенка» (Кадзуо), «Продавец цветов» (Комэй), «Дедушка с внуком» (Чикааки), «Бодхисатва Канон» (Асахи Мейдо), «Конфуций» (Сеюсан), «Дождь» (Рюичи), «Цапли» (Морино Корин), «Семь богов счастья и корабль сокровищ» (группа мастеров) и другие.

Работа У. Кадзуо «Мать, кормящая ребенка» (45 см, слоновая кость) экспонировалась в 1900 году на Всемирной выставке в Париже и по праву снискала славу «японской мадонны».



Мать, кормящая ребенка. Окимонó (слоновая кость)

Фигурка привлекает лиризмом, задушевностью, мягкой пластикой. Впервые в японской скульптуре дано изображение кормящей матери с обнаженной грудью. В образе молодой матери даже находят некую аналогию с мадоннами Леонардо да Винчи. Мастер Кадзуо создал несколько вариантов своей скульптуры из различных материалов. Самым ценным считается вариант окимонó из слоновой кости – это «визитная карточка» коллекции А. Фельдмана.



Семь богов счастья и корабль сокровищ. Окимонó (слоновая кость)

В коллекции харьковчанина можно увидеть одно из самых крупных окимоно из кости в мире – «Семь богов счастья и корабль сокровищ» («Ситифукудзин и такарабунэ»).



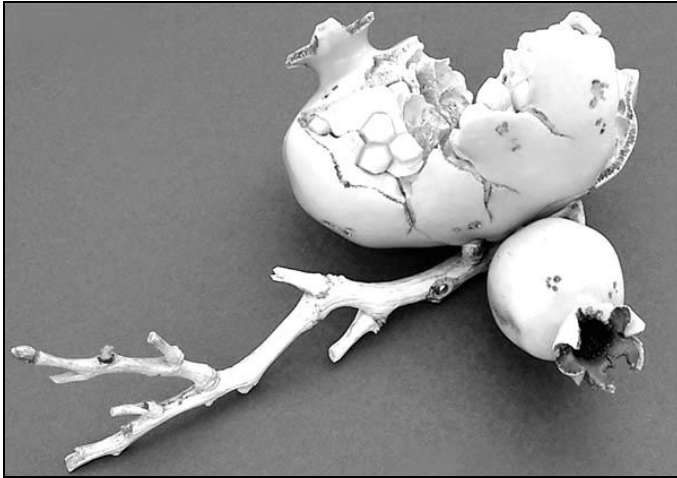
Продавец цветов Бодхисатва Канон Окимонó (слоновая кость)

Японцы верят, что под Новый год семеро небожителей разносят по домам счастье. Даже увидеть такарабунэ во сне – к счастью. Корабль и боги были вырезаны из нескольких частей группой мастеров в 1860 годах по заказу императора Мэйдзи (потом он подарил «Корабль» Наполеону III).

А вот композиция «Продавец цветов» (высота 55 см, слоновая кость) знаменитого резчика И. Комей отличается высочайшим мастерством исполнения и тщательной передачей мельчайших подробностей: от морщин на лице старика до передачи лепестков цветов.

Великолепная работа А. Мейдо «Бодхисатва Канон» (45 см, слоновая кость), изображающая буддийскую богиню милосердия, отличается виртуозной ажурной резьбой и считается одним из лучших образцов окимоно XIX века.

Миниатюрное окимонó неизвестного резчика «Гранат на веточке» (7 см, тонированная кость) как нельзя лучше свидетельствует о любви японских мастеров к изящным и реалистичным сюжетам из живой природы.



Гранат на веточке. Окимонó (слоновая кость)

Вот такие они – окимонó, соединившие в себе пластические традиции Японии и Европы в результате творческого диалога двух великих цивилизаций. Они пронизаны глубоким восхищением перед каждым мгновением жизни, восприятием ее как бесценного и неповторимого дара.

Штутгарт, 2011 год



Марк Азов

Баллада о солдате

*Если меня убьют, прошу считать
коммунистом... А если нет – так нет.*

Анекдот



е помним, не знаем ни стари, ни нови:

Что было и кто виноват...

А по Тель-Авиву идет Рабинович –

В Израиле русский солдат.

И светлое небо, и теплое море,

И в доме удобный клозет.

И было б здоровье, и не было б горя,

А праздника все-таки нет.

«Корзину» ему и пособие дали,

Чтоб сытым он мог умереть...

Но те, что из русской латуни, медали

Ему неудобно надеть.

За родину бывшую шел он в атаку,

За Сталина – за сатану.

Неужто, неужто, неужто, однако,

Спасал он не эту страну?!

Нет, он не участник Войны Шестидневной

И знал лишь неправду о ней,

Он был на другой, но зато ежедневно –

Все тыща четыреста дней.

Сквозь мрак большевистско-фашистского ада

Вошел он в израильский рай,

Не зная, что бился в стенах Сталинграда

За город Иерушалаим.

Он полз по усыпанной пеплом Европе

Сквозь дым и кровавый туман.

И фриц его как-то застукал в окопе

И крикнул: «Сдавайся, Иван!»
Плен тоже не жизнь, но он смерти замена,
Сдаваться бы, да поскорей...
«Спасибо, не надо мне вашего плена,
Ведь я, извините, еврей...»
О дружбе народов читал он в газетах
И, может быть, верил вполне,
Но все же еврей в нем проснулся на этой,
На антисемитской войне.
Вот если бы раньше, вот если б когда-то
Был занавес чуть приоткрыт,
Он, вместо отборного русского мата,
Учил бы высокий иврит.
И он бы сегодня не числился гоем,
Сидел толковал бы Танах,
И, может быть, что-то немножко другое
Имел бы в широких штанах.
А так... не в кипе, а в измятой пилотке,
Носатый, не русский – ничей,
Он полз, чтоб захлопнуть смердящую глотку
Хотя бы одной из печей...
Не надо медалей к Девятому Мая,
Ни льгот, ни щедрот – ничего,
Но ты, наш всевидящий Бог Адонаи,
Хотя бы взгляни на него.
9 мая 1995
Израиль



Ирина Маулер

Из книги «Вишневое время»

Предисловие Михаила Юдсона

Пять чувств времени

Ирина Маулер. Вишневое время. Тель-Авив, 2009



Книга сия обладает, словно некое цветущее живое существо, пятью чувствами – это и есть ее пять разделов, ветвей: «Время», «Двое», «Москва», «Иерусалим», «Песни» – и все они растут на одном стволе. Тексты о времени образуют замкнутое поэтическое пространство, а раздел «Двое» рисует мир как расширяющуюся Вселенную Любви. Время у Маулер пластично и разноцветно: «Растянуться на времени, как на пляже, подтянуться на времени, дотянуться...» Поэту средо имманентно стремление остановить мгновение, сохранить зыбкую красоту от исчезновения в яме «время». Поэтому для Ирины время – то «колокольчик цвета синего» (по ком звонит, донн, донн), то «отражение ромашек желтых» (любит – нечетно, но счастливо), у него вкус соленого пирога и запах моря.

Стихи делаются всяко-разно – иногда сочинитель выкладывает строки по кирпичику, а порой потворствует вдохновенной (диктуемой сверху) стихии. У Ирины расчисленность плюсуется с руахом стиха: «все равно – все равно расставанию, умножению множеств на ноль». Читаешь – будто рассматриваешь удивительные, яркие полотна. На холстах страниц краски нечувствительно сливаются со звуками и возникает проникновенная поэтическая цветомузыка. Цикл «Двое» усиливает восприятие вдвойне. Здешние стихи, отринув вечное верчение тяжких жерновов жизни, свободно и просветленно парят над повседневностью, там воистину «обнимаются радость и грусть», а по улице лета «подуло печалью и дождик случайный легко моросит».

Следующие две поэтические главки – «Москва» и «Иерусалим» – можно тоже назвать «Двое». Два этих города живут в душе поэта – Ирина молится Иерусалиму и вспоминает Москву с ее осенними бульварами, где листопад замечает прошлое

и «запах сожженной листвы проникает под кожу». Ирина Маулер пишет о нашей раздвоенности, о неизбежности иерусалимской ностальгии – пусть даже можно «слегка вернуться», слетать на неделю в канувшее. Эмиграция – это не экскурсия, это – Судьба: «Я сама себя пересадил в этот зной, я сама от себя отпустила башен звон». Но тут же из снежного гула московских колоколен выплывает дрожащее марево горячего воздуха над иными башнями – и возникает Иерусалим: «Камень белый, а рядом шиповника куст...» Завершают сборник «Песни». Это совершенно особый жанр – ведь тексты авторских песен, лишённые музыки, часто напоминают рыб, выброшенных на берег, с иссыхающими жабрами (недаром в понятии «барды» упрятаны рыба и дар). Но у Маулер песни настолько поэтичны, этак пронизаны музыкой звукописи, что, читая – слышишь, начинаешь разбирать ноты и подбирать мелодию. Это творчество очень светлое. Книга Ирины Маулер буквально заряжена солнечной энергией автора. Настоящая гелиобатарея в обложке! И мы радуемся этому свету.

Брюссель

Мне иудейке – что в этом костеле?
Каменный пол, свечи, ладана запах.
Так почему здесь, где-то на уровне боли
Горло сжимает и по лицу катятся капли?

Маленькой девочкой
Не за себя обида
Это чужие лица
Я за них не в ответе,
Не только в Брюсселе,
Городе не под оливой
Солнце, знаю не всем одинаково светит.

Может молитва под своды и прямо в душу?
Падает в лунку, как шарик бильярдный белый
Как в синагоге и церкви в этом костеле
слушают...
Слушают, только не слышат на самом деле...

Накрапывают краски
Дождем весенним наспех

На дом и на качели,
Смычок виолончели,
На всякий род занятий,
На брюки и на платья,
На грусть и расставанье,
На встречу и признание,
На день и год недели
На песню колыбельную
Накрапывают разом...
И все меняют сразу.

Только сегодня-секунды сплетают пальцы
Пяльцы – на них плетется косичкой время
В платье его влезай, руками его касайся,
Пей его, пой его, бей по нему мячом
С размаху о стену.

Прыгай в него, брасом плыви, кролем,
Роли меняй, страстным смотри взглядом.
Смотришь, и время ответит тебе бесконечной
любовью:

Море, покой тишина.
А что еще надо?

Весна врывалась в дверь открытую
Повисли соловьи над лесом
И ветер весело насвистывал
Забывтую за зиму песню.

И пахли забываясь пламенно
На тонких ножках, как впервые
У каждой придорожной впадины
Простые маки полевые

И наливаясь, как озимые
Душа в стремленье лип коснётся
Меняла сапоги резиновые
На крылья бабочек-капустниц

Писал апрель такими красками
Такою первозданной силой
Что чувствовал себя лишь пасынком
Поэт и плакал... от бессилья.

Греция

Здесь по улью узких улиц
Бродят привычно Боги
Если прикроешь глаза ресницами
Солнце падает в ноги
Тихо и нежно здесь,
Как на пляже
Церковь – в опушке белой
И продаются Марсы и Геры
В лавках справа и слева

Над этим островом вечно звучит
Музыка ветра в четыре руки
Музыка звука
Это – сузуки
И в этом греческом мире одна
Женщина есть – не Венера она,
Но обещайте Боги ей счастья.

Улицы узкой линейкой школьною
Домики – карандашами
Тихо и нежно на этом острове
Между двумя морями
Пусть Дионис ухмыльнется и хмуро
Смотрят Марсы и Геры
Я выбираю стрелы Амура
Белоконечные стрелы.

Лепестком атласным к руке –
Роза красная на стебельке
И похожа она на дом
Вот бы жить в таком день за днем
Чтоб на завтрак – бокал росы
Чтобы день на руках носил

Чтоб нырять в этот дом пчелой
Добывая там мед земной.
Чтобы радость в дому – всегда,
Чтоб над домом – моя звезда
Чтоб качал на ветру гамак –
Только так, только, только так.

Любовь – радуга между руками
Радость в рябиновый день
Легкость ласточкиного крыла
Игра в классики,
Внезапная трель зеленого какаду
Новая правда в бальном платье...
Внимание – снимаю!

Тик-так, так-тик
Итак – не стих
Стих бежит босиком по полям ржи
Сачок в руке – бабочки крылья – крепче держи
Улетит не догонишь – поле перекасти
Слово-лубок-колобок – не любит руки.
Реки ему малы – моря под стать
Может слово самим собою стать
Вытянуться до небес, упасть в кусты
Может себя с поля боя нести
Может листать календарь в было и есть
Может пить, загорать, любить, ненавидеть,
есть,
Может героем из тридевяти земель
Может ползти по земле и кусать змеей
Может влюблено закрыть на все глаза
Может даже тогда, когда нельзя
Может корону, а может не в лад не в склад –
Слово – двойник твой. Твой Рай и Ад.

Ветер в саду

Ни с чем не сравнить

Вот только если наклонить,
Повернуть, потрогать, прижать к руке
Коснуться легко, налегке подойти,
присесть, застыть –
Слушай... Это живая тишь закралась
И там живет,
Вдыхает носом, выдыхает через рот,
Обычный, нормальный пульс – шестьдесят,
В висках не стучит, губы в улыбке молчат,
Висит в позе лотоса, ветки за спину задрал
Нравится всем, кто слышал ее хоть раз
А если не слышал – лишь разреши –
Прыгнет и ляжет на дно – не досчитаешь до
десяти.

Глаза опускают занавес дня –
может быть Ты любишь меня?
Губы плывут по течению ночи –
Дни между нами станут короче?
Пустьятся стрелки в птичий полет –
Ты мое имя во сне назовешь?
Вспомнишь ли между шагом недлинным – имя
И-ри-на?
Я подарю тебе красную розу –
Меня не забудешь... не пробуй.

Без тебя – день темнее ночи,
Для меня – все другие – прочие,
Не приближусь случайным взглядом
Ни к кому – мне других не надо
Зря не веришь – ты самый лучший
Ты в глаза загляни получше,
Ободком на зрачке колечко –
Для тебя одного конечно.
Разминутся во времени,
Развернуться,
Растянутся на времени,
Как на пляже,

Подтянуться на времени,
Дотянуться
И исправить ошибки на шаге каждом.
И качнуться на времени,
Как очнуться,
И качелью слова наверх, словно
Дотянуться до времени,
Обмануться
И по новой начать это день снова.

Время

Что такое время – бремя?
Или колокольчик цвета синего?
Что это – восходишь по ступеням
Или на ветру листом осиновым+
Сумма дней подобна неизбежности,
Умножая скорби и печали,
Или это море пахнет нежностью,
Нежностью и солью в крике чаек?
Вся ладонь дорогами прописана.
Что начертано – песок ли, камни?
Время – это путь, ведущий к истине,
Или это выигрыш случайный?

Время мышкой пробежало,
Время слив и время вишен,
Время слов и звуков лишних
От конца и до начала.

Время падает на плечи
Покрывалом забудок.
Значит, я с тобою буду,
Значит, ты со мною вечен.

Время, я тебе отвечу
Отражением ромашек,
Желтых, гладкой кожей жаркой
Распустившихся навстречу
Солнечному дню.

И страстно
Ловят капли ветра губы,
Ловят нежный, ловят грубый –
Жадно, жалко, робко, страстно!

Желания

Желания бродят по лесу
И просят о помощи,
То вместе за руки берутся,
То просто беспомощны
То вверх поднимаются к небу
Дорогою длиною
То камнем на землю
Как будто подрезали
Крылья им.

Желания лани стройней
Иль толпою безликою
Желания разных мастей
От бубновых до пиковых
Желания радостных глаз
И желанья беспечные
Желание здесь и сейчас
И желания вечные.

И кружится жизни билет
Между утром и вечером
И кажется выбора нет
Все иллюзия вечная
И кажешься ты сам себе
Бесконечно беспомощным
Смотри – там за окнами лес,
А ты бродишь по комнате.

Желания бродят по лесу –
Пусть просят о помощи
Пусть вместе за руки берутся,
Пусть просто беспомощны,
Пусть вверх поднимаются в небо
Дорогою длиною+

Но пусть на руке твоей пишут
Желания линии.

Поэт во мне

Не во дворце слоновой кости
Не на луне
Живет он избранный на совесть –
На совесть мне.

Он также делит день на части
И пьет кефир
И так же радуется счастьем,
Как я, почти.

Он моет, чистит, убирает
Земную грязь
И так же, как и я, страдает,
Когда не в масть.

В меня из зеркала напротив
Из года в год
Глядит он
Глядит он – и ни за, ни против

Идет вперед.
Живет он рядом, мы соседи
Он мне знаком
Но дом его летит по небу

Своим путем.
При встрече подает мне руку
– Ну как дела?
И сразу убегает скука,

Как черт от ладана.
Из ночи в день
Из лета в зиму

Всегда почти
По росту по тени длинной –
Не различить.

Делюсь я с ним
По братски хлебом
Наш путь – един.
Но разница – что он над небом,
А я – под ним.

Зонтик парусом бьется
Тучи в небе застыли
Ничего не дается
Просто так, без усилий
Не дается соната,
То ли скрипка не строит
То ли это расплата
За сбежавшую совесть.

Не дается картина
И картинно повисли
Не деревья-картинки
Над придуманной высью
Не дается прощенье
И любовь не дается
И вдогонку прощанью
Сердце следом не рвется.

Зонтик парусом бьется
Тучи в небе застыли
Ничего не дается
просто так – без усилий
Вместо дикой пантеры –
Слово нежною ланью
Это значит – сверх меры
Это силою тайной...



Елена Минкина

В стиле ретро



то совершенно правдивая история. Просто она произошла очень давно. Так давно, что кажется ужасно придуманной и смешной. Хотя ее участники, наверняка так не считали и всерьез переживали и даже мучились. А, может, эта история не смешная, а просто незатейливая? Ну, конечно, незатейливая! Никаких в ней нет общественных проблем, например, или значительных фигур, или, тем более, важных исторических событий. Совершенно ничего такого в ней нет. Даже непонятно, зачем я пишу такое длинное вступление к такой простой истории.

Тут еще нужно уточнить, что происходили все события вскоре после войны. Ну, может быть, не совсем после войны, лет десять прошло, а то и более, – уже и Сталин умер, и продуктовые карточки давно отменили, но вот исторического разоблачения бывшего вождя и гения еще, кажется, не произошло. Впрочем, для нашего повествования это практически не имеет значения.

Все началось в маленьком подмосковном городке, на очень небольшом и незначительном механическом заводе. Там всего-то человек сто работало на этом заводе, все – на виду, а женщин и вовсе считай, что не было, смешно сказать, двенадцать женщин на весь коллектив, девять в цеху, да три в управлении! И, конечно, все сразу заметили появление новенькой. К тому же она была красоткой. Настоящей красоткой, как в кино, с огромными черными глазами и целой шапкой темных кудрей, рассыпанных по плечам. Один наряд чего стоил! Весь женский коллектив управления, а, надо заметить, коллектив этот был хоть и небольшой, но очень достойный, о чем речь пойдет еще впереди, так вот, весь женский коллектив тихо ахнул, глядя на тугую черную юбочку до колен, и даже, кажется, с

какими-то разрезами по бокам и такой же черный жакет, подхватывающий талию и легкие бедра. Но, главное, свитер! Ярко красный свитер с высоким роскошным воротом так ловко подчеркивал стройную шею и круглый подбородок, что Витька Филькин аж присвистнул от восторга. И пусть Витька был известный бабник, это ничего не меняло, красота есть красота.

Конечно, невольные зрители не могли догадаться, что шикарный костюм перешит из бывшей военной формы отца, перелицованной и перекрашенной в черный цвет, а затейливый фасон почти точно скопирован из замечательного и редкого в те времена заграничного фильма. Со свитером было еще проще. Свитером являлась довоенная мамина кофта, одетая задом наперед, так что пуговицы застегивались на спине (что, после небольшой тренировки, было минутным делом), а ворот скреплялся сзади на шее английской булавкой, совсем незаметной под рассыпанными кудрями. На вид красавице было лет двадцать, от силы двадцать два, но она уже успела окончить техникум, настоящий московский техникум и прибыла на завод по распределению на должность зам начальника цеха. А еще через пару месяцев, когда начальник инструментального цеха Петрович окончательно запил и был без шума уволен «по собственному желанию», Алла или Алла Семеновна, как строго величал ее директор завода, и вовсе стала заведовать этим самым цехом, и, кстати, справлялась довольно шустро, так что рабочие вскоре привыкли к ее молодости и несерьезному для такого дела облику. Из уважения ее так и стали звать Семеновна, и в лицо, и за глаза, что в наши дни звучит, конечно, непривычно и смешно. Тут надо сказать, что скоро у красавицы появилось и другое имя, даже скорее прозвище, и говорилось оно в рифму, как и полагается прозвищу, а именно – Алла с Урала. Сей поэтический опус принадлежал все тому же Витьке Филькину, и надо думать Витька получил таки от Аллы Семеновны полный отказ на все свои бурные и скорые ухаживания, а то с чего бы, спрашивается, стал он придумывать какие-либо прозвища? И ведь если разобраться, ничего обидного в этом новом имени не было,

Алла, действительно, была с Урала, куда занесло ее вместе с родителями еще в войну, то есть совсем в детском возрасте, так что прежней Москвы она и не помнила вовсе. Завод после войны решено было так и оставить на Урале, где для него специально построили помещения, а родители, которые оба работали на этом эвакуированном заводе, папа – инженером, (правда, с небольшим перерывом на службу в ополчении), а мама техником в плановом отделе, так вот, родители решили не искать новых забот, тем более, что завод им предоставил двухкомнатную квартиру. А в Москве у них была узкая длинная комната в огромной, на десять семей коммуналке, где они жили до войны вместе с маленькой Аллой, еще более маленьким ее братишкой и бабушкой, матерью отца, спавшей в той же комнате за толстой серой ширмой. Эта бабушка обладала, надо сказать, характером очень независимым и даже вредным, от эвакуации отказалась категорически, и осталась единственной хранительницей выше описанной комнаты. К тому времени, когда Алла выросла, и встал вопрос о ее дальнейшем образовании и проживании, родители дружно решили отправить дочку в родной прежде город. Предполагалось, что бабушка в своей теперешней старости и немощности будет просто счастлива принять и прописать взрослую внучку, а впоследствии и завещать ей такую немаловажную вещь, как жилплощадь в Москве. Но бабушка, хотя и прописала Аллу, но большой радости не высказала, дряхлеть и тем более умирать совсем не собиралась, а вместо этого завела себе друга сердца, длинного, лысого как огурец старика по имени Яков Соломоныч. И вот наша героиня, хоть и оказалась вновь жительницей столицы, но как-то сбоку припека, и, честно признаться, часто вспоминала свой Урал, тихо ворочаясь на узкой кровати за все той же серой ширмой под грозный храп лысого Соломоныча.

Женский коллектив управления в составе упомянутых трех человек немного посоветался и раскрыл объятия новому начальнику цеха, тем более девушкой она оказалась скромной и приветливой, а боевой наряд и прическа скорее служили маской ее природной

застенчивости, чем отражали характер. Так что на обед в столовую они стали ходить уже вчетвером, что было и веселее, и гораздо удобнее, потому что можно было занять целый отдельный столик и спокойно побеседовать на разнообразные и милые сердцу женские темы.

Конечно, по справедливости давно пора перейти к описанию остальных трех участниц этого «женского стола», но все-таки мы начнем со столовой, и вы скоро убедитесь, что она заслуживает отдельного повествования.

Вы можете не поверить, но в те далекие и небогатые времена эта столовая представляла собой почти шикарное помещение: аккуратные столики, рассчитанные на четырех человек, были накрыты настоящими белыми скатертями, а в центре каждого столика красовалась вазочка со скромными, но тоже настоящими живыми цветами. Можно предположить, что такая роскошь объяснялась отсутствием еще не изобретенных в то время пластиковых покрытий и синтетических клеенок, но какое это имеет значение! Обед заказывали и пробивали деньги в кассе согласно слегка однообразному добротному меню, потом садились за столик, и поднос с обедом уже приносила официантка в белом передничке и наколке на пышно взбитых по тогдашней моде волосах. Правда, следует уточнить, что столовая принадлежала не только заводу, вернее, она совсем заводу не принадлежала, а была как бы совместным владением строительно-монтажного управления, расположенного по соседству, и еще двух маленьких фабрик, в данном случае к делу не относящихся. А все руководство нашего завода с давних времен приходило сюда на обед то ли по специальной договоренности с начальством управления, то ли просто в силу дружественных соседских и производственных отношений. Благодаря управлению, хозяйству богатому и прочному, и взялись, наверно, и официантки, и цветы на столиках, и прочая необязательная, но приятная чепуха. Главное, все эти подробности не только радуют сердце рассказчика, но и имеют прямое отношение к нашей истории, которая и началась-то в вышеописанной столовой, причем, при самых будничных обстоятельствах.

Но теперь мы просто не имеем права не поговорить об остальных женщинах, сидящих с Аллой за столиком.

Старшей и по возрасту, и по положению была, несомненно, Галина Васильевна Ляхова, главный бухгалтер завода. Галина Васильевна являлась женщиной сильно не молодой, лет сорока пяти или даже пятидесяти, что в глазах тогдашней Аллы уже не имело разницы. То есть, если посчитать, родилась Галина Васильевна еще в начале века, даже успела поучиться в дореволюционной женской гимназии, но саму революцию помнила плохо и была воспитана целиком в духе победившего социализма – с полной преданностью делу Ленина и партии. К моменту нашего рассказа два взрослых сына Галины Васильевны уже покинули отчий дом, неся положенную службу в рядах советской армии, муж, Иван Андреевич Ляхов, человек тихий и интеллигентный, большой заботы не требовал, и все сердце деятельной главной бухгалтерши принадлежало родному предприятию, и в особенности его местному комитету, который Галина Васильевна возглавляла бессменно вот уже пятый год. Без нее, конечно, не только не распределялись редко залетавшие на скромный завод путевки в санатории, но и не двигались другие, более будничные дела: проводы на пенсию, разборы в товарищеском суде, субботники и коллективные походы на майскую демонстрацию. Не говоря уже про совершенно новый, с иголочки заводской детский садик, который был ее особой гордостью. Конечно, на основную работу времени оставалось мало, но и там всегда был порядок, потому что Галина Васильевна могла полностью положиться на свою коллегу, рядового бухгалтера завода, но совсем не рядовую женщину, Раечку Зыренко.

Раечка родилась на свет, чтобы покорять мужские сердца. Это было понятно даже самому ненаблюдательному свидетелю ее детства и юности, стоило взглянуть на Раечкины огромные голубые глаза, пухлый нежный рот, который так легко менял очертания от легкого каприза до полной обещаний улыбки, на всю ее складную кругленькую фигуру. К сожалению, в судьбу Раи вмешалась история. Нет, не наша незатейливая история, а История в виде

глобального события или, точнее, Отечественной войны. Те самые мужчины, которым полагалось жить и радоваться Раечкиной красоте, дружными рядами отправились на фронт, откуда большинство из них не вернулось, а те, кому посчастливилось вернуться, обратили свои взоры к более юным невестам, все-таки сумевшим расцвести в эти голодные и страшные годы. На Раечкину долю остались одинокая чистенькая комната, скромная должность бухгалтера на неприметном заводе да страстная надежда на простое женское счастье, которая не покидала ее, несмотря на стремительно летящие годы.

Описание третьей героини требует от автора особой аккуратности и даже деликатности. И не потому, что речь пойдет о рядовом, но важном члене коллектива, – секретарше директора, вопрос тут в другом. Так уж случилось, что между директором завода Синельниковым Иваном Никитичем, и его личной секретаршей Соней существовали особые отношения, которые сейчас смело можно было бы назвать неформальными, но названия такого в описываемые нами времена, конечно, не было, поэтому придется просто сказать, что Соня была любовницей директора. Но не будем судить поспешно, тем более что даже Галина Васильевна, женщина высоконравственная, относилась к этой не простой ситуации с пониманием и сочувствием. Когда-то много лет назад, в первый месяц войны, Соня провела единственную и поспешную ночь с чудным мальчиком, Алешей Соломатиным, одним из первых призывников их класса. Ситуация в дальнейшем многократно рассказанная в послевоенных фильмах. Но в отличие от фильмов, где после многих страданий и разлук герои обязательно встречались, и счастливый воин сжимал в объятиях подругу и успевшего подрасти сына, Соня никогда больше не встретила Алешу Соломатина. В апреле 42-го года в эвакуации, вскоре после получения похоронки, она родила маленькую слабенькую девочку, которая на третьем году жизни заболела полиомиелитом, как раз тогда была большая вспышка этой инфекции. Вот собственно и вся предыстория. Соня вернулась в Москву с девочкой инвалидом в колясочке, про учебу в институте уже, конечно,

речи не было, еще повезло, что устроилась секретаршей на наш завод. Директор, Иван Никитич, человек немолодой, возможно, даже ровесник Галины Васильевны, имел жену, полную болезненную женщину, и замужнюю дочь. То есть опять таки ситуация походила на послевоенные фильмы, но там по сценарию директору положено было мучиться и страдать от своего ложного положения, разрываться между любовью и долгом, а Иван Никитич, надо признаться, особенно не мучился. Соня, женщина красивая, но сдержанная, на работе держалась отстраненно, как и положено настоящей секретарше, никогда не смешивала служебные отношения с личными. У нее была уютная однокомнатная квартира, полученная не без помощи заводского начальства, но совсем не в связи с особым вниманием директора, как вы могли подумать, а из-за дочки-инвалида, которая, правда, освоила со временем ходьбу на костылях. Это была тихая, худенькая девочка с безнадежно изуродованными ногами, но большая певунья и насмешница. Она училась в интернате для детей с физическими пороками, никто там не удивлялся костылям, почти все перенесли в прошлом полиомиелит или костный туберкулез. Соня забирала девочку на выходные, а целую неделю жила одна, Иван Никитич приходил к вечеру, часто прямо с какого-нибудь совещания, клал красивую седеющую голову на Сонины колени, целовал молодые тонкие ее руки. Они мало разговаривали, иногда Соня рассказывала про успехи дочки или Иван Никитич про какой-нибудь смешной случай в райкоме. Он привозил для девочки дорогие шоколадки из райкомовского буфета, а самой Соне смешные милые подарки – набор носовых платочков, расшитых цветами, вазочку для конфет, звонкий хрустальный колокольчик. Перед женой директор большой вины не ощущал, она давно привыкла к их взаимной отдаленности, интересовалась больше зарплатой, чем его успехами или неудачами, часто проводила вечера у дочки, которая ждала ребенка. Впрочем, мы, кажется, отстранились от основной темы нашего рассказа и от ее главной героини, которая как раз сейчас сидит в вышеописанной столовой и в

ожидании официантки с обедом обсуждает с Раечкой фасон новой юбки колоколом по последней тогдашней моде.

Вид у подошедшей официантки был почему-то праздничный, необычный для рядового дня недели, и в руке она сжимала большой плотный конверт.

– Вот, велели передать, – сказала официантка загадочно и положила конверт напротив Аллы.

– Кто? – дружно спросили все четыре женщины.

– *Кто-то*. Вон с того столика, – официантка кивнула на столик у окна.

Четверо мужчин как по команде раскланялись, заулыбались, приветственно поднимая руки. Алла вспыхнула, Раечка нервно хихикнула, Галина Васильевна решительным жестом взяла конверт, аккуратно надрезала ножом. На стол выпали пригласительные билеты в Дом культуры строительно-монтажного управления.

– Очень мило, – сказала Галина Васильевна, внимательно рассматривая билеты, – показ кинофильма, буфет, танцы. Кстати, я знакома с одним из этих товарищей, (она указала на старшего из мужчин) – бухгалтер управления, немного тугодум, но человек вполне порядочный. А остальных – нет, не знаю. Там недавно все руководство сменилось, может, кто-то из новых инженеров?

Алла исподтишка взглянула на загадочную четверку. Красивый широкоплечий брюнет с темными чуть на выкате глазами, молодой вихрастый парень в клетчатой ковбойке, невысокий мужчина со вздернутым носом, упомянутый бухгалтер с аккуратно зачесанными на косой пробор волосами.

– Новые времена, новый способ ухаживать, – сказала демократичная Галина Васильевна, – Аллочка, вероятно, вам самой предлагают выбрать спутника на этот вечер.

– Тут и думать нечего, – опять вспыхнула Алла и решительно протянула второй билет сидящей рядом Рае, – интересно, какой будет фильм, вдруг с Орловой? Я ее просто обожаю!

Однако вечером, лежа за ненавистой ширмой, Алла вновь и вновь возвращалась к эпизоду в столовой. Кто, кто из четверки придумал это приглашение? Молодой парень

казался немного недалеким, курносый мужчина невзрачным, тугодума бухгалтера она сразу отбросила. Оставался брюнет, но он выглядел слишком легкомысленным, наверняка бабник и любитель легких побед.

Как вы уже поняли, наша героиня была девушкой ответственной, да и воспитание в те годы требовало от женщины большей строгости в поведении, чем в наше неразборчивое время. Но не будем спешить с выводами и насмешками. Ведь, что ни говори, прогресс в обществе часто объясняется чисто техническими причинами. Посмотрели бы мы на современных прелестных и свободных женщин, легко меняющих возлюбленных согласно велению души или прихоти настроения, если бы их перенести в то описываемое нами время, когда не только не существовало волшебных таблеток против нежелательной беременности, но даже такое мерзкое и неуютное Богу, но все-таки спасительное средство, как аборт, было абсолютно запрещено. Но не стоит больше о грустном и неприятном, ведь наш рассказ, как вы уже, наверное, догадались, о Любви.

Конечно, трудно предположить, что Алла Семеновна, красавица и дипломированный специалист, не имела никакого любовного опыта. Еще в девятом классе вниманием юной, но уже прелестной Аллочки завладел шикарный морячок, сосед и бывший выпускник ее же школы. Морячок, уже прочно овеванный ореолом морских просторов и дальних странствий, приехал *на побывку*, как в известной в песне (да простит меня читатель за постоянное обращение к произведениям массовой культуры того времени, но ведь ни из песни, ни из жизни слова не выкинешь), и его появление в белой форменной робе и бескозырке, конечно, стало событием в сухопутном мирном городке. Морячок немного погулял и покрасовался на городской танцплощадке, степенно поприветствовал местных девчонок, но дальше события резко разошлись с упомянутой выше песней, потому что неожиданно для всех и даже для себя самого, морячок вдруг прикипел сердцем к нашей черноокой героине. Будь Алла постарше, а отпуск морячка подлиннее, может, и случился бы настоящий

серьезный роман, но непредсказуемая судьба развела наших героев – морячок вернулся к месту приписки, а Аллочка уехала в столицу, учиться. В Московском техникуме, конечно, тоже возникли поклонники, особенно один, Димка Прохоров, все ходил за ней, провожал до дома и даже лез целоваться, но Алле он не слишком нравился. Вообще, она трудно привыкала, чувствовала себя провинциалкой, да и дома как такового не было, не пригласишь ведь гостей, пусть того же Димку, в общество бабушкиного Соломоныча. И вот теперь, уже засыпая, она представляла себе то чудесного ласкового морячка (которого уж и не помнила почти, так – сказочный образ), то нескладного Димку, то незнакомцев из столовой, дружно машущих рукой. – Нет, хорошо бы все-таки билет послал тот глазастый брюнет, – последнее, что подумала она засыпая.

Фильм оказался не слишком интересным, из жизни колхозников и передовиков производства, в буфете стояла длинная очередь. Но, главное, никого из знакомых они не встретили! Правда, в какой-то момент в толпе мелькнул нарядный гладко причесанный бухгалтер, но, заметив откровенное разочарование на Аллочкином лице, быстро удалился. В зале заиграла музыка, приглашая к танцам.

– Уходим, – сказала Алла сразу погрузневшей Раечке, – еще не хватало стену подпирать на этих танцах! Посмотрим, что дальше будет.

События не заставили себя долго ждать. Прямо на следующий день сияющая официантка принесла и поставила напротив Аллы цветы в большой стеклянной банке.

– От кого? – буквально хором выдохнули женщины. Официантка заговорщицки подмигнула:

– Не велели говорить! Пусть сама догадается.

– Ерунда какая-то, – Алла резко обернулась, пытаясь разглядеть из-за спины Сони уже знакомую нам четверку, – может, они просто насмеются?

Галина Васильевна степенно взглянула на столик у окна, мудро покачала головой.

– Нет, девочка моя, не думаю. И лица у них добрые, и цветы уж больно хороши, с любовью подбирали. Нет,

уверена, ваш поклонник – нерешительный человек, только и всего. Романтик!

Два дня прошли без приключений, если не считать мелкой аварии в цеху и первой весенней грозы, а на третий торжествующая официантка, которая, по-видимому, чувствовала себя одним из главных персонажей этой истории, водрузила на знакомый нам стол огромный газетный пакет. Из тут же развернутого на глазах всей столовой пакета бордовой россыпью хлынула на стол отборная черешня. И это в конце апреля! Официантка ахнула, лицо Раечки пошло красными пятнами, даже Галина Васильевна была поражена, и только Соня сдержанно улыбалась чему-то своему. Стол у окна с повышенным вниманием изучал содержимое тарелок, только парнишка в ковбойке незаметно подталкивал в бок бухгалтера и восторженно крутил головой. Алла быстро разделила черешню на три равные порции – Рае, Соне и Галине Васильевне, остаток сунула слегка сопротивлявшейся официантке.

– Вы отмечайте наступающее лето, – сказала она бодро, – а я побежала, конец месяца – план горит!

В ближайший четверг с самого утра к нашей героине (а она и вправду начала чувствовать себя немного героиней) подошел Коля Ягодкин, парнишка ремесленник из второго цеха. Он немного напоминал Аллиного младшего братишку, особенно в этой форменной тужурке.

– Семеновна, – сказал Коля, косо глядя в окно и старательно вытирая тряпкой темные руки, – ты на футболе была когда-нибудь?

– Нет, – заулыбалась Алла, – как-то не пришлось.

– У меня билет лишний, – вздохнул Коля, – приятель заболел. Может, выручишь?

– Алла даже обрадовалась. Честно признаться, все последнее время она находилась в каком-то постоянном напряжении, скучала вечерами в тесном бабушкином доме, рвалась неизвестно куда.

– Вот и хорошо, – сказал Коля и протянул узкий серый билет, – ряд 7, место 26, прямо там и встретимся.

Незадолго до начала матча толпа вынесла Аллу к узкому выходу из метро Динамо. (Да, дорогие мои друзья, как ни трудно представить, стадиона Лужники еще просто не существовало!) Искать не пришлось, все двигались в одном направлении, только уже на трибуне Алла стала озиаться в поисках Коли и своего места рядом с ним. Нет, вы не поверите! В седьмом ряду вместо ожидаемого Степанова сидела вся наша четверка в полном составе и дружно улыбалась растерянной Алле. Она невольно отметила, что крайним расположился глазастый брюнет, на его стуле виднелась большая цифра 6, но вдруг он встал, шепнул что-то курносому своему соседу и поменялся с ним местами. Все стало понятно. Значит, ради курного и затеяли они все это представление, а глазастый, наверное, был главным организатором, не зря он сразу показался ей таким несерьезным!

– Глупо! – шепнула она своему невольному соседу, усаживаясь на место номер 7, – и Колю учите обманывать, а еще взрослые люди!

– Да, глуповато, – смущенно улыбнулся он, – но ведь иначе вы бы не согласились придти.

Что ж, в этом была доля правды. Алла незаметно рассматривала соседа. Невысокий, совершенно взрослый мужчина, лет тридцати, наверное, в аккуратном сером костюме, светлые волосы коротко подстрижены, на курносом носу мелкие веснушки. Нет, совсем-совсем неинтересный. И ростом маловат, наверное, не выше ее самой.

– Как вас зовут? – шепнула она.

– Владимир, – обрадовался мужчина, – а это Гриша (он кивнул на брюнета), Леша и Павел Иванович. Он хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой.

Матч уже начался, трибуны качались, как живые волны в такт перелетающему мячу. «Надо хоть посмотреть, раз пришла» – решила Алла, все-таки не выпуская из поля зрения своих непрошенных соседей. Глазастый брюнет поощрительно улыбался Владимиру, Леша был полностью поглощен игрой, даже не оглядывался, за ним виднелась аккуратно зачесанная лысина бухгалтера.

Если вы еще не забыли, стояли последние дни апреля, темнело поздно, поэтому никакой особой необходимости провожать Аллу после матча не было, о чем она и заявила своим новым знакомым со всей определенностью.

– Аллочка Семеновна! – заулыбался долговязый Гриша, – обижаете! Чтобы мы бросили в одиночестве девушку, которую сами же пригласили! Нет, мы не будем сопровождать вас всей толпой, раз вы не хотите, но уж кто-нибудь один!

Он подтолкнул вперед Владимира, и, обхватив за плечи Лешу с бухгалтером, отступил в сторону метро.

Ну, что тут было сказать?

Они молча шли по узкому переулку к бабушкиному дому. Просвечивали первые звезды на темнеющем небе. Владимир посмотрел на часы, вздохнул чему-то.

Морячок обычно провожал ее до подъезда, потом еще немного стояли под деревьями, ждали, пока стрелка пересечет цифру 9, позже мама не разрешала возвращаться. Морячок горячо дышал, целовал холодные, синие от чернил пальцы. «Я на тебе женюсь! – шептал он, – отслужу и женюсь. Никуда ты от меня не денешься!» Алла смеялась счастливо и беззаботно, женитьба казалась делом далеким, как конец света. Теплая мягкая куртка морячка закрывала ее почти до колен. И зачем она уехала в этот техникум?

– Вам холодно? – спросил Владимир и набросил ей на плечи свой пиджак. От пиджака пахло чужим резким запахом одеколона. Как ни смешно, он был в самую пору, даже чуть коротковат.

– Нет, нет, – Алла торопливо сняла пиджак, – мы уже пришли. А кто эти ваши приятели?

– Замечательные люди, – Владимир растерянно вертел пиджак в руках, – Григорий – парторг, старый друг, еще с армии. Представляете, у него уже второй ребенок на подходе! – Владимир все-таки натянул пиджак, неловко застревав в рукавах. – А Леша – старший технолог. Это он на вид такой молодой, а на самом деле очень ответственный человек, институт с отличием закончил. Кстати, тоже скоро

женится, в конце мая. Одни мы с Пал Иванычем – старые холостяки!

– Ну, вы не такой уж старый, – вежливо сказала Алла.

– Скоро тридцать два, – вздохнул Владимир, – Ленин в этом возрасте уже партию возглавил, газету «Искра» издавал.

– Пришли! – с облегчением воскликнула Алла, – ну, я побежала, бабушка ложится рано!

На следующий день она взяла с собой большой бутерброд с сыром. Последний день перед праздниками, в цеху аврал, ничего удивительного, если она не придет в столовую.

На майскую демонстрацию отправился почти весь завод. Конечно, не в столице, а там же, в их городке при станции. Было очень весело, играл духовой оркестр, молодые комсомольцы несли транспаранты, везде продавали горячие пирожки с капустой и повидлом, мороженое. Алла обожала самое простое, фруктовое, за шестьдесят пять копеек.

Вечером вдруг объявился Димка. Он работал по распределению где-то под Тулой, но на праздники решил проведать старых друзей. Обзвонили ребят, многие, конечно, отсутствовали, но человек семь набралось. Как на счастье, бабушка с Соломонычем уехали к племяннице. Алла быстро накрутила бутерброды с докторской колбасой, Димка принес дешевое сладкое вино и лимонад. Казалось, они опять студенты, хохотали, вспоминали учителей, собственные проказы. Одним словом, время пролетело весело и незаметно.

Как всегда после праздников в цеху начались неприятности. Во-первых, двое самых главных выпивох, Шевченко и Назаров не вышли на работу, что, конечно, было не удивительно, но все равно неприятно. Во-вторых, вылетело электричество, почти час простояли в полной темноте. А ближе к обеду подкатился Витька Филькин с новым известием:

– Семеновна, запчасти не отгрузили! Транспорта нет. Нужно попросить в соседском управлении, чтоб дали машину. Так что иди к главному инженеру.

– А почему к главному инженеру? – удивилась Алла.

– А я почему знаю! – заворчал Витька. – Сказали, – начальнику цеха подойти к главному инженеру!

Думать было особенно некогда, благо, управление находилось буквально в том же дворе. Алла пробежала в административное крыло, нашла на двери табличку: «Главный инженер. В.Б. Ковригин», постучала для приличия. Хотя ответа не последовало, в комнате явно кто-то был, играло радио, она быстро распахнула дверь и... остолбенела. За столом в знакомом сером костюме сидел Владимир и напряженно смотрел на дверь. Увидев ее, он смущенно улыбнулся и шагнул навстречу.

– Это, конечно, очень глупо, – он запнулся, засмеялся смущенно, – но ничего другое не пришло в голову. Боялся, что вы опять не придете в столовую. А по поводу машины не беспокойтесь, – добавил он поспешно, – машина уже отправлена.

– Это судьба! – Галина Васильевна от волнения даже отложила ложку, – поверьте мне девочки, просто судьба! Главный инженер, и такой милый интеллигентный человек, и так деликатно ухаживает. И ни разу не был женат, не думайте, я уточнила у сведущих людей!

– Вот только разница в возрасте, – вздохнула Раечка, – какие эгоисты эти мужчины! Хоть в тридцать, хоть в пятьдесят, все им подавай двадцатилетних.

– Это не самое страшное, – тихо сказала Соня, – зато будет избавлена от рая в шалаше.

– А может быть, я хочу рай? – обиделась вдруг Алла, – пусть и в шалаше.

– Вы еще совсем ребенок, – заулыбалась Галина Васильевна, – ничего, жизнь лучший учитель. А что он еще сказал? Что-то предлагал?

– Ничего особенно, – покраснела Алла, – сказал, что будет ждать меня после работы. На служебной машине.

Все три слушательницы безмолвно всплеснули руками.

Тут надо рассказать еще об одной детали, не менее важной для нашей истории, чем описание столовой. Дело в том, что и завод, и управление размещались у самой станции в близком Подмосковье, так что единственным, и надо сказать, вполне удобным транспортом для всех сотрудников была пригородная электричка. (Теперь-то этот район давно находится в черте города, и даже не на самой окраине, но мы предупреждали, что описываемая история произошла очень давно). Все, буквально все работники завода, включая Галину Васильевну и самого директора, товарища Синельникова, прибывали на завод утренней московской электричкой с Белорусского вокзала. Конечно, кроме тех, что ехали из дальнего Подмосковья на ту же станцию, но с другой стороны. Почти так же дружно после трудового дня коллектив отбывал к месту проживания, не считая нескольких заводских (включая и секретаршу Соню), которые получили квартиру в недавно построенных у станции домах.

Надо ли говорить, что не менее половины сотрудников этого скромного, но достойного предприятия, наблюдало, как у проходной остановилась машина соседского управления, и сам главный инженер поспешно выскочил, чтобы распахнуть дверь автомобиля юной начальнице заводского цеха. Истины ради надо признать, что машина была не слишком роскошной, горбатенькая, выдавшая виды Победа, но разве это имело хоть какое-то значение!

Через пару дней весь завод знал, что за Аллой с Урала ухаживает Ковригин Владимир Борисович, молодой перспективный главный инженер большого управления. За обедом в столовой царило явное оживление, Галина Васильевна чувствовала себя настоящей именинницей, Раечка, восторженно ахая и не скрывая хорошей белой зависти, расспрашивала подробности последнего свидания, даже сдержанная Соня одобрительно улыбалась. Алла кивала, добросовестно отчитывалась о виденной накануне оперетте, вежливо отвечала на дружные приветствия столика у окна. Хотя, честно говоря, поход в оперетту был не слишком удачным. Во-первых, долго не могла придумать

наряд, – ни одно из двух выходных платьев не смотрелось без каблучков, но не хватало оказаться на полголовы выше своего кавалера. Во-вторых, прямо перед ней уселся длиннючий дядька, загородив лысиной полсцены, а перебраться на свободное кресло, как не раз проделывали с тем же Димкой, было неудобно. В-третьих, Владимир купил ей в буфете миндальное пирожное, которое она терпеть не могла, но как-то постеснялась сказать. Так и запомнилось от этого вечера: она мучительно жует приторную клейкую массу, вежливо улыбаясь и переступая как утка в непривычно плоских туфлях. Домой возвращались на метро, обсуждали перспективы развития завода, у самого бабушкиного дома Владимир вдруг спросил грустно:

– Вам было совсем неинтересно?

– Нет, нет, почему, – заторопилась Алла, – я очень люблю оперетту, такая веселая постановка, и поют хорошо.

– А хотите, мы пойдем в оперу? Прямо в Большой театр? Прямо на этой неделе?

– На этой неделе, – переспросила Алла, лихорадочно подсчитывая в уме дни до получки.

«Можно купить на низком каблучке, но хотя бы лодочки, – думала она, – не идти же в Большой театр как сегодня, в спортивных полуботинках!»

– Нет, ничего не получится, – тихо вздохнул про себя Владимир, глядя на ее растерянное лицо, – все как всегда. Нечего было и начинать.

Надо сказать, Владимир считал себя страшно невезучим человеком, хотя на самом деле ему в жизни везло, причем довольно часто, но везение это было какого-то странного свойства. Сегодня модные во всем мире астрологи и прочие толкователи судеб назвали бы его «везением на последний момент», но, конечно, член коммунистической партии и серьезный администратор Владимир Борисович Ковригин даже слов таких никогда не слышал. Хотя, если задуматься, это определение довольно точно отражало его биографию. С самого детства крупные и мелкие неудачи сыпались на круглую, коротко стриженую голову Володи Ковригина, но в самый последний момент какое-либо событие или стечение обстоятельств успешно

выводили его из тупиковой, казалось, ситуации, так что он даже часто оказывался в выигрыше.

Надо отметить, этот сомнительный дар Владимир получил в наследство от матери, директора районной библиотеки, Любови Дмитриевны Тарновской. В неполные семнадцать лет Люба Тарновская вступила в марксистский кружок, увлеченная страстными речами чубастого рабочего агитатора. Сверкая мрачными синими глазами и захлебываясь от праведного гнева, он клеймил подлый и несправедливый царский режим, и смеем предположить, именно эти глаза и пленили романтическую девицу, а вовсе не разоблачение самого режима, который лично ей, дочери почтенного профессора словесности и потомственного дворянина, не сделал ничего плохого. Еще неизвестно, как бы продолжилась сия история, но ровно через месяц после вступления Любы в революционную борьбу весь кружок арестовали по доносу мелкого и никчемного провокатора. И вот тут впервые проявилась особенность Любиного везения, впоследствии плавно перешедшая к ее единственному сыну. Через два часа после ареста подозреваемую Тарновскую, единственную из всех наших марксистов, безмолвно отпустили домой. «По малолетству» – как значилось в протоколе, хотя не исключено, что здесь также сыграла роль крупная сумма, поспешно внесенная онемевшим от потрясения Любиным отцом. В тот же вечер Люба была отправлена в загородное имение, причем не отцовское, а тетки со стороны матери, чтобы даже фамилия не напомнила стражам порядка о неудавшейся революционерке. Впоследствии оказалось, что этот скромный и скучный деревенский дом уберег Любу и от повторного ареста, и от грянувшей вскоре революции, и от сыпняка, который страшной зимой 18-го года в одну неделю скошил ее родителей. В том же году, летом, после экспроприации теткиного дома крестьянами, Люба вернулась в Петроград, в навеки опустевшую квартиру. И вот, когда казалось, что жизнь ее сломана, и ничего хорошего больше не может произойти, на митинге у Зимнего дворца, куда Люба забрела от тоски и отчаяния, вдруг взметнулась над толпой знакомая фигура, засияли

синие глаза, все так же страстно горящие под слегка поредевшим и посеревшим чубом. Они не расстались в тот день, и впредь почти не разлучались, не считая коротких поездок комиссара Бориса на продразверстку да Любиного недельного пребывания в роддоме, где и появился на свет юный Владимир Ковригин, названный в честь раненого врагами революции и уже смертельно больного вождя. Вскоре Бориса Ковригина перевели в Москву, на какую-то важную работу по линии Коминтерна, а Люба устроилась в библиотеку при райкоме. Происхождение ей простили за участие в подпольной революционной борьбе.

Казалось, все беды в Любиной жизни миновали, но в 32-м погрузневший и поседевший Ковригин вдруг страстно влюбился в задорную комсомолку из подшефной организации и в три недели разменяв их уютную квартиру на две комнаты в коммунальных, ушел из семьи. И никто не мог сказать тогда сразу постаревшей Любове Дмитриевне, что странное везение сберегло ее от надвигавшегося 37-го года, что комиссара расстреляют, как и почти всех коминтерновцев, а разлучница-комсомолка вместо нее получит 15 лагерных лет по печально известной 58-й статье.

Про библиотекаршу Тарновскую никто не вспомнил, ее даже вскоре повысили в должности.

Первое время Любовь Дмитриевна очень мучилась страхом за сына, порывалась сменить ему фамилию, но так и не решилась, боясь напрасно обратить на себя внимание. А потом началась война, Володю, к тому времени студента второкурсника, призвали в армию, так что стало уже не до фамилии, оставалось только молиться о его благополучном возвращении.

Надо ли говорить, что юный Владимир к тому времени уже давно познал горькую долю собственного невезения. Плавал он неважно, по воротам мазал, а к волейбольной сетке и вовсе не приближался в силу малого роста. В довершение, в кружке любителей поэзии, куда он по совету матери преданно ходил с 6-го класса, начисто забраковали все его стихотворные опыты, так что мечты об ИФЛИ пришлось оставить навсегда. С расстройства он подал в не слишком модный тогда технический ВУЗ, и сразу

был зачислен за очень короткое и оригинальное решение экзаменационных задач. Ни он сам, ни Любовь Дмитриевна, в силу полного незнания предмета проглядевшая выраженные способности сына в математике, конечно не знали, что это просто набирает силу их фамильное везение.

Участие в войне тоже обернулось для Владимира сплошным огорчением. По дороге на фронт, не проехав и трети положенного пути, он слег от банальной пневмонии, которая, однако, чуть не стоила ему жизни. Ничего удивительного, если вспомнить, что в те далекие времена антибиотики еще только вызревали в пробирках скромного лаборанта Флеминга. Болезнь осложнилась тяжелым нагноением легочной оболочки с поэтическим названием эмпиема, так что Володя почти полгода провалялся в тыловом госпитале с градусником подмышкой и противными режущими трубками, торчащими прямо из левого бока. Его даже хотели комиссовать, но молодость все же взяла свое, гной вытек, и трубки, наконец, исчезли, оставив на коже круглые втянутые рубцы. Кстати, эти рубцы вполне можно было выдать (например, любимой девушке) за боевые ранения, да еще в область сердца, но, к сожалению, Владимир совершенно не умел врать. После выписки его признали ограниченно годным и как потенциального инженера отправили в отдаленную техническую лабораторию, связанную с разработкой нового оружия. Служба оказалась по-своему интересной, Володя, неожиданно для себя, ввел несколько остроумных изменений в уже готовые схемы, получил одобрение начальства и даже правительственную награду, но очень скромную, близко не дотягивающую до блистательных медалей нового сослуживца и друга Гриши Стороженко. Гриша тоже попал к ним в лабораторию из госпиталя, но после настоящего боевого ранения, да еще, оказалось, служил политруком роты, что беспартийному «сыну врага» Ковригину казалось недоступным везением. В свою очередь и Гриша быстро оценил цепкость мышления приятеля, легкость в решении самых запутанных задач, молниеносную память. После победы, которая, надо признаться, наступила

для них довольно буднично, оба решили не расставаться и продолжить учебу на одном факультете.

Как мы знаем, решение это оказалось плодотворным для обоих товарищей. Бывший политрук и герой войны вскоре после окончания ВУЗа получил должность парторга управления, хотя, надо сказать, инженером был слабоватым. Но именно это и подвигло его предложить на должность ведущего, а потом и главного инженера старого друга, который по его настоянию и рекомендации уже давно вступил в партию и убрал из автобиографии предателя отца. С Ковригиным Гриша был спокоен, – дело делалось четко и быстро, а сам главный инженер всегда оставался в тени, предоставляя все лавры честолюбивому парторгу.

Вот только с романтической жизнью у Владимира все не складывалось.

Главная беда заключалась в том, что Володе всегда нравились очень красивые девочки. И это при его росте и невыразительной внешности! Уже в школе он понял полную безнадежность своего положения. Еще хуже обстояло дело в кружке поэзии, где шумные молодые дарования на голову превосходили его и в прямом, и в переносном смысле. Но наибольшее огорчение ждало нашего героя на первом курсе, когда он отчаянно и безнадежно влюбился в первую красавицу их группы, отделения, да, наверное, и всего факультета Марину Rogozину.

Ничего подобного с ним раньше не случалось. Жизнь обретала смысл при ее появлении и полностью теряла при уходе. Володя тупо бродил за предметом своего обожания по коридорам института, заходил в буфет, даже стоял в очереди, хотя и куска бы не смог проглотить в ее присутствии. Каждое утро он приходил к дверям ВУЗа за час до занятий и, прячась за колоннами, ждал появления знакомой до боли фигуры в скромном темно-зеленом пальто, умирая одновременно от надежды и ужаса, что она не придет. Все, начиная с редкого в те времена имени, было в ней необычно и как бы не соответствовало тогдашней моде, и, тем не менее, парни, как один, теряли голову перед этой молчаливой сероглазой девушкой с длинной темной косой. Самые яркие активистки факультета с их модными

стрижками и решительными суждениями меркли перед ее тихой загадочной красотой. Но как был бы удивлен и потрясен восемнадцатилетний Володя Ковригин, если бы узнал, что именно на него Марина смотрела с интересом и явной симпатией, потому что его блистательные успехи в математике, а также какая-то особая сдержанная манера поведения (вероятно, унаследованная от профессора Тарновского) казались ей необычайно привлекательными. А дальше, как можно догадаться, грянула война, уходя на фронт, Володя даже не решился попрощаться с Рогозиной, только спрятал на груди блеклую фотографию группы, где во втором ряду слева можно было разглядеть при особом старании Маринино прекрасное лицо. Но и фотография затерялась во времена его странствий по госпиталям с проклятой эмпиемой. После победы, как мы уже знаем, Володя перешел в другой ВУЗ, поближе к приятелю Грише, Марину он не искал, был уверен, что если она и жива после стольких потерь, пережитых страной, то все равно не вспомнит невзрачного однокурсника.

Конечно, были всякие знакомства, более или менее случайные, однажды Владимир почти увлекся маминой сотрудницей, библиотекаршей Эллочкой. Он даже подумывал о свадьбе, но как-то вяло, без энтузиазма, хотя Эллочка была мила и искренне ему предана. Возможно, Володя бы все-таки женился, тем более, маме очень нравилась эта идея, но в том же году случайно оказавшись в Крыму по горящей райкомовской путевке, он вдруг завел безумный молниеносный роман с шикарной блондинкой, которая, безусловно, затмевала всех виденных им прежде красавиц, не говоря уже о скромной серенькой Эллочке. Ковригин таял и парил в череду сонных ленивых дней и страстных горячих ночей, пока в конце положенного путевкой срока блондинка не призналась, что имеет хорошую крепкую семью и ничего в своей жизни не планирует менять. Дружески расцеловав потрясенного любовника, она беспечно отправилась восвояси, к законному мужу, ответственному работнику главка. Эта, в общем-то, банальная история имела роковые последствия не только для Элочки, с которой Ковригин больше никогда не

встречался, но и для него самого, воспитанного Любовью Дмитриевной в высокой духовности свойственной лучшим произведениям российской словесности. Уже почти год Владимир пребывал в мрачном одиночестве под дружное осуждение матери и верного Гриши, который к этому времени отгулял множество разнообразных и удачных романов, был прочно женат на пухленькой хваткой медсестре и ждал второго ребенка.

Конечно, идея женить Володю на юной красотке Аллочке принадлежала Грише. На вялое сопротивление друга он отвечал гневными тирадами довольно одинакового содержания, так что их беседы в знаменитой столовой выглядели следующим образом.

– Нет, ты скажи, она тебе не нравится?! – возмущенно вопрошал Гриша, опытным мужским взглядом окидывая стройную Аллочкину фигуру и роскошные волосы.

И Владимиру приходилось признаваться, что, да, конечно, нравится, кто же спорит.

– Тогда, может быть, ты женат, обременен кучей детей и просто для развлечения собираешься подло обмануть бедную девушку?

И опять Владимир признавал, что совершенно не собирается обманывать бедную девушку, тем более подло и для развлечения.

– Тогда, может быть, ты импотент? – зловещим шепотом выдыхал верный политрук.

Владимир мучительно морщился, вспоминал душные обжигающие ночи с коварной блондинкой, прятал под столом дрожащие руки... Нет, импотентом он определенно не был.

На этом аргументы с обеих сторон обычно заканчивались, и Гриша, при активной поддержке технолога Леши и обстоятельного бухгалтера, переходил к разработке дальнейшей стратегии и тактики Ковригинского романа.

Поход в Большой театр все же пришлось отложить до лучших времен, более-менее приличные лодочки нашлись в Пассаже только через неделю после намеченного

числа. Владимир вежливо выслушал историю о внезапной бабушкиной болезни.

На лодочки ушла приличная часть аванса, но сожалеть особенно не приходилось, потому что намечалось следующее очень серьезное мероприятие – свадьба технолога Леша. Правда, вначале возникли определенные препятствия – Леша жил в дальнем пригороде, в позднее время никакие электрички оттуда не ходили, а оставаться ночевать в незнакомом доме Алла категорически отказалась. Служебной же машиной Ковригин в нерабочее время пользоваться стеснялся, совершенно не понимая, как разговаривать на такую тему с пожилым степенным шофером, доставшимся ему вместе с машиной от прежнего начальства.

Но верный Гриша не дремал и тут же предложил пригласить Аллу вместе с какой-нибудь из подруг, тогда ситуация резко упрощалась, девушки могли дожидаться первой электрички и вместе вернуться в Москву, благо торжество намечалось в субботу. Рая Зыренко не заставила себя долго упрашивать, она уже давно томилась от противоречивых и смутных чувств, где радость за подругу смешивалась с горькой завистью и обидой на несправедливую судьбу. И хотя в данном случае ей доставались лишь отголоски чужого праздника, все-таки это было лучше, чем полная пустота.

Нет, свадьба оказалась совершенно неинтересной! Жених Леша и его невеста в совершенно некрасивом в сплошных оборочках цветастом платье сидели где-то далеко, в другом конце стола, так что их почти и не видно было. Незнакомые шумные люди много ели и пили, выкрикивали неприличные тосты, потом пошли плясать нетрезвым хороводом. Владимир молчал, Гриша скучал под строгим присмотром жены и к ним почти не подходил. Но, главное, пропала Раечка! Алла хорошо помнила, что Раю посадили в дальнем углу, рядом с бухгалтером Павлом Ивановичем, но когда она вскоре оглянулась, ни подруги, ни бухгалтера там не было, и только незнакомая толстая женщина на Райном месте с завидным аппетитом ела винегрет. Только часа через два подвыпивший благодушный

Леша вспомнил, что у Раечки разболелась голова, и она уехала в сопровождении Павла Ивановича, который как настоящий коммунист и хороший товарищ не мог покинуть ее в беде. Алла совсем растерялась, ей было жалко и Раечку, которой выпало страдать да еще в обществе скучного бухгалтера, и себя, одинокую и чужую на этом празднике, и еще немного новые лодочки, совершенно никем незамеченные.

Стояла поздняя ночь. Гости нестройным хором тянули песню про любовь-разлучницу.

– Давайте уйдем, – шепотом сказал Владимир.

– Давайте, – обрадовалась Алла.

Они вышли на темную спящую улицу. Было совсем тепло, сквозь черноту ночи чуть просвечивали цветущие яблони. Владимир взял ее за руку.

– А когда первая электричка? – поспешно спросила Алла.

– Часа через два, – ответил Владимир, отпуская руку, – можем подождать на станции. Или давайте просто пойдем в сторону Москвы, а она нас нагонит когда-нибудь.

Алла брела, аккуратно наступая на шпалы и впервые радуясь, что лодочки на низком каблуке. Владимир, чуть отстав и неловко балансируя руками, рассказывал про друга Гришу. Выходило, что именно Грише он обязан всеми своими успехами и на прежней службе в армии, и сейчас на производстве.

– Уж Гриша бы, наверное, не развел такую скуку, – невольно подумала Алла.

Наконец, стало светлеть. Они подошли к какой-то маленькой станции.

– Давайте здесь подождем, – сказал Владимир, взглянув на часы.

Они сели на низкую немного сырую скамейку, Владимир неожиданно тяжело закашлялся, вскочил, быстро пошел куда-то в сторону. Вокруг не было ни души. Алла даже немного испугалась, но он уже возвращался, вытирая пот со лба.

– От ветра всегда кашляю, – сказал Ковригин, смущенно улыбаясь, – вот так привяжется на ровном месте! Это еще с войны.

– Вы были ранены? – с сочувствием спросила Алла.

– Да, нет, какое-то банальное воспаление. Стыдно рассказывать, даже до фронта не доехал. Вот Гриша...

И он опять принялся рассказывать про храброго политрука Гришу, который, несмотря на тяжелую рану в плечо вывел из окружения почти пятьдесят человек.

Конечно, в этот час электричка оказалась совсем пустой, только два парня дремали в дальнем конце вагона. Алла вдруг почувствовала, как она устала. Глаза просто сами закрывались. Владимир подставил плечо, и она безропотно опустила голову. Нет, он был слишком маленького роста, голова неловко свисала, сразу затекла шея, но как-то неудобно было отдвинуться.

– Можно я Вас поцелую? – вдруг спросил Владимир и коснулся ладонью ее щеки.

– Нет! – Алла поспешно отодвинулась, выпрямила, наконец, шею.

Больше ничего не произошло до самой Москвы. Поезд постепенно наполнялся людьми, уже грело вовсю, день наступал солнечный, настоящий летний день.

– А ведь скоро отпуск, – вдруг вспомнила Алла, – завтра же закажу переговоры с мамой. Как хочется домой! – и она радостно засмеялась впервые за прошедшие сутки.

– Он в Вас безумно влюблен, тут и думать нечего!

Галина Васильевна для убедительности даже встала как на собрании, но, оглянувшись на столик у окна, тут же села на место.

– И ведь какой деликатный человек! – продолжила она шепотом, – другой бы сразу стал приставать, обниматься, а он даже спрашивает разрешения поцеловать!

Соня неуверенно покачала головой, но по обыкновению промолчала. Раечки за столом не было. Еще с утра они уехали с Павлом Ивановичем на какое-то их общее бухгалтерское собрание.

Алла задумчиво посмотрела на склоненную голову Владимира. Он о чем-то говорил с Гришей, но, почувствовав ее взгляд, невольно обернулся и помахал рукой.

– Ах, все потом, после отпуска! – беззаботно подумала она.

Через две недели Алла Семеновна уехала в родной городок.

Нет! Перед отъездом было еще одно довольно знаменательное событие, – Владимир пригласил ее в гости.

– Мама неважно себя чувствует, – сказал он, по обыкновению дождавшись Аллу у проходной. – Давайте заедем на минутку, просто проведем.

Надо признаться, мама Владимира выглядела довольно здоровой и совсем не старой женщиной. Она подала чай в высоких странных чашках, – почти прозрачных и совсем без рисунка, но все равно очень красивых. Немного поговорили о погоде, рано наступившем лете. Алла рассказала смешную историю, про младшего братишку, который в детстве путал буквы и говорил «барелина» и «реприжератор», а теперь, как ни странно, уже собирался поступать в институт.

Вечером, тщательно протирая старые хрустальные бокалы, сохранившиеся еще из ее невозможного петербургского детства, Любовь Дмитриевна тихо спросила:

– Откуда, ты говоришь, она приехала? С Алтая?

– С Урала, – улыбнувшись, ответил Владимир. – Алла с Урала, ее так зовут на заводе, легко запоминается.

– Да, запоминается легко, – вздохнула Любовь Дмитриевна.

Больше они в тот вечер не разговаривали.

Поезд уходил в половине пятого вечера, поэтому Алла решила ехать прямо с работы. В обеденный перерыв все три женщины вышли проводить свою юную подругу, они махали руками, желали скорого возвращения, Галина Васильевна даже прослезилась. Чемодан и обе сумки были заранее уложены в старенькой победе, Владимир терпеливо ждал у входа. Он понемногу привыкал использовать служебную машину в неслужебных целях.

– Вот через месяц вернется, и будет свадьба! – убежденно сказала Галина Васильевна, – верьте моему слову!

И никто из улыбающихся женщин даже не представлял, как сильно она ошибается.

Алла не вернулась ни через месяц, ни через два. Она вообще больше не вернулась в Москву, потому что тем же летом вышла замуж за бывшего морячка, свою первую детскую любовь. Он как раз закончил сверхсрочную службу и успешно работал на большом заводе, том же, что и родители Аллы. Морячок, конечно, возмужал за прошедшие годы, но был так же ласков и хорош, лучше всех танцевал, чудесно целовался и при этом совершенно не спрашивал разрешения.

Но свадьба на нашем маленьком заводе все же состоялась. Бухгалтер завода Раиса Зыренко вышла замуж за бухгалтера управления Павла Ивановича. Конечно, все были очень рады, правление завода подарило супругам чайный сервиз, а Галина Васильевна подготовила прекрасную речь о том, как профессиональные интересы сближают людей.

А что же Владимир и его знаменитое везение? – спросит разочарованный читатель (конечно, если он до сих пор следит за нашей историей). А про Владимира речь впереди, но чтобы сохранить последовательность событий мы просто обязаны рассказать еще об одном немаловажном событии. Вскоре после отъезда Аллы Семеновны почтенный директор завода Иван Никитич Синельников внезапно оставил семью и на глазах всех сотрудников переехал к собственной секретарше в ее скромную квартиру у станции. Тут, конечно, последовала жалоба жены в райком, директора поспешно перевели в отдаленное хозяйство, начались перемещения в руководстве, и вскоре на заводе появилась новая сотрудница, старший инженер, Марина Ивановна Рогозина. На вид ей было лет тридцать или даже более, уже первые седые ниточки виднелись в уложенной венчиком темной косе, но это не уменьшало ее поразительной тихой красоты. Из отдела кадров тут же донесли, что Марина Петровна не замужем, и это никого не удивило в то невеселое послевоенное время. Удивило и даже

поразило другое. Впервые появившись в знакомой нам столовой, Марина Ивановна вдруг остановилась против столика у окна, тихо ахнула и на глазах у всех присутствующих обняла главного инженера завода Владимира Борисовича Ковригина. При этом у самого Ковригина сделалось такое потрясенно счастливое лицо, что по заводу сразу поползли слухи о давнем жестоком романе между Рогозиной и главным инженером, отчего Алла с Урала, понятное дело, и уехала, не вынеся ревности и обид.

Но мы-то знаем – все это было не больше, чем слухи.

От редакции: первая редакция этого произведения под названием «Незатейливый рассказ» была опубликована в альманахе «Еврейская Старина» №1/2006



Яков Лотовский

Очистка ковра

Сцены из мещанской жизни



Вима в том году в Киеве случилась бесснежная. Трещали морозы, но – ни снежинки за весь сезон. Лишь на самом ее исходе, в начале марта, обрушился на город сильный снегопад. Наутро все выбеленное пространство меж домами покрылось пестрыми заплатами ковров, вынесенных из многочисленных квартир для снеговой очистки и выколачивания пыли. Весь день разносился по Русановке гулкий перестук выбивалок, и к концу дня снежный покров весь был запятнан грязноватыми прямоугольниками пыли.

Сознаюсь сразу, хозяин я нерадивый, лежебока. Одной из немногих моих домашних обязанностей являлась очистка ковра. Если быть точным, никакой это был не ковер, а палас красного цвета, большой, почти во всю гостиную, коему больше подобает быть в казенном месте, скажем, в кабинете начальника, куда вызывают подчиненных «на ковер», то есть для разносов, нахлобучек. Вот уже год, свернутый в трубу, ждал он в углу гостиной, когда я удосужусь его выпылить. Многотерпимая моя жена не сильно докучала мне с ковром. Но, услышав за окном ковровую канонаду, поглядывала с высоты нашего восьмого этажа на весь этот ералаш с грустной завистью и затем вопрошающе переводила свои огромные, полные укоризны глаза на меня, валявшегося на диване со свежим номером «Нового мира». Эта деятельность мужей, каковую они развили сегодня там внизу, мешала мне с головой погрузиться в чтение и раздражала, так как подчеркивала мою праздность на фоне всеобщего рвения. Конечно, слегка

ныла совесть за мою нерачность. Колонна нечищеного ковра, стоявшая в углу, лезла в глаза немим укором.

Я ощутил на своем темени взгляд жены и еще сосредоточенней ушел в прочтение публицистической статьи, в которой витал дух обретаемой правды, благодаря недавно спущенной сверху гласности. Этот дух вызывал во мне что-то наподобие катарсиса. Какая там, к черту, чистка ковра, когда речь идет об очищении общества от неправды и фарисейства! Ковровая возня на дворе мешала испытывать сие благодатное чувство.

– Взгляни в окно, – сказала жена.

– Мне все слышно, – отвечал я, не отрываясь от текста.

– Нет, ты посмотри. Это надо видеть.

Я нехотя поднялся с журналом в руке, оставив палец меж страниц, подошел к окну. С высоты, и в самом деле, открывалась достойная внимания картина – пестрая и эпическая.

– Красиво. Кустодиевский колорит. Брейгелевский мотив. Ты не находишь? – сделал я попытку перевести разговор в эстетическое русло.

Жена знает меня, как облупленного, и моя наивная попытка оказалась негодной. Я и сам понимал, что ей сегодня зубы не заговоришь, что терпение ее истончилось. Посему эстетскую свою фразу обернул шуткой, изобразив заведомо вернисажей, приставив моноклем левую руку к глазу и заведя за спину правую, с журналом.

– Не нахожу, – довольно грубо отрезала жена.

Она, возможно, и разделила бы мое художественное впечатление, кабы не маячила за нашими спинами красная колонна, которую я видел даже затылком.

– Ну, посмотри, куда я приткнусь с твоим ковром? – переключил я разговор на более низкий штиль. – Ни пяди чистого снега. Все замызгали. Ну, народ! Первозданной чистоты не пощадили, – продолжал я, делая попытку воспарить уже по этико-экологическому потоку.

Мне жуть как не хотелось расставаться с пахнувшей типографией, незахватанной, голубоватой книжкой журнала, с покоем, уютom нашего логова, пусть не совсем

ухоженного, пыльного, с налетом бытовой грязи, не лишней на мой вкус, как бы житейской патиной в дзен-буддистском духе, когда от векового употребления обиходные предметы наживают потертость, призасаленность – следы диалога с их обладателем, в противовес теперешним вещам, легко производимым, но так же легко и отбрасываемым ради напирających все новых разновидностей. Не очень хотелось пополнять собой эту суетную рать хлопотунов, что не задумываются о мимолетности жизни, чересчур расходуют себя на житейскую суету. Высокомерия к ним я не испытывал, даже сочувствовал, симпатизировал даже, но смешиваться с ними не желал. И не умел. Даже когда хотелось этого. А тут еще и не хотелось.

– Почищу. Ей-богу, почищу. Со следующим снегопадом почищу, – пообещал я.

– Конец зимы, дорогой мой. Будто не знаешь. Снега больше не дождешься.

– О-хо-хо, матушка моя. Еще сколько навалит, – пылко возразил я, почуяв слабинку. – Вспомни прошлый год. Снег, морозы чуть ли не до конца апреля. Ого! Еще падут глубокие снега. Непременно почищу в первый же новый снегопад.

– Да ну тебя.

Жена отмахнулась от меня и ушла в спальню, презрительно вихля бедрами. (Признаюсь, последняя фраза не моя – кажется, Ремарка. Но ничего не попишешь – моя жена умеет именно таким способом выражать презрение, удаляясь от вас. Она к тому же при этом поводит плечьями.) А я, как вольноотпущенник, снова раскрыл журнал, где оставил палец, и пустился читать, дав себе зарок исполнить ритуал ковровоочищения при первой же снежной оказии, но и уповая в тайне души на наступление дружной весны. А, давши такой зарок, умиротворился и уже не обращал внимания на звуки орудовавших на дворе образцовых мужей и наслаждался чтением и покоем. И красная колонна в углу комнаты потускнела, отступила, совсем ушла из поля зрения.

Весна и впрямь настала вскоре. Сошли снега. Истончился, прохудился лед на Днепре, раздались полыньи и тут же заполнились дикими утками, которые вот уже несколько лет как приспособились не улетать на зиму из Киева.

Но в середине марта, когда киевляне уверовали, что к зиме возврата нет и переменяли шубы на плащи, снова дохнуло с севера. И к воскресенью подгадал настоящий снегопад. Кого обрадует весенний снег? Таких нету. А вот жену обрадовал.

– Снег какой повалил! – заворуженно глядя в окошко, сказала она с тихим восторгом.

Я как раз лежал на диване. На моем брюхе торчком стоял свежий номер «Знамени». Про снег жена сказала как бы про себя. Я вполне мог бы и не слышать ее слов, поглощенный чтением. Я еще больше углубился в текст спасения ради. Как гоголевский Хома Брут.

– Снег идет, – обернувшись в мою сторону, повторила она.

Если первая ее реплика выражала не более чем удивление неожиданным снегопадом, то теперь в ее сообщении имелся подтекст, для меня чересчур прозрачный.

– Да-да, – пробормотал я, делая вид, что дочитываю очень важное место.

Но она настойчиво повторила:

– Посмотри, какой снег валит.

Дальнейшее мое притворство теряло смысл, и я, как бы дочитав важное место, отложил журнал и бодро воскликнул:

– А что я тебе говорил! А ты не верила.

Она улыбнулась, отдавая вежливую дань моим провидческим свойствам, и вопросительно взглянула: помню ли я, с чем связано мое предвидение. Ковер снова налился нахально-багровым цветом. Я вздохнул. Пришел, видать, мой черед.

– Ведь мы в кино собрались, на «Покаяние».

Вчера, действительно, когда тяжело было предположить о снеге, уговор был пойти в кино, на

«Покаяние». О фильме этом друзья нам все уши прожужжали.

– Что же ты прямо с утра залег читать?

– Нужно было дочесть главу. Мы с тобой сто лет не ходили в кино. Да еще на такой фильм!

– Тебя вытащишь из дому!

– Уговорились, значит пойдём, – произнес я тоном человека, свято блюдущего договоры, при этом лицемерно вынося за скобки более ранний уговор о ковре и снеге.

– А ковер? – без околичностей сказала жена, грубо раскрывая скобки.

– Ковер? Ах, ковер! Да, действительно... А знаешь, снегу пока маловато. Вот насыплет побольше, когда вернемся, я... это самое... значит... и почищу.

Последнее слово далось мне трудно. Но дальше меня прямо осенило.

– Слушай, какая превосходная пришла мысль! Я сейчас выношу ковер на двор, раскатываю, а снег пусть на него падает. Пусть себе засыпает наш ковер.

– Ну, и дальше?

– Мы спокойненько идем на «Покаяние». Когда вернемся, снегом его и завалит. Я его и почищу. И заметь – не надо даже и снег нагребать на него. Вот в чем штука!

– Как это? А кто присмотрит? Мы ведь уйдем?

– Что за ним присматривать! Кто его утянет перед лицом двух домов и сотен окон. Пойди знай, из которого окошка следят за своим добром. А если и стянут – черт с ним. В нем же полно этой гадости.

«Опять же избавлюсь от докучного ковротрясения», – подумал я, конечно, не вслух.

– Но эта гадость достанется тому, кто стащит, – сказала жена.

Такого поворота я не ожидал. Для нее это вполне естественный ход мыслей. Она, в отличие от меня, человек нисколько не лукавый, и сказала так отнюдь не затем, чтобы склонить меня к чистке ковра. Она считала, что нельзя бросать ковер без надзора, дабы не вышло от него вреда возможному вору.

Я не сразу нашелся, чем ответить.

– Если даже и украдет, поделом – а не воруй! Тем более что он его, скорее всего, продаст.

– И выйдет вред совсем уж невинному? Ты иногда становишься досадно глупым. Глупее, чем есть.

– Ты находишь мое предложение глупым?

– Я нахожу, что ты лодырь.

– Лодыри изобретательны. Все открытия сделали лодыри.

– У тебя иная природа лени.

– Ладно. На «Покаяние» ты желаешь сходить? Или нет?

– Если почишь ковер.

– Почищу, когда вернемся. Когда снегом покроет.

– Авось и чистить нечего будет? Ты на это рассчитываешь.

– Господи! Я предлагаю самое рациональное решение. Чтобы очистить ковер, надо нагрести на него снегу. Так? А тут его самого занесет. К тому же коверу необходимо отлежаться после годичной свернутости в рулон. Раскатаешь его, а края будут торчать загнутыми. Потом спотыкайся об них. Пока ходим в кино, он и распластается, и снегом его занесет.

Кажется, последний довод оказался убедительным. Да и в кино ей хотелось не меньше моего.

Когда мы собрались, я бодро повалил на плечо красную трубу ковра. В кабине лифта его пришлось расположить по поперечной диагонали. Мы стояли по разные стороны ковра. От него пахло пылью. Только пылью.

Внизу я раскатал его по снежному покрову. Красный наш ковер был сегодня единственный. Никому больше не пришлось в голову чистить ковры случайным весенним снегом, готовым перейти в дождь. Края ковра и в самом деле загибались сверху, как пергамент. Синтетика.

Мы оставили его и направились в сторону метро. Снег сыпал и сыпал, радуя мне душу. Жаль – морозец слабоват. В расхоженных местах – каша под ногами.

Теперь о гадости, что завелась в нашем ковре. Никакие это ни тараканы, ни клопы, ни жучки, ни паучки, ни прочие существа. Завелась гадость похуже. Она не имела

ни запаха, ни вида. И речь шла не о существах, а о веществах. Их в Киеве называли *радиками*.

Наш красный ковер стоял на балконе свернутым и в те дни. Пойди знай, что следовало убрать его оттуда немедленно. Ведь того, что произошло у нас, еще не случилось. У нас. Да разве только у нас? На всей Земле. Впрочем, верно: у нас на Земле. Если не считать Хиросимы и Нагасаки. Но тогда в Японии это всем было видно и слышно. А тут – никому. Никто не знал, что стряслась беда. В этом своеобразии. Объявили бы сразу – убрал бы ковер с балкона. Но не велено нам знать, чего не следует. Хорошо Европа рядом. Хошь не хошь – тайное стало явным. Случись такое в Сибири – вряд ли бы кто узнал. Гласность только что была дарована: апрель восемьдесят шестого. Нет, информацию в конце концов мы получили бы. Но только не через органы восприятия – глаза да уши, а через органы жизнедеятельности – печени, сердца, селезенки, кровь, детородные члены. Пусть с запозданием, зато ощутимо, они оповестили бы о случившемся своими неладями. Нынче уже стали оповещать. И долго еще будут оповещать многих и многих из нас.

Слух по Киеву прошел в первое же утро, 26 апреля. Говорили всяко: авария, поломка, взрыв и прочее, зависимо от впечатлительности. Газеты же, радио, телевидение хранили молчание. Они-то не молчали, долдонили о предстоящем праздновании Первого Мая, о решениях партийных пленумов, футбольном чемпионате, обо всем на свете, но о происшедшем – ни гу-гу. Газеты расхватывались мгновенно – центральные и местные. Растревоженные слухами киевляне жадно отыскивали единственно важную сегодня информацию, тут же у киосков, шелестели газетными листами, вертели, перевертывали, шарили глазами по столбцам, но ни строки, ни словечка. Потянулись к радиоприемникам и те, кто обычно не шибко интересовался зарубежными голосами, вслушивались в русскую речь, пробивавшуюся сквозь гуденье глушилок. Голоса с присущим им напором и оперативностью отозвались на событие и стали давать советы, как спастись от радиоактивного изотопа йода, наиболее летучего, скорого

на распад элемента. Народ хлынул в аптеки. Провизоры раздраженно ответствовали, что никакого йодистого калия у них нет, что пусть-де дадут его те, кто посоветовал, намекая на западных радетелей. Впрочем, неделю спустя оный калий оказался не вражеской выдумкой и появился в аптеках. Появился, когда все нахваталось радиоактивной его разновидности.

Можно было видеть людские скопища на вокзалах, автобусных станциях, аэропортах. Наблюдались смятение, нервозность, растерянность, надрыв. Повальной паники все же не было. Объяснение тому лежало в ментальности нашего советского человека, в воспитанной в нем за многие годы безынициативности (даже когда речь идет о спасении собственного здоровья и жизни), в уверенности, что за него решат вожди. За нас всегда было кому решать.

У нас же почти тишь да гладь. Первомайская демонстрация. Людскими потоками заполнен Крещатик. Народные гуляния по паркам и площадям. Конкурс детского рисунка на асфальте, по которому гуляет радионуклидная поземка, по цветным мелкам, по склоненным от усердия детским головкам, по выведенным детской рукой буквам пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Поливаемая радиоактивным дождем Велогонка Мира под порывами северного ветра со стороны Чернобыля, с жидким составом команд и аплодисментами в адрес независимых французов, почему-то не убоившихся радиоактивности. Короче, не праздник для людей, но люди для праздника.

И все же напряженность, тревога от неизвестности росли. Ширились слухи, заставляя людей, жаться друг к другу для обмена сведениями, самыми противоречивыми. На что уж директор нашей фирмы – человек важный, даже пренебрежительный к своим конторским, этакий генерал-аншеф, а и того в те дни прибило к курилке, где он, будучи некурящим, судачил с кем ни попадя, не разбирая чинов, на радиоактивные темы. Перед лицом возможной беды слетела с него должностная, казовая броня, он инстинктивно жался к людям.

В выходной день зазвонил у меня телефон длинным международным звоном. Я, как всегда расположась на

диване, дремал после обеда с журналом на брюхе. Звонил приятель из Италии, он уже несколько лет проживал там, оженившись на итальянке. Он беспокоился обо мне. Он также хотел иметь информацию из первых рук. Судя по возбуждению в его голосе, там у них все ходуном ходит, уж так расписали, как там умеют. Примечательно, что я даже спросонок сказал ему, что у нас все в порядке, хотя сам так не считал. Его, видимо, удивил контраст между тем, что им там вещают о Чернобыле, и сонным, сытым моим косноязычием. Много ли паники? – добивался он. Я отвечал, что паники нет, что тревога имеет место быть. Чем занят сейчас? Да вот, сплю.

Выходила весьма успокоительная информация. Положив трубку, поймал себя на мысли, что я плоть от плоти нашего своеобразного общества с его традицией «потемкинских деревень», показного благоденствия, победных рапортов и реляций. Разве я отличаюсь от наших органов информации? Как тут не разгуляться народной молве, которой у нас верят больше, чем официальным сообщениям.

И чего только можно было не понаслышаться в те горячие деньки. Начиная от слухов, якобы сам академик Сахаров препятствовал строительству станции в Чернобыле и теперь лично участвует в ликвидации аварии (тогда впервые Сахаров предстал в роли народного заступника – опальный, запертый в Горьком, чуть ли не «враг народа») и кончая прибаутками, анекдотами, куплетами. Из них одна городская частушка застряла в памяти, благодаря яркой, не употребляемой в украинском фольклоре макаронической рифме: *Колы з хером щось нэ тэ, то звэртайся в МАГАТЭ*. То есть предлагается с жалобами о влиянии радикалов на потенцию обращаться в международную атомную организацию. В ней примечательно не только столкновение разных речевых пластов, но и столкновение судьбы отдельного человека с институтами мировой цивилизации. Слышна здесь и ирония: когда это у нас обращались с личными (тем более – интимными) проблемами в международную инстанцию, если и свои инстанции ни в грош тебя не ставят.оборот же *щось нэ тэ* (что-то не то,

какие-то нелады) отражает смятенность перед странными неведомыми доселе симптомами. Есть здесь и веселая бесшабашность, которая в контексте случившегося даже привлекательна. А что – не посыпать же голову пеплом! Был очень популярен агитпроповский лозунг: *мирный атом – в каждый дом*, приобретший вдруг зловеющий смысл.

За свою пятнадцативековую историю наш обывательский город-красавец, случалось, испытывал физический голод, но голод информационный – впервые. Киевский мещанин, которого обычно в первую голову интересовали футбольные успехи «Динамо», запчасти для «жигулей», билеты на концерт Софии Ротару, теперь жаждал лишь одного – информации о Чернобыле. А когда стал находить ее в газетах – все равно не верил, поскольку знал, что цель ее не информировать, а успокаивать. Назавтра снова ни свет, ни заря занимал очередь к киоску Союзпечати задолго до его открытия.

А вечером – к телевизору. Там тот же бодрый тон. А однажды до того перебодрили – хоть стой, хоть падай. На пресс-конференции один из наших начальников, оправдывая свое атомное ведомство и весь наш сраный технический прогресс, брякнул такое: ничего, мол, не поделаешь – наука требует жертв. Так и сказала это дерьмо. Причем сказано это было уже после того, как официально стало известно о погибших пожарных, смертельно облученных операторах станции, о тех, кому еще уготована медленная смерть. Мало ему жертв, принесенных советской властью на алтарь «социального прогресса». Оказывается, нужны жертвы и для прогресса научно-технического! Ему показалось, что он ловко сыграл на известном афоризме. Но наука требует жертв от ученых! От ученых, гад ты этакий! Кто давал право приносить в жертву людей неповинных? У нас так привыкли жертвовать миллионами жизней, что новые тысячи – не такая уж большая цена. А истинную цену нашего технического прогресса мы хорошо знаем. Если у нас там и сям вспыхивают пламенем мирные телевизоры, взрываются мирные элеваторы от мирного зерна, то от мирного атома – подавно. И за всем этим – русское «авось» плюс советское желание досрочно рапортовать, со спертым в зобу

дыханьем. Дайте срок – весь мир взорвем, случайно взорвем, когда доберемся с нашей психологией до самых серьезных игрушек. Уже добрались. Не в этом ли судьбоносная роль России? Куда ты несешься, птица-тройка? Нет, мы, советские, не злодеи. Нет на свете добрее нас. Но нет на свете и безответственной нашего брата, совка. Бог не выдаст, свинья не съест.

Беспечность и упование на заботливых отцов народа не дали разрастись панике. Уехали из Киева те, кто не уповал на отцов республики, каковые, между тем, успели чуть ли не на другой день катастрофы – им-то полагаться не на кого кроме как на себя – в черных своих лимузинах доставили своих чад и домочадцев в аэропорт, чтобы увезти их к теплым морям, а потом чуть ли не месяц решать вопрос о массовом вывозе детей своих подданных.

Итак, остались в городе те, кто привык верить свою судьбу в руки начальства и Всевышнего, ибо то и другое привыкли рассматривать в одной иерархии – род выработанного веками фатализма. А таких у нас – тьмы и тьмы. Я в их числе.

Ходил себе на службу, в контору, жена – на завод, сын – в институт и на изнурительные свои тренировки, где, как угорелый, носился по беговым дорожкам Центрального республиканского стадиона, ртом хватая воздух черныбыльского мая. Уповали вместе со всеми на благой исход. Немножко спасались, принимая хлористый йод, затем гомеопатический стронций. Вместе с другими поливал из шланга свою контору и дворик при ней, дезактивировал подшефный детский сад, замерял казенным, очень грубым дозиметром ДП-24 уровень радиации, следуя через город с прибором на ремне, и чувствовал на себе немые, полные надежд взгляды людей, и слышал в себе ополченца, защитника города, будто у меня на ремне не дозиметр, а автомат ПППШ.

Киев в те дни стал самым чистым городом планеты. Улицы, дворы, дома поливались из шлангов беспрестанно. Дождей, как на грех (или на счастье?) не было. Говорили, что авиация разгоняет тучи.

К отчуждению от всего официального добавилось еще более чувствительное для киевлян отчуждение от природы, от Днепровских золотых пляжей, Пуще-Водицких и Конче-Засповских лесов, Ирпенских лугов, от парков и скверов, коими так обилён зелёный наш город.

Смутно тревожила ещё одна странность. Она осознавалась не вдруг. Но свежий глаз замечал некую ирреальность городского уклада, нечто безотчетно неприятное. Лишь погода доходило до сознания: нет детей, в городе не было детей. Вся детвора в конце концов была развезена, распихана по всем краям, подальше от грешной земли. Это был, так сказать, людской лес без подлеска, лес, лишенный беспечной птичьей возни и щебета.

Киев был бездетен и чист, как Христова невеста.

Спустя три часа мы возвращались с женой из кино. Снег все ещё сыпал и стал ещё мокрей. Мы шли молча, переваривая увиденное. Я насвистывал «Обнимитесь, миллионы». Наконец жена сказала:

– К чему здесь иносказания, костюмы, опера, балет?..

– Иносказания очень прозрачны, – возразил я. – Зато делают вещь притчей. Притча даёт моральный урок другим.

– Господи! Кому урок-то? Каким другим? Ведь это только про нас. Мы есть горькое исключение.

– Отчего же. А Гитлер? А Мао? А эти красные хмыри?

– ??? – покосилась на меня жена.

– Красные кхмеры, Пол Пот, – пояснил я.

– Это не в счёт. Это после нас. По нашему образу и подобию.

В голове все гремел бетховенский хор с оркестром самого патетического куска фильма: художник-страстотерпец в каком-то мрачном подземелье бредет по пояс в чёрной воде к своей Голгофе. Не восходит на Голгофу, чтобы смерть принять на миру, а спускается живым в преисподнюю, в безвестность, во мрак. А в звуке контрапунктом Бетховен с Шиллером призывают человечество ко всемирным объятиям в радости. Разрывающий душу кусок. Жена в этом месте поднесла

платок к глазам. Я тоже полез в карман за платком, но не нашел – забыл дома, утерся рукой.

Лишь на подходе к дому я вспомнил о ковре, брошенном на произвол судьбы. На лице жены не было никаких следов беспокойства по этому поводу. Зато меня стало одолевать любопытство. Уцелеет ковер – останутся на мне заботы, останутся с нами и радикаки, вряд ли их вычистишь, выколотишь – вьелись, поди, в ворс, в основу, – зато оправдается мой метод безнадзорной очистки ковров. А пропадет – что ж, избавлюсь от радикаков, а главное – от хлопот. И все же почему-то хотелось, чтоб ковер остался. Наш ковер! На нем, кувыркаясь и озоруя, выросал наш сын.

Мое любопытство росло с каждым шагом. Уже у самого дома я покинул жену и побежал к тому месту, где должен был лежать ковер. Его не было видно. Все занесло. Один сплошной белый ковер. Пойди найди наш, даже если он уцелел.

Ковер лежал на месте. В этом можно было убедиться, и не разгребая снег. Он здесь как бы изнутри был подсвечен розовым и чуть отличался от остального покрова. Этот розовеющий прямоугольник пересекали полузанесенные следы чьих-то ног и собачьих лап.

– Ну вот! А ты сомневалась, – с торжеством выпалил я навстречу жене, стараясь приобщить удавшуюся мою затею ко всем прежним случаям, когда она во мне сомневалась

С энтузиазмом удачливого экспериментатора я бросился в дом и через минуту был снова внизу с жестким, полустертым веничком. Я стал сметать мокрый снег с ковра, теща себя наивной мыслью, что избавляю дом от мирного атома. С каждым моим взмахом красное проступало на белизне снежного поля. Сверху, наверное, это выглядело так, будто я красил красным по белому, будто закрашивал прямоугольник, орудуя веником, как кистью, точно художник-одиночка, как супрематист Малевич. Я работал с энергией и вдохновением. Я громко напевал засевший в голове бетховенский апофеоз. Короткими негодующими взмахами, почти ударами я разметал, расшвыривал по обе стороны ковра снег, перемешанный с пылью и незримыми

радиками. Брысь! Прочь! Долой! Сталинщину! Раболепие! Несвободу! Я верил, да, верил тогда, что мы найдем улицу, ведущую к храму. Верил...

На алую чистую поверхность ковра опускались новые снежинки, слегка забеливая красноту. И мне пришлось, закончив свой красный прямоугольник, снова пройтись по нему веничком, как если бы я наносил последние мазки. Я скатал ковер в рулон. На снегу остался его отпечаток с грязным ореолом пыли. Я поставил рулон на попа, взвалил на плечо и понес в дом.



Моисей Борода

Укус

I



дним из первых уроков, которые он получил в своей ещё только начинающейся жизни, было: слабость, щедедушность, желание просто тихо прожить где-то в уголке, наказываются безжалостно.

Когда его мать вдруг набросилась на его брата, родившегося день в день с ним, но от рождения вялого, хилого, единственной радостью которого было часами лежать на согретой солнцем влажной траве – так вот, когда его мать вдруг набросилась на его брата, убила его и съела, он, лежавший в это время в некотором отдалении и тоже гревшийся на солнце, не испытал ни жалости к брату, ни удивления.

Он только постарался в течение нескольких следующих дней держаться от матери на безопасном расстоянии. Когда же она подымала голову и оглядывалась в его сторону, он открывал рот и показывал ей зубы, давая понять, что сумеет – или, во всяком случае, попытается – постоять за себя.

Но мать, по всей видимости, вовсе не собиралась нападать на него – может быть оттого, что вокруг было достаточно еды, а может быть, она поняла его сигнал и испытывала не то чтобы страх перед ним – она была во много раз больше и, конечно же, сильнее его – но какое-то чувство, что с ним надо быть осторожнее.

Так он получил второй в своей жизни урок: вовремя показанные зубы держат других на дистанции. Но он понял ещё одну вещь, которая надолго довершила его знание о мире: в этой жизни нет ни близких, ни далёких. В ней нет никаких привязанностей, а есть только: голод – и сытость, жажда – и возможность напиться, согретая солнцем трава,

на которой можно лежать, переваривая обед и чутко следя за тем, что происходит вокруг – и темнота и приятный холод пещеры, в которой можно укрыться, когда солнце начинает уж слишком припекать.

II

Он навсегда запомнил свою первую удачную охоту и свою первую жертву. Это была лягушка, беспечно гревшаяся на солнце, в радостном квакании забывшая об осторожности и, конечно же, не услышавшая и без того тихого шороха влажных листьев, по которым он к ней полз.

Он сделал всё так, как это делала мать: свился клубком, потом осторожно приподнял голову, а затем и тело на завитом в кольцо хвосте, открыл широко пасть, напряг мускулы для броска – и молниеносно настигающей стрелой бросился на лягушку.

Она ещё не опомнилась от своего блаженного состояния, наслаждения ярким, приятно греющим солнцем и собственным кваканьем, как уже билась под его зубами, стараясь освободиться – сперва яростно, потом, по мере того, как яд начал действовать, всё медленней и медленней. Он спокойно следил за её конвульсиями, ожидая, когда они закончатся, а потом медленно проглотил лягушку, ввёл её в себя, с удовольствием ощущая свой слегка раздувшийся, отяжелевший живот и какую-то свалившуюся на него внезапно дрему.

С течением времени он научился почти всегда безошибочно находить свою будущую добычу, уже загодя зная, как он с раскрытой пастью, в молниеносном броске распрямивши своё тело, настигнет, как правило, совершенно не подозревающую ни о чём жертву, ударит в неё, сомкнув челюсти, своими передними зубами, как в голове его как будто что-то сожмётся – и в ту же секунду его жертва начнёт отчаянно отбиваться от него и постепенно стихнет, как бы ожидая, когда он, раскрыв до боли свою пасть, начнёт её заглатывать.

Иногда он, поймав взглядом своих неподвижных полуприкрытых веками глаз какого-нибудь зайчишку, наслаждался, подняв голову и медленно покачиваясь из стороны в сторону на свёрнутом в кольцо хвосте, трепетом

своей будущей жертвы, пригвождённой его взглядом к тому месту, на котором её этот взгляд застал, с ужасом, но терпеливо ожидающей его броска, его укуса, безраздельно, полностью отдавшей себя его власти.

Постепенно он научился ценить свой яд, не расходовать его попусту, как это было в первые дни после появления на свет, когда он бросался на всё, что двигалось, пытаясь это укусить. Но подлинную, истинную и в то же время таинственную силу его яда раскрыл ему случай.

III

Как-то раз, скользя по согретой солнцем траве, ещё чуть прохладной и влажной от прошедшего недавно дождя, он вдруг увидел недалеко от себя огромное существо с толстенными ногами, большой головой, длинным, свисающим почти до земли носом и непропорционально маленькими глазками.

Он поднял голову, приподнялся на хвосте, раздул свой капюшон и пристально посмотрел на стоящее перед ним существо, ещё не зная, что лучше – уползти или подождать, что будет. К его удивлению, существо это не двинулось ему навстречу, не попыталось на него напасть и не подало никаких сигналов, что собирается это делать. Вместо этого, ответив своим взглядом на его пристальный немигающим взгляд, существо повернуло в сторону, стараясь быть от него подальше, и вскоре исчезло.

Это происшествие, которое его мозг поначалу просто отметил как очередное событие, ничего ему не принёсшее, но и не потребовавшее от него ни активности, ни яда, запомнилось ему, однако, накрепко. И вечером того же дня, когда он, лежа в своей норе, отдыхал перед ночной охотой, видение огромного существа, испугавшегося его, тихо и покорно свернувшего в сторону, наполнило его новым, ранее не испытанным чувством абсолютного торжества, господства над всем, что его окружало, чувством, что другие откуда-то знают о страшной и таинственной силе его яда.

Потом он часто, и всегда с одним и тем же чувством, вспоминал об этой встрече.

IV

Он был пусть ещё и молодой, но уже вполне зрелой коброй, и со зрелостью пришла к нему отточенность движений, знание, с какой стороны, в какой момент и с какого расстояния ему надо подползти к его будущей добыче, не возбуждая ничем её внимания, и так, чтобы для броска хватило длины его тела.

Подчас, когда он был вполне сыт, он позволял какой-нибудь мелкой твари, которая не могла ему ничем угрожать, безнаказанно пробегать мимо него. И даже когда он бывал голоден, он всё же предпочитал выждать, не тратя яд на мелкие существа, которыми всё равно не насытишься, и искал более крупной добычи.

Но иногда его вдруг, беспричинно одолевал приступ бешеной злобы, и тогда стоило чему-нибудь живому появиться в доступной для его броска близости, как он немедленно нападал, не щадя своего яда, иногда по нескольку раз ударяя зубами в плоть встретившемуся ему существа, чувствуя, как с каждым таким ударом он всё больше и больше освобождается от мучавшей его злобы.

Но зрелость научила его и осторожности.

Он стремился избегать людей.

Как-то раз он увидел, как какая-то небольшая – по всему видно, не очень опытная – кобра вдруг взвилась навстречу идущим по дороге людям, может быть, пересёкшим ей путь к её норе. Но, не рассчитав броска, она не достала до цели и шлёпнулась недалеко от неё на дорогу. Он видел, как в руке у одного из идущих мгновенно взметнулась палка, как настигнутая этой палкой кобра попыталась поднять голову, на которую пришёлся удар, и не смогла этого сделать, как та же рука обрушила на лежащую почти неподвижно змею второй удар, размозжив ей голову, и как чья-то рука подняла мёртвую кобру за хвост и отбросила её в сторону.

Научился он осторожности и при встрече с другими змеями.

Как-то раз его начала настигать королевская кобра, которая – он это почувствовал сразу – была намного сильнее и, что уж совершенно очевидно, крупнее его. К счастью, он

заметил опасность вовремя и, напрягши все свои силы, передвигаясь так быстро, как он только мог, сумел ускользнуть от своего преследователя. После этого он несколько дней пролежал в какой-то наполненной палыми листьями узкой расщелине, всё время ощупывая язычком воздух, пытаясь уловить в нём запах преследовавшей его змеи или какой-то настораживающий шорох. Но всё вокруг было тихо и свободно от незнакомых ему запахов, и когда он, наконец, полувыполз из своей расщелины и осторожно поднял голову, он не обнаружил ничего, что бы заставило его насторожиться. Тогда он выполз совсем – и для него вновь началась привычная ему жизнь.

V

Однажды – было это в разгаре весны – его вдруг охватило непонятное, никогда им прежде не испытанное томленье.

...Ему было год от роду, когда он – уже оформившаяся, но ещё очень молодая кобра – проползая к находившейся недалеко от его норы маленькой речушке, чтобы напиться, увидел, как две змеи, поднявшись на хвостах и обратив друг к другу головы, медленно, плавно, грациозно извиваются навстречу друг другу, то почти касаясь друг друга телами, то расходясь. Танец этот продолжался долго. Потом одна из змей, плотно захлестнув своим хвостом хвост другой, прильнула к её телу, как бы вжалась в него, и обе змеи застыли в этом положении, продолжая только чуть-чуть покачиваться из стороны в сторону.

Он долго смотрел как зачарованный сперва на этот медленный грациозный танец, потом на это сближение, не в силах понять смысл происходящего. Потом жажда погнала его к воде. И когда он, напившись, пополз обратно, он увидел, что две змеи по-прежнему стоят в той же позе, слегка покачиваясь в такт чему-то в них происходящему. Он помнил об увиденном несколько дней, всё пытаясь понять его смысл, но потом другие впечатления задвинули это воспоминание куда-то на дальний задний план, и вскоре образ двух медленно танцующих навстречу друг другу змей

почти исчез из его памяти, оставшись в ней каким-то серым, смутно различаемым пятном.

Но сейчас, когда новое, непонятное ему томление охватило всё его тело, картина, увиденная им тогда на берегу речушки, вновь всколыхнулась в его сознании, и ему захотелось вот так же стоять на хвосте, медленно, грациозно извиваясь навстречу другой змее, встречающей его движения своими ответными движениями, такими же плавными и грациозными, а потом плотно вжаться в тело этой змеи и застыть, как застыли те двое, которых он тогда видел.

Прошло, однако, немало времени, прежде чем он встретил подходящую ему кобру-самку и, победив в ритуальном поединке двух других ухажёров, далеко не сразу, но всё же признавших его превосходство, пережил с ней весь период короткого ухаживания, начиная от осторожных попыток сближения до длившегося два полных дня спаривания, оставившего в нём след интенсивного удовольствия и последовавшей за ним столь же сильной усталости, апатии и равнодушия ко всему.

Происшедшее не изменило его. Он по-прежнему был лишён всякой привязанности, и его первая в жизни подруга не оставила в нём, как бы ни были сильны пережитые с ней ощущения, никаких воспоминаний. И, уползая от неё, чтобы не встретиться с ней больше никогда, он думал не о ней и даже не об испытанном удовольствии, но о том, как он сейчас приползёт в свою нору, отдохнёт там и выйдет на свою ночную охоту.

Потом в его жизни ещё много раз – обычно это приходилось на начало, иногда на разгар весны, но бывало и летом – было и это состояние томления, к брачные ухаживания, и медленный, как бы в полусне, танец на хвосте, и долгое, в конце концов отнимающие у него все силы спаривание с понравившейся ему в этот момент самкой. Но каждый раз, стоило этим играм закончиться, как он уползал от своей кратковременной подруги, почти мгновенно о ней забывая.

VI

Шли годы, и наконец зрелость его достигла полного совершенства. Теперь он знал всё, что ему было нужно, для того, чтобы выжить. Он научился переносить голод и жажду, научился различать сотни живых существ по излучаемому ими запаху, научился отмечать и понимать мельчайшие изменения в температуре даже в жаркие летние дни, научился загодя чувствовать опасность и всегда знать, когда ему надо пускать в ход своё смертоносное оружие, свои ядовитые зубы, а когда этого делать не стоило или было нельзя.

Он научился терпеливо ждать, пока его будущая жертва, забыв об осторожности, приблизится к нему, лежащему незаметно в траве или обвившему ветку дерева, полностью слившись с ней окраской. То, что подчас случалось с ним в молодости, когда лягушка, на которую он нацелился, или малышка заяц, вдруг почему-то остановившийся в своём беге, то ли почуяв какую-то неопределённую опасность, то ли действительно заметив его, вдруг одним прыжком исчезали из сферы его досягаемости, и его бросок вслед не помогал ему поймать их – такое теперь не повторялось.

Единственное, с чем он не мог справиться, были внезапно возникающие приступы беспричинной яростной злобы, вызывавшие в нём желание бросаться на первый же движущийся предмет, попавшийся ему на глаза. С годами приступы эти, может быть несколько утерев в интенсивности, стали длиться дольше, чем это было в его молодости, и проходили не вдруг, надолго оставляя в нём смутное недовольство, лишь очень постепенно уступавшее место его обычному, вне охоты, равнодушию.

Но зрелость принесла ему не только совершенство в движениях и знание окружающего его мира.

С годами он всё чаще чувствовал усталость. Желание спать брало подчас верх над инстинктом охоты и даже над голодом. В некоторые дни – в особенности во время осенних дождей – ему было трудно заставить себя выползти из своей хорошо устроенной, устланной палыми листьями норы под секущий дождь, и он продолжал лежать, свернувшись в

клубок, пока медленно растекающаяся по его телу дремота не одолевала его, вытесняя голод.

VII

Как-то тёплой летней ночью, после неудачной охоты, он выполз на освещённую луной лесную опушку и увидел стоящий невдалеке, через просёлочную дорогу, одинокий дом. Здесь, на границе между лесом и дорогой, начинались другие запахи: здесь пахло человеком, пахло ещё чем-то непривычным. Но это почему-то не остановило его, и он пополз дальше, осторожно продвигаясь между выбоинами, заполненными желтовато-мутной, резко пахнущей водой, и в конце концов оказался рядом с водосточной трубой, спускающейся с крыши и достающей почти до земли.

Он медленно обвился вокруг трубы и пополз по ней вверх к полуоткрытому окну, то плотно обхватывая трубу своими кольцами, то медленно подтягиваясь и цепляясь за неровности. Наконец он подтянулся к окну, медленно вполз на подоконник и оттуда так же медленно спустился на пол.

Напротив окна, в другом конце комнаты стояла постель, на которой спал полуприкрытый одеялом человек.

Одна его рука свесилась во сне, и вид этой бессильно свисающей руки, особый запах и тепло, от неё исходившие, возбудили в нём вдруг совершенно безотчётную ярость, желание вонзить зубы в эту белеющую в темноте комнаты плоть, впрыснуть в эту плоть весь яд, который он накопил и не смог сегодня растратить, не встретив в своей ночной охоте никакой подходящей ему добычи.

Он начал медленно подтягиваться к белеющему в темноте пятну, от которого исходило тепло, как вдруг какой-то новый запах – запах, которого он до сих пор вроде бы не знал, но от которого исходило внутреннее ощущение опасности, остановил на мгновение его осторожные ползки.

В ту же секунду на него вдруг откуда-то сверху обрушилось что-то, мгновенно и крепко придавившее его голову к полу. Он попытался ударить это нечто хвостом и это ему, кажется, удалось, потому что на какую-то долю секунды перед самой его головой мелькнуло чёрное тело

маленького зверька, в котором он сразу узнал своего кровного врага – мангусту.

На долю секунды мелькнуло тело мангусты перед его головой, но именно этой доли секунды не хватило ему, ошеломлённому внезапным нападением, чтобы достать это тело своими ядовитыми зубами, а когда он всё же попытался это сделать, зубы его лишь скользнули по густой жёсткой шерсти мангусты.

Необыкновенная злоба охватила всё его существо. Но странно – злоба эта была направлена не на ускользнувшую от него мангусту, а на безмятежно свисающую с постели белую руку.

Он медленно поднял нестерпимо болевшую от нанесённого мангустой удара голову и уже хотел, собрав последние силы для прыжка, броситься на эту руку, чтобы бить и бить в неё своими ядовитыми зубами – бить может, это уняло бы захлестывающую его злобу, уняло бы раскалывающую его череп головную боль. Но в этот момент мангуста, молнией прыгнув откуда-то сбоку, перекусила ему шею.

В голове его сверкнула необыкновенная боль – и тотчас же погасла. Он быстро умирал. И последнее, что мелькнуло в его стремительно затуманиваемом сознании, было сожаление, что ему не удался этот прыжок, этот последний в его жизни укус, что он не увидел, не ощутил всем своим существом ужаса своей жертвы перед ним, страшным предвестником смерти – чувства, наполнявшего его жизнь во всём остальном пресмыкающейся твари.



Юлий Герцман

Примерка

I



умер на правом боку.

Секунд за двадцать до смерти я подумал, что хорошо бы принять достойную позу: лечь на спину, вытянуть ноги («протянуть» – хе-хе-хе...), скрестить руки, закрыть глаза... Вялое желание было отброшено, едва появившись: во-первых, жаль терять последние драгоценные мгновения жизни, а во-вторых, я знал, что едва электроны, несущие весть о моей кончине, домчатся до ординаторской, оттуда немедля рванут двое молчаливых гавриков с дефибриллятором. Они приложат к моему бездыханному телу похожие на утюги контакты, и тело дернется от электроудара, затем еще раз дернется и, может, оживет, откроет глаза и минут десять будет тупо упираться ими в случайную точку.

А может – и нет.

Вчера не ожил насельник соседней койки. После обеда ко мне подошла медсестра со шприцом: «Доктор велел вколоть вам строфантин». Она уже протерла спиртом предплечье и вдруг спохватилась: «Извините, это не вам, а соседу». Вколола соседу, он заохал: «Ох, мне плохо, я умираю».

И не обманул.

Прискакали реаниматоры: раз, два, три – без толку. Оставили тело на кровати, оно, странно укоротившись под простыней, пролежало еще часа два.

А еще в среду я и думать не думал о смерти. Все было – лучше не надо. Лаборатории утвердили темплан, тяжелая многомесячная халтура была, наконец, завершена, и солидное возмещение, вот-вот должное упасть на счет в сберкассе, обещало значительное ослабление материальных

вожжей. После обеда мы курили с заведующим родственной лабораторией и лениво обменивались информацией о переменах в головном институте, где его диссертационный руководитель стал первым замом, и о том, сколько дополнительных денег получит его тематика, и о том, сколько из этих денег перейдет ко мне в лабораторию, и о том, сколько из этих денег я смогу потратить на зимнюю школу, и кого из великих туда можно будет пригласить, и можно ли великих поить разбавленным спиртом, а если можно, то на чем его лучше всего настаивать.

Тут у нас образовалась некоторая даже дискуссия: Казимир – так звали моего коллегу и приятеля – предпочитал дубовую кору, особо упирая на приятный цвет и легкий вяжущий эффект конечного продукта. Я же, со своей стороны, полагал, что использовать дубовую кору или даже стружки – жлобство, ибо потребителю неявно намекается, что ему подают коньяк, в то время как это – самопал для убогоньких. Я предлагал сосредоточиться на клюковке – болотистая Эстония славна этой ягодой – а также на можжевельных ягодах, настойка на которых хотя и машет в сторону джина, но маскарад искупается близостью можжевельника национальному характеру. Не зря популярный прозаик Юло Туулик выпустил роман: «Можжевельник выстоит и в сушь», метафорически намекая на стойкость эстонского народа, лишённого живительной влаги свободы. Правда, в сюжете была немецкая оккупация, но какой же член народа не понимал истинных причин сухостоя. Вдобавок я по памяти процитировал гоголевскую Пульхерию Ивановну, предлагавшую настаивать водку на дурьях и шалфее против болей в пояснице, перегонять ее на золототысячник на предмет искоренения лишаяев или же на персиковые косточки, чтобы избавиться от гугль, могущих быть полученными при падении вследствие перебива предыдущих рецептов. «А ты, Казимир, – внушал я коллеге, помахивая, согласно национальному обычаю, пальцем перед его носом, – хочешь свести все многообразие мира народной ботаники к одной коре, а хоть и стружкам. Но мы, я имею в виду, советскую научную общественность, этого не позволим, потому что мы этого не разрешим!

Представляешь, вдруг у профессора Евсеева пойдут на морде лица лишай, а у нас не будет настойки на золототысячнике! Скандал!»

В тот момент, когда Казик уже готов был смириться и покаянно склонить голову, я почувствовал, что жизнь мне опротивела. Никакой боли не было, но мигом вспотели ноги, и мерзкий этот пот, от запаха которого тотчас же стало мутить, пополз внутри по жилам, кишкам и костям, приобретая по дороге шершавость наждачной бумаги сперва восьмидесятой, а потом и сороковой зернистости. В растерянности я попытался затянуться, но дым сигареты «Экстра», даривший до того много минут успокоения, тоже предал, наполнив легкие смрадом горелой сырой пакли. А боли не было, совсем не было боли, зато усталость кулём навалилась на плечи и требовала лечь отдохнуть. Что я и сделал, улегшись на пол рядом с пепельницей, прямо на избыточные окурки, эту пепельницу окружавшие.

И сразу полегчало.

Исчезла тошнота, ушел звон из головы и изо рта ушел смрад. С глаз сползла пелена, и я увидел лицо приятеля. Изумление разлилось по нему, челюсть отвалилась и замерзла. Чувствовалось, что он хочет ею подвигать, но не может. «Нормально, Казик, – сказал я по возможности внятно, – живот скрутило: отравился или аппендицит. Уже прошло». Говоря, я как-то упустил из виду, что аппендикс мне удалили лет двенадцать тому назад. Полагая неприличным дальнейший отдых на окурках, я привстал и мгновенно вся предыдущая радость повторилась. «Казимир, – прошелестел я уже не так бодро – вызывай скорую». Двое коллег отнесли меня на руках на близлежащий диван, причем, я при этом довольно глупо ухмылялся и даже попытался помахать ручкой сбежавшимся сотрудникам. Скорая приехала минут через пятнадцать, сделали кардиограмму. Инфаркт. Задняя стенка. Врач вызвал кардиоперевозку, кто-то из моих друзей позвонил жене и, обрисовав ситуацию, сказал, что меня повезут в больницу скорой помощи.

Хотя скорая прибыла довольно скоро и ехала в больницу с сиреной, жена уже ожидала в приемном покое.

На ее лице отчетливо виднелись страх, сострадание и желание в чем-нибудь меня обвинить. Она потребовала подробный отчет о случившемся, но разговора не получилось, так как ко мне оперативно подвалил медбрат и велел отдать жене обручальное кольцо и кошелек, а самому лежать смиренно.

– Зачем кольцо снимать? – удивился я.

– Надо, – охотно объяснил он и добавил, обращаясь к жене, – а вы здесь подождите, мы его одежду вынесем, заберете ее.

Под скорбным взором супруги меня увезли в какое-то промежуточное помещение, где, не дав даже и повернуться, стянули одежду и белье, оставив совершенно голым, и попытались даже отнять очки, но я не дал, сказав, что без очков я нервничаю, и это может вредно отразиться на здоровье. Чувствовал я себя, надо сказать, замечательно, только очень хотел спать – это в три-то часа дня.

Вкатили в палату интенсивной терапии – конюшню человек на десять, аккуратную и чистую – больницу построили недавно, внутреннюю отделку делали финны, они же поставили аппаратуру. Простенок даже украшала картина: суровые балтийские рыбаки вытягивают из суровых балтийских вод суровую балтийскую кильку.

Переложили меня аккуратненько на кровать. Возле нее, вниз около метра от изголовья стоял на подставке кардиограф. Потом, когда его подключат, а это случится минут через десять, я увижу, что он показывает бегущую пилу, в которой я ничего не пойму, в верхнем правом углу к тому же – частоту пульса. Справа от меня место пустовало, слева – пациент дремал. Взяли кровь, велели лежать спокойно, а у меня и желаний не было дрыгаться, хотелось поскорее прикрыть глаза. Пришел доктор, подтвердил инфаркт, произвел духоподъемную беседу.

– Курите?

– Курю.

– Больше не будете. Жирную пищу едите?

– Ем.

– Больше не будете. Физкультурой занимаетесь?

– Ненавижу.

– Придется.

Разговаривая, он ловко прикрепил ко мне липкие контакты и похвастался:

– У нас все мониторы выведены на пульт в ординаторской. Все видим, все знаем. Вот здесь вот кнопочка, будет плохо – нажмете.

– А если совсем плохо? Не дотянутся?

– Соседа попросите нажать свою. А ежели уже плохо-плохо-плохо, тогда вообще ничего не надо – в ординаторской увидят.

– Доктор, а зачем кольцо велели жене отдать?

– Надо.

– А газеты здесь дают?

– Средства массовой информации и книги могут вредно повлиять на течение болезни. Отдыхайте.

Едва он ушел, с соседней кровати спросили:

– Как там на воле?

II

Я – подслеповат. Может, поэтому совершенно равнодушен к природе. Нет, конечно, могу отстраненно оценить красоту там радуги, игриво изгибающейся от сих до никаких, или восхититься звездным небом – даже вне связи с нравственным законом внутри нас, *per se*, как говорят басурмане. То есть, чтобы вызвать интерес, явление должно быть большим, протяженным, но, по возможности, недолгим.

Или – искусственным. Куст живой сирени оставит меня равнодушным, но тот же куст, изображенный П.П. Кончаловским, не отпускал в Третьяковке минут двадцать. Правда, отходя, я глумливо подумал, что хорошо бы еще рядом с картиной повесить на гвоздике платочек, вымоченный в одноименном одеколоне. Для полноты. Но быстро устыдился. А чтобы вот так вот замирать перед птичкой или над лютиком, или восхититься качающейся тонкой рябиной – извините. Помню, в семьдесят третьем лазал на Эльбрус, так народ там: «Ах, рододендрон... ах, ручеек из-под камня, ах, какой крепкий наст...», а я мечтал поскорее добраться до приюта и сварганить шашлык, потому что моя доля барана и дров немилосердно

оттягивали спину. Зато когда лез на верхотуру Исаакия, то останавливался каждые пару десятков ступеней полюбоваться, как город отступает от глаз, умаяясь в размере и вырастая в знакомстве.

Поэтому и смену времен года замечаю смутно: снял пиджак – надел пальто – ночью под ватным одеялом стало невмоготу – остался в рубашке – пора надевать свитер – пора менять на безрукавку.

Но тот год был особенным.

Таллиннская осень тяжела. Распухшее небо нависает чуть ли не в метре над головой, дождь вперемежку со снегом норвят не только залезть за шиворот, но добраться до спины и там уже вольготно растечься знобными ручейками. Ветер дует со всех сторон сразу, хотя теоретически это, вроде бы, невозможно. Но здесь как раз наблюдается разрыв теории с практикой: куда бы ни повернулся, злобное перемещение воздуха прицельно вмажет тебе в фас. Среди братских республик Эстония плотно держала первое место по самоубийствам, и, думаю, погода была не последним фактором в разгуле депрессий.

Осень, однако, восемьдесят восьмого вываливалась из традиции сильно. Солнце, как пробилось сквозь весенние тучи, так и уходило только на ночь – и летом, и затем осенью, лишь с каждым днем соскальзывая все ниже к горизонту. Дожди, если и сыпались изредка, были скромны и коротки. Ветер, правда, продолжал дуть со всех сторон и, холодея день ото дня, заправски вентилировал улицы. В этом было что-то ненормальное: низкое солнце светило с неподобающим напором, пыль, для влажного и чистого города непривычная, закручивалась мелкими злобненькими смерчками, иголки хвойных деревьев желтели и осыпались.

Под стать природе были и события. Летом на Певческом поле прогремел знаменитый митинг, на котором с трибуны дружным свистом согнали первого секретаря горкома КПСС. В октябре состоялся учредительный съезд первого некоммунистического движения – Народного фронта Эстонии, на который меня избрали делегатом. В самом начале эстонского возрождения коренная нация

вовсю заигрывала с инородной интеллигенцией, противопоставляя ее остальной серой массе мигрантов, поэтому, когда нашему институту по квоте положено было избрать двух делегатов, то избрали одного эстонца и одного – меня. Съезд удивил привычной советской унылостью. Выступил председатель оргкомитета, он же будущий председатель правления фронта, он же – через пару лет – краткосрочный премьер-министр. Еще в прошлом году председатель на страницах популярного молодежного журнала предлагал разместить в центре Вашингтона советскую атомную бомбу, а в центре Москвы – американскую, бомбы должны были послужить гарантами мира во всем мире. Он доложил делегатам о росте рядов и самосознания эстоноземельцев (такое определение было придумано, чтобы впрячь в одну телегу эстонцев и остальных жителей республики) и еще минут сорок пережевывал туманные инвективы и неточные метафоры. Выступил православный диакон с острова Сааремаа, сказал, что хотя он и православный, но – эстонец, и таких много. Выступил предводитель (так!) только что организованного еврейского культурного общества (через год он свалит в Израиль), который заверил, что евреи, хотя и евреи, но все как один. Выступила обильная телом директриса Национальной библиотеки, строго указавшая советской власти на протечки в потолке нового здания вверенного ей учреждения. Избрали правление, ревизионную комиссию, спели: «Эстимаа, исамаа» («Отечество мое Эстония») и разошлись. Сразу после съезда патриоты, почувствовав нарастающую слабину московской власти – им ничего за самостоятельность не было, быстро отделились от чужеродной интеллигенции и больше не приглашали ее разделить радость национального возрождения. Вот такие новости были на воле. Да, три дня назад произошло землетрясение в армянском городе Спитак.

– Три дня назад произошло землетрясение в армянском городе Спитак.

– Это я знаю: меня позавчера положили. Погибшие есть?

– По голосам – двадцать пять тысяч, наши говорят – около десяти. Бездомными стали полмиллиона. Тут цифры совпадают.

– Кошмар.

– Да уж, радости мало. Туда Рыжков поехал проявлять заботу.

– Нужно, чтобы все республики отстегнули процентов по десять от своего бюджета и быстро отстроить там все заново.

Я, честно говоря, подудивился: сдержанный северный народ ни избыточным альтруизмом, ни щедростью не отличался, а сосед мой, судя по слабому, но акценту, принадлежал к нему. Впрочем, он быстро развеял мое удивление:

– Потому что если не построить, так они сюда наползут, а здесь и так от черных уже жизни нет.

Тут надо объяснить, что под черными подразумевались вовсе не афроамериканцы, как можно было бы навскидку представить, этих-то как раз вообще не было, если не считать случайных плодов обучения кубинцев в мореходке, а все, не принадлежащие к носителям угрофинской и балтийской групп языков. То есть, и узбек был черным, и я был черным, и украинец, а вот латыш или литовец, хотя и не подвергались необузданной любви соседей, но относились все-таки к белым.

Ляпнув, мой сосед, не торопясь, спохватился и стал знакомиться. Звали его Райво и работал он начальником управления Госстроя, то есть по советским понятиям был хотя и захудалым, но аристократом и подлежал лечению в правительственной больнице. Таковой, правда, в республике за ничтожеством размеров не было, но были спецпалаты в Республиканской. На резонный вопрос, почему здесь, а не там, Райво брезгливо махнул рукой: ему, мол, надо ехать, а не шашечки. Я поинтересовался, откуда он так хорошо владеет языком, он рассмеялся:

– Пять лет в Московском архитектурном, три года по распределению в Курске, русские книги, русская жена и абсолютный музыкальный слух дают неплохой результат. А вы – первач?

– Что-что?

– Первый инфаркт?

– Да, хотелось бы надеяться, что и...

– Не надо надеяться. Инфаркт не триппер – возвращается без спросу. Я-то повторник: первый был девять лет назад, после него жил по инструкции – сигареты долой, физкультура, аспирин, диета, и вот он я перед вами.

– Скажите, если вы уже такой ветеран: зачем кольцо потребовали снять.

– А чтобы санитары в морге не сперли.

Смысл происходящего стал постепенно укладываться в голове.

– М-да, весело... – сказал я и проснулся через три часа.

– С добрым утром! – приветствовал меня сосед – Вы проспали ужин, но я попросил оставить вам стакан сока.

– Спасибо. Как провели время, пока я вырубился?

– Ну, развлечения у нас скудные: нет собеседника, смотришь картинку на мониторе, хоть что-то меняется. Ничего, меня завтра-послезавтра должны перевести в палату, туда жена телевизор принесет маленький, газетки читаем.

– А сколько здесь, в реанимации вообще держат?

– Зависит от состояния: три-четыре-пять.

От дальней кровати послышался сдавленный хрип.

– Засаедем время! – сказал сосед – Сейчас реаниматоры явятся.

Ровно через полторы минуты, катя перед собой тележку, влетели двое реаниматоров. Не обронив ни единого слова, не делая ни одного лишнего движения и не глядя даже на пациента, они встали на явно заученные места вокруг кровати и наклонились над ней. Через три минуты их уже не было, а оттуда донеслось маловнятное бормотание:

– Зачем ты, Маша, мячик пырвила? Он каракатуйка!

– Кислородное голодание мозга! – веско объяснил Райво. – Придет в себя, но не сразу. А вы обратили внимание, как четко они сработали? Ни одного слова, ни одного лишнего движения!

– Да уж, – сказал я, – как это они без бригадира, без профорга...

Сосед удовлетворенно улыбнулся:

– Мы очень эффективный народ, конструкторы из нас паршивые – фантазии не хватает, зато технологи – классные.

– Они даже на него не посмотрели...

– А зачем? Знают, что делать, знают, как держать, знают, куда электроды прикладывать, все на рефлексах.

Низкорослый шуплый санитар разнес по койкам чистые утки.

– О, пришел наш айне кляйне нахт мужик, через десять минут выключат свет.

Утром я повертел головой, приподнялся, ничего не болело.

– Что, готовы в бой? – весело спросил Райво, – пока вы дрыхли, извините за выражение, у меня уже был врач, пообещал перевести в палату сегодня к вечеру, так что у нас с вами на болтовню еще часов восемь-девять есть, а потом буду смотреть телевизор, читать газеты и радоваться палатной свободе.

– Слушайте, я чувствую себя прекрасно... Может, это у меня не инфаркт и тоже могут перевести?

– Медицина зря не ляпнет. У них анализы, у них кардиограммы, а вы чем собираетесь эту науку бить? Каким-то второразрядным хилым самочувствием? Бросьте! Я тоже себя прекрасно чувствовал еще позавчера, но это ничего не значит.

– Нет так-то ничего, просто обидно. Там за окнами идет борьба за демократизацию, а мы здесь валяемся.

Он внимательно посмотрел на меня и мягко переспросил:

– За что, за что идет?

– За демократизацию общества.

– Дорогой сокамерник, за какую к черту демократизацию? Лично мы, эстонцы, стараемся ради своей эстонской власти, а не какой-то теоретической демократизации, которая все равно лопнет, и дерьмом обольет вокруг.

Он сказал то, о чем я и так догадывался. И я догадывался, и сотни таких как я, мы все догадывались, но изо всех сил отталкивали от себя эти догадки, не желая становиться в один строй с отставными офицерами, кохтлярвескими шахтерами, бывшими и настоящими партработниками, рабочими завода имени Пегельмана, со всем этим быдлом, которое тупо сопротивлялось переменам, соединяясь под фальшивыми лозунгами интернационализма, социальной справедливости и системообразующей роли русского народа. «Рассосется!» – наивно думали мы, списывая прорывающиеся там и сям фразы на компенсаторные реакции, на комплексы неполноценности, на глуповатое, как нам казалось, отождествление советской власти с «русским», то есть неэстонским населением.

И вот тут, в реанимации, прикнопленный к кардиографу и со страхом ожидающий перемен в личной судьбе, я впервые услышал сухую и отчетливую цель, высказанную одним из тех, в чьи союзники мы напрашивались. Услышал не от отморозка из провинции, не от отсидевшего ээсмана, не от ущербного неудачника, готового списать свои несчастья на русскую оккупацию – от успешного столичного интеллектуала, мужа русской жены, знатока русской культуры, уверенного в себе и своих силах мужчины средних лет.

– Пора, пора побыть нам хозяевами в своем доме, да и от квартирантов непрошенных тоже избавиться.

– И что же вы для нас планируете? – намереваясь иронично, а звуча довольно жалко, спросил я.

– Уж, конечно, не лагеря. Уедете. Сами уедете. Сначала вы, евреи, – он говорил очень дружелюбно – вы же легки на чемоданы, зачем вам здесь, на этой бедной земле торчать, когда есть Америка, там ваши, вроде, хорошо устраиваются, есть, в конце концов, ваша историческая родина, зачем же вам на моей исторической топтаться? Потом русская интеллигенция уедет – ей здесь нечего делать будет, а потом, когда позакрываются эти жуткие оборонные заводы и эти жуткие урановые рудники, уедут рабочие – им семьи кормить надо, а работы здесь для них не будет.

– И ваша жена тоже уедет, она же русская?

– С какой стати? Она по всем европейским законам имеет право жить здесь, кроме того, она уже не русская – знает язык, любит нашу культуру, а Россию терпеть не может.

– И вы знаете что? – доверительно продолжил он после часового еще обмена репликами, в котором он изложил видение отсоединения от советов и присоединения к Европе, что выглядело для меня, дурака, довольно фантастично, – Знаете что? Когда через десять лет вы приедете сюда гостем, вы позвоните мне, и мы вместе погуляем по городу, который не узнаете – таким красивым он станет, а потом поедем ко мне на дачу и классно попаримся назло всем стенокардиям.

– Райво, вы не боитесь вести такие разговоры?

– Представьте себе – нет. Во-первых, я не верю, что вы побежите в КГБ стучать, не похожи вы на стукача. Во-вторых, в нашем коечном ряду, кроме нас, никого нет, а остальные не слышат. И в-третьих, может быть, это я – негласный сотрудник органов и просто вас провоцирую. А-а?

И он негромко засмеялся. Он вообще, как я заметил, был довольно смешлив.

– А вот и обед везут!

От одного взгляда на судки мне поплохело. Эстонская национальная кухня – я полагаю – вполне может считаться орудием изощренных пыток, и только тупое немецкое высокомерие доминиканских монахов Крамера и Шпренгера воспрепятствовало включению ее в «Молот ведьм». Нет никакого сомнения, что только увидев, не попробовав даже, одну из жемчужин эстонской кулинарии: кровавые блины (поллитра свежей свиной крови развести двумястами граммами воды, смешать с перловой или ржаной мукой до получения густого теста и поджарить на свином же жире) – так вот, я уверен, самая заядлая ведьма при одном виде этого блюда признается не только в полетах на метле, но и в тайных лесбийстве, еврействе и убийстве (нужное подчеркнуть). А пюре из брюквы с тем же жиром? А кровавая же колбаса, заправленная перловкой и морковью? В сравнении с эстонской кухней даже шедевр

кулинаров соседней Латвии: черный горох с кефиром – казался достойным Версаля.

Опасения не оправдались: нас одарили ввенациональными плодами творчества больничных поваров. Они включали: вареную салаку в количестве одна штука, жидкий супец, в котором просторно плавали две морковки и бледное куриное гузно, а также мясную подливку, чей вид старательно будил мысли о дизентерии. Ну и конечно же, компот из ревеня, как же без такого изысканного десерта?

– Не очень, – сказал Райво, умяв, однако все до конца, – сейчас бы мультгикапад!

И он похлопал себя по голому животу.

Я содрогнулся. Страдать по этому блюду мог только самый захерелый мазохист: под вьющимся названием скрывалась кислая капуста, тушенная с салом и перловкой.

– После вкусного обеда, – торжественно провозгласил сосед.

– По закону Архимеда, – кисло поддержал я, обошедшийся одной салакой и суповой жидкостью.

– Нужно подремать! Дискуссия продолжится после освежающего отдыха, а сейчас отбой!

В этот момент ко мне подошла медсестра со шприцом: «Доктор велел вколоть вам строфантин».

III

Ночью явился кто-то. «Бороться будем?» «Оборзел? Я после инфаркта, мне покой нужен» «Слабак! Говнюк!»

И присел ко мне на кровать. Одет он был в недостаточную в штанинах и рукавах пижаму и выглядел обыкновенным мужиком, если не считать, что каждые секунд десять у него менялись лица. Как в мультфильме: одно скукоживалось и прорастало другое.

– Ты кто?

– Строфантил, твой ангел-хранитель.

– Хорошо же ты меня хранишь.

Он от злости аж задергался, вообще, какой-то дерганный был...

– Тебя сохранишь, как же! Курил? Курил. Жирное жрал? Жрал. Физкультурой занимался? Нет, ты мне скажи,

ты хоть по утрам бегал? Не бегал! Ну и какие претензии? Скажи спасибо, что прямо там на окурках не сдох!

По потолку бегали сполохи кардиограмм. Из картины доносилось визгливое пение: «У рыбака своя звезда, звезда рыбацких сейнеров и шхун».

– Послушай, ангел, а почему у тебя лица меняются?

– А это те, кого я... не дохранил. Пока шесть, ты гигнешься, будет у меня седьмое, я еще молоденький.

– И шестирылый серафим на перепутье мне явился – продекламировал я с чувством.

– Размечтался! Серафимы у нас большие боссы, к такой шелупени как ты не приставлены. Я в рядовых чинах. Поборемся?

– Не, неохота.

– Ну, твое дело. Будь.

Он встал и похлопал меня по груди. И такой кипятоксмоласвинец разлился под грудиной, что я взвыл мамочкакакбольнобольнокак. Бо-о-ольно... боль... бо-о-о... И нашарив кнопку, стал судорожно ее жать.

Пришел заспанный медработник, вколол промедол, я уснул.

Проснулся я разбитый. Болела голова. Дверь в палату была открыта, и из нее доносился радиоголос. Народный фронт выступил с инициативой добровольной ремиграции, то есть возвращением некоренных жителей Эстонии в родные места. Предлагалось даже выплачивать денежную компенсацию.

– Вот-вот, – вяло подумал я, – Райво бы обрадовался. Все по его рецепту.

Тут мне пришло в голову, что я думаю о смерти соседа как-то отстраненно. Мы были, правда, знакомы всего один день, но ведь долго и интересно разговаривали и, наверное, он не заслужил такого безразличия. Очевидно, успокоил я себя, включилась защита организма.

Головная боль постепенно прошла, но муть осталась. Уснуть я больше не мог, делать было абсолютно нечего. После того как унесли тело Райво, обе соседние койки остались пусты, дверь закрыли, прощай, радио. От нечего делать я повернулся на правый бок и стал смотреть, как

меняется картинка на мониторе. Пульс у меня был восемьдесят, я не знал, много это или мало. Потом он стал семьдесят восемь. Шестьдесят шесть. Я удивился, с чего бы это. Сорок. Я стал подозревать – что-то не в порядке. Тридцать. Двадцать. Десять. Ноль! Тут я, наконец, обратил внимание на кардиограмму: она из пилы превратилась в прямую линию, прерываемую какими-то одиночными импульсами, проезжающим с правого края экрана к левому.

«Вот оно, значит как это, – совершенно спокойно подумал я, удивившись, правда, почему не теряю сознания, но тут же найдя и объяснение из давно прочитанной книги – да-да, мозг еще какое-то время жив, наверное сейчас узнаю, существует ли черный туннель или нет». Полагалось, наверное, думать в последний миг о жене, о дочери – ничего не лезло в голову, кроме какой-то торжественной, но робкой музыки, зазвучавшей в отдалении. Так, пока не ушло сознание, надо окинуть последним взглядом мир, что-то он начинает, кажется, туманиться... попрощаться надо... прощайте, родные...

Я окинул последним взглядом мир и увидел, что от груди отклеился липкий контакт кардиографа. Наверное, все-таки я как-то неловко повернулся.

Торжественная музыка исчезла, и туман рассеялся, а мне стало жутко как-то неудобно – уже попрощался. Неудобству, однако, не довелось развернуться – в палату, катя дефибриллятор, влетели реаниматоры. Прямо ко мне. Я не успел и слова сказать.

Заикался еще дня три.



Михаил Вайнер

Весна-осень сорок четвёртого

*Живи сегодня как за день до смерти.
Кто знает, не умрешь ли ты завтра*
Из Писания



Срок четвертый год. Глубокий тыл. Южный Урал. Югорск, небольшой районный город, переполнен беженцами с Украины, из Молдавии, Польши, Прибалтики, Москвы и Ленинграда. Полуголодный военный быт. Похоронки. Женское одиночество. И работа для фронта, посменно, днем и ночью. Мужчин мало. Вернее их много, но они скучены в лагерных бараках, их и военнопленных немцев гонят под конвоем колоннами строить за высокими заборами, с оторочкой из колючей проволоки, пятиэтажки – соцгород.

Семнадцатилетний Шая, – мастер-механик на фабрике, шьющей армейское обмундирование, близок с пожилым библиотекарем, петербуржцем, сосланным в Югорск на десять лет по делу Кирова; с главным механиком фабрики, успевшим до войны отбыть срок – пять лет – в Воркуте. Авиаконструктор по образованию, он вышел из лагеря без права работать по своей специальности; со студентом Ягелонского университета, который был схвачен советскими органами как скрытый польский офицер. В лагере для военнопленных он пробыл два года. Все они умные, добрые порядочные, душевно опрятные люди, с кем можно говорить о самом сокровенном.

Наверное, из-за близости с ними, люди в «угловом доме» на Шаю положили глаз. Однажды после ночной смены его перехватили по дороге домой и, приведя в особую комнату, предложили стать тайным осведомителем. Несмотря на уговоры и угрозы, Шая отказывается. Ему дают сутки обдумать, что потеряет, если будет упорствовать. Он

знает, что потеряет. Знает он и другое: потерять можно все. Нельзя только потерять самого себя.

А ночью случилось большое наводнение.

Главы из романа **Глава четырнадцатая**

За углом дома, у края воды, толпился народ, ставили вешки, кто дощечку, кто прутик, и по ним наблюдали, как быстро прибывает вода, отступали перед ней и ставили новые вешки.

Шая постоял вместе со всеми, потом направился вверх на Яшмовую гору, к красной каланче, видной, как маяк, на много километров окрест.

Яшмовая гора, на которой русская военная экспедиция, прокладывая путь в Среднюю Азию, заложила крепость, господствовала над степью, превратившейся сейчас в море, и город Югорск погружался на его дно. Западные окраины, “Ташкент”, “Форштат”, “Билибеи”, их мазанки с плоскими крышами ушли под воду и только корпус кожевенного завода с высокой металлической трубой плыл по ней, как белый пароход. Можно было лишь гадать, куда девался оттуда народ.

В той стороне, где глаз привычно видел русло Урала, вода, говорили, поднялась на много метров и все прибывала. Фабрика, минный завод, ликеро-водочный погрузились в воду по самые окна. А до соцгорода, до ЮЗФ’а вода не дошла, трубы его плавильных цехов дымили как ни в чем не бывало, а из семидесятиметровой трубы ТЭЦ поднимался черный султан дыма, и над градирнями клубились белые облака пара. Там, в Азии, жизнь и работа продолжались, как обычно, а тут, в Европе, было, как на войне. Залило от второй до одиннадцатой улицы. На этих улицах жили русские и украинские переселенцы, крыли свои саманные домики шатровыми крышами, на многих сейчас сидели люди, махали руками и кричали: “Спасите!”, но голоса их тут же угасали от безнадежности. У Танюшиного домика только крыша виднелась над водой. На ней никого не было и Шая не сомневался, что Таня успела добежать до дому, поднять мать со сна и вместе с ней добраться до безопасного

места. Искать их надо среди тех, что скопились здесь, на горе, в старой школе, до которой вода не дошла.

На восточной стороне, там, где угадывалось русло реки, сильное течение несло на себе вырванные деревья, коряги, какие-то будки, мебель, сорванные крыши, мертвых коров. Не сразу можно было догадаться, что голые прутья, кого стремительно несущаяся вода заставляет кланяться и не дает им выпрямиться, это макушки деревьев.

Деревянный мост, гужевой и пешеходный, либо снесло, либо лежал глубоко под водой. Дальше справа на видных еще буграх насыпи и единственном бетонном быке держался железнодорожный мост; его ажурные фермы без дороги, казались нелепым сооружением среди потопа. Между нижней его основой и поверхностью воды оставался небольшой, с метр, просвет. Захлестанный волнами бетонный бык словно уперся среди этого буйства и все крупное, что несла река, деревья, будки, кусты, коровы, сворачивало к нему за спасением, ударялось о его бок, ныряло в воду, – она вспучивалась, прокатывалась бугром вдоль него – и за мостом выныривало и несло дальше, а то и не выныривало.

Яшмовая гора напоминала узловую станцию в первые дни войны, а люди беженцев, бестолковых, растерянных, беспомощных. Кое-что они успели прихватить с собой, и теперь сторожили свои узлы. Мало кто прислушивался к отчаянным далеким крикам о помощи. Только когда то тут, то там саманный домик растворялся в воде и от него оставалось мутное пятно, у кого-то из груди вырывалось изумленно-сострадательное “Ой!”. Начиналось бедствие – саманный город долго в воде не выдюжит.

Возле самой каланчи, на “ветродуе”, никто не устраивался – пронизывающий холодный ветер быстро прогонял оттуда. Удивительное это было место – “ветродуй”. Кругом тишь, а тут тянет, как в трубе. Зимой через “ветродуй” лучше было не ходить – нос, или ухо, или щеки отморозишь. Шая окоченел и зашагал вниз, где табором расположились люди; фабричные – а их было много – останавливали его, спрашивали, не знает ли, долго еще будет прибывать вода, не видел ли того или другого.

Каждый, кого потоп застал врасплох, искал кому рассказать, какой страх он пережил, каких сил ему стоило удержаться, бредя по пояс в воде. Они знали, что слушать и сочувствовать Шая умеет. В свое время, четырнадцатилетний, он и сам рассказывал, как страшно было под бомбежками, имитировал вой несущейся с неба бомбы, или чмокание, с каким пули врезаются в ствол дерева, или свист пролетающего над головой снаряда из немецкого танка, когда бежишь от него, ног под собой не чуя.

Возмущались городским начальством: опять ни о чем не позаботилось, опять все прошлояпило, ничего не предусмотрело. Такое наводнение, а нет ни одной лодки, люди гибнут, а спасать не на чем. Два небольших разошедшихся баркаса, что пролежали невесть сколько времени на берегу Урала, унесло первой же волной. Объявился дряхлый старик из местных, уверял всех, что такого наводнения семьдесят лет как не упомнит. Может быть, не врал, может быть, говорил правду, но все против него ополчились, ибо его память косвенным образом оправдывала нерадивость начальства. Старика гнали и ругали нехорошими словами, а он недоумевал: за что ругают и гонят?

Шая пробирался среди узлов, высматривал нет ли где Танюши и ее матери.

– Кого ищешь? – окликнул его Желток.

Шая не ответил, но на ответ тот и не рассчитывал, просто так поздоровался.

Шая недолюбливал его, но отдавал ему должное: когда Урал вышел из берегов, Желток первым прибежал на фабрику, не щадил себя, а из своего дома почти ничего не спас.

– Все у вас живы?

— Живы-то живы. Добро все пропало. И корова, – сказал он без горестного надрыва, без огорчения даже, а на сплюснутом лице было все то же выражение хитрого пройдохи. Кое-что ему все таки удалось спасти, побросал в мешок накопленное, завалил добро тряпьем, завязал мешок на несколько узлов и побежал с женой и дочкой на гору, у

школы усадил их и велел с мешка не вставать. А уж потом прибежал на фабрику.

До Югорска, осенью сорок первого, Шая с Розуней все еще носили ту одежду, в какой в июле бежали от немцев. Хозяйка, куда их поместили на время, утешила их: “Была бы шкура цела, а шерстью обрастете”. И Шая, как специалист по потерям, повторил это утешение Желтку.

– Твоя правда. Шкура есть, а шерсть, как трава растет.

Помимо всего прочего, под его, замдиректора по снабжению, началом было подсобное хозяйство фабрики, огороды, столовая, потому и не горевал сильно, знал, что новую шерсть нарастит быстро, да так, что комар носа не подточит.

– А где ваши?

– В театре. Ночью открыли, и народу там утискано, не продохнешь. Я жену и дочку на балконе устроил, а то много уже утопло.

Шая отошел, бродил вдоль скопища людей под стеной школы, но Тани среди них не было. Увидел Зину Косых, грелась на солнце на склоне горы с девочкой и смотрела на бескрайний разлив воды. Одежка на ней – короткая сатиновая юбочка поверх темных шаровар, сами шаровары и шерстяной жакет – были измяты и в пятнах.

– Куда смотришь? – спросил Шая.

– Вон дом мой, одна крыша видна. Ой, Шая, это ужас какой! Ночью с фабрики бегу и одно у меня в голове: мужа потеряла, а дочку потеряю – мне не жить. К дому добиралась, вода мне по колени была, раза два плюхнулась, вся обмокла, в дом вбежала, а Валюшка спит себе. У нее вода уже под кроватью, под самой сеткой плещется, а она спит. Я бужу ее, а она на другой бок переворачивается. А вода прямо на глазах прибывает. Еле добудилась ее. Платице, пальтишко набросила, вынесла на руках, а вода уже по пояс. На руках с ней не выберусь. Я ее на спину усаживаю, а она сонная. “Не спи! – кричу. – Не спи. Держись за меня крепче, а то упадешь и утопнешь”. А вода уже по пояс и в сторону тащит. Еле выбрались.

– Это ты с десятой улицы по пояс в воде брела?

– Сама удивляюсь. Откуда только сила взялась? Промокла вся. Холодная вода Урала. Вот на солнышке греюсь и никак не согреюсь.

Шая снял с себя ватник и накинул ей на плечи.

– Надень с рукавами.

Пока она надевала ватник, Шая нагнулся к девочке.

– Ты в каком классе?

– Втором.

– Школы теперь долго не будет. Можно посачковать, правда?

– Ага.

– Идите в театр, – сказал Шая.

Среди тех, кто скопился на этом склоне горы, вдруг стало заметно движение, беспокойство. Серая лошадь с белой гривой и совсем выбеленными пучками шерсти сзади над бабками тащила в гору полевую кухню. Шла по одну сторону оглобли, – кухня была пароконная – а по другую, держа в руках длинные провисшие вожжи, шел кашевар в зеленом бушлате. Это военный госпиталь посылал пострадавшим горячую пищу, гороховый суп, бесплатно и не по карточкам. Кашевар развернул кухню, распряг лошадь и привязал вожжи к колесу. Кухню сразу осадила толпа, у многих – народ стрелянный – оказались миски, котелки, катрюльки. Да и кашевар привез с собой большую стопу луженых тарелок.

Видя как толпа осадила полевую кухню, Зина схватила дочку за руку и побежала туда, крикнув ему на бегу: “Спасибо”! Шая остался на месте, смотрел на потоп и на Танин дом, крыша которого едва виднелась над водой.

Вскоре после того, как полевая кухня, гремя коваными колесами съехала с горы, со стороны соцгорода в воздухе послышался слабый рокот мотора.

Желток побежал вверх на середину склона, – а соображал он быстро – прогнал оттуда детей, созвал мужчин, расставил их в цепь, выгородив половину горы.

– Шо такое? – спросил Шая. – Шо это вы делаете?

– Становись и не спрашивай. Вверх никого не пропускай.

Шая стал в оцепление, но ничего не происходило. Тем временем рокот мотора в небе становился громче, вскоре над морем воды появился зеленый кукурузник, двухкрылый У-2, летел напрямую, снижаясь и снижаясь, а над горой пронесся уже на бреющем полете, да так низко, что виден был пилот в кабине со шлемом на голове. Самолет сильно кренясь, сделал разворот, пошел прямо на каланчу и, когда оказался над ней, под фюзеляжем вдруг отстегнулось одним концом брезентовое полотнище и вниз полетели два бугристых мешка. Самолет угрожающе низко с ревом пронесся над толпой, пилот помахал приветственно всем рукой, сделал еще разворот, словно желая убедиться, что все в порядке, и улетел в сторону соцгорода, а брезентовое полотнище летело под ним, как зеленое знамя. Брошенные с высоты мешки ударились о камни, треснули и по склону горы рассыпались и кувыркались кирпичи черного хлеба. “Хлеб!Хлеб!” закричали все. Несколько человек из оцепления бросились ловить прыгающие по склону кирпичи, а Желток и еще несколько мужчин побежали к мешкам, в которых осталось еще много буханок, подхватили их и понесли вниз к старой школе.

На учительском столе, вынесенном на улицу, стали делить хлеб на равные пайки. За хлебом не толпились, как за гороховым супом, а выстроился длинный хвост, никто не лез без очереди, проявляли благородство, пропуская вперед женщин с детьми, одну через каждого пятого. Пайка тянула граммов на триста и давали ее тоже бесплатно и не по карточкам. Прямо, как при коммунизме. Шая выстоял очередь, получил свою пайку, сунул ее в карман куртки приберечь на позже и поделиться с сестрой. К полевой кухне даже не подходил. В такие дни, когда ты одинок и беззащитен перед бедой, горячий суп успокаивает и утешает. Шая это по себе знал. Дома поел тарелку затирухи и выпил горячего чаю, и теперь считал, что будет несправедливо, если из-за него кому-то не достанется чумички горячего супа. А хлеба ему хотелось, и чтобы подавить искушение отщипнуть кусочек, стал разглядывать толпу и вдруг встретился глазами с лейтенантом Скорняковым, тем самым, кто поджидал его два дня тому

назад в театральном проезде. Тот быстро отвел взгляд, сделал вид, что не узнает, но Шаю перехваченный взгляд обжог – вспомнил, что не явился вчера в указанный час куда следовало. Сейчас гостиница набита народом, угловой дом и сам в воде, им не до него, но про него не забыли. Он спустился вниз по склону ближе к школе, затерялся в толпе. Через час со стороны соцгорода послышался рокот мотора. Появился Желток и снова организовал оцепление. Лейтенант тоже стоял в нем, и Шая, в цепи через семь человек, открыто не смотрел на него, а только косил в его сторону.

Рокот мотора нарастал, стал виден двукрылый самолет, все тот же зеленый кукурузник. Снижаясь он пошел на Яшмовую гору, пронесся над каланчой, чуть не задев ее, снова отстегнулось брезентовое полотнище под фюзеляжем, и снова два бугристых мешка полетели вниз и ударились о камни. В этот раз один мешок выдержал удар, остался цел, а другой лопнул, кирпичи черного хлеба разметало в стороны, они катились по склону кувыркаясь. Желток и его помощники следили за тем, чтобы никто не зажулил буханку, а лейтенант вскинул уцелевший мешок себе на плечо и легко понес его вниз к школе.

Кукурузник сделал разворот и, когда пролетал над горой, пилот, скрестив перед лицом руки, делал знаки, что хлеба больше не будет. Самолет развернулся, полетел над водным пространством в сторону соцгорода и брезентовое полотнище моталось под ним, как зеленое знамя. Лейтенант Скорняков за гороховым супом или за пайкой хлеба в очереди не стоял. Растворился, исчез, испарился, заповедав Шае: живи и помни.

Глава пятнадцатая

Многие, поев горохового супа и хлеба, даже повеселели, как никак, а праздник Первое Мая – у всех появилась уверенность, что пересидят потоп на горе, вода хоть еще прибывала, но на сантиметры, стихия выдохлась, а начальство опомнилось, хлеба вот и суп прислало. Пропать не даст. И солнце пригревать стало.

Но скоро беспокойство снова охватило людей, из уст в уста летело одно слово «Госпиталь! Госпиталь!» Люди,

пригнувшись бежали вверх по склону, к каланче, не сбивались там в толпу, как прежде, когда осаждали кухню, а останавливались поодаль друг от друга, словно какая-то сила не давала им сойтись тесней. По тому, как тянули шеи, понятно было, смотрят не на госпиталь, размещенный в новой школе на Яшмовой улице, а вдаль и вверх реки, и там что-то происходило.

Шая, поднявшись к каланче, не успел подойти близко к кому-нибудь и расспросить в чем дело. Посмотрел куда смотрели все и застыл на месте, забыв обо всем на свете. Сверху реки вниз по течению на расстоянии полукилометра друг от друга несло два домика, красными крышами вперед, две трети их были под водой, а на скатах крыш лежали плащмя, вцепившись в конек руками, в халате или в одном белье, по несколько человек.

В Приуральной роще, за городом, до войны был пионерский лагерь – шесть или семь дощатых домиков, поставленных не на фундамент, а на четыре кирпичных сваи по углам, в метр высотой, так что весной полая вода, если бывала, прокатывалась под днищами домиков. В начале войны пионерский лагерь забрали под госпиталь, его летний филиал, куда переводили из основного корпуса выздоравливающих на долечение. Быстрая вода, видно, сняла их со свай и понесла на себе, как пустые короба; уже на две трети затопленные, они превратились в непотопляемые буйки.

Когда плывущие домики оказались в черте города и тем, на крышах, стал виден народ на склоне горы, они стали приподниматься и кричать. «Спасите! Спасите!» А кто мог им помочь? Домики пронесло мимо, крики с них прекратились, самим раненым и людям на горе еще лучше был виден взбаламученный опасный простор впереди – ни одного жилья на много километров вокруг. Если чудом не вынесет на мелководье, спасения ждать неоткуда.

Снизу, с Яшмовой улицы, бежали в гору военные медики и впереди начальник госпиталя в черной кожанке и пилотке с рубиновой звездой, майор по званию. Он взбежал на гору первый, остановился неподалеку от Шаи, дыша, как загнанный. Медики, бежавшие с ним, растянулись по

склону, поотстали и их тоже какая-то сила отстранила друг от друга, и каждый сам по себе следил за домиками, а их несло прямо на железнодорожный мост. Первый, ударившись о бетонный бык, ушел под воду, она вспучилась, бугром прокатилась вдоль боковины быка. За мостом из буруна вынырнула россыпь досок, попрыгали торчком, как поплавки, их кинуло плашмя в разные стороны и стремительно понесло дальше. Ни одна голова человеческая, ни одна рука не показалась над водой. Тем временем второй домик, накрываясь красной крышей вперед, приближался к мосту – те, что держались на нем, вероятно, видели, какая участь постигла их товарищей, и хотя до горы от них расстояние было большое, стал слышен нарастающий человеческий вой. И снова от удара домик нырнул в воду, оборвав этот вой, волна бугром прокатилась вдоль боковины быка, и далеко за мостом из буруна выбросило несколько досок вверх торцами, закружило, раскидало в разные стороны и понесло стремительно дальше. И снова ни одна рука, ни одна голова пытающегося выплыть не показалась над водой. Происходило это, как в дурном сне.

– Та шо, они никто плавать не умеют?! – сказал громко Шая.

Среди тех, кто стоял на Яшмовой горе, на ее макушке у каланчи, на ветродуе, и смотрели на реку, не слышно было ни вскрика, ни всхлипа, ни звука, все окаменели, не веря тому, что произошло у них на глазах. Ажурный железнодорожный мост, без пути к нему и без пути от него, его бетонный бык, были нелепы, бессмысленны посреди водной пустыни.

Кто-то из медиков зашевелился, вскинул левую руку, показывая ею в другую сторону, на север.

– Еще один! – крикнул он.

Надо было обладать очень хорошим зрением, чтобы на таком расстоянии разглядеть еще один госпитальный домик, красный прямоугольничек крыши, далеко-далеко вверх по реке.

Начальник госпиталя на крик и указующую руку не обратил внимания. Смотрел неотрывно на что-то за

почтовым домом, прикусив верхнюю губу. Шая повернулся взглянуть, что привлекло внимание майора. Есть бог на небе! По водной глади между затопленными домиками шла лодка, на веслах сидел какой-то «дед-мазай» и греб к почтовому дому. Шая не раздумывая побежал с горы к тому месту, куда, по его прикидке, лодка вырулит, не сознавая еще, что сделает, но знал, что лодку нужно перехватить непременно.

Начальник госпиталя обогнал Шаю, на бегу сорвал с головы пилотку и сунул в карман кожанки.

К воде Шая прибежал неподалеку от своего дома. Военные медики, догнавшие своего начальника, смешались с гражданскими, наблюдавшими по вешкам, насколько вода прибывает.

Едва лодка с той стороны выплыла на пустырь, начальник госпиталя сказал что-то своим подчиненным и те побежали во двор дома, укрылись там, как в засаде.

Вода лизала землю у ног Шаи. На бледном лице майора на скулах пятнами проступил лихорадочный румянец, хотя внешне он был само спокойствие.

Шая тоже не суетился, стоял с безразличным видом, но зорко следил за маневрами лодки. С майором он не обменялся ни словом, ни взглядом, но чувствовал себя в заговоре с ним. Лодка выплыла на гладь пустыря и стало видно, что это древняя некрашенная плоскодонка, смоленая по швам. На веслах спиной к дому, в ватнике и ушанке, сидел старик, и впрямь «дед Мазай». Никто из стоявших у воды не окликнул его, наблюдали за лодкой молча, с любопытством, а майор и Шая и виду не показывали, что она их интересует, хотя на уме у них была одна мысль завладеть ею. Боялись неосторожным движением или звуком спугнуть ее.

Старик развернул лодку бортом и, утопив весла, поглядывал на хмурых людей у воды. Чтобы им, на суше, не показалось, что испугался, старик уложил одно весло на борт и принялся неспеша вычерпывать воду. Яркая красная банка из-под американской тушенки в его руке раздражала.

– Эй, дед, ну шо там? – крикнул Шая. Старик что-то ответил, да не разобрать было что. – Не слышно! Айда ближе!

Старик нагнулся, поставил к ногам банку, взялся за весла, подгрёб ближе, но все еще держась поодаль, снова развернул лодку бортом и табаня удерживал ее на месте.

– Ну шо там? – еще раз крикнул Шая.

– Худо, худо там, вода точит, саман мочит, мазанки разваливаются. Прямо в воде. Это дело рук вредителей.

– А ты откуда знаешь?

– А то мы не знаем. Мы знаем. Мы все знаем.

– А народу там много?

– А сидят. На помощь зовут.

– А шо, никого не снял?

– Дак одного еле держит. Текет, спасу нет. Только и знай, что выгребай. А куревом не богат? Смерть как курить охота.

И тут инициативу перехватил начальник госпиталя.

– Найдем. Для хорошего человека найдем. Давай греби ближе.

Старик подгрёб ближе, начальник госпиталя дастал из кармана пачку “беломора”, не измятую еще, а только початую, от щелчка большим пальцем из нее вылетела наполовину папироса. Он взял ее губами, прикурил от зажигалки и пустил дым в сторону лодки. Старик при виде пачки “беломора” насторожился – это кто же в наше время папиросы курит? – но потягивал по-собачьи носом такой сладкий запах табака, и желание курить перебороло его подозрительность, подгрёб еще ближе, майор крикнул «Держи!» и радугой кинул пачку старику. Бросив весла, старик обеими руками поймал пачку и в этот миг майор ринулся в воду, расплескивая ее, отрезая лодке путь назад и толкнул ее к берегу.

– Не балуй! – закричал старик, но пачку из рук не выпускал.

Те медики, что сидели в засаде во дворе, в мгновение ока были тут как тут, подхватили старика под руки и вынесли на сушу, валенками вперед, старыми, подшитыми

толстой резиной от автомобильного ската, в рыжих подпалинах, какие бывают, когда сушишь их близко к огню.

Двое других сняли весла из уключин, и железный багор со дна лодки, взяли за ее нос, майор по колено в воде за корму, опрокинули ее вверх днищем – неожиданно ярко желтым – выплеснули из нее воду и вместе с ней красную банку из-под тушёнки. Яркая, она покачивалась на воде, как красный буй, сигналив об опасности. Еще через минуту лодку уже развернули в нескольких метрах от берега носом вперед. Майор кинул в нее багор, забрался в нее сам, заправил весла в уключины. По его ухваткам и напряжению на лице, ясно было, что гребец он аховый. Один из медиков, из тех, кто опрокидывал с ним лодку, вбежал в воду, подхватил рукой красную банку, бросил ее в лодку, намерился было и сам забраться в нее, но начальник госпиталя движением головы велел ему отвалить. Приноровившись к веслам, шлепал ими по воде вразнобой и лодка, хоть и рыская, поплыла вперед. И тут старик, ее хозяин, не то сам вырвался, не то его отпустили, сунув пачку «беломора» за пазуху, с воплем «Отдай!», как был в пятнистых своих валенках, пошел в воду и побрел по ней за удаляющейся лодкой. Валенки тут же напитались водой, пудовые, он еле волок их, все больше отставал и уже плача кричал: «Отдай лодку! Отдай лодку!».

К старику, неизвестно зачем шнырявшему между опустевшими домами, да еще с багром, люди поначалу были неприветливы и, когда военные конфисковали лодку, отнеслись к этому с одобрением, потому что у всех на уме была мысль такая – отобрать лодку, и то, как он брел в валенках и ватнике в воде и как слезно канючил, вначале только забавляло всех, но когда лодка выплыла на глубину, на то место, где под ней был котлован, а старик брел прямо туда на неминуемую свою гибель, ему стали кричать:

– Остановись! Остановись! Там яма!

Старик не слыша брел, разгребая перед собой воду, – она была ему уже выше колен, – шел упрямо вперед и безутешно, как ребенок, кричал:

– Отдай! Отдай!

Уже потемнел, намокая край ватника, тогда предостерегающие крики стали истошней. Старик, видно, услышал их. В то самое мгновение, когда, казалось, еще шаг и ухнет в котлован, уйдет под воду с головой, он взял вправо, в сторону и остановился, поняв, что лодки ему не вернуть. Долго смотрел, как уплывает. Потом пошел не назад к людям, а по воде вдоль почтового дома, разгребая перед собой воду, тяжело волоча ноги в пудовых валенках, и скрылся за углом.

Шая тут же забыл про него. В первые дни войны в газетах опубликовали закон, по нему армия имела право конфисковать у населения любой вид транспорта. И Шая не раз видел в прифронтовой полосе, как это происходило на деле.

Где-то по течению несло домик с ранеными на крыше, и теперь от майора зависело их спасение. Лодку он направил по спокойной воде в сторону толкуна, мимо полузатопленного фотоателье Фурмана, одновременно гребя обоими веслами, но шла она неровно, и тогда, чтобы выправить ее ход, принимался частить одним веслом. Правая рука у него, видно, была слабей левой. Замысел майора прочитывался так: по спокойной воде выгresti как можно выше течения и оттуда, рассчитав момент, броситься в быстрину, пристроиться к беспомощному домику и отбуксовать его на спокойную воду, а там, считай, дело в шляпе. Не зря сказано: обладающий духом, храбрее осаждающего город.

На «ветродуй», на пятачок возле каланчи на Яшмовой горе, набежало народу смотреть, произойдет ли чудо. Госпитальные медики, сослуживцы майора, люди военные, держались кучкой, как на наблюдательном пункте. Были среди них две женщины, молоденькая и в летах, в гимнастерках и юбках из хаки, с четырьмя звездочками в погонах, старшие лейтенанты, фельдшера, стало быть. У молоденькой военная форма, юбка, плотно облегавшая бедра, и гимнастерка, тщательно заправленная сзади под ремень, не портили ее фигуру тонкую в талии. Лицо у нее было гладкое, еще девичье, зеленую пилотку надвинула

набекрень на коротко стриженные волосы, она сильно волновалась, а та, что постарше, тоже коротко стриженная, но в кудряшках, старалась ее успокоить.

Лодка с майором забралась выше того места, где был толкун. По его телодвижениям, по наклону нетрудно было догадаться, что выгребает банкой воду и выплескивает за борт. Тем временем домик уже плыл на близком расстоянии от лодки, раненые, заметя ее, стали махать руками и тут на “ветродуе” их крики едва были слышны. Майор взялся за весла, некоторое время прицеливался, словно прикидывая скорость движения домика и своей лодки и в какой точке пересекутся. Он однако не видел того, что хорошо видно было с горы – дрейфа лодки. Ее сносило сначала медленно, потом все заметней и быстрее. Решив, что пора, майор заработал веслами, лодка полетела, понеслась по течению, но момент он прозевал: с горы было видно, что не успеет на перехват. Так оно и вышло. Домик пронесся мимо, а майор греб отчаянно, изо всех сил, чтобы настичь его, но тщетно. Вероятно, ему казалось, что правит лодкой, а ее несло, как щепку, вместе с другими темными предметами, корягами, животными, ветками, и расстояние между ней и домиком, – а его несла в себе самая мощная и стремительная струя, – быстро увеличивалось.

Пока происходило это в черте города, за затопленными зданиями фабрики, минного и ликероводочного заводов, а до лагерных бараков по ту сторону на холме еще было далеко, теплилась надежда, что лодка чудом а достигнет домик с красной крышей, майору удастся вытолкать его в сторону на огороды или к лагерному холму, но когда его вынесло за окраину и мимо лагерного холма, стало ясно, что раненые обречены, никто им не поможет, и все тут на горе, затаив дыхание, следили за развязкой.

Домик с ранеными на крыше, несшийся уже в метрах ста впереди лодки, заметно изменил направление, налетел на боковину бетонного быка, как и прежние два, от удара ушел мгновенно под воду, волна бугром прокатилась над ним, и опять никто живой не показался над водой, только несколько досок вынырнуло из буруна за мостом, их повертело и понесло дальше и в разные стороны.

Еще теплилась надежда, что майор, которому как-то удавалось держать лодку носом по течению, проскочит благополучно под мостом, но она вдруг вильнула, понеслась на бетонный бык, майор бросил весла, схватил багор обеими руками, выставил его вперед, как пику, чтобы амортизировать удар, но лодку приподняло волной, ударило о бык, она кувыркнулась, блеснула желтым и плоским днищем, как плеснувшая рыба. Краем глаза Шая видел, как за мгновение до этого, метнув руку к лицу, молоденькая старший лейтенант ткнулась лицом в грудь подруги – не видеть этого ужаса.

Там, под мостом, образовалась, видно, чудовищная воронка, затягивавшая все живое. Перевернутая лодка, желтое и плоское днище, помелькала среди волн и скоро нельзя было ее различить.

У каланчи, на «ветродуе» все окаменели.

После долгого молчания кто-то сказал:

– Зря только старика обидели.

Старшая повернула лицо к тому, кто бросил эту реплику, и в глазах ее был такой гнев, такая ярость, что тот поспешил ретироваться. Дурацкая эта реплика вывела из оцепенения и других. Медики, по одному, по двое двинулись с горы. Два военврача, капитаны, задержались, смотрели на женщин-лейтенантов, а те стояли как стояли, молодая ткнувшись лицом в грудь старшей, не в силах оторваться и взглянуть на мир, в котором нет майора. Военврачи явно колебались: приказать им возвращаться в госпиталь или дать им десять минут пережить горе. Склонившись к последнему, прошли несколько шагов, но, очевидно, решили неудобным для себя бросить женщин одних, остановились неподалеку от Шаи, и ему был слышен их разговор.

– Меня Бог спас. Я готов был сесть с ним на второе весло, а Иваныч отмахнулся.

– Это безумие.

– У него не было выхода.

– Почему? Он что, строил этот чертов пионерский лагерь?

– Строил не строил, а всех собак на него бы повесили. Преступное недомыслие, по меньшей мере.

– Как можно судить человека за стихийное бедствие?

– Вы молодой, прекрасный хирург, руки у вас золотые, а жизни не знаете. Не бога же им в лагерь сажать. Иваныч еще хорошо отделался – взял да утонул.

– Бедная Наденька, жалко ее.

– Чего ее жалеть? Переживет. Найдется кто-нибудь другой. Утешит. Не успеет башмаков сносить.

– Какой вы циник!

– Это не я, это Шекспир, а уж он их натуру знал.

– Бедные, бедные они, скоро и утешать их некому будет.

– Что делать? Война.

Они постояли еще, глядя на женщин, и двинулись с места.

Гражданские тоже разбрелись. Только эти две женщины в военной форме замерли на “ветродуе”. Шая не уходил, смотрел на мост, на ажурные его фермы, на бешено мчащуюся воду, охватывавшая бетонный бык с обоих боков. Все еще не мог поверить в реальность того, что произошло у него на глазах.

Старшая из женщин обняла молодую за плечи и повела с горы. У той в лице не было ни кровинки – белая маска под зеленой пилоткой.

Шая отвернулся, не мог этого видеть, сам страдал, когда получив похоронку на мужа или на отца, приходила на смену женщина с таким окаменевшим лицом.

Глава семнадцатая

Ночью вода схлынула, оставив город под глубоким слоем ила.

Майское солнце хорошо грело, в закрытых местах, где не гулял ветер, даже припекало – раздевайся и загорай. На макушке горы у красной каланчи сильно тянуло, но оттуда хорошо было видно, что натворила вода. Деревянный мост через Урал снесло и рядом с уцелевшими сваями стройбатовцы наводили понтоны. Железнодорожный мост точно взлетел над водой и обрел свой смысл – к нему и от

него вели рельсовые пути, серый бык выступал высоко из воды, несшейся так же быстро, обтекая его, но Шая смотрел на отметку, на какую поднялась в дни потопа, примерно на этой высоте ударились домики с ранеными, лодка с начальником госпиталя, даже не верилось, что это было на самом деле.

– Так никого и не нашли? – спросил мужчина, ставший рядом с Шайей.

– Не знаю.

– Говорят, водолаза вызвали.

– Какие водолазы в Югорске!?

– И то правда, одно вранье. Эх, добра от этой воды не жди. Я на майские праздники картоху сажал, а теперь что? Огороды, поди, этой грязью занесло, своего не отыщешь.

– Почему не отыщется. Подсохнет, отыщется.

– Это сколько ждать-то? Время упустишь, без картохи останешься. День год кормит.

– Вон люди уже работают,- сказал Шая, показывая на железнодорожные насыпи.

Слева и справа от моста их облепили зеки, чистили, наводили порядок.

– Какие ж это люди? Это зеки. Рабы.

Он сплюнул и стал спускаться с горы к Яшмовой улице, а у Шайи в голове откликнулось прописью из «Азбуки» – «Рабы не мы. Мы не рабы». Не сегодня-завтра сам там будет.

По улицам старого города, бредя по колено в грязи, люди не дождавшись когда подсохнет, возвращались к своему жилью. По шоссе, ведущему к вокзалу и пересекавшему улицы от центра до окраины, двигалась полуторка и стройбаговцы – узбеки собирали и сносили на нее утопленников. Набитый доверху, грузовик медленно полз к церквушке на пригорке и хорошо было видно, как снимают трупы с кузова и укладывают в ряды. Сколько им придется лежать так на солнцепеке, один бог знал. Кладбище располагалось далеко в степи по ту сторону реки и до него было не добраться, пока не наведут понтонный мост. Кое-где на шатровых крышах появились цветные

ватолы и подушки, разложенные сушиться. В прибрежной стороне улицы тонули под илом и довольно глубоким – никто еще не осмелился пройти по нему и оставить в нем следы. До фабрики не скоро пройдешь, подумал Шая и обрадовался: два-три дня, как минимум, можно еще посачковать. Не успел он так размечтаться, как перед ним возник Сафьян.

– Хорошо, что я вас нашел.

– А шо такое?

– Пойдемте.

– Куда это?

– Я думал, вы сообразительней.

Шая начинал соображать: Сафьян спятил – переться по колено в грязи на фабрику.

– А шо, горит? Пусть подсохнет

– Пока мы с вами будем подсыхать, ржавчина все поест. Сами потом все на свете проклянете. Между прочим, и война еще не кончилась.

– А шо я один сделаю?

– Подскачите за Чумаком. Вы как-то умеете с ним ладить. Через час жду вас обоих на фабрике. Действуйте, а я разыщу кого можно.

Чем ближе к реке на улицах илу становилось все больше и на подходах к фабрике нога уже тонула в нем выше щиколотки. К фабрике вела цепочка следов прошедшего человека.

– Куда мы с тобой премся? – злился Чумаков. – Никого нет. Что нам больше всех надо?

Он вдруг метнулся к глухой стене. Ловко цепляясь за пустые рогаши от водосточных труб, по кирпичной бровке перебрался до фабричного крыльца и сиганул на него с криком “Оп-бля”! Шая перебрался туда же вслед за ним. В вахтерке проходной ждал Сафьян. Даже из вохровцев никого не было.

– А где другие? – спросил Шая.

– Никого не нашел.

– А мы, ишаки, приперлись! – сказал с досадой Чумак. – А у меня колодец не вычерпан. И как мы отсюда до цеха доберемся?

Странное, еще неиспытанное чувство, охватило Шаю. Фабричный двор, замкнутый с четырех сторон, представлял собой огромный короб, залитый раствором. Поверхность его, гладкая и девственная, отблескивала под солнцем и отливала зеленью. Природа приоткрывала тут одну из своих тайн, показывала как играючи умеет в два счета затянуть илом место, где только что кипела жизнь.

Со стороны могло показаться, что прислонившись к дверному косяку, Шая прикидывает в уме, как преодолеть двор, эти тридцать шагов до двери цеха, – было тут не по щиколотку, а по колено, по меньшей мере – в действительности душа его зачарованно вбирала в себя это удивительное зрелище. Несколько дней он видел потоп, взбаламученную несущуюся воду, обострившую чувство опасности, но во всем было движение, ощущение битвы, а тут никакого движения – густой раствор ила, неподвижность, нетронутость, как на поверхности чужой и мертвой планеты, и откуда-то из глубин душевных, где таятся древние инстинкты, поднимался не страх, не предощущение гибели, ибо погибать тоже есть действие – а оторопь перед небытием, перед отсутствием жизни на земле.

– Дохлое дело, – сказал Чумак.

– Надо что-то придумать, – сказал Сафьян.

– А что тут придумывать, эти его в нос? Вы хоть и конструктор аэропланов, а пропеллер в зад мне не вставите. А без пропеллера тут не перелетишь.

– Пропеллера нет, – сказала Сафьян. – но кирпичи есть.

При упоминании о кирпичах взгляд Шаи, обойдя мертвый двор, остановился на штабеле потемневших от воды кирпичей под окном вахтерки. Вохровцы сложили его еще осенью на печь-голландку, чтобы заменить ею буржуйку, оплели его вдоль и поперек проволокой, а концы ее загнули и пригвоздили к стене, но кирпичи все равно растаскивали. В сорокаградусные морозы, когда цех выстывал настолько, что работать приходилось в пальто и

ватниках, женщины калили кирпичи в голландке, подкладывали их под ноги, или отогревали об них коченеющие пальцы или заворачивали их в тряпье и сидели на них. Это напоминало Шае родной город, старый базар, живописных торговых зимой, укутанных в несколько одежек. Сидя на низких скамеечках возле своего товара, они ставили промеж ног, «пид спидныцю», горшок с раскаленным древесным углем.

Чумак очень хорошо понял намек про кирпичи. На сплошную дорожку от проходной до цеха их понадобилось бы во много раз больше, а на разреженную цепочку могло хватить. Чумак, когда нервничал и злился, устоять на месте не мог, тыркался туда-сюда, но в проходной простора метаться нехватало и от этого злился еще пуще. Но такой уж он был – пар выпустит и сделает что от него требуется.

Мало-помалу, работая под ругань Чумака, они уложили весь кирпич и добрались до цеха. Дверь к нему открывалась наружу, Чумак потянул ее на себя, она поддалась только на треть. В иле образовался окопчик, один за другим они попрыгали в него и оказались на пороге цеха, удивились и обрадовались, что тут под кровом илу намного меньше, чем во дворе – на настилах обоих конвейеров его накопилось сантиметра на три, а на полу сантиметров на десять. Зато стены почти до самого потолка были синие и мокрые.

Глава восемнадцатая

Они стояли у порога и не решались войти. Девственность маслянистой поверхности ила – ни царапины, ни вмятины, ни воронки, ни оспины, – на всю ширину и длину цеха пугала еще больше, чем во дворе. Нередко приходилось видеть Шае цех пустым, безлюдным, но все равно дышала в нем жизнь. Машины, моторы, трансмиссии, вороха тканей в любую минуту по воле человека – вруби только рубильники на электрощите – могли придти в движение, зашуметь, стрекотать, обрести смысл. Необычным был вид трансмиссии. Ее колеса с фигурными спицами, увязшие на треть в серо-зеленом иле, потеряли форму круга, и этот длинный ряд их, усеченных, от одного

конца конвейера до другого, удручал особенно. Все было мертвее мертвого.

Снаружи светило солнце, а тут сырость и холод пронизывали до костей.

– Пошли отсюда, Шая, – стал заводиться Чумак. – Пусть они сами еб... в этой душегубке.

– Они не станут, а нам придется, – сказал Сафьян. – с ржавчиной шутки плохи.

Он был прав и его правота, как всегда, начинала бесить Чумака.

– Чего заладили – ржавчина, ржавчина. Да заеб... она. Мне моя жизнь дороже. Я сюда не лезу. Готовый ревматизм, а у меня и без него болячек целый ворох.

– Гриша прав, – сказал Шая. – Если не ревматизм, то воспаление легких обеспечено.

– На севере, Шая, бывали дни и похлеще этих. Соберитесь. Прикажите каждой своей клеточке, каждому мускулу изготовится к защите и у вас даже насморка не будет.

Переругиваясь, приглядывались, как лучше подступиться. Лезть в это болото, работать, стоя в нем, так и так и придется, сколько ни артачься. Сафьян помог им соорудить высокий деревянный помост. Ему не нужно было пудрить им мозги. Они и сами понимали, что на перерыв война не станет оттого, что в Югорске случился потоп. Войне поставляй без перебора солдат одетых, голых в бой не погонишь. К тому моменту, когда в цехах вымоют полы и агрегаты, дадут энергию, машины, кровь из носа, должны быть готовы. Спрашивать их, хотят они лезть в это болото или не хотят, никто не станет. С них с живых не слезут. Вот явится Дегай – где он только есть, хотелось бы знать? – и разговор будет короткий.

Из табуреток, каждая погружалась в ил под самую крышку, получилась надежная переправа до вахтерки.

Сафьян из кожи лез, стараясь обеспечить своих подопечных необходимым для работы – принес из кладовки два ведра, одно с керосином, другое с маслом.

– Ну вот, кажется, все, – сказал он, – вы тут действуйте, а я побегу разыщу кого можно.

Шая вышел покурить и погреться на солнце, а Сафьян все еще стоял в окопчике перед переправой и что-то обдумывал.

Шая курил, пускал дым в сторону, Сафьян задрал голову, и над нетронутым илом, отливавшим зеленым, над безжизненной его поверхностью, зазвучали странные слова. Обычно Сафьян уводил Шаю в степь, где никто их не мог слышать, но в степи трава росла, тюльпаны цвели, проносились гонимые ветром перекасти-поле, суслики свистели, а тут жизни не было никакой, один нетронутый раствор ила.

И читал стихи Сафьян в странной своей манере, ровным голосом, останавливаясь, делая паузы, точно слова не заучены, а рождаются в нем сию минуту и от них мурашки пробегали по спине. «По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух и каждый вечер, в час назначенный иль это только снится мне? девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне. И медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука».

Голос Сафьяна смолк и с минуту тишина бежала у Шаи по спине мурашками. Он видел наяву эту женщину вполоборота, в черном платье, стянутом в талии, без шляпы и черные волосы рассыпаны по плечам, узкая рука в кольцах; она, живая, парила над фабричным двором, над первозданной отливающей зеленью поверхностью, в которой не было никакой жизни.

Сафьян точно опомнился.

– Действуйте, – сказал еще раз и по табуретам перебрался к проходной, оставив Шаю с этим чудом таинственных слов и видений. И каждый вечер в час назначенный...

Работа требовала сосредоточенности и было не до разговоров. Когда холод начинал пробираться, выходили на солнце погреться и покурить.

– Ватник не догадался взять, – сказал Чумак.

– И мне в голову не пришло. Иди, знай, что тут такая холодрыга.

Отогревшись чуть, возвращались в цех. Работа двигалась медленно. И никто больше на фабрике не появлялся, даже Сафьян.

– Ну, где он, обля, там болтается?

Время было уже за полдень. Солнце переместилось, его лучи больше не били прямо в окна, не играли на никеле маховиков, не разлеталось золотыми брызгами, и с потолка исчезли золотые зайчики. От бетонного пола тянуло холодом, толстая деревянная доска, на которой стояли, не спасала. Ноги коченели. Лицо Чумака стало серо-зеленым, как ил вокруг. Первая радость освобождения жизни из плена быстро прошла. От холода Шаю стало колотить, каждая мышца на спине и на боках дрожала, ничего с этим нельзя было поделать, как ни уговаривал их не дрожать. Все чаще выбегал погреться на солнце, курил, делал глубокие затяжки и теплый дым грел изнутри, помогал унять дрожь. Он смотрел ввысь, там где над двором, когда Сафьян читал стихи, парила женщина в черном шелку и с распущенными волосами, и не мог снова вызвать ее.

Не проходило и четверти часа в цеху, как опять начинало колотить.

– Я так долго не выдержу, – сказал он.

Чумак помалкивал, сам был готов каждую минуту взорваться и психануть. За те трое суток, что машины пробывали под водой, болты, гайки, винты прикипели, обычным мышечным усилиям не поддавались. Приходилось ставить отвертку в прорезь винта на уголок, или прижать ее к ребру гайки и колотить по рукоятке молотком, и тогда винт или гайку удавалось чуть сдвинуть.

Чумак, разбирая вторую машину, мучился с маховым колесом, не мог сшибить его с хвоста коленчатого

вала и стук молотка о металл становился все нервней и резче, а тут откуда ни возьмись в цеху появился технорук Дегай в синем кителе под распахнутой черной кожанке, в синих брюках., заправленных в сапоги, не простые, хромовые, а необычно высокие, с широкими раструбами от колен до самого паха. Голенища почти до колен были измазаны, видимо, шагал от вахтерки не по табуреткам, а прямо по глубокому илу. Такие высокие охотничьи сапоги встречались Шае только в книжных иллюстрациях. Зеленая фетровая шляпа лихо сдвинута на затылок, а под черными сталинскими усами атели полные губы, будто только что вкусно и сытно поел, да и выпил, видно, тоже. Едва войдя в цех, гаркнул на Чумака.

– Чего растучался? Трудно деревяшку подложить? Механик хренов, за прилавком тебе стоять!

Договорить он не успел. Чумак развернулся и молоток, пущенный с размаху, просвистел над плечом Дегай, ударился о торцевую стену, отрикошетил и исчез в иле, оставив борозду на его маслянистой поверхности. В стене, в том месте, куда угодил молоток, появилась вмятина и, словно нехотя, по мокрой штукатурке вниз пошли две трещины. С перекошенным от ярости лицом Чумак заметался по доске, но простора для метания на ней не хватало, казалось, что он накоротко прикован к конвейеру невидимой цепью и в бешенстве рвется с нее и вопит.

– Вон отсюда! Вон! Становись сам, паскуда, и работай. Вон!

Дегай опешив, стоял бледный, но быстро взял себя в руки.

– Пойдешь на фронт, – проговорил он без угрозы, а просто как о деле решенном.

– Еб... я тебя с твоим фронтом! Вон!

Чумак схватил пассатижи и снова замахнулся, чтобы запустить ими в Дегай, но тут произошло нечто невероятное: этот крупный и сильный, всегда невозмутимый в сознании своей власти человек, повернулся кругом и, струсив, побежал, но поскользнулся и, не привыкший падать, растянулся руками вперед во весь рост, быстро вскочил на ноги и, измазанный по уши, побежал.

Если от сильного и опасного громилы бегством спасается маленький и слабый человек, это естественно, но когда рослый, крупный и сильный трусливо удирает от щупленького, пусть и разъяренного, это почти, как смешной номер на арене цирка.

Шая спрыгнул с доски, побежал к двери и с удовлетворением осмотрел следы бегства и падения Дегай. Точно, раздумывая, от стены, в том месте, куда угодил молоток, отвалился треугольник штукатурки, шлепнулся в ил и не утонул.

Шая ступил за порог посмотреть куда бежал Дегай – глубокие следы в иле вели к наружной лестнице, и по ее ступеням вверх к дверям шараш-конторы.

Повеселевший, Шая вернулся на свое место.

– Драпанул, как фриц.

– Паскуда, паскуда! Без молотка из-за него остался.

Паскуда. Я, убя, семнадцать лет на фабрике, я ей жизнь отдал, а он мне нервы на барабан мотаает. Я их, разьебаев, всех распатроню. Не заставил я его молоток поднять. Поползал бы он у меня на брюхе по этому болоту. Видал, какие у него сапоги? Охотник! Охотник на баб. Разьебай.

Руки у него дрожали и он вряд ли думал о том, чем храбрость в гневе отольется ему завтра. Дегай слов на вей ветер не бросает. Насколько Шая знал его, тот простил бы Чумаку, что швырнул в него молотком, простил бы, что упал лицом в грязь, но не простит, что Чумак сказал ему «ты». Сам Дегай говорил «ты» всем, а к нему обращались на «вы». Если кто-то осмеливался ответить ему запанибрата «ты», он бледнел, считал это покушением на его власть, на попытку стать с ним ровень.

– Зря ты так,- сказал Шая. – Он с тебя броню ошкурит.

– Еб... я его! Все! На этом забиваю болт! – он взглянул на свои наручные часы, немецкую штамповку. – Я человек из сквозняка, а эта холодрыга заибьет до смерти. Подыхать, так уж лучше на бегу со штыком наперевес.

Он быстро посовал инструмент в свою торбу.

– Закругляйся и мотаем отсюда.

– Закруглюсь. Закончу и закруглюсь.

– Ну, дело твое. Памятник хочешь заработать? Хуй они тебе поставят. Подохнешь, они тебе фанерную пирамидку на могилу пожалеют.

– Полежу и без пирамидки.

Чумак пошел, но перед тем, как повернуть к выходу, на миг остановился и смотрел на то место, где утонул молоток, решал лезть за ним или не лезть. Решил: лезть. Отложил свою торбу на угол агрегата, подцепил табуретку, пробил ею дорожку, засучил рукав, погрузил руку в ил, стал шарить в нем, нашел молоток, понес его к тому месту, где работал, и фланелевыми тряпьем обтер его. Руку, уже обтертую, повертел, она ему не понравилась, тогда сунул обе руки в ведро с керосином, потом в ведро с маслом, обсушил их и пошел. Молоток в торбу не сунул, а нес в руке, лицо его выражало решимость: я вам, разьебаям, покажу.

Шая пошел его провожать, заодно отогреться и покурить.

– Скажи ему, что заболел, – сказал Чумак. Постоял еще. – Пособи.

Шая подставил ему плечо, Чумак оперся об него и вспрыгнул на табуретку, и с нее, ступая осторожно, перешел на вторую, на третью, и далее по всем, добрался до проходной и, выйдя на улицу с молотком в руке, тут же исчез с глаз.

Шая курил, смотрел в то место, где парила с простертой рукой женщина в черных шелках. Каждый вечер в час назначенный...



Елена Матусевич

Незаменимый

Три рассказа

Последние сборы. Штат Вирджиния

Из цикла «Старухи»



у все, кажется. Ничего, ничего. Ничего ведь такого не происходит, спокойно, главное успокоиться, не распускаться. Не я первая, не я последняя. Главное, все успеть. Зайти к Молли – есть, зашла, попрощались. Меня чуть не развезло. Еще бы, она только на год младше меня, старая дура Молли, всю жизнь прожила напротив, на нашей улице, каждый день я к ней заходила посидеть. Ей тоже недолго осталось, она ничуть не крепче меня, рохля, нытик, вся раскиснет, пустит нюни, представляю, хорошо хоть я этого не увижу, одна радость. Да и я хороша, не будь со мной внука, не смогла бы сдержаться. Фу ты, пропасть, с посудой-то как? Никому теперь ничего не нужно. Сил нет разбирать весь этот хлам, пропади он пропадом. Свечи, зачем человеку столько свечей, где я их насобирала? Надарили, видно. Вечно мне дарили эти свечи, не знают что подарить, вот и тащат свечи, хоть лавку открывай. Ну, кастрюли у меня хорошие, внук возьмет. А флаг? Нельзя же выбрасывать флаг Конфедерации! Когда-то люди гордились этим флагом, и югом гордились. Нет, внук не возьмет, хороший мальчишка, но ему это не надо. А Молли была когда-то настоящей южной леди какие теперь перевелись... А что толку? Так и просидела всю жизнь на веранде своего дома. Господи, как подумаешь, какой дурью забивали нам головы! Я хоть и была замужем за моим покойником, а тоже немногим лучше Молли. Хорошо еще он умер, прости

Господи, до того как я превратилась в совсем уж старую клячу, иначе бы так и прожила жизнь ни солоно хлебавши, с одним мужем и без всякого удовольствия. Так подумаешь, верно, уж лучше совсем без мужа и без удовольствия, чем с мужем и опять же, с тем же успехом. Ты, внучек, не слушай никого, секс — это самое главное, это я тебе говорю. А, ты в курсе? Ну да, конечно. Мужчины это знали всегда, только от женщин скрывали. Им же надо чтобы мы всю жизнь сидели в дурах. А то кто бы стал терпеть такого как твой дед, царствие ему небесное? А вот с сестрой твоей я непременно поговорю, пока не поздно, а то твой папаша, мой сынок, тоже теперь в такие святоши заделался, весь в покойника моего, и девчонку испортит. Поговорю-поговорю, ничего, я же старая тыква, что с меня возьмешь! Представляю их рожи в ресторане! Они же меня в ресторан сегодня ведут, долг исполняют. Знаю-знаю, но что делать? Другой возможности у меня не будет, они же со мной девчонку ни за что не оставляют, как же, я же из ума выжила, могу сказать что-нибудь эдакое, неприлично! И скажу, пока у меня язык не отсох еще в этой их милой богадельне. Знаю-знаю, я сама решила, конечно, сама решила, еще не хватало, чтобы вы за меня решали. Не умирается мне, ну что подделаешь, и не болит ничего, только голова кружится. Не будь этого, видали бы вы меня в этом заведении. Просто падать надоело, где попало. Нет, ты не подумай, я благодарна, столько возни со мной. Клянусь, заболей я, не стала бы лечиться, но ведь не болею же. Кому-то ведь понадобилось тянуть со мной резину.... Твой отец с такой радостью бы мне пышные похороны устроил. Еще бы, уж как ему надоело это ежегодное паломничество к маман, уж наверное нашел бы как провести отпуск поинтереснее. Он ведь и сам пенсионер уже, у него больше болячек, чем у меня. И что это он растолстел так? Взяли моду животы растить. Ба, ему, наверное, кажется, что я никогда не умру. Да мне и самой уже так кажется! Остались только я да Молли. Ты вот думаешь, что мы старые подруги, да? Ни черта подобного! Я ее с детства терпеть не могла. Но там где я теперь, мой милый, — уже не до капризов. Тут и Молли сойдет. Там, где я, времени не то что бы уже не осталось, но

оно все вышло, вытекло насухо, до капли, оно и идет-то уже не для нас, мимо нас, обтекая нас как гнилые бревна, застрявшее на мели и мешающие течению. Да, как изволишь сам видеть, теперь уже и пространство выталкивает нас из себя, сужается, сужается... от дома до квартиры, от квартиры до комнаты в отеле, от комнаты до койки в богадельне, а оттуда уж выход один да и разница не так уж и велика. Время и пространство сходятся в одну точку, становятся неразличимы, неотличимы друг от друга в едином заговоре против нас, застрявших в после-времени, в чужом времени, ненужным мусором. Только тут, в этом самом последнем месте, и понимаешь это дикое « возлюби врагов своих». Тогда это даже легко, это даже само собой происходит. Враги становятся почти дороги как память. Скоро мир будет от нас свободен. Миру уже не терпится... И тебе не терпится, мой милый. Да ладно, не больно-то интересно таскать меня на себе с утра до вечера. Да не расстраивайся ты так, это просто потому что ты живой. Жизненные соки в тебе закипают от контакта с мертвечиной, и живое в тебе хочет бежать отсюда, куда глаза глядят, и тебе приходится совершать над собой ежедневное насилие. Я вижу это нетерпение у всех на лицах. Все думают, что оно меня обижает, прячут глаза и рассыпаются в любезностях. Ничуть не бывало. Если и есть в старости что-нибудь хорошее, если ты, конечно, не выжил предварительно из ума, так это свобода от того, что думают о тебе другие. Глупцы, неизвестно еще многие ли из них сумеют проскрипеть с мое. Ладно, ты отобрал себе что-нибудь? И все? Не скромничай, в этом мире надо быть поживей. Бери, уж лучше тебе, чем соседям. Не будь рохлей, я этого не люблю. Дай мне руку. Я готова. Пошли.

Апрель

А как полз-то хорошо! Совсем взбодрился. Даже скорость прибавил. Впереди и высоко что-то зелененькое такое, привлекательное. Жизнь. Легкость: вчера к нему пришло тепло. Пробудился, очухался, очнулся, продрался. Тепло, теплее, тепленько. Раз, раз, левой-правой, почти у цели.

И тут сорвался. Совсем вниз угодил, резко так. Хлоп, почти до пола, еле уцепился. Повис. Низко, но повис. Сжался до предела, донельзя, скукожился, скомкался, подобрался, не поймешь уже что такое. Так, чуть больше точки. Ниточка покачивается слегка. Сама. Повисел. Еще повисел. Но вчера пришло тепло и надо наверх, к свету. Чуть-чуть расправился, ногу туда-сюда, еще туда-сюда. Ничего, целый. Тихо. Можно снова. Пополз, сначала осторожно, потом пободрее, раз-раз совсем быстро. Замаячило зелененькое, прямо над ним. Пр-пр-пр и у цели.

Опять что-то налетело,хватило, дернуло, рвануло, потянуло. Вниз. Темно, темно как зимой. Замер, обездвижился. Долго. Еще долго. Осторожно дернул ногой, еще ногой. Целый, опять целый. Надо вверх, вверх, вверх, туда, где теплее, чем здесь. Бегом, бегом, бегом – не туда. Подобрался. Встал. Дернулся в обход: вниз, вниз, вниз, по прямой, кругом, опять вверх, вверх, вверх. Не туда. Везде поверхность не та, цеплючая и с теплом внутри, но не с тем теплом и не та, не та. Не для него. Еще бегом, еще не туда. Опять бегом, опять не туда. А так полз хорошо! К солнцу, к теплу, к горшку с огурцом. А теперь не то, кругом не то. Встал. Замер. Еще рывок. Не туда. Не туда. Не туда. Тут – пропасть и там – пропасть. Паника: забегал кругами на одном месте. Цеплючая поверхность с не тем теплом. Сник. Скис. Скуксился. Все.

Щекотно, тыльной стороне ладони щекотно. Ага! А я и думаю, куда это ты делся? Был-был и нету. Это я тебя сбила, сорвала, задела. Кисточкой. А ты вот, нашелся, сам прибежал. И ниточка оборванная при тебе. Сейчас мы тебя за ниточку... и в горшок с огурцом. Ведь ты туда рвался? Туда. Вот так. Ведь если можно исправить, так отчего не исправить? Если можно протянуть руку, отчего не протянуть? Благодарю за возможность. Ты прекрасен, потому что ты живой. Мой первый, ранний, апрельский. Паучок.

Незаменимый

Ну, я вчера подоила корову, вывела на луг, прибралась в доме, курам насыпала, разбудила детей, накормила, отвезла в школу, вернулась, наточила косу,

пошла в чисто поле, накосила травы, уехала в офис. Обналичила деньги, заехала в магазин, забрала детей с продленки, приготовила обед, накормила детей, сделала уроки, нарубила дров, привела корову, подоила корову, приготовила ужин, искупала младшего, уложила спать, помылась, сбегала в салон красоты, зашла в Интернет, отправила отчет в налоговую, поговорила по скайпу с поставщиками, схватила со стола краюху хлеба (дети не доели), перекусила и довольная – спать. Хорошо. Ночью подскочила! УЖАС!!! Мужик-то мой весь день нетраханый на диване пролежал! Что же это я? Упустила. Прощтрафилась. Теперь поздно, вон, храпит, не добудишься, а завтра надо первым делом. А то эдак он от меня к Светке, пожалуй, уйдет. Эта Светка, она такая, она переманит, только дай. Они, молодые, отчаянные. Все, что плохо лежит в миг утащат. Конечно, ведь он у меня не пьет, не бьет, а, главное, надежный! Всегда на месте. Непокосим! И дети не боятся, не то, что у соседей, и мне спокойно. Пальцем не тронет. А терпение? Они хоть на голове ходи, а он все равно не встанет! Золото. А Светка, она нацелилась, это я точно знаю. Она и диван новый купила. Финский, шикарный, нового типа: навсегда раскладной. Всем хвастается. Одна надежда, диван-то у нее хоть и лучше нашего, а все же до него еще улицу перейти надо...

А! Вот оно, спасение! Не пойдет!! Ни за что не пойдет! Фиг тебе, Светка! Он у нас, кормилец, дальше туалета ни-ни, и то ворчит. Как это я сразу не сообразила? Не пойдет к тебе наш папка. При нас останется. Фу, успокоилась. А то было... Прямо сердце. Так и свалиться недолго. Видано ли дело? А Светке нечего на чужое добро зариться, пусть себе своего подберет и в дом принесет. А уходом и заботой почти из всякого не хуже моего мужа сделать можно. Про интим, однако, правильно нам на лекции говорили: запускать нельзя. Шутка ли! Так ведь и хорошего человека до греха довести не долго.



Игорь Ефимов

Оковы просвещения

Глава из новой книги

Гость из Канады



Мичиганском университете в Энн Арборе действовал «Центр по изучению России и стран Восточной Европы». Там регулярно устраивались так называемые “brown bag lectures” (буквально: «лекции с коричневым пакетом»). Их подгоняли к перерыву на ланч, так что каждый желающий мог явиться туда со своим завернутым сэндвичем и съесть его, запивая кока-колой или чаем из термоса. Потом слушал лекцию на предложенную тему и принимал участие в обсуждении. Название одной из предложенных лекций так поразило меня, что я решил пойти.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ СТАЛИНЕ, было напечатано чёрным по белому в листовке на доске объявлений. Как такое можно пропустить?

Высокий, приветливо улыбающийся профессор политических наук Питер Соломон, приглашённый Центром из Университета Торонто (Канада), оглядел слушателей (собралось человек тридцать), кивнул знакомым и сказал:

– Ну, я надеюсь, что шок, вызванный названием моей лекции, уже прошел, и мы можем приступить.

Он улыбнулся, как бы подчёркивая, что есть во всём этом и элемент весёлого розыгрыша, который вот, к его удовольствию, удался.

Лекция длилась около сорока минут, и какой-то нервный смешок прорывался в голосе докладчика несколько раз в самых неожиданных местах. По поводу советских судей двадцатых-тридцатых годов, которые не утруждали

себя доказательством вины подозреваемого, а выносили приговор на основании «классового чутья». По поводу того, что любая поломка или авария на производстве могла быть объявлена диверсией и кто-то мог быть приговорён за неё «к очень суровому наказанию» (слово «расстрел» профессор старался не употреблять). По поводу того, с какой лёгкостью партийные власти могли скидывать «слишком мягких» судей или заставлять их ужесточать приговоры.

Много нового могли узнать слушатели о букве и духе советского закона в 1920-30 годы.

Оказывается, что, несмотря на принятие в 1932 году закона, каравшего смертью за хищение социалистической собственности, на деле применялся он крайне редко. Что часто крестьян, укрывавших зерно, даже не приговаривали к тюрьме, а только к исправительным работам – *correction labor*. (По разъяснению профессора, это часто сводилось к дополнительной работе в колхозе или просто к штрафу.) Что и в Сибирь-то в процессе коллективизации было выслано не так уж много народу. Что за несправедливо раскулаченных часто вступались – вот, скажем, писатель Шолохов защищал кое-кого из своих станичников. Что, конечно, имел место террор и сталинские чистки, но, во-первых, террор осуществлялся не судебными органами, а НКВД, а во-вторых, пик террора длился всего лишь семь месяцев, и если арестованному выпадала удача дожить до лета 1938 года, то шансы на отмену приговора были очень велики.

Главное же, что все источники, то есть советские юридические книги и журналы тех лет, а также все интервью с советскими криминалистами и юристами, проведённые профессором Соломоном, явно показывают, что в 1930 годы в правящих кругах существовала очень мощная тенденция к отведению бóльшей роли Закону в управлении советским обществом. Проследить эту тенденцию можно в таких-то статьях Вышинского, в таких-то речах Сталина, в таких-то постановлениях ЦК, в улучшении качества юридического образования, в росте числа судей и следователей с институтскими дипломами, наконец, в принятии Конституции 1936 года.

По окончании лекции я спросил докладчика, правильно я понял, что главного прокурора Крыленко он считает основной силой, препятствовавшей полному воцарению законности в советском обществе.

– Да, конечно.

– Это тот самый Крыленко, который был расстрелян в 1937 году?

– Видимо, к тому времени его деятельность была осуждена Политбюро.

– Но, наверное, были в правящих кругах и заметные фигуры, которые приветствовали и, по мере сил, поддерживали укрепление законности?

– Безусловно. Как я и сказал: Вышинский и Сталин. Это очень видно в их статьях и выступлениях начала 1930-х.

– Не тот ли это Вышинский, который разработал «метод активного дознания», то есть применение пыток при допросах?

– Ну, это произошло гораздо позже.

– Вы упомянули, что параллельно с возрождением законности в эти годы имел место террор. Как вы оцениваете число жертв террора?

– О, тут между учёными нет согласия. Вам, конечно, известны работы таких авторов как Джонсон, Томпсон, Кларксон, Робсон, Стивенсон...

Тут мне, видимо, полагалось признать своё невежество и утечь под стол от стыда. Но я упрямо требовал назвать хотя бы диапазон: десять тысяч погибших? Сто? Десять миллионов? Аудитория начала шикать на меня, но я не отступал. С большим трудом мне удалось выжать из профессора такую формулировку:

– Если какой-то источник скажет, что число погибших колеблется между двумя миллионами и четырьмя, я скорее поверю цифре два миллиона.

Среди слушателей прошёл изумлённый шёпот, потом воцарилась тишина. Оказывается, в разгаре замечательного роста законности по меньшей мере два миллиона человек были убиты без суда и следствия.

– Судя по обилию сносок в вашей лекции, профессор Соломон, список библиографии в новой книге будет очень

внушитель. Будет ли он содержать какие-то русские книги, изданные за пределами Советского Союза?

– Что вы имеете в виду?

– Вы до сих пор ссылались только на советские источники. Но существует огромное количество мемуаров людей, испытавших «возрождение законности при Сталине» на собственной шкуре. Книги Солженицына, Авторханова, Орлова, Аксёновой-Гинзбург, Надежды Мандельштам, Копелева, Шаламова...

– Но ведь всё это мемуары, написанные без строгого научного подхода.

– То есть вы принимаете к рассмотрению только информацию, исходящую от судей, следователей и палачей, но не от их жертв?

В этом месте председательствующий директор Центра двинулся на выручку докладчику и сказал, что другие тоже хотят задавать вопросы. Профессор Соломон вежливо кивал, улыбался, что-то записывал. В конце, как и положено, гостю похлопали, а председательствующий выразил надежду увидеть его вскоре снова в Энн Арборе, услышать новые интересные сообщения.

Думаю, профессор Соломон улыбался не зря. Ибо в главном он оставался неуязвим ни для какой критики. Пятнадцать лет, затраченные им на изучение советской криминологии, отражённые в его книгах и статьях, никто отнять у него уже не сможет. Он всё равно будет считаться главным специалистом в этой узкой сфере. Если вы захотите возражать ему, вы должны будете прочесть те же тома советской пропагандной макулатуры, которые прочёл он: иначе ваша критика будет считаться недостаточно обоснованной, ненаучной. Если вы захотите писать диссертацию по советской криминологии, вам лучше иметь профессора Соломона в друзьях.

Я пошёл в библиотеку, взял посмотреть написанную им книгу. Называлась она «Советские криминологи и политика в сфере уголовного права»¹. Опубликована издательством Колумбийского университета, 250 страниц.

¹ Solomon, Peter. *Soviet Criminologists and Criminal Policy*, New York: Columbia University Publishing, 1978.

Огромный список использованной литературы. Видно было, что профессор Соломон досконально изучил не только всю историю советского уголовного законодательства, но знает и все побочные материалы, связанные с этим вопросом. Весь труд выглядит солиднейшим исследованием. Откроешь любую страницу: ровный тон, стройная логика, цепи правдоподобных доказательств. Многие важные моменты постоянно опускаются? Но ведь всего не охватишь. Вас не устраивает концепция в целом? Но каждый учёный имеет право на свою концепцию.

На странице 219 Питер Соломон с гордостью излагал свой принцип: информация, сообщаемая ему собеседником, использовалась в книге лишь в том случае, если он находил ей подтверждение в словах, по меньшей мере, ещё одного интервьюируемого или в *печатном* источнике (то есть, в советском – других-то автор не признавал). Так что если из десятков опрошенных им советских криминологов и нашёлся бы один, кто, замирая от страха, решился бы рассказать учёному иностранцу *всю* правду, его рискованный шаг ничего не мог бы изменить: избранный профессором принцип «научной объективности» заранее отметал подобное единичное свидетельство. И тем более исключал использование свидетельств беглецов от коммунизма – этих предубеждённых, озлобленных людей без правильного научного подхода. В указателе имён был дважды упомянут Авторханов: один раз он стоит в перечне авторов, *ошибочно* считавших, что компартия держала криминологов под полным контролем; второй раз – в сноске к тому же абзацу. Роман Солженицына «В круге первом» включён в библиографический список, но нигде в тексте я не нашёл упоминания о нём.

Закрыв книгу профессора Соломона, я вдруг подумал: а не происходит ли здесь простой перенос принципов адвокатского ремесла – столь уважаемого на Западе – в сферу научно-исторического исследования? Ведь никто не требует, чтобы адвокат был объективен. Он может взяться за защиту заведомого убийцы, применить все свои знания, всю изощрённость ума в запутывании истины и будет даже гордиться, если ему удастся избавить своего

клиента от тюрьмы или хотя бы сократить срок пребывания в ней. Клиентом же для учёного выступает его исходный тезис. В данном случае тезис: Сталин и Вышинский стремились к законности, но им сильно мешали разные нехорошие люди.

Конечно, рвение адвоката в суде бывает ограничено – уравновешено – прокурором, судьёй, свидетелями, которые представляют присяжным другую сторону события. Историк же не находится под таким контролем. Его студенты, его читатели не обладают достаточной информацией, чтобы хотя бы усомниться в его – столь гладко льющихся – словах. Они могут поверить, что ужесточения уголовного законодательства в 1932 и 1947 годах (например, расстрел или лагерь за подобранные в поле колоски) произошли не потому, что это были самые голодные годы в истории СССР и обезумевшие люди гибли за картофелину или кусок хлеба, а действительно, в результате некоего мифического противоборства между учёными и партаппаратом. Могут поверить, что речи коммунистических лидеров выражают их мнения и могут приниматься за чистую монету. Что исправительные работы для крестьян – это что-то вроде лёгкого штрафа, а не «истребительно-трудовые» лагеря, из которых редко выходили живыми.

НВ: – Что вы нас страшаете своим ГУЛАГом, – говорит русскому эмигранту западный поклонник коммунизма. – У нас даже лагеря будут другие.

Розовый туман

Конечно, приверженность интеллектуалов идеям коммунизма и социализма не была новостью для меня. Их ненависть к собственнику, эксплуататору, «кровососу» оставалась горячей и искренней ещё со времён Томаса Мора, Кампанеллы, Прудона. В новые времена анархистами, марксистами, социалистами объявляли или считали себя писатели Горький, Хаксли, Платонов, Бабель, Зощенко, Фейхтвангер, Ромен Роллан, Арагон, Грэм Грин, поэты Малларме, Маяковский, Пастернак, Неруда, Лорка, Хикмет, учёные Вавилов, Оппенгеймер, Жолио-Кюри, Розенберг, драматурги Оскар Уайльд, Бернард Шоу, Брехт, режиссёры

Мейерхольд, Эйзенштейн, Михоэлс, Чаплин, художники Писсаро, Сёра, Синьяк, Пикассо, Ривера, философы Бердяев, Струве, Сартр и тысячи, тысячи других.

Но, оказавшись на Западе, я смог разглядеть и те «кнуты и пряники», которыми мир коммунизма подхлестывал рвение своих сторонников, вербовал новых, подавлял и оттеснял неугодных.

Например, любой славист или советолог должен был иметь возможность ездить в изучаемую страну. Некоторые университетские кафедры, давая объявление о работе, указывали как необходимое условие готовность и возможность ездить в СССР в качестве руководителя студенческой группы. Само собой разумелось, что все эмигранты таким условием заранее отметились. Страх утратить эту привилегию действовал на многих учёных парализующе. Они старались не раздражать советские власти, вести себя во время поездок тихо и смиренно, подчиняясь всей системе разработанных правил. Нам уже было трудно найти среди отправляющихся в Россию славистов человека, который согласился бы отвезти весточку оставшимся друзьям. Некоторые соглашались, но были так запуганы грубостью таможенников, слежкой на улицах, всей атмосферой полицейского государства, что не решались зайти или позвонить, привозили письма и сувениры обратно.

Под этим давлением сознание учёного начинало понемногу перестраиваться. Он и дома старался вести себя осторожно: смягчал критические обороты в статьях и книгах об СССР, не общался с открытыми антикоммунистами и не ссылался на их книги в публичных выступлениях, поддерживал хорошие отношения с присылаемыми Москвой благонадёжными чиновниками от литературы и науки. Кроме того, он воображал, что КГБ всё знает, всё видит, хранит на него досье и заносит туда каждое неосторожное слово. Если ему отказывали вдруг во въездной визе, он начинал мучительно напрягать память: «За что? Где я допустил промашку? Чем рассердил?»

Об этом же пишут в своей книге «Московская весна» супруги Джейн и Билл Таубман. «Когда Биллу доводилось

выступать перед советскими учёными в России, его доклады часто получались слишком бесцветными. Как советолог он должен был иметь возможность посещать страну, чтобы работать с источниками, и он изо всех сил старался оставаться в рамках вежливости. Он никогда не говорил чего-то, во что он не верил, но он многое оставлял несказанным и часто прибегал к эвфемизмам»².

Любой же учёный, отказывавшийся принимать навязанный Советами подход и способ мышления, рано или поздно вынужден был менять профессию. Бывало много раз: знакомишься с американцем, говорящим по-русски, спрашиваешь «чем занимаетесь?»; слышишь в ответ «адвокат, бухгалтер, агент по недвижимости, бармен, управляющий в отеле». Откуда же русский язык? Да, получил диплом по русской истории или литературе, работы найти не смог, нужно было искать что-то более надёжное.

Плодотворного диалога между западным интеллектуалом и новым эмигрантом всё не получалось. Западные находили нас слишком нетерпимыми, предвзято настроенными, самоуверенными в суждениях, недопустимо эмоциональными в спорах. Эмигрант же с изумлением обнаруживал, что средний американский профессор, при всей его эрудиции, знании языков и сказочных библиотеках, может быть до неправдоподобия наивен, что он склонен больше верить газете «Правда», чем словам живых очевидцев.

Смешную миниатюру на эту тему сочинил Сергей Довлатов. Как русские эмигранты в Нью-Йорке всю ночь рассказывали сочувствующей американке о раскулачивании, Соловках, Магадане, терроре 37-го года. И как под утро она сказала: «Я совершенно ошеломлена. Мои взгляды на мир полностью изменились, я на всё теперь буду смотреть новыми глазами. Моя жизнь пойдёт по-другому, к старым заблуждениям возврата не будет. Но у меня осталась маленькая неясность, один последний вопрос: "Почему за все эти годы никто не позвонил в полицию?"».

² Taubman, Jane and William. *Moscow Spring* (New York: Summit, 1989), p. 76.

Бывали, конечно, и исключения. Известная американская либералка Сьюзен Зонтаг познакомилась и подружилась с Бродским в 1976 году³. Его рассказы о жизни в СССР произвели на неё такое впечатление, что в какой-то момент она, выступая перед большой аудиторией своих единомышленников, объявила – вызвав возмущённые протесты зала, – что «советский коммунизм – это фашизм с человеческим лицом».

В Энн Арборе дружеские отношения у нас легче завязывались с выходцами из Европы – может быть потому, что они больше интересовались тем, что происходит за пределами Соединённых Штатов. Но и с ними часто вскипали споры. Жена одного профессора была девятилетней девочкой вывезена из фашистской Германии в 1938 году, в том последнем поезде, в котором удалось спасти несколько сотен еврейских детей. Тем не менее в застольной беседе в нашей квартирке она уверенно поносила Израиль, утверждая, что это государство было искусственно создано британскими империалистами для защиты своих корыстных интересов на Ближнем Востоке. Стараясь не раскричаться, я напомнил ей, что Великобритания, опасаясь арабских волнений в Палестине, в 1930-40 годы устроила настоящую морскую блокаду, чтобы не допустить прибытия новых еврейских иммигрантов в порты Хайфы и Тель-Авива. А оружие и военных советников израильтянам засылал как раз Сталин. К моему удивлению, дама позвонила на следующий день и сказала, что моя речь пристыдила её. «Я ведь просто повторяла то, что говорится в моём кругу. А тут полезла в энциклопедию и увидела, что вы правы».

NB: Люди, ничего не производящие собственными руками, подсознательно убеждены, что разбогатеть можно только путём грабежа: незаконного или узаконенного – эксплуатации. Именно поэтому большинство интеллектуалов – марксисты.

³ Валентина Полухина. Иосиф Бродский глазами современников. Книга вторая (С.-Петербург: издательство журнала «Звезда», 2006), стр. 296.

Военные игры

Недоверие и опасливость университетских советологов по отношению к новым эмигрантам постепенно охлаждали наши отношения с ними. Гораздо легче нам было находить общий язык с американскими журналистами и дипломатами. В те годы уже выходили отличные книги о России: «Русские» Хедрика Смита, «Россия: власть и народ» Роберта Кайзера, «Россия» Дэвида Шиплера. Прожив несколько лет в Москве, эти авторы с гораздо большим доверием относились к нашим рассказам. Кайзер и его жена Ханна выпустили также великолепный альбом фотографий «Россия: взгляд изнутри»⁴, в котором собрали работы русских фотографов, эмигрировавших в 1970-е; Марина написала хвалебную рецензию на это издание для русской прессы.

Книги, статьи, интервью известных диссидентов переводились на многие языки, заполняли эфир, газеты и журналы, были важным участком общего фронта Холодной войны. Но в начале 1980-х возникла – вошла в моду – ещё одна форма получения информации от эмигрантов. Она была скопирована с телевизионных программ, использовавших игровое моделирование политических и военных конфликтов в мире. Социолог Владимир Шляпентох так описал одну из этих программ в своей книге «Открывая Америку»:

«В телестудии имитировалась игра – как будут развиваться события, если правительству станет известно, что некая ведущая газета намерена опубликовать добытые ею секретные сведения, способные нанести ущерб интересам государства на предстоящих переговорах сверхдержав. Роли исполняли: президента – бывший госсекретарь Хейг, министра обороны – бывший министр обороны, судьи – нынешний судья, главный редактор газеты – сегодняшний директор одной из ведущих телекомпаний... Вся спонтанная игра велась вокруг вопроса: есть ли у правительства легальные возможности не допустить

⁴ Kaiser, Robert and Hannah. *Russia from the Inside*. New York: Dutton, 1980.

публикации и обойти конституционную поправку о свободе слова. Телеигра показала, что шансы эти невелики»⁵.

Мне тоже довелось видеть похожую программу. В большой комнате, вокруг овального стола были собраны известные политики и журналисты. Они должны были изображать срочное заседание в Белом доме по поводу тревожных новостей о внезапном вторжении войск Ирана, кажется, в Турцию. Президента изображал бывший кандидат в президенты Маски, госсекретаря бывший госсекретарь Хейг, ведущим был знаменитый Тед Коппел. Каждые две-три минуты «сотрудники Белого дома» приносили новые известия из зоны конфликта, и участники совещания должны были принимать важные решения в соответствии с быстро меняющейся ситуацией. Американский телезритель получал возможность оценить сложность задач, стоявших перед руководителями страны в военно-дипломатической сфере.

Через год или два я, вместе с ещё полудюжиной недавних эмигрантов, был приглашён в Вашингтон принять участие в аналогичной игре, организованной университетом Джорджа Мейсона по заказу Пентагона и Си-Ай-Эй. В качестве зрителей присутствовали три-четыре десятка сотрудников этих грозных учреждений. Ведущий объяснил нам задачу: мы должны будем изобразить заседание советского Политбюро, получившего известие о вторжении пакистанских танков и авиации в Афганистан, оккупированный к тому времени советскими войсками.

– Конечно, мы понимаем, – объяснял ведущий, – что ваши политические взгляды не только не совпадают со взглядами членов Политбюро, а скорее всего – полярно противоположны им. Но мы уверены, что ваше представление о ментальности этих людей в десять раз ближе к истине, чем наше. Поэтому надеемся, что игра сможет приоткрыть нам какие-то до сих пор неизвестные механизмы принятия решений советским руководством.

Игра началась. Мне досталась – не много, не мало – роль Брежнева. Изначальная ситуация была представлена

⁵ Владимир Шляпентох. Открывая Америку (Tenafly: Hermitage Publishers, 1990), стр. 132.

таким образом: главный удар противника нанесён на рассвете по городу Кандагар; советский гарнизон там отрезан, связь с ним потеряна; танковая колонна, выступившая на помощь из Кабула, подверглась мощной атаке пакистанской авиации, имеющей на вооружении новейшие американские истребители, и вынуждена была укрыться в горном ущелье.

Что будем предпринимать? Высадить парашютный десант в районе осаждённого города? Можем ли мы нанести ответный бомбовой удар по Исламабаду из Таджикистана? Есть у нас сейчас боевые корабли в Аравийском море, чтобы создать угрозу Карачи? «Адъютанты и секретари», посылаемые ведущим, постоянно входили с новыми телеграммами, обстановка стремительно усложнялась.

К сожалению, моя «команда» состояла по большей части из бывших журналистов, экономистов, редакторов. Они привыкли оперировать только словами. «Мы должны выступить с гневным протестом... Созвать чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН... Наша нота пакистанскому правительству должна содержать требование немедленного вывода всех войск с территории независимого Афганистана...»

Войдя в роль, я орал на своих «коллег по Политбюро», стучал кулаком, тыкал пальцем в расстеленную перед нами карту.

– Оставьте ноты и протесты нашим дипломатам и журналистам! От нас партия и народ ждут *действий!* Причём, немедленных! Министр обороны, какие резервы мы можем перебросить в Афганистан уже сегодня из южных республик?.. Каков радиус действия наших бомбардировщиков, базирующихся в Азербайджане?.. Министр иностранных дел, чего мы должны ждать в данной ситуации от китайцев?..

Игра продолжалась часа три. Потом был устроен перерыв на ланч, за которым последовало обсуждение и вопросы к участникам. В конце ведущий сказал речь:

– Я уверен, что наши зрители провели время с пользой для себя. Много новых аспектов приоткрылось для них в этой загадочной сфере: принятие решений членами

советского Политбюро. Но об одном из них я хотел бы сказать участникам сразу. Если бы новость о подобной кризисной ситуации достигла нашего Белого дома, то и президент, и его советники в первую очередь обсуждали бы только один вопрос: как помочь окружённому гарнизону, как спасти наших солдат в Кандагаре? Но ни один из вас даже не коснулся этой темы. Судьбу десяти тысяч человек вы списали – отбросили – вычеркнули не моргнув глазом. Конечно, мы читали много раз о том, что советское руководство не считается с жизнями солдат – вспомнить хотя бы взятие Берлина! Мы верили этому, но потом легко забывали. Теперь мы как бы увидели это своими глазами, будто побывали в Кремле. И уверен – запомним надолго.

Меня приглашали участвовать в этих играх ещё два-три раза. Потом мода на них сошла на нет. Но разница между советской и американской ментальностью всплывала многократно, причём в самых неожиданных ситуациях.

Вспоминаю такой эпизод: в Пентагоне проходила конференция военных и штатских специалистов по Советскому Союзу. Я получил приглашение принять в ней участие. Издательство «Эрмитаж» к тому времени уже выпустило несколько десятков книг, и я запросил разрешение устроить их выставку-продажу. Разрешение было дано, и я привёз с собой четыре ящика с книгами килограмм по двадцать каждый. Подъехав к дверям здания, где проходила конференция, я выгрузил ящики на тележку, вкатил её в вестибюль. Из толпы мне навстречу вышел молодой приветливый капитан.

– У меня приглашение на конференцию, – объяснил я ему. – Плюс, я привёз русские книги для выставки. Можно я пока оставлю их здесь и побегу отпарковать автомобиль?

– Да, пожалуйста. Только поставьте тележку вон там у стены, чтобы люди не натыкались на неё.

Мне хотелось сказать ему: «Что вы делаете? Разве так можно? Даже не спросив документы у человека с акцентом! Не заглянув в ящики! А если там бомба? Сверху книги, а внизу...»

Японский флот в декабре 1941 года двигался в сторону Перл-Харбора одиннадцать дней. Самолёты,

поднявшиеся с авианосцев для атаки, находились в воздухе два часа. С какой беспечностью должна была вестись патрульная служба, чтобы не заметить приближающуюся опасность?

23 октября 1983 года рано утром на территорию казарм американских миротворческих сил в Бейруте въехал грузовик *похожий* на те грузовики, которые привозили воду. В стране шла гражданская война, каждый день раздавалась стрельба, но никто не остановил грузовик, не проверил документы водителя. Американским морским пехотинцам даже *запрещено было держать оружие заряженным*. Грузовик, начинённый пятью тоннами взрывчатки, спокойно развернулся и с разгона влетел в задние ворота четырёхэтажного здания. При взрыве погибло около 300 солдат.

12 октября 2000 года американский эсминец «Коул» заправлялся в порту Адена (Йемен) продовольствием, водой и топливом. За два года до этого в том же городе было взорвано американское посольство. Акты террора против американцев, европейцев, израильтян происходили в арабском мире чуть ли не каждый месяц. Тем не менее, когда моторная лодка на большой скорости начала приближаться к кораблю, на борту не нашлось часового, который заметил бы её и открыл огонь. Или им тоже было запрещено держать оружие заряженным? При взрыве погибло 17 моряков.

«Нельзя, нельзя быть таким вежливым и приветливым в нашем мире!», – хотелось мне сказать капитану. Но я промолчал.

НВ: Страшны уроки истории, кровавы. Но Боже, как ленивы, как неисправимы, как непробиваемы ученики!

Все на выборы!

Незадолго до нашего отъезда из Ленинграда навестившая нас Нина Тумаркина отвела Марину в сторону и сказала ей очень серьёзно:

– Марина, ты и твои друзья обожают острить по любому поводу. Вам кажется, что хорошая шутка никому повредить не может. Я заклинаю тебя: когда приедешь в Америку, следи за собой. Никаких шуток, никакой даже

тени иронии, когда разговор коснётся одной из двух тем: расового вопроса и феминизма. Иначе ты можешь потерять дружбу и поддержку очень многих людей, даже превратить их во врагов.

Мы старались не забывать её совет, но не было гарантии, что где-то не допускали промашки. Обе темы были так далеки от наших главных интересов. Не менее загадочными оставались для нас страсти внутриамериканской политической жизни. Демократы? Республиканцы? В чём разница между ними? Что заставляет людей голосовать за тех или других?

Подавляющее большинство наших университетских друзей голосовали за демократов. Видя наше искреннее невежество, они пытались открывать нам глаза, хотя до получения избирательных прав нам надо было прожить в стране целых пять лет. Надвигались президентские выборы 1980 года. Все они собирались голосовать за Джимми Картера.

– А кто его противник? – спрашивали мы.

– О, это полное чудовище – республиканец Рональд Рейган. Бывший голливудский актёршко, он показал своё лицо на посту губернатора Калифорнии. Если победит, он увеличит военный бюджет, снизит расходы на образование и науку, усилит позиции реакционеров во всех сферах жизни.

Мы послушно кивали, соглашались, верили. Картер боролся за мир, сумел добиться соглашения между Израилем и Египтом, две недели уговаривал в Кемп-Дэвиде двух заклятых врагов, Анвара Садата и Менахема Бегина, пожать друг другу руки. Правда, это при нём Америка так давила на иранского шаха требованиями демократизации, что привела к его падению, к воцарению аятоллы Хомейни, к захвату американского посольства в Тегеране в 1979 году. И эта беспомощная военная попытка освободить заложников, которой Белый дом пробовал руководить по радио, закончившаяся позорным провалом. Да и Советы вряд ли бы решились вторгнуться в Афганистан, если бы в Белом доме сидел более решительный президент, – так нам казалось. Но мы помалкивали.

В торжественный день университетские друзья-аспиранты пригласили меня с Мариной вместе с ними смотреть выборы по телевизору. В чьей-то большой квартире собралось человек двадцать. На столиках были расставлены тарелочки с сыром, крекерами, морковкой, виноградом, печеньем, стояли бутылки с лёгким вином. Все были радостно оживлены и явно уверены в победе своей партии. Мы с почтением выслушивали комментарии собравшихся к речам телевизионных ведущих.

К восьми часам начали поступать первые результаты. Большая карта Америки на экране была расчерчена на штаты. Если в штате победил Рейган, он загорался синим цветом, если Картер – красным. И вот началось. Вермонт – синий. Мэйн – синий. Нью-Хэмпшир – синий. Массачусетс – эта вотчина демократов и семейства Кеннеди – синий. Нью-Джерси – синий. Нью-Йорк – синий. Красными пятнышками надежды мелькнули Род-Айленд, Делавэр, Мэриленд. И снова – синий, синий, синий.

Настроение в комнате менялось на глазах. Изумление, растерянность, горечь на лицах. Шум стих, хождение прекратилось. Кто-то налил себе вина в пивную кружку и выпил не отрываясь. Карта на экране продолжала синеть. К двенадцати часам синяя волна достигла западного побережья. Невада, Калифорния, Орегон...

Гости расходились подавленные. Рейган победил в 44 штатах, набрал 489 голосов выборщиков против 49 за Картера. Впоследствии мне довелось прочитать рассказ о том, как одна нью-йоркская журналистка прореагировала на избрание Рейгана: «Он не мог победить! – воскликнула она. – За него не голосовал *никто из моих знакомых!*».

В России мы считали само собой разумеющимся, что всякий образованный и интеллигентный человек должен быть – хотя бы в душе – против кремлёвских заправил. В американском политическом раскладе проступавшая картина выглядела намного сложнее. Но и здесь ругать и осуждать правительство было таким же священным долгом «хозяев знаний». Как написал в письме на родину российский социолог Владимир Шляпентох, «за всё время пребывания здесь я ни разу не встретил кого-нибудь, кто

серьёзно поддерживал бы нынешнюю администрацию. Хвалить правительство или просто не критиковать его – плохой тон»⁶.

Думали ли мы, уезжая из СССР, что когда-нибудь окажемся в стране, где самым опасным делом для нас будет сказать доброе слово о собственном президенте?

НВ: Политические убеждения вырастают на одну сотую – из наших знаний, на пять сотых – из рассуждений, всё остальное – из страхов и упований. В демократическом государстве процесс взвешивания наших страхов и упований называется «выборы».



⁶ Там же, стр. 27.

Хаим Соколин

Чудо в монастыре

Перевод неизвестного автора

MIRACLE IN MONASTERY

Author unknown

It was time for Father John's
Saturday night bath, and the
Young nun, Sister Magdalene,
Had prepared the bath water
And towels just the way the
Old nun had instructed.

Sister Magdalene was also
Instructed not to look at Father
John's nakedness if she could
Help it, do whatever he told her
To do, and pray.

The next morning the old nun
Asked Sister Magdalene how the
Saturday night bath gone.
"Oh, sister," – said the young nun
Dreamily, – I have been saved"
"Saved? And how did that come
About?" – asked the old nun.

"Well, when Father John was
Soaking in the tub, he asked me
To wash him, and while I was
Washing him he guided my hand
Down between his legs where he
Said the Lord keeps the Key to Heaven".
"Did he know? – said the old nun evenly.

Sister Magdalene continued:
"And Father John said that if the Key

To Heaven fit my lock, the portals
Of Heaven would be opened to me
And I would be assured salvation
And eternal peace. And then Father
John guided his Key to Heaven into my lock”.
“Is that a fact?” – said the old nun even
More evenly.

“At first it hurt terribly, but Father
John said the pathway to salvation
Was often painful and that the glory
Of God would soon swell my heart
With ecstasy. And it did, it felt so
Good being saved!”

“That wicked old basket, – said the
Old nun, – he told me it was Gabriel’s
Horn. And I have been blowing it for 25 years!”

Чудо в монастыре

Сестре Магдалене назначен урок –
Явиться в субботу к отцу Иоанну
И приготовить в предписанный срок
Душистое мыло и теплую ванну.

Законы обители святы и строги.
Наставница юной монашке велела
Делать, что сказано, думать о Боге
И не разглядывать брненное тело.

«Расскажешь, как справилась ты, в воскресенье.
Но знай – коль нарушишь монаший обет,
Господь тебе путь не укажет к спасенью,
И душу покинет божественный свет»

И вот Магдалена пред матушкой снова,
Мечтательный взгляд, но слегка смущена,
И повторяет одно только слово:
«Я спасена, спасена, спасена!»

«Ты спасена? Расскажи, что случилось, –

Воскликнула матушка нетерпеливо, –
Надеюсь, ты Богу усердно молилась
И на отца не смотрела игриво»

«Клянусь, я глаза к потолку отводила,
Как только касалась отца Иоанна,
Но вдруг из руки моей выпало мыло,
Его поглотила глубокая ванна.

Пришлось мне искать у отца между ног,
А он, соблюдая свой сан и обет,
Мне длань направлял и старался, как мог,
Пока не нашла я какой-то предмет...

Отец объяснил мне смиренно, но прямо,
Что вот уж без малого двадцать пять лет
Хранит он здесь ключ от небесного храма,
И это их с Господом общий секрет.

Но той, кому ключик к замку подойдет,
Откроется высшая благодать,
И с божьих небес на нее снизойдет
Спасенье, и вера, и радость.

Я ключ ощутила в заветном замке,
И болью откликнулось тело,
Но вскоре в уютном моем теремке
Волшебная флейта запела...»

«О, Боже! – воскликнула матушка тут, –
Ты мою веру в отца погубила!
Надул меня старый мошенник и плут,
Ключ выдав за рог Гавриила.

И вот уж без малого двадцать пять лет
(ведь подлый обман мне не ведом),
Я дую в него, выполняя обет,
После молитвы по средам...»



Александр Лейзерович

**Горе разуму – «Уриэль Акоста»
Карла Гуцкова**



Середина XIX века пришлось на период некоторого спада в европейской драматургии: на исходе волны предромантической и романтической драмы – Гёте, Шиллера, Гюго, де Виньи, Байрона, Шелли и других – и до появления «новой драмы» Ибсена, Чехова, Уайльда, Шоу, Гауптмана, Метерлинка, Шницлера и прочих.



Рембрандт ван Рейн. Портрет молодого еврея (~1656)

И как раз в это время появилась трагедия Карла Фердинанда Гуцкова «Уриэль Акоста», не менее полувека сохранявшая позицию чуть ли не самого популярного произведения современной драматургии. За неимением ещё не появившегося кино и, тем более, телевидения, театр оставался искусством самого эффективного воздействия на

массы, и постановки, спектакли «Уриэля Акосты» становились важнейшими событиями общественной жизни в разных странах.



C:\Documents and Settings\Д\ Д\Д»Д»Д°\Д\ Д¼Д.
Д'Д¼Д°Ñ\ Д¼Д\Д¼Д½Ñ\ Ñ\ \Д\ Д¼Д.
Д\ Д¼Д°Ñ\ Д¼Д\Д¼Д½Ñ\ Ñ\ \Ñ\ Д°Д'Ñ\ \7isk#5(18)\7isk#5(18)\Le
jzerovich2.jpg

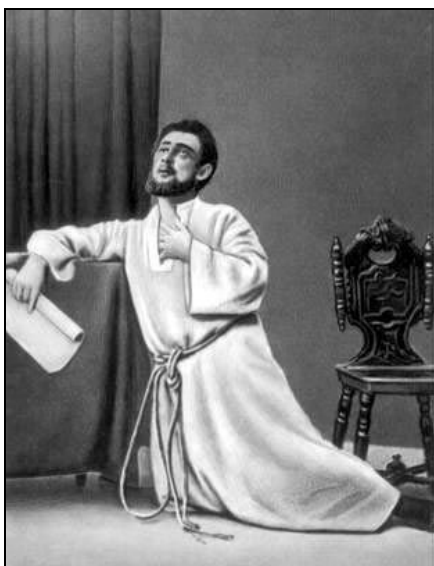
Карл Фердинанд Гуцков (1811-1878)

Карл Фердинанд Гуцков, немецкий писатель, драматург и публицист, родился в 1811 году. Изучал богословие, философию и право в Берлинском и Йенском университетах. Начал активную литературную деятельность в 1832 году, примкнув к группе молодых литераторов либерально-революционного направления, именовавших себя «Молодая Германия». Их лидерами и идейными вдохновителями были Генрих Гейне и Людвиг Бёрне. В 1833 году Гуцков опубликовал антиклерикальный роман «Мана Нура, история одного бога», а ещё через два года – роман «Валли», получивший широкую, хотя и во многом скандальную известность, в котором выступил сторонником свободной любви в духе Жорж Санд. После выхода этого романа влиятельный немецкий критик Вольфганг Менцель, который, кстати, сам же и направлял первые шаги молодого

Гуцкова в литературе и ввёл его в журналистику, объявил творчество Гуцкова антиморальным, посягающим на основы христианского государства и церкви. В результате Союзный Совет германских государств запретил публикацию любых произведений участников группы «Молодая Германия», не только уже написанных, но даже и тех, что когда-либо будут написаны, а сам Гуцков был приговорён к трём месяцам тюремного заключения. После выхода из тюрьмы Гуцков оказался во главе «Молодой Германии», точнее – её «праворейнской» группировки, последователей Бёрне, которые противостояли «леворейнской» группе – сторонников Гейне. Гуцкову тогда удалось объединить вокруг себя многих талантливых писателей и журналистов. В их числе был, в частности, и молодой Фридрих Энгельс. Впоследствии, правда, он, хотя и отмечал публицистический талант Гуцкова, признавая, что тот иногда пишет «изумительно метко», однако, вместе с тем, критиковал его за политическую ограниченность, не выходящую за рамки «либеральных фраз». Советская Литературная энциклопедия 1930 годов писала, что «с позиций либерального бюргерства Гуцков отстаивал гражданские свободы и выступал за объединение Германии. Но, борясь с реакцией, он не понимал движущих сил революционно-буржуазной мысли (левогегельянского движения), страшился революции и отрицал научный коммунизм». В начале 1840 годов Гуцков ушёл со сцены общественной жизни и посвятил себя в основном драматургии.

Его лучшее и наиболее известное драматическое произведение – «Уриэль Акоста» принадлежит к особому типу исторической трагедии, где центральное место занимает борьба идей, интеллектуальная дискуссия. Пьеса была написана в 1846 году; премьера состоялась в декабре того же года на сцене Дрезденского придворного театра. Спектакль прошёл с большим успехом, и уже в следующем году трагедия «Уриэль Акоста» была поставлена в Берлине и Лейпциге и затем, наряду с пьесами Шиллера, заняла почётное место в репертуаре немецкого театра, была переведена на основные европейские языки и с триумфом прошла по всей Европе.

В Википедии указано существование двух русских переводов «Уриэля Акосты»: 1872 и 1955 годов. Первый – это классический перевод Петра Исаевича Вейнберга, а второй – известной ленинградской переводчицы Эльги Львовны Линецкой-Фельдман, опубликованный в 1960 году в одномомнике пьес Гуцкова из серии «Библиотека драматурга» издательства «Искусство». На самом деле, существовал ещё, по крайней мере, один перевод – Георгия Пиралова, выпущенный издательством «Художественная литература» в 1936 году.



C:\Documents and Settings\Д\ Д\Д»Д»Д°Д\ Д¾Д
Д'Д¾Д°Ñ\ Д¼ДµД½Ñ\ Ñ\ \Д\ Д¾Д,
Д\ Д¾Д°Ñ\ Д¼ДµД½Ñ\ Ñ\ \Ñ\ Д°Д'Ñ\ \7isk#5(18)\7isk#5(18)\Le
jzerovich3.jpg

Александр Ленский в роли Акосты в спектакле Малого театра
(Москва, 1879)

В России первая постановка «Уриэля Акосты» состоялась в сезон 1875/76 годов в Вильно. В 1879 году «Уриэль Акоста» был поставлен в Москве в Малом театре в бенефис Марии Николаевны Ермоловой, выступившей в роли Юдифи; Уриэля Акосту играл Александр Ленский. В 1883 году на роль Акосты в спектакле Малого театра был

введен Александр Южин-Сумбатов. Впечатление, которое трагедия произвела на тогдашнюю российскую молодёжь, описал знаменитый журналист Влас Дорошевич, в те годы московский гимназист: «...Из нас никто не спал в ту ночь, когда мы впервые увидели «Уриэля Акосту». Вот это трагедия! Акоста! Это показалось нам выше Гамлета. "Это выше Шекспира!" – "Конечно же, выше!" – "Бесконечно! Неизмеримо!" – "Вот борьба! Борьба за идею!" <...>. Достать «Акосту» было нашим первым делом. Выучить наизусть – вторым. Мы все клялись быть Акостами».



C:\Documents and Settings\Д\ Д\Д\Д\Д\Д\ Д³⁄₄Д.
Д'Д³⁄₄Д°Ñ\ Д¼⁄₄ДμД½Ñ\ Ñ\ \Д\ Д³⁄₄Д.
Д\ Д³⁄₄Д°Ñ\ Д¼⁄₄ДμД½Ñ\ Ñ\ \Ñ\ Д°Д¹Ñ\ \7isk#5(18)\7isk#5(18)\Le
jzerovich4.jpg

Роберт Адельгейм в роли Акосты (1900-е гг.)

В 1880 году «Уриэль Акоста» был поставлен в Санкт-Петербурге в бенефис Николая Сазонова на сцене Императорского Александринского театра. В рецензии на этот спектакль поэт и критик Аполлон Плещеев писал, что такие пьесы «воспитывают в массе чувство гуманности, симпатию к свободной мысли, во все века подвергавшейся гонениям изуверства, обскурантизма и грубой силы... Разве

борьба, которую изображает нам Гуцков, завершилась и сделалась достоянием истории?» С 1883 года «Уриэль Акоста» шёл в театре Корша в Москве, с Митрофаном Ивановым-Козельским в роли Акосты. В 1895 году пьеса Гуцкова была показана на сцене Охотничьего клуба на Воздвиженке Московским обществом литературы и искусства – в постановке Станиславского; он же исполнитель заглавной роли; в роли Юдифи – Мария Фёдоровна Андреева. В 1904 году в Петербурге постановкой «Уриэля Акосты» был открыт театр Веры Фёдоровны Комиссаржевской, Акоста – Павел Самойлов. В 1910 году спектакль «Уриэль Акоста» был поставлен в Петербурге в Михайловском театре с Юрием Юрьевым в заглавной роли; затем эта постановка была перенесена на сцену Александринского театра.



Пётр Исаевич Вейнберг (1831-1908)

Уриэль Акоста, наряду с Гамлетом, Отелло, Чацким, Карлом Мокром, входил в число коронных ролей знаменитых русских трагиков-гастролёров, таких как Мамонт Дальский, Роберт Адельгейм, Адольф фон Зонненталь... Очень забавен, но вполне реалистичен рассказ

Александра Куприна «Как я был актёром», где действие вращается как раз вокруг постановки «Уриэля Акоста» в провинциальном театре в «скверном южном уездном городишке»: «В этом спектакле меня употребляли ещё два раза. В той сцене, где Акоста громит еврейскую рутину и потом падает, я должен был подхватить его на руки и волочить за кулисы. В этом деле мне помогал пожарный солдат, наряженный в такой же чёрный саван, как и я. Уриэлем Акостой оказался тот самый актер, что сидел давеча... на скамейке; он же был и известный харьковский артист Лара-Ларский. Подхватили мы его довольно неловко – он был мускулист и тяжел, – но, к счастью, не уронили. Он только сказал нам шёпотом: "Чтоб вас чёрт, олухи!" Так же благополучно мы его протащили сквозь узкие двери, хотя долго потом вся задняя стена древнего храма раскачивалась и волновалась».

Постановки «Уриэля Акоста» на русской сцене шли в переводе Вейнберга. Как вспоминает тот же Влас Дорошевич, «Почтенный редактор-издатель солидного и серьёзного журнала писал: На днях мы видели г. Ленского в трагедии "Уриэль Акоста" и не можем не похвалить артиста за такой серьёзный и идейный выбор пьесы. Говорят, г. Ленский кончил университет. "Уриэль Акоста" – превосходная пьеса и светлая личность. До сих пор мы считали г. Ленского способным только на Шекспира, но теперь видим, что он может идти и выше. Мы не поклонники авторитетов, но немецкого писателя Гуцкова готовы признать удивительным писателем. Нашему обществу, где верность идее представляет собою явление крайне редкое, подобные пьесы приносят огромную пользу. Нельзя не отнестись с похвалою и к г. Вейнбергу, который перевёл эту пьесу для русской сцены и тем сделал её достоянием русской мыслящей молодёжи. Г. Вейнберг, переводя подобные произведения, стоит на совершенно верном пути и может принести огромную пользу обществу». Перевод Вейнберга лёг также в основу либретто оперы, написанной Валентиной Серовой, женой композитора Александра Серова и матерью художника Валентина Серова. Опера Серовой «Уриэль Акоста» в 1885 году была

поставлена в Большом театре; а в 1889-м постановка была возобновлена с Шаляпиным в заглавной роли.

Пётр Исаевич Вейнберг – поэт, переводчик, журналист, историк и пропагандист литературы, печатавшийся под шутливым псевдонимом «Гейне из Тамбова», помимо драмы Гуцкова перевёл также с десяток пьес Шекспира, драму Лессинга «Натан Мудрый»; переводил с немецкого стихи Гейне, Гёте, Ленау, Уланда, с французского – Гюго, Мюссе, Барбье, с английского – Бёрнса, Лонгфелло, Браунинга, с итальянского – Данте, со скандинавских языков – Ибсена и Андерсена, с польского – Мицкевича; всего более шестидесяти авторов. О его переводах писали, что «отличаясь звучным и красивым стихом, они в то же время замечательны своей близостью к оригиналам». За издание двенадцатитомного собрания сочинений Генриха Гейне в лучших переводах того времени, включая и собственные, Вейнберг был удостоен Золотой медали и Пушкинской премии Российской Академии наук. О нём также писали, что «ни один другой русский переводчик XIX века, ни до, ни после Вейнберга, не оказал такого воздействия на развитие русской литературы, как он». На самом деле, это преувеличение и по своему влиянию Вейнберг, конечно, уступает, скажем, Жуковскому, но его заслуги в развитии русской литературы, а также и русского театра, несомненны.

В конце 1930 годов в московском Малом театре режиссёром Ильёй Судаковым спектакль «Уриэль Акоста» был возобновлён с Александром Остужевым в заглавной роли и Еленой Гоголевой в роли Юдифи. Исполнение Остужевым роли Уриэля, наряду с королём Лиром Михоэлса, Отелло Хоравы, Папазяна и того же Остужева, стало одним из символов освоения мировой театральной классики советским театром. Во втором составе Акосту играл Михаил Царёв. Пьеса шла в переводе Вейнберга, но отредактированном Михаилом Гальпериным, так что иногда он рассматривается в качестве отдельного перевода.

Единственным, кажется, прецедентом отказа от вейнберговского перевода на русской сцене явился спектакль 1974 года «Люди и страсти (по произведениям

классической немецкой литературы)» в Театре имени Ленсовета с Алисой Бруновной Фрейдлих, где, помимо прочего, актриса выступила в роли Уриэля Акосты в сцене его отречения из этой, как сказано в аннотации, «когда-то знаменитой пьесы». Был использован перевод Георгия Пиралова.

Текст Вейнберга лёг также в основу переводов «Уриэля Акосты» на языки народов СССР. Самая, наверно, знаменитая постановка была осуществлена Константином Марджановым в 1929 году на сцене Второго государственного театра Грузии в Кутаиси (ныне театр имени Марджанишвили); в роли Уриэля – Ушанги Чхеидзе, в роли Юдифи – Верико Анджапаридзе, художник Пётр Оцхели. В 2006 году в Грузии в память об этом спектакле он был восстановлен Верико Анджапаридзе с Котэ Махарадзе и Софико Чиаурели в главных ролях.



C:\Documents and Settings\DJ ДмД»Д»Д°\DJ Д³¼Д.
 Д'Д³¼Д°Ñ Д¼ДµД½Ñ Ñ \D Д³¼Д.
 Д Д³¼Д°Ñ Д¼ДµД½Ñ Ñ \Ñ Д°Д¹Ñ \7isk#5(18)\7isk#5(18)\Le
 jzerovich6.jpg

Сцена из спектакля «Уриэль Акоста» в постановке К. Марджанова (Кутаиси, 1929)

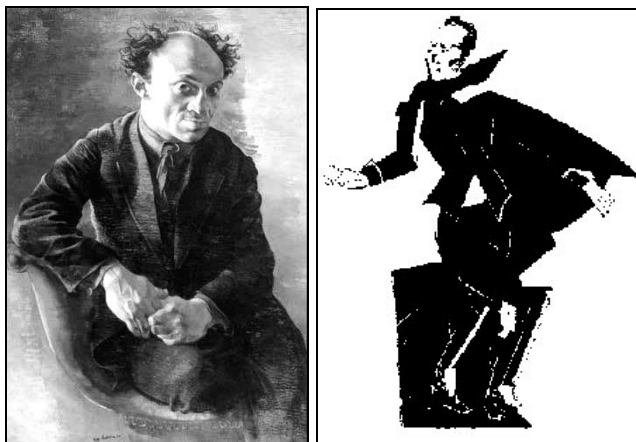
Текст Вейнберга был переведен на идиш Эммануилом Казакевичем для спектакля, поставленного в 1938 году на сцене Биробиджанского театра. Но к этому времени существовал уже немалый опыт постановки «Уриэля Акосты» на еврейской сцене.

Первым переводчиком пьесы на идиш был Осип Михайлович Лернер, театральный антрепренёр и литератор, одинаково много писавший на русском, идише и иврите. Недовольный «легкомысленностью», по его мнению, пьес Аврома Гольдфадена, «отца еврейского театра», Лернер видел свою задачу в том, чтобы «поднять еврейский театр до уровня европейского». Одним из главных средств для этого, по его представлениям, должен был стать переход на серьёзный драматический репертуар. И вот, создавая такой репертуар, Лернер сам перевёл на идиш ряд классических европейских пьес, в том числе трагедию Гуцкова. В 1880 году Лернер организовал собственную труппу, арендовав Мариинский театр в Одессе, и осенью там была показана премьера «Уриэля Акосты» с Абой Шейнгольдом в заглавной роли. Спектакль был с восторгом принят публикой, и этот успех, вероятно, подтолкнул Гольдфадена также перевести и в 1883 году самому поставить трагедию Гуцкова.

Долгие годы после этого «Уриэль Акоста» занимал одно из главных мест в репертуаре еврейского театра. В частности, Акосту в антрепризе Лернера играл Зигмунд (Зейлик) Могулеско, послуживший Шолом-Алейхему прототипом главного героя романа «Блуждающие звёзды» – актёра Лео Рафалеску, он же Лейб Рафалович, «сын богача Бени Рафаловича из Голенешти». Вот как описывает Шолом-Алейхем игру Рафалеско в роли Акосты: «Как выразительны были... глаза Рафалеско, как проникновенен их искромётный блеск! А как играло его лицо, поминутно менявшее своё выражение, отражая всю гамму его многообразных переживаний, всю трагедию его жизни, все страдания его сердца, все муки изболевшейся души. И всё это – без штампованных приёмов, без диких гримас, без вычурного жеста, без патетических выкриков. Он не хватался руками за сердце, не рвал длинных волос своего парика, не ломал рук, не ходил по сцене широкими шагами, не корчил страдальческих гримас. Зритель не мог не признать, что перед ним – исключительный художник, великий, осенённый благодатью свыше мастер, вдохновенный творец, артист Божьей милостью, который не

играет, а творит на сцене, живет полнокровной жизнью.» Впоследствии Могулеско перешёл в антрепризу с длинным названием «Общество еврейских опереточных и драматических артистов под режиссёрством Мориса Финкеля». Любопытно, в какой степени можно говорить о сходстве Лернера и Финкеля, соответственно, с Альбертом Щупаком и Бернгардом Гоцманом из романа Шолом-Алейхема? Но сейчас не об этом...

В роли Уриэля Акости прославился также Great Eagle – «великий орёл» идишской сцены Джейкоб (он же Яков Павлович) Адлер, актёр театра Гольдфадена, примкнувший затем к труппе Могулеско. С 1888 года он поселился в Америке и в 1902 году возглавил нью-йоркский еврейский Grand Theater.



Портрет С. Михоэлса и эскиз костюма Акости Натана Альтмана

Очевидным контрастом всей традиции исполнения роли Уриэля Акости в европейском, русском и еврейском театре явилась постановка пьесы в переводе Ривесмана в Еврейском Камерном театре (затем Государственном Еврейском театре – ГОСЕТ) Алексеем Грановским с Соломоном Михоэлсом в заглавной роли. Спектакль был поставлен в Петрограде в 1919 году, а затем, в 1922 году, в новой редакции, перенесен, в связи с переездом театра, в Москву. Достаточно взглянуть на портрет Михоэлса,

выполненный художником театра Натаном Альтманом, и сопоставить его с фотографиями других артистов, чтобы понять, насколько необычным было уже само появление Михоэlsa в этой роли. Журнальный критик писал: «Об исполнителе роли Уриэля Акосты – Михоэlse хочется сказать особо. Он, впрочем, и исполнителем не был. Таким мог быть и живой Акоста. Нельзя ведь искренне верить, что этот яркий, молодой философ был так безукоризненно красив и изящен, обладал непрменной эластичностью голоса и жеста, каким его обычно стараются представить большинство исполнителей этой роли. Тем Уриэль и мощен, что его сила внешне незаметна, тем и красив, что красота его внутренняя, а наружность обыденная, тем и выделяется среди людей, что он простой, такой же, как они, и огромно-другой в то же время. Михоэls не стал актёрским Уриэлем, его слова были красивее дикции и жеста, в этом большая, художественная правда». По мнению критиков, артист особенно выразительно выделил в своём персонаже «безудержный бунт мысли, бросающий вызов косности и лицемерию».

Впоследствии предполагалось восстановить спектакль «Уриэль Акоста» на сцене ГОСЕТ; новый перевод старой пьесы был сделан поэтом Давидом Гофштейном, но эта идея так и не была реализована.



Открытка с репродукцией картины М. Готлиба «Уриэль Акоста и Юдифь»

Пьеса Карла Гуцкова вдохновляла и художников. В частности, популярностью пользовалось полотно «Уриэль Акоста и Юдифь» еврейско-польско-австрийского художника Маурици Готлиба (интереснейшая статья о нём Шуламит Шалит опубликована в сетевом журнале «Мы здесь» № 196). Картина эта, впервые показанная на выставке в Лемберге (Львове) при жизни художника, после революции попала в Эрмитаж и была единственной картиной Готлиба в российских собраниях, но затем была продана и оказалась в Мексике.

Любопытно, что завязка пьесы Гуцкова удивительно напоминает начало «Горя от ума» Грибоедова, только как бы в зеркальном отображении, а именно: не Чацкий, а прообраз Молчалина – бен Иохан – возвращается после долгого пребывания за границей и застаёт свою возлюбленную, свою наречённую невесту с другим; у Гуцкова место грибоедовского Молчалина занимает прообраз Чацкого – Акоста. Есть ещё несколько странных сближений между комедией Грибоедова «Горе от ума» (или «Горе уму», как предпочитал называть эту пьесу В. Мейерхольд) и гуцковским «Уриэлем Акостой», но это всего лишь совпадения или, точнее, следствия того, что, как было показано Владимиром Яковлевичем Проппом, выдающимся ленинградским филологом, число возможных литературных сюжетов и сюжетных коллизий, число исполняемых функций действующего лица крайне ограничено, и отсюда неизбежны повторы и переклички. По непосредственному кругу своих занятий, Пропп был фольклористом и писал о морфологии сказки, но его выводы имеют более общий характер. Так что элементы сходства ситуаций у Грибоедова и Гуцкова вполне объяснимы, да и обе пьесы построены по одним и тем же законам европейской драматургии. Только у Грибоедова – комедия, комедия нравов, а у Гуцкова – трагедия, построенная на традициях немецкой драмы Лессинга и Шиллера. И, тем не менее, основой обеих пьес оказывается конфликт «ума» и косного общества. Или, применительно к драме Гуцкова, лучше сказать не ума, а – разума. Кстати, одна из очевидных погрешностей перевода Георгия Пиралова – это то, что у

[\7isk#5\(18\)\7isk#5\(18\)\Leizerovich10.jpg](#)

М. Оппенгейм. Визит Лессинга и Лафатера к Мозесу Мендельсону

Обращение в христианство Гейне и многих других образованных немецких евреев, несомненно, явилось побочным результатом распространения Гаскалы, еврейского Просвещения – движения, провозглашённого Мозесом Мендельсоном, которого называли третьим Моисеем (после библейского пророка Моисея и Моше Маймонида, Рамбама, – еврейского вероучителя, философа и врача XII века). Основным лозунгом Гаскалы было – «извлечь еврея из гетто». Один из ближайших друзей молодого Гейне, ученик Гегеля, основатель немецкого «Общества еврейской культуры и науки» Эдуард Ганс писал: «Мы хотим помочь сломать перегородку, отделившую евреев от христиан, еврейский мир от мира европейского; мы хотим указать всякой резкой особенности её путь ко всеобщему; мы хотим свести вместе то, что тысячелетиями шло рядом, не соприкасаясь... Еврейство не может умереть, но оно должно погрузиться в великое движение целого и всё же продолжать жить, как река продолжает жить в океане».

Вместе с тем, результатом Гаскалы явилось и обогащение немецкой культуры еврейскими темами. Следует назвать хотя бы драмы Готхольма-Эфраима Лессинга «Евреи» и «Натан Мудрый». Не говоря уже о творчестве Генриха Гейне, стоит отметить, что и второй лидер движения «Молодая Германия» – Людвиг Бёрне – тоже был крещёным евреем. Так что обращение Гуцкова к еврейской теме, еврейскому антуражу не так уж странно. Еврейские проблемы, конфликты, столкновения выступили прообразом, моделью жгучих общечеловеческих.



Я. Егоров. Уриэль Акоста, (современная гравюра)

Уриэль Акоста – вполне историческое лицо, и то, что он сообщает о себе в монологе из второго действия драмы Гуцкова, довольно близко, хотя и не точно, соответствует реальной биографии его прототипа. Правда, дальнейшая судьба Акосты была Гуцковым как бы сконденсирована и сжата во времени. Уриэль Акоста (изначально – да Коста) родился не то в 1585, не то в 1590 году в Португалии в семье марранов, крещёных евреев. и после смерти отца, верующего католика, семья бежала из Португалии, влившись в еврейскую общину Амстердама (напомню, что, по законам инквизиции, отпадение от христианства каралось казнью на костре), а сам Акоста сменил имя Габриэль, данное ему при крещении, на Уриэль. Однако оказалось, что представления об иудаизме, его понимание, сложившееся у Акосты, существенно отличается от реальной практики, и в 1624 году он опубликовал трактаты «Исследование традиции фарисеев в сравнении с Писанным Законом» и «О смертности души человеческой», в которых утверждал, что сложной обрядностью и формализмом раввины исказили учение Моисея и что доктрина о бессмертии и загробной жизни абсурдна и противоречит Библии. За это Акоста был подвергнут херему (отлучению от общины), аресту и штрафу; книги его были сожжены. В 1633 году, не выдержав

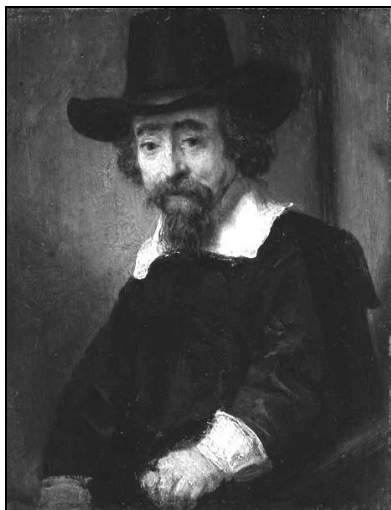
одинокства, Акоста стал искать примирения с еврейской общиной. Отлучение было снято, но Акоста продолжал развивать и высказывать свои взгляды. Теперь ему представлялось сомнительным уже и само якобы божественное происхождение «закона Моисеева», и все существующие религии стали рассматриваться им как человеческое изобретение. Не отрицая существования Бога, Акоста ратовал за «естественную религию», свободную от всякой регламентированной обрядности, и выводил принципы морали, этики человеческого поведения не из заповедей, данных Свыше, а непосредственно из человеческой природы, потребностей человеческого общества. За выражение подобных еретических взглядов и несоблюдение еврейских религиозных законов Акоста был повторно подвергнут херему. В 1640 году и это отлучение было снято после того, как Акоста публично отрёкся от своих взглядов. Его как кающегося еретика подвергли традиционным 39 ударам плетью, и все прихожане переступили через него, лежащего при выходе из синагоги (то есть символически попрали его ногами). Дух Акосты был сломлен, и вскоре, в том же 1640 году, он покончил с собой. Из сочинений Акосты полностью уцелела только написанная им автобиография, названная «Пример человеческой жизни», которая и была использована Гуцковым при написании пьесы. На русском языке «Пример человеческой жизни» Акосты вместе с уцелевшими главами трактата «О смертности души человеческой» был выпущен издательством Academia в 1934.



Барух Спиноза (1632-1677)

В 1960, а затем в 1980 годы были изданы и потом переизданы книги об Уриэле Акосте – «Вольнодумец Акоста» и «Трагедия Уриэля Акосты» – Моисея Соломоновича Беленького, бывшего директора театрального училища при Государственном еврейском театре и главного редактора издательства «Дер Эмес», который чудом уцелел после разгрома в 1948 году Еврейского антифашистского комитета, закрытия театра и издательства, пройдя через тюрьму и лагеря.

Согласно сегодняшним представлениям, философия Акосты характеризуется как деизм, то есть доктрина, признающая существование Бога как некоего абстрактного мирового разума, который создал целесообразную «машину» природы, дал ей законы функционирования и привёл в движение, но при этом отрицающая дальнейшее вмешательство Высших сил в самодвижение природы и не допускающая иных путей познания Бога, кроме как посредством разума.



Рембрандт ван Рейн. Врач-еврей

C:\Documents and Settings\Д\ ДμД»Д»Д°Д\ Д¾Д. Д'Д¾Д°Ñ\ Д¼ДμД½Ñ\ Ñ\ Д\ Д¾Д. Д\ Д¾Д°Ñ\ Д¼ДμД½Ñ\ Ñ\ \Ñ\ Д°Д¹Ñ\ \7isk#5(18)\7isk#5(18)\Le jzerovich12.jpgАкоста был первым еврейским вольнодумцем нового времени, антагонистом религиозного фанатизма и обскурантизма, борцом за право человека, пользуясь словами Спинозы, думать то, что он хочет, и говорить то, что он думает. Уриэль Акоста был много старше Баруха Спинозы, был его предшественником и вдохновителем. К моменту смерти первого в 1640 году второму было всего восемь лет. На картине еврейско-немецкого художника Шмуэля Хиршенберга, находящейся в Лувре, Акоста изображён наставником юного Спинозы. Но похоже, что это всего лишь легенда. В пьесе же Гуцкова Спиноза фигурирует как племянник Акосты – вполне эпизодический, но, тем не менее, символический персонаж.

Судьба Спинозы во многом оказалась сходна с судьбой Акосты, как бы списана с неё. Подвергнутый еврейской общиной за свои идеи и научные воззрения «великому отлучению и проклятию», он был вынужден бежать из Амстердама. На «Богословско-политический трактат» Спинозы с одинаковой яростью ополчились и

иудейские, и христианские теологи, а распоряжением светских властей Голландии продажа и распространение книг Спинозы были запрещены. В отличие от Акосты, философия Спинозы характеризуется как «пантеизм» и основывается на идее отождествления понятий и сущностей Бога и Природы.



Ван-Дейк Антонис. Портрет Вирджинио Чезарини (1622-23)

C:\Documents and Settings\Д\ ДмД»Д»Д°Д\ Д¼Д. Д'Д¼Д°Ñ\ Д¼ДмД½Ñ\ Ñ\ \Д\ Д¼Д. Д\ Д¼Д°Ñ\ Д¼ДмД½Ñ\ Ñ\ \Ñ\ Д°Д'Ñ\ \7isk#5(18)\7isk#5(18)\Le jzerovich13.jpgЗемляком и младшим современником Уриэля Акосты был художник Рембрандт Харменс ван Рейн, дом которого соседствовал с Еврейским кварталом, чьи обитатели были в числе излюбленных моделей Рембрандта – достаточно вспомнить «Еврейскую невесту», «Саул и Давид», «Давид и Урия», «Возвращение блудного сына» и многие другие картины на библейские сюжеты, а также портреты стариков-евреев. Но мне кажется, что к психологическому портрету личности типа Уриэля Акосты ближе подошёл другой великий художник, некоторое время проживавший в Амстердаме, будучи как раз непосредственно современником Акосты. Я имею в виду Антониса Ван-Дейка, годы жизни которого (1599-1641) почти совпадают с годами жизни Акосты. Дело не только в

том, что Рембрандт ходил по улицам Еврейского квартала Амстердама в поисках моделей для своих картин позже – в 1650 годы, когда Уриэль Акоста уже ушёл из жизни, – для самого Рембрандта представляли интерес модели другого круга – погружённые в себя, отрешённые от суетных забот окружающего мира.

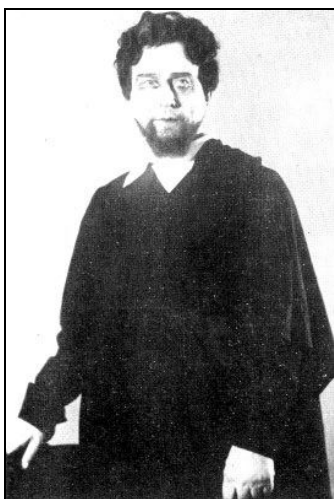


Доменикино. набросок портрета Вирджинии Чезарини

Излишне, наверно, говорить, что прижизненных изображений Уриэля Акосты не существовало или, по крайней мере, не сохранилось. Поэтому и актёры в роли Уриэля, и изображавшие его художники никак не были связаны необходимостью воспроизведения портретного сходства или хоть какого-то подобия. Свободны и мы, мысленно воспроизводя его облик. Наиболее близким к Уриэлю Акосте по своим психофизическим характеристикам мне изначально казался ван-дейковский «Мужской портрет», хранящийся в Эрмитаже. В прежнее время картина эта атрибутировалась как портрет Лазаря Махаркейзуса, амстердамского врача, почему я и вспомнил о нём в связи с Акостой. Считалось, что портрет написан в Амстердаме вскоре после возвращения Ван-Дейка из Италии в 1627 году. Однако датировка холста сместилась на более ранние годы (1622-23), и сейчас считается, что портрет изображает итальянского (тоscanского) поэта, близкого друга Галилея, Вирджинию Чезарини (годы жизни 1595-

1624). Тем не менее, мне по-прежнему представляется, что реальный Уриэль Акоста мог быть похож на человека, изображённого Ван-Дейком, – с его нервическими движениями рук, взволнованной мимикой художавого лица, неизменной готовностью вступить в дискуссию. В конце концов, не так уж важно, кого на самом деле писал Ван-Дейк, – этот человек кажется внутренне гораздо более близким к Акосте и более похожим на него, чем многие фотографии знаменитых артистов, его изображавших.

Может быть, ещё ближе к облику Акосты набросок изображения того же человека с портрета Ван Дейка, сделанный итальянским художником Доменикино.



Александр Остужев в роли Акосты в спектакле Малого театра (Москва, 1940)

Сохранилась запись монолога Акосты в исполнении Остужева из спектакля Малого театра 1940 года. Конечно, и в то время актёрская манера Остужева уже выглядела академической и несколько старомодной, тем более – сегодня, и тем не менее... – ламентации Уриэля после сцены отречения производят сильное впечатление (перевод Петра Вейнберга): «...Позорное признание! В грудь мою ты ранами кровавыми вписалось и в ней стоишь недвижимей, чем на этом пергаменте, где языками змей и стрелами, и чёрными

ножами начертанным тебя увидел я. Этих ран уж никакой бальзам не исцелит, а если бы случилось, что зажили от времени они, то шрамы их, увы!, не будут шрамы почётные бесстрашного бойца. В моей тюрьме сегодня ночью мне снилась мать моя. Вся кротостью дыша, родимая пришла меня утешить. А рядом с ней, в сиянии лучезарном, моя Юдифь... Проснулся я... Передо мной опять тюрьмы моей нагие стены, и бешенство почувал я в душе, как Галилей! Да, Галилей, под пытку ты должен был признаться, что земля не движется, но чуть минутный роздых был дан тебе, ты на ноги вскочил, и пронеслись пред сонмом кардиналов, как громовой раскат, твои слова: А всё-таки она вертётся!..»



К. Банти. Галилей перед инквизицией, 1857

«А всё-таки она вертётся!» – на самом деле, реальный, исторический Уриэль Акоста никак не мог повторить слова Галилея, якобы брошенные им в лицо инквизиторам в 1633 году после своего формального отречения от концепции гелиоцентрической системы Коперника – первое отлучение Акосты произошло в 1624 году, то есть ещё до покаяния Галилея; второй же раз Акоста был подвергнут отлучению как раз в том же 1633 году. Даже если считать, что известие о вызове, брошенном Галилеем инквизиции, успело бы достичь Амстердама, приходится констатировать, что в биографии Галилея,

написанной его ближайшим учеником Винченцо Вивиани, эта сакраментальная фраза не упоминается даже намёком. Как утверждают историки, миф о произнесенном Галилеем «А всё-таки она вертётся!» был создан и запущен в обращение только в 1757 году (то есть через сто с лишним лет после отречения Галилея) итальянским журналистом Джузеппе Баретти и получил широкое распространение после перевода книги Баретти на французский язык. Более того, похоже, что большая часть европейского общества, а уж российского – тем более, впервые услышала слова Галилея... произнесенными именно Уриэлем Акостой в пьесе Гуцкова. По крайней мере, во всех русских сборниках афоризмов и крылатых выражений ещё с дореволюционных времён апокрифическая фраза Галилея приводится с неизменным дополнением: «Позже немецкий поэт и драматург Карл Гуцков вложил эти слова в уста Уриэля Акосты – героя его трагедии. Эта пьеса часто ставилась в России в конце XIX – начале XX веков, что способствовало распространению этого выражения в русском обществе».

Кстати, корифеи Малого театра, законодатели московского произношения, произносили эту фразу именно так: «А всё-таки она вертётся!», и первым, кто нарушил эту традицию и ввёл в обращение более просторечное – «А всё-таки она вёртится!», был Константин Сергеевич Станиславский в постановке 1895 года.

Но что уж совершенно точно и неоспоримо – это, что пьеса Гуцкова, с её бешеной популярностью не только в России, но и на родине, в Германии, и в том числе именно прозвучавший только что монолог послужили «затравкой» для другой знаменитой немецкой пьесы, но созданной на сто лет позже, – «Жизнь Галилея» Бертольда Брехта. Сохранившаяся запись монолога Галилея из пьесы Брехта в исполнении Владимира Высоцкого и её сопоставление с записью Остужева в «Уриэле Акосте» дают возможность наглядно увидеть, с одной стороны, развитие идей, прозвучавших в пьесе Гуцкова, и, с другой, – изменение самой драматической, театральной традиции за 100 лет от Гуцкова до Брехта (в том числе применительно к жанру «драмы идей»), а также удивительную трансформацию

искусства актёра и нашего, зрительского, представления об актёрском мастерстве, об искусстве монолога – всего за сорок лет, от Остужева до Высоцкого.



Б. Жутовский. Борис Слуцкий

В советской поэзии образ Уриэля Акосты принадлежит перу Бориса Слуцкого, но целиком практически не опубликованное. Большая часть этого стихотворения была впервые напечатана в сборнике «Менора: еврейские мотивы в русской поэзии», выпущенном в 1993 году совместно Еврейским университетом в Москве и иерусалимским издательством «Гешарим». Для этого издания исследователем творчества Слуцкого, его как бы «душеприказчиком» Юрием Болдыревым были впервые предоставлены несколько до тех пор неизвестных стихотворений «на еврейскую тему», которые затем многократно перепечатывались и цитировались. При этом в оглавлении сборника «Менора» была дана сноска – «Имеется вариант под названием «Уриэль Акоста», но сам он приведен не был.

В 2009 году в журнале «Слово/Word» появилась обширная статья Марата Гринберга «Лошади Слуцкого:

метапоэтическое прочтение библейского поэта» с довольно схоластической, на мой взгляд, попыткой осмысления Слуцким пресловутой «еврейской темы». В статье сообщается, что стихотворение «Уриэль Акоста» в полном виде первый и единственный (до этой статьи) раз было напечатано в романе Григория Свирского «Прорыв», второй книге трилогии «Ветка Палестины», а также процитировано в англоязычной статье Шимона Маркиша, русский оригинал которой не сохранился. Вопреки Гринбергу, у Свирского стихотворение дано без названия, отличаясь от широкоизвестного текста только дополнительным четверостишием в середине. Вместе с тем, именно отсылка к Уриэлю Акосте в названии стихотворения вносит в него как бы второй план, делает его более многозначным или, точнее, неоднозначным, позволяя услышать дополнительные смыслы в сопоставлении с трагической судьбой Акосты – реального человека, исторического персонажа или героя театральной драмы. И если у Гуцкова трагедия завершается оптимистической, я бы даже сказал – бодряческой, декларацией де Сильвы – «Деянья наши в жизни побеждают!», то для Слуцкого исходной трагической данностью является жизненный крах, а уже последующее допускает возможности различных трактовок. Не хочется заниматься толкованием и представлением своего личного понимания – «каждый выбирает для себя» ... Итак,

Борис Слуцкий:

Уриэль Акоста

Созреваю или старею –
Прозреваю в себе еврея.
Я-то думал, что я пробился.
Я-то думал, что я прорвался,
Не пробился я, а разбился,
Не прорвался я, а зарвался...
Я читаюсь не слева направо,
По-еврейски – справа налево.
Я мечтал про большую славу,
А дождался большого гнева.

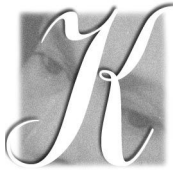
Я, шагнувший ногой одною
То ли в подданство, то ли в гражданство,
Возвращаюсь в безродье родное,
Возвращаюсь из точки в Пространство...



Григорий Рыскин

Гибрид Пятницы и Робинзона

(Карибский репортаж)



то сотворил эти песчаные барельефы на пляже, в тени пальмовой рощи? Золотистый спрут галантно обнял русалочку двумя щупальцами.

И лев... И львица... Беременная... А, может, буйволенком пообедала? И тут же буйвол. Однорогий. Один рог сдул карибский бриз. Ну и пусть... Все равно волна сожрет всех. Останется гладкий песчаный паркет, по которому опять пойдут загорелые веселые пузаны с «олд леди» и молодые белокурые бестии с «топлесс» подругами, гордо несущими свою плодово-ягодную красу.

У творца песчаного бестиария кожа цвета доминиканского рома... Тяжелая грива пшеничных волос, заплетенных в негритянские косички, заброшена за спину... Зубы безупречны... Как будто ввинчены голливудским дантистом. Глаза у человека зеленые...

Его можно показывать за деньги, как генетический феномен. Он и в самом деле демонстрирует себя. Туристы дарят ему доллары и евро...

Наверняка, стада нордических женщин, загорающих «топлесс», хотели бы ребенка от племенного креола...

Каждая клеточка этого супер-красавца поет «Гимн к Радости»:

Обнимитесь, миллионы,
Поцелуй вселенной всей...

С такой вывеской можно не работать... Ему следовало бы дать Нобеля... За внешность...

Мы забываем о терапевтическом значении творчества. Кайф от сигареты, стакана хорошего вина, даже радостей любви – несопоставим с седьмым небом искусства. Лучшее всего об этом сказал Набоков в стихотворении о Толстом:

Почти нечеловеческая тайна.
Я говорю о тех ночах, когда
Толстой творил, я говорю о чуде,
Об урагане образов, летящих
По черным небесам в час созиданья,
В час воплощенья... Ведь живые люди
Родились в эти ночи... Так Господь
Избраннику передает свое
Старинное и благодатное право
Творить миры и в созданную плоть
Вдыхать мгновенно
Дух неповторимый.

Sharing in the creation of something is very exhilarating (Дерек Уолкот) – Принимать участие в творении чего-то очень радостное занятие.

Пляжный бог творит из песка. Купнется – пообедает – опять к своему песчаному бестиарию. Кто он? Моцарт или Сальери? А ему плевать... Как и буддийским монахам, выложившим давешним летом на нью-йоркском асфальте священную мандалу из цветного песка, а потом ссыпавшим все в Гудзон.

Карибы учат принять чудо как часть бытия. Разве эти креолы не чудо: гремучая смесь индийской и африканской крови с кровью шведских, датских, английских пиратов.

О, эта медовокожая... с каштановыми глазами и арктической белизной меж лиловых губ...

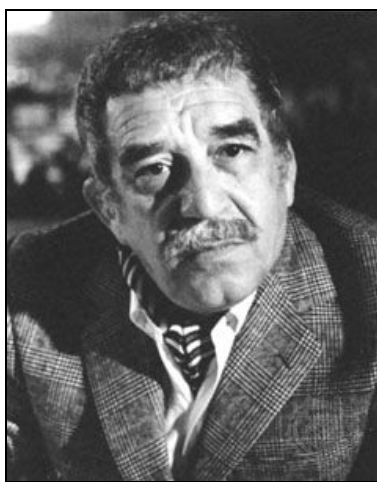
«Бог взял семена из миров иных и посеял на землю...И взросло все, что могло взрасти. Но все на земле живет через таинственное касание мирам иным». (Ф. Достоевский)

Утром мы оставляем на подушках по доллару. По возвращении обнаруживаем на каждой кровати по лебедю, сложенному из полотенец... В знак благодатности. А когда мы положили однажды пять долларов, нас приветствовало

целое стадо белых лебедей... В ванной же обнаружили выводок утят, сложенных из салфеток.

Еще бы. Бак (доллар) стоит 35 песо... Цена сытного обеда в бадеге. С рисом, мясом, жареными бананами.

Они завидуют нам, мы завидуем им. Их ослепительным улыбкам, стройным ногам, ритмам карибских танцев. Их пальмам и банановым плантациям, их теплому морю со всеми оттенками аквамарина, их вечному тропическому лету, их родному испанскому. Потому что они могут читать в подлиннике Габриэля Гарсия Маркеса.



Габриэль Гарсия Маркес

Он расскажет нам о Карибах больше, чем сорок тысяч экскурсоводов:

– Уйди, – прохрипел он.

– Ты осел, – прошептала Ана.

– Бог наделил тебя красивыми глазами, но обделил умом.

Дамасо схватил ее за волосы, вывернул руку и заставил нагнуться, процедив сквозь зубы:

– Сказал, уйди.

Ана посмотрела на него сбоку глазом, вывернутым, как у быка под ярмом.

– Ребенка убьешь, – сказала она...

На улицах Пуэрто-Платы они обычно просили money. Но эти сидели молча и только моргали. Видимо, потому что пляжники не имели кошельков, а многие даже одежды.

Что делают здесь, в будний день, эти моргающие статуи из черного дерева? Сидят в обнимку с пальмами, глядят на вереницы гринго, снующих по мягкому паркету, отполированному теплыми волнами, на «топплес» белых женщин... с грудями как спелые кокосы.

Что думают креолы о нас? Подозревают ли – какая ТАМ суета: и траффик, и моргидж, и биллы?.. А воздух настоян на канцерогене.

В Доминиканской республике нет социальных программ: о стариках заботятся семьи. Их фудстемпы – дармовые связки бананов. Их пособие по безработице – гроздь кокосов. Их шелтер – кровля из пальмовых листьев. Что важнее – пенсионный фонд или тропическое лето длиной в двенадцать месяцев?

Если тут нищета, то почему средняя продолжительность жизни в банановой республике – 76 лет? На двадцать больше чем в России.

Понимают ли креолы, каким томлением духа расплачиваемся мы за мгновения курортного счастья? Какой аскезой труда и суеты. Что рай не ТАМ, а ЗДЕСЬ, где тропические листья сделаны из зеленого сафьяна, где вместо кондиционера океанский бриз, где воздух настоян на йоде и водорослях, где в море водятся розовые парго и синие корвины.

Ведь не случайно именно в этих широтах народилась проза магического реализма.

Она народилась там, на другом берегу Карибского моря. Город называется АРАКАТАСА... Как будто кто-то ударил в там-там...

Если провести прямую на юг, на той стороне можно увидеть Габриэля Гарсия Маркеса. Что делает он сейчас на колумбийской вилле? Ну, конечно, творит МАГИЧЕСКУЮ ПРОЗУ:

На исходе недели стервятники – грифы разодрали металлические оконные сетки, проникли через окна и балкон

в президентский дворец, взмахами крыльев всколыхнули в дворцовых покоях спертый воздух застоявшегося времени.

Живя на экваторе, нельзя писать по-другому. Если здесь у моря семь оттенков аквамарина, птицы и рыбы играют всеми цветами радуги, а люди представляют всемирный расовый спектр:

Поезд, выйдя из дрожащего коридора ярко-красных скал, углубился в банановые плантации, бесконечные и одинаковые справа и слева, и тогда воздух стал влажным и перестал ощущаться ветерок с моря.

Чалые горбатые быки в банановых рощах... Фигуры, ставшие деревьями... Попугаи, павлины, грифы, завладевшие небом... Пыльные адские города по соседству с раем прибрежных курортов... Нищие разноцветные хижинки, под всклокоченными крышами из пальмовых листьев, танцуют самбу на карибском ветру.

Негритянские и индейские мифы переплелись здесь, как тропические растения... Космогония здесь еще не завершена...

В 1967-м, когда я мотался репортером по Каракумам, репортер Габриэль Гарсия Маркес предложил "Editorial Sudamericana" свой первый роман "Cien Anos de Soledad" (Сто лет одиночества). Издатели были так потрясены, что решили немедленно выпустить книгу неизвестного автора в количестве 8 000 экземпляров. Через неделю тираж пришлось повторить. А потом еще и еще. Автору было сорок.

В мои годы он давно был нобелевским лауреатом, имел в каждой латиноамериканской столице по особняку, не считая Лондона, Барселоны, Парижа. И он не думал о «маркетинге». Вместо этого публиковал каждые четыре года по книге, и каждый раз оглушительный успех.

Успех необходим таланту, как бродильный элемент вину. Потому что НЕУСПЕХ порождает ужас перед белым листом бумаги...

«И привычный ужас охватил его», – передает это писательское ощущение Сергей Довлатов...

В творчестве необходим эксперимент. Для эксперимента успех, порождающий уверенность в себе. Уверенность порождает нахальство.

Назовем его творческой смелостью.

Усатый, веселый, белозубый, Габриэль Гарсия Маркес... Бесстрашный...

У Маркеса слово, фраза, мысль – повернуты необычно и свежо, как пальмовая ветвь на карибском ветру.

«Слышно, как на улице ГУДИТ СОЛНЦЕ, но больше ни звука».

Это мальчик впервые в жизни видит мертвеца:

Воздух спертый, тугой – такое впечатление, будто его можно согнуть, как стальную пластину...

В спальне, куда положили мертвеца, пахнет чемоданами, но я их нигде не вижу... рот приоткрыт, и из-под синих губ выглядывают неровные грязные зубы. Я думал, что покойник похож на тихо спящего человека, но теперь вижу, что как раз наоборот: он вроде бодрствует и еще не остыл после драки...

Если читатель хочет знать, что такое Латинская Америка, достаточно одного диалога у Маркеса. Речь все о том же висельнике:

Обмахивая шляпой искаженное от духоты и водки лицо, смотря на веревку, оценивая ее прочность, алькальд говорит:

– Не может быть, чтобы такая тонкая веревка выдержала вес его тела.

– Эта самая веревка много лет выдерживала вес его тела в гамаке.

– Невозможно. Веревка коротка, мою шею она не обхватит.

Мне ясно, что его нелогичность намерена – он изыскивает предлог не допустить похорон.

– А вы не заметили, что он по крайней мере на голову выше вас.

– Все равно я не убежден, что он воспользовался именно этой веревкой.

Не дав ему закончить, я спрашиваю:

– Сколько?

И он становится совсем другим человеком.

Тут вся Латинская Америка с ее тотальной коррупцией. Совсем как в России.

Но одно дело умереть на севере, в дождь, в слякоть. Прорасти осиною. И совсем другое – пальмой. Да и не веришь в эту смерть. Какая же смерть в раю.

В рассказе Маркеса «Сиеста во вторник» священник вручает матери убитого ключ от кладбища:

На гвозде, вбитом в дверцу, висели два больших ржавых ключа: именно такими представляла себе девочка и ее мать, когда была девочкой, и, должно быть, сам священник, Ключи Святого Петра...

Ключи от кладбища открывают здесь райские ворота... Это и есть МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ. Здесь самое подходящее место для великой литературы: Карпентьер, Фуентос, Кортасар, Борхес, Маркес, Уолкот...

Но если эти места для вас только прогулки вдоль моря, ритмы босановы, коктейли в кокосе, – раскройте лучше глянцевый рекламный проспект и вкусите сполна курортного счастья.

Но для меня нет счастья без искусства слова.

These sun-bleached villages
Where the church bell
Caves in the sides
Of the grey-scurfed shack
That is shuttered
With warped boards, with rust,
With crabs crawling
Under the house shadow
Where the children played house,
A net rotting among cans...

Эти выбеленные солнцем деревни,
Где церковный колокол
Обрушивается сквозь стены
Шелудивой хижины,
Забитой
Покорбленными досками, со ржавчиной,

С крабами, заползающими в тень от дома,
Где дети играли в домик
И сеть гниет среди жестянок.
(перевод Г. Рыскина)

Здесь дихотомия красоты и убожества, богатства и нищеты, курорта и хижины... Здесь поэзия без рифмы с жесткими ритмами... Концепция песни вытекла из нее, как вода из уха. Музыка рождается самим языком...

Дерек Уолкот такой яркий и свежий, что забываешь позабывать нобелевской его судьбе.

Нордические светло-серо-голубые глаза, посередине африканский нос образует правильный треугольник. Проволочные сизые усы лезут в рот. Дерек не черный и не белый. Он медовый.

Сколько в нем намешано кровей. Какой генетический кордебалет. Дед по отцовской линии, Чарлз, англичанин. Иммигрировал на Барбадос в конце восемнадцатого столетия. Став плантатором на острове Санта Лючия, прижил с коричневой женщиной пятерых детей. Один из ее сыновей, Варвик, отец Дерека. Мать будущего нобелевского лауреата, Аликс, дочь голландца Йоханна Ван Ромондта, земледельца с острова Сант Мартен, и коричневой женщины.

У Дерека Уолкота нет расы, национальности, истории.

I had no nation now
But the imagination
After the white man
The niggers
Didn't want me...

У меня не было национальности,
Только воображение.
Меня не принимали за своего
Ни белые
Ни ниггеры...

(перевод Г. Рыскина)

Что остается ему, пергаментному креолу? Муза, классическая культура, английский язык. Он дух расщепленного на острова Карибского бассейна. Гибрид Пятницы и Робинзона...

Родина Дерека почти бесплотна. Метафизическая родина. Остров Санта Лючия такой крохотный, что на нем не осталось места для патриотизма. Самый маленький между Мартиникой и Барбадосом.

На карте Карибского бассейна кубинская акула-молот и доминиканская камбала хотят пожить в Пуэрто Рико... Прочее – не достойный внимания планктон.

Островок переходил из рук в руки четырнадцать раз. После того как карибские индейцы, захватив его, съели индейцев племени Аравак, исконных обитателей Санта Люции.

На Карибах так много красавиц. В ресторане, где обычно обедает нобелевский лауреат, его обслуживает официантка ослепительной красоты.

Семидесятилетний поэт не скрывает своей любви. Подобно троянским старцам, что оборачивались вслед Елене Прекрасной.

Вокруг молоденькой, тоненькой, оливковой ...завихрилась поэма «Омерос» – семь книг карибского эпоса. Без них нет Дерека Уолкота.

Классический сюжет гомеровской «Илиады» он заполняет телами и голосами карибских креолов. Вместо троянской Елены, у него Елена с острова Санта Лючия, за обладание которой борются соискатели:

...now the mirage
dissolved to a women
with a madras head-tie,
but the head proud,
although it was looking for work,
I felt like standing in homage
to a beauty,
“Who the hell is that?”
a tourist near my table
asked a waitress. The waitress said,
“She? She too proud”.

The waitress sneered, "Helen".
And all the rest followed..."

И вот мираж
превратился в женщину
с ярким шелковым платком
на гордой, но озабоченной головке.
И я почувствовал благоговение
перед этой красотой.
– Кто это, черт возьми? – спросил официантку
турист за соседним столиком.
– Она? Она слишком горда, Елена, –
ухмыльнулась официантка
и остальные вслед за ней.

(перевод Г. Рыскина)

Кстати, в этом самом ресторане, в честь нобелевского лауреата, подают блюдо Derek Walkot Асра – лепешка из соленой рыбы в креольском соусе с жареным сладким картофелем. Но знают ли они настоящую цену своему поэту? Умеют ли читать по-английски? Да и читать вообще?

Я гадаю на стихах Уолкота, как в молодости на «Евгении Онегине»... Пытаюсь найти в тексте предсказания и... нахожу...

Только теперь, вместо петербургской новогодней ночи, тропический полдень...

At the end of this sentence
Rain will begin.
At the rains edge, a sail.
Slowly the sail will lose
Sight of islands...

В конце этого предложения
Начнется дождь.
На кромке дождя – парус.
Медленно парус
Потеряет из виду острова.

(перевод Г. Рыскина)

Вы, конечно, не поверите, но именно на эту, 423 страницу, упала первая капля... И я вынужден был подвинуть свой лежак поглубже, под лохматую шляпу деревянного гриба.

Я перебираю эти стихи, как восточный человек – четки:

Silent wife
We can sit, watching grey water,
And in a life awash
With mediocrity and trash
Life rock-like...

Присмирившая жена,
Мы можем сидеть, наблюдая серую воду...
В жизни, омываемой
Пошлостью и чепухой,
Жизнь как скала...

(перевод Г. Рыскина)

Я лежу на карибском берегу. Моя жена – silent... И человек «с облачными глазами» (Гомер) берет в щепоть струи дождя, как струны арфы, и извлекает из нее эпические строки...

Дерек помещает Итаку среди Карибских островов. Одиссей и его спутники – креолы. Говорят на испанском... На каждом острове – свой акцент... Но автор изображает все на английском.

This is my ocean,
But it is speaking another language,
Since its
Accent changes
Around different islands...

Это мой океан,
Но он говорит на другом языке,
Акцент которого
На каждом острове свой.

(перевод Г. Рыскина)

Он закончил колледж Святой Марии в городке Кастрис, где изучал латынь, всемирную историю, английскую литературу. И писал стихи.

Вместо того чтобы отговорить сына от этого неприбыльного дела, Аликс, школьная учительница, подрабатывавшая шитьем, дала ему деньги на издание первого поэтического сборника. Университет он закончил на Ямайке, где получил степень бакалавра искусств.

Успех Уолкота можно объяснить еще и тем, что Дерек о двух крылах. Его поэма о художнике Камилле Писарро (он родился на карибском острове Сент Томас) вышла с двадцатью шестью акварелями поэта. Дерек пишет и маслом. На обложке его «Избранного» – расколотый кокос. Сборник «Середина лета» украшает темнолистое дерево морского миндаля.

“In any case, I was so happy to be at home , where one could paint year-round, outdoors...” – В любом случае, я так счастлив дома, где можно рисовать круглый год на открытом воздухе.

Чтобы понять Карибы, нужно прочитать девять томов его поэзии, многочисленные эссе, речи, пьесы... Он Пимен этой расщепленной на острова ойкумены.

Парадокс в том, что большинство компатриотов не могут прочитать Уолкота в оригинале. Английским пользуется исключительно элита. Обитатели этих парадоксальных островов в основном испаноязычные. Продукция карибского поэта существует только в экспортном исполнении...

«Поэт, не дорожи любовью народной» (Пушкин). Это о нем... Подлинная поэзия аристократична по своей природе... На семинаре в Бостонском университете Дерек Уолкот говорит именно об этом: “The problem is that you Americans think poetry is democratic. Its not. Its ARISTOCRATIC...”

Уолкет и Бродский встретились в 1977-м, на похоронах Роберта Лоуэлла. С этого года Дерек стал преподавать в американских университетах. А в 1982-м получил должность *visiting professor* в Гарварде. Туда же пригласили с лекциями Бродского.

Собирались на квартире у Дерека. Читали стихи, обменивались литературными новостями и идеями. Не потому ли эта конвергенция ритмов и образов между Бродским и Уолкотом...

Я был в Риме. Был залит светом.
Так, как только может мечтать обломок.
На сетчатке моей –
Золотой пятак.
Хватит на всю длину потемок.
(Бродский «Римские элегии»)
Уолкот:
The suns brass come on my cheek
This island is heaven.

И там и здесь солнце сравнивается с монетой... Только у Бродского золотой пятак на сетчатке трупа... Посреди залитого солнцем Рима русского поэта подстерегает смерть:

Я, хватаясь рукою за грудь, поодавь
Считаю с прожитой жизни сдачу...

У Дерека монета медная. И не на сетчатке, а на щеке. У Бродского тоска элегическая, скорбная... Уолкота никогда не покидает радость. Он родился и живет в карибском раю. И если горнего рая нет – он уже там побывал...

У Бродского, как и у Уолкота, много описательных деталей, аллитераций, повторов. Строка ломается, образуя свою собственную каденцию. Поэзия как исследование на пути к истине... Одновременно лирика и editorial.

Создается впечатление, что, говоря об Уолкоте, Бродский имеет в виду себя:

Некоторые современники обратили внимание на преемственный и вместе с тем обновляющий характер его творчества. Чем он замечателен? Это классическая манера, которая не является альтернативой модернизму, а абсорбирует модернизм.

Но Уолкет был бы невозможен в Петербурге, ибо там карибский Нобель мгновенно превратился бы в icicle – сосульку... Он и сам это подтверждает:

Here, in Manhattan, I lead a tight life
And a cold one, my soles stiffen with ice
Even through woolen socks
And, in this heart of darkness,
I cannot believe
They are now talking over palings
By the doddering
Banana fences, or that seas
Can be warm...

Здесь, в Манхеттене, у меня напряженная жизнь
И холодная, мои подошвы коченеют
Даже сквозь шерстяные носки...
И в этом сердце тьмы я не могу поверить,
Что-то кто-то беседует сейчас поверх
Шатких банановых оград
Или что моря могут быть теплыми...
(перевод Г. Рыскина)

А ведь Манхеттен, с его музеями, бродвейскими театрами, Метрополитен Опера, – южнее Ялты.

Что бы сказал карибский поэт, если бы попал в российскую глубинку?.. Например, в архангельскую деревню, место ссылки своего друга – «НОБЕЛЕВСКОГО ТУНЕЯДЦА».

И надо же было случиться такому, что под занавес... Как будто, и в самом деле, из «сердца тьмы», пришло мне вот это письмо ...Его принес Ангел Смерти, неожиданно-негаданно... Малахамовес разносит его сейчас по интернету:

«Великий Габриэль Гарсия Маркес уходит от нас. Рак, которым он страдал, дал метастазы в лимфатические узлы, а это означает, что срок его недолог. Он знает об этом лучше кого бы то ни было. Нам, остающимся, он адресует

это прощальное письмо – один из последних даров миру прекрасного человека и подлинного мастера.

ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО ГАБРИЭЛЯ ГАРСИЯ МАРКЕСА

«Если бы Господь Бог на секунду забыл о том, что я тряпичная кукла, и даровал мне немного жизни, я не сказал бы всего, что думаю, я бы больше думал о том, что говорю. Я бы ценил вещи не по их стоимости, а по их значимости. Я бы спал меньше, мечтал больше, сознавая, что каждая минута с закрытыми глазами – это потеря шестидесяти секунд света. Я бы ходил, когда другие от этого воздерживаются, я бы просыпался, когда другие спят, я бы слушал, когда другие говорят.

И как бы я наслаждался шоколадным мороженым. Если бы Господь дал мне немного жизни, я бы одевался просто, поднимался с первым лучом солнца, обнажая не только тело, но и душу.

Боже мой, если бы у меня было немного времени, я заковал бы свою ненависть в лед и ждал, пока покажется солнце. Я рисовал бы при звездах, как Ван Гог, мечтал, читая стихи Бенедетти, и песнь Серра была бы моей лунной серенадой. Я омывал бы розы своими слезами, чтобы вкусить боль от их шипов и алый поцелуй их лепестков.

Боже мой, если бы у меня было немного жизни, я бы не пропустил дня, чтобы не говорить любимым людям, что я их люблю. Я бы убеждал каждую женщину и каждого мужчину, что люблю их, я бы жил в любви с любовью. Я бы доказал людям, насколько они не правы, думая, что, когда они стареют, то перестают любить. Напротив, они стареют, потому что перестают любить.

Ребенку я дал бы крылья, и сам научил бы его летать. Стариков я научил бы тому, что смерть приходит не от старости, а от забвения.

Я ведь тоже многому научился у вас, люди. Я узнал, что каждый хочет жить на вершине горы, не догадываясь, что истинное счастье ожидает его на спуске. Я понял, что когда новорожденный впервые хватается отцовский палец крошечным кулачком, он хватается его навсегда. Я понял, что

человек имеет право взглянуть на другого сверху вниз, лишь для того, чтобы помочь ему встать на ноги.

Я так многому научился от вас, но, по правде говоря, от всего этого немного пользы, ПОТОМУ ЧТО, НАБИВ ЭТИМ СУНДУК, Я УМИРАЮ...»

Это прощальное слово МАСТЕРА, который однажды сказал:

«Живи так, как будто живешь в раю».

Нью-Йорк



Роланд Кулесский

От замка к дому в пустыне

(Общее в символике романов «Замок»
Ф. Кафки и «В доме своём в пустыне»

М. Шалева)

Введение



Герои романа классика израильской литературы, Меира Шалева, кроме главного, Рафаэля Майера, необычны. Среди них «Наши Мужчины», включающие всех мужчин семьи, как в настоящем, так и в прошлом, «Большая Женщина» (сестра, мать, Чёрная Тётя, Рыжая Тётя и бабушка Рафаэля), Иерусалим как некое мистическое существо, скорее, из подсознания героя, и Рок, преследующий наших Мужчин.

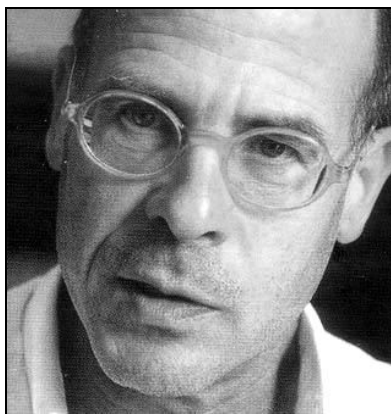
Суть проклятия, тяготеющего над мужчинами этой семьи, в том, что все они «случайно» гибнут, не достигнув 45-лет.

Что кроется за этим проклятием, как противостоять его неизбежности, как воспитывать молодое поколение, обречённое на вдовство или смерть, – все эти вопросы живут на страницах романа и ищут своих ответов в душе Читателя.

Критика, которую нашёл в интернете, поверхностна и скорее занята пересказом фабулы, называя роман ностальгическим «по старому Израилю», совершенно не касаясь его интригующей символики.

Проблемы поиска своего места в жизни, требующего душевных усилий, осознания происходящего, обоснования стратегии поведения и непростого нравственного выбора, не менее актуальны в иных ситуациях, в частности, в

эмиграции. И здесь М. Шалев, как мне кажется, в определённой мере принимает эстафету от Ф. Кафки с его романом «Замок». При этом критика рассматривает злоключения героя романа **К.**, как активное негативное вмешательство, идущее от Замка. С этим трудно однозначно согласиться, и с этого положения мы начнём обсуждения.



Меир Шалев

Оба романа глубоко символичны – о поиске своего места в жизни, о цельности человеческой натуры, духовности и верности в любви и о том, как быть в согласии с внешним миром и в ладу с самим собой.

Замок: феномен дуальности

*Власть развращает, а абсолютная
власть развращает абсолютно*
лорд Эктон

Роман начинается с прибытия главного героя, **К.** в некую Деревню, прибытия, носящего притчевый характер, ибо неизвестны, откуда он прибыл, его внешность и возраст, что это за деревня, которая как бы только называется деревней, так как ею управляют из Замка сотни, если не тысячи чиновников. В ней можно видеть чуть ли не модель некой цивилизации, страны (так в Библии, когда речь идёт о патриархах, часто имеются в виду народы, а не отдельные

личности). Иначе говоря, как положено в притче, изображаются не события, а сообщения о них (здесь и далее цитаты из романов выделяются курсивом):

К. шёл впереди, не сводя глаз с Замка, – ничто другое его не интересовало. Весь Замок, каким он виделся издали, соответствовал ожиданиям К. Но чем ближе он подходил, тем больше разочаровывал его Замок, уже казавшийся просто жалким городишком, чьи домишки отличались от изб только тем, что были построены из камня, да и то штукатурка на них давно отлепилась, а каменная кладка явно крошилась. Это была не старинная рыцарская крепость, и не роскошный новый дворец, а целый ряд строений... и множества прижавшихся друг к другу низких зданий». Из этого описания, по крайней мере, внешне, Замок мог бы напоминать Иерусалим XIX века, как следует из фотографии ниже.

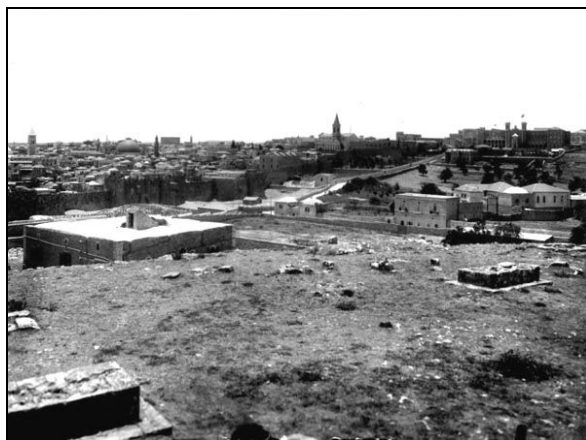


Франц Кафка

Однако можно допустить, что сходство это не только внешнее, поскольку очень скоро выясняется, что Замок облеплен тучами чиновников, курьеров, советников, писцов и сторожей, не подпускающих к нему и уж тем более не пропускающих внутрь. Это одинаково описывает как

времена Оттоманской империи, славящейся засильем бюрократии, так и порядки и нравы Габсбургской монархии.

Это же вызывает подозрение, что бюрократия стремится что-то скрыть, быть может, «иную, истинную» суть Замка, и возможно, истинный статус Замка высок и благороден.



Подозрение усиливается, когда Ольга, сестра Амалии, рассказывает **К.**, *что там во всём – кроме причуд челяди – царит большая скромность, там честолюбивый человек ищет удовлетворения только в работе, а так как тогда сама работа становится превыше всего, то всякое честолюбие пропадает – для детских мечтаний там места нет... там Варнава (брат Ольги) ясно увидел, как велика и власть, и мудрость даже тех, собственно говоря, очень неважных чиновников, в чьих комнатах ему разрешалось бывать.*

Таким образом, Замок представляется читателю дуально как две сущности, одна – спрятанная в его глубине, позитивная, готовая пойти навстречу человеку, и – другая, что снаружи, негативная, враждебная человеку. Эти две сущности отрицают друг друга так же, как не могут существовать друг без друга.

С одной стороны, где-то в глубине Замка кто-то встречал людей удивительных – умных, глубоких, лишённых предрассудков, доступных разговору и

способных понять и решать. Но они заняты какими-то очень важными и сложными проблемами, поэтому к ним попасть очень трудно, им – не до простых земных дел. Этот рассказ Ольги очень вдохновляет **К.** и совпадает с тем, что он сам чувствует.

С другой стороны, роман полон потрясающе издевательски смешных сатирических сцен бюрократической среды, чиновничества, кошмара бумажного засилья и глупостей, нелепости, бессмысленности принятого порядка и унижений просителей.

Итак, Замок может видеться читателю как **носитель некой истины**, а все бюрократические препятствия, мешающие в него проникнуть, – **как символы внутренней путаницы человека**, стремящегося этой истиной овладеть. К примеру, если Замок – некая «**приёмная Бога**», то эти препятствия – проделки «**дьявольской силы**», какой-то ирреальный бред, порождения некоего дьявольского тумана, в котором шарахается герой, не всегда сам понимая, где он и реально ли то, что с ним происходит. И, более того, не всегда можно отделить реальное от кажущегося.

К. как эмигрант

Чтобы стать безупречным членом стада овец, нужно в первую очередь быть овцой

А. Эйнштейн

Цель приезда **К.** – заработать денег, работая землемером (его пригласили, якобы есть письмо), осесть в Деревне, завести семью. И в течение всего романа он пытается попасть в Замок, так как только там должны знать, что его действительно нанимают и дают право осесть в Деревне, что он конкретно должен делать, кто конкретно его нанимает, сколько и кто платит и т. п. Замок же словно «заколдован», попасть туда никак не удаётся.

К. полифоничен, он в постоянном внутреннем диалоге, он по определению активен в своих исканиях. Он как творчески активная личность не отчаивается, ищет путей проникновения в Замок, и, если Замок – «**материализованная истина**» или **символ истины**, то понятно, что попасть туда в течение одной жизни непросто,

возможно это смогут лишь потомки, подобно внукам разведчиков Канаана, которые вошли в Канаан через 40 лет после того, как их деды увидели «свой Замок».

С этой точки зрения, история К. не может быть дописана до конца, как нельзя дойти до конца в поиске истины, поэтому роман в принципе не может быть закончен и его реальная незаконченность воспринимается почти как литературный приём.

К. и семейное проклятие

Как пишет в прекрасной критической статье Л. Затонский, на вопрос М. Брода к Кафке, как должен кончаться роман, он получил ответ, что **К. не прекращает борьбу, однако умирает от истощения сил.**

Интересен вопрос, при каких условиях **К.** мог бы быть включён в число **Наших Мужчин** у М. Шалева? Притчевый характер повествования, допускающий широкое толкование, не препятствует такой постановке. Мы, мой Читатель, можем предположить, что **К.** далёкий предок Рафаэля Майера, умерший молодым, до 45-и от истощения сил, живший где-то в Европе, в провинции Габсбургской монархии, и эмигрировавший в Иерусалим. Там у них с Фридой (о Фриде чуть ниже) могли родиться дети, и в новейшей истории их род венчает Рафаэль Майер. Заметим, что умереть от истощения сил в борьбе – значит не рассчитывать своих сил, иначе говоря, «умереть случайно». Итак, я полагаю, что **К. дополняет список Наших Мужчин, при этом Иерусалим олицетворяет собой Замок.** Ни один из эпизодов «Замка» не противоречит этой посылке, притчевый характер повествования её допускает, а атмосфера мистического реализма этому способствует.

Семейное проклятие

Проклятие бодрит, благословение расслабляет
Уильям Блейк

Известно, дорогой Читатель, что к проклятию как литературному приёму не предъявляется требований достоверности. Рок, живущий в семейной саге, позволяет читателю постигнуть героя как экзистенцию в ситуациях, в которые загоняет его проклятие, вводимое в повествование как начальное условие.

Вместе с тем, тайна подобного вымысла завораживает и не даёт покоя, поскольку скрывает некое важное знание, без которого трудно закрыть книгу удовлетворённым.

Надо сказать, что **Наши Мужчины**, принимая Рок как данное, воспринимают его, на первый взгляд, не слишком серьёзно, будучи людьми современными и образованными, включая и **К.** Однако погружаясь в повествование, невозможно уйти от аналогий ТАНАХа и среды мистического реализма, в рамках которого оно живёт.

Действительно, как может **Наш Эдуард** видеть зловещее предостережение себе в истории Авессалома, висящего в ветвях дерева, запутавшись в них волосами, и убитого стрелой из лука (**2 Цар 18 9**), – себе, душа которого запуталась в огненных волосах Рыжей Тёти, и убитого тем последним камнем, что прилетит от взрыва в каменоломне...

или **Наш Элизер**, ветеринар экстра-класса, убитый быком, пытаясь удержать его, схватив за рога, как был убит Иоав, что бежал в скинию Господа и ухватился за роги жертвенника (**3 Цар 2 28**);

или **Наш Рафаэль**, повесившийся в коровнике подобно тому, как Ахитофел, что сделал завещание дому своему, и удавился и умер (**2 Цар 17 23**);

или **Наш Давид**, раздавленный танком ночью, когда он спал, и подобно ему лежал мёртвый Амессай в крови среди дороги... и стащили Амессая с дороги в поле... но когда был стащен с дороги, то весь народ пошёл... дальше мимо (**2 Цар 20 12**), или как может **К.** видеть предостережение в том, как жители Вителуи, томились голодом и жаждой, страдая от истощения, прежде, чем были спасены подвигом Иудифи (**Иуд 7 13-14**).

В романе пугающий букет таких «случайных» смертей, четыре из которых удостоились портретной галереи в доме бабушки Рафаэля: *Когда ты наконец умрёшь, Рафаэль? Когда наконец и ты присоединишься?...* Таким образом, Наши Мужчины разделили судьбу мужчин древнего Израиля.

Где же источник злой воли, преследующей Наших Мужчин? Так и хочется произнести что-нибудь типа

реинкарнации, но не стоит искать ответ в мистицизме. Этот источник имеет, как мне видится, человеческую природу.

Иерусалим/Замок: снова о феномене дуальности

*...отступил Дух Господень, и возмутил его злой дух
от Господа..*

(1 Цар 16 14)

Углубляешься в роман, и начинает казаться, что Иерусалим является носителем некоего рокового проклятия, где в течение трёх тысяч лет религиозного эклектизма, смен царей, пророков, священников, армий, существовало духовное насилие над живущими в нём людьми. В результате, город оказался заселённым людьми и их потомками, духовно сломленными, выдающимися мертвецами, сиротами, слепыми, сумасшедшими, ставшими его «любимцами» и вписавшимися в его историю.



На самом деле у Города два лица, доброе и злое. В противостоянии этому последнему, первыми «случайно» гибнут наиболее талантливые, здоровые, молодые (не нужно далеко ходить за примерами, достаточно вспомнить советскую историю), что и создаёт иллюзию мистического начала. Израильский философ А. Барац называет это явление «**сверхъестественным отбором**». Именно их усилиями, лучших и погибающих первыми, Город защищает

слабых и именно это формирует семейное проклятие, которого страшится Рафаэль.

В каждом городе могут быть дома сирот, сумасшедших, слепых, символизирующих деяния злого начала. В романе они преследуют героя, как Медный всадник преследовал Евгения на улицах Петербурга. И герой романа «бежит от преследования», находя спасение в пустыне, в своём доме.

Вот пятидесятидвухлетний Рафаэль в пикапе мчится в свой дом. *...и вот уже город, злобный к животным и людям, скрывается за горой и исчезает вместе со своей слепотой, и своим сиротством, и своим сумасшествием, и только башни Сторожевой и Масличной горы ещё отражаются в моих боковых зеркалах, выпученные, как злые глаза змеи из красного песка заката.*



Вот мать, будучи студенткой, пишет по ночам иллюстрированные письма своей матери. *Это Иерусалим, – писала она – Город сирот, и слепых, и сумасшедших. И рисовала стёртые временем следы царей, и коней, и земледельцев, и ослов, и полководцев, каждый в свой черёд, по этой дороге... где сегодня большая городская улица.*

А по ночам одичалый клич шакалов завлекал к себе влагилица уличных сук, и вопли слепых, сирот и сумасшедших вылетали из зарешечённых окон и поднимались над тремя большими домами нашего маленького квартала.

Бегство от преследования, от сил зла, реальных или воображаемых, означает, с одной стороны, отказ от прямой борьбы, но с другой, – постройку своего Дома в Пустыне, где отсутствует диктат Города, то есть такого Дома, который станет альтернативой Замку. Тем самым Рафаэль находит новый инструмент/оружие для противостояния «силам зла», питающим семейное проклятие.

Присмотримся более внимательно к жизни Рафаэля в его доме в пустыне.

Ритуал рутины как признак индивидуальной религиозности

*Мне нравится соблюдать ритуал
рутины, я не знаю лучшего способа,
каким бы мог выжить мужчина.*

М. Шалев, В доме своём в пустыне

А что в пустыне, где дом пятидесятидвулетнего Рафаэля?: *В пустыне есть знаки и останки, дороги и следы, но в том, что касается меня, то, кроме тех мест, где побывала Рона, пустыня пуста от воспоминаний.* Иначе говоря, здесь для Рафаэля, мой Читатель, нет духовного диктата «зла». Здесь у него друзья, *Вакнин-Кудесник*, который *разговаривает с ним о Боге и просит благословить*, здесь они часто лежат с Роной и *капли золота и синевы, солнца и ветра просачиваются к ним сквозь кружево листьев акации, чёрные вороны пустыни устраивают в его честь представления, кружась и кувыркаясь, тучи ос сопровождают его, не злобно, без вызова и угрозы*, а однажды он увидел *мужчину и женщину – не молодых, голых, в чём мать родила и обнимающих друг друга (коллеги по ремеслу, мастера забвения и воссоздания):*

...Их появление в этом мира слое,

Нам подтверждением, насколько все одни...

В размышлениях, медитациях, любви, текущей работе, в общении с миром, в котором нет вызова и угроз, проявляет себя персональный **ритуал рутины Рафаэля**. Но ритуальность, если и недостаточный, то необходимый признак всякой религиозности. Современному человеку духовное наследие предков (иудаизм, христианство...)

может казаться противоречивым и не всегда убедительным, оно деспотично и может вызывать недоверие к религиозной традиции. Вместе с тем, «свято место пусто не бывает», и, как справедливо отмечает А. Барац в одной из своих статей, люди ищут духовную опору в индивидуальной религиозности. **Эта религиозность, не означает отказа от традиции, но требует наполнения её индивидуальным ритуалом.** Тогда человек будет следовать ей только в соответствии со своей убеждённостью. Такая традиция, к примеру, задаётся Ветхим Заветом, принимаемым и иудеями, и христианами. Фактически, ей следует и герой романа, что его и спасает, ибо в рамках персональной религиозной доктрины постепенно выявляется ответ на вопрос, как жить дальше ему, сформировавшемуся под диктатом Большой Женщины.

Роковое в этом формировании укладывается в известную сентенцию, что «благими намерениями (Большой Женщины) вымощена дорога в ад» Суди сам, Читатель:

Большая Женщина: символика Рока

*...дыхание тёплого рта, щекотная ласка
кончика носа, язык, вылизывающий царапину...*

М. Шалев, В доме своём в пустыне

Порой Рафаэль поднимается из пустыни в Иерусалим (в него нельзя войти/въехать, – лишь подняться), чтобы навестить Большую Женщину – сестру, и Мать, и Чёрную Тётю, и Рыжую Тётю, и столетнюю бабушку, которая никогда не забывает ему сообщить: «Я не умру, Рафинька, пока не увижу тебя в гробу. Большая Женщина живёт в декорациях традиции, она принимает семейное проклятие как данное и непреодолимое, воплощая диктат Рока. Трудно придумать более страшный символ тому, как здесь заявил о себе Рок!

Да, Большая Женщина, Женщина с большой буквы, есть в жизни каждого Мужчины, наверняка и в жизни **К.**, просто Кафка об этом не написал.. Она вывела Рафаэля в жизнь, привив ему этические правила и нормы жизни, вкус к красоте, эстетику отношений взрослого и ребёнка, бережного сопровождая мальчика в мир мужчин: *...шалфейный запах её молодости и юношеский запах моего*

желания, который пробивался ко мне сквозь ткань в углублении её колен; ...Дыхание тёплого рта, щекотная ласка кончика носа, язык, вылизывающий царяпину, тысяча колышущихся локонов... Ты можешь представить себе, каким способом мужчина мог бы расти лучше? – Нет, мама, я не представляю лучшего способа.

Очевидно, что воспитывается **снова мужчина, лучший среди других**, и потому обречённый Проклятием на случайную гибель.



Рона и Фрида

А что же Рона, бывшая жена Рафаэля? Когда-то Рона бросила его, снова вышла замуж, затем взяла его в любовники, и теперь у неё *есть муж, дети, и много работы и ей ещё предстоит долго вести машину обратно* после очередного любовного свидания с Рафаэлем. Она сумела разорвать «роковую причинную связь», ибо, бросив Рафаэля, порвала с семьей, где обречена была стать вдовой и, в то же время, взяв его в любовники, осталась верной их любви. Можно сказать, что для неё в некотором смысле справедливо Гамлетовское «распалась связь времён» и на этом «разрыве» она **нашла Свою Пустыню и построила в ней Свой Дом.**

Не менее плодотворно активна, изобретательна, оптимистична и Фрида, подруга **К.**, влюбившаяся в него с первого взгляда. Будучи содержанкой крупного чиновника Кламма, немедленно порвала с ним, готовая на лишения и бедность во имя любви и своего Дома.

Страницы романов, посвящённые этим четырём наполнены высочайшей поэзией, *они обнялись, маленькое тело горело в объятиях у К.; в каком-то тумане, из которого К. безуспешно пытался выбраться, они прокатились несколько шагов, глухо ударившись о двери Кламма и затихли в лужах пива и среди мусора на полу... И потекли часы, часы общего дыхания, общего сердцебиения, часы, когда К. непрерывно ощущал, что он заблудился или уже так далеко забрёл на чужбину... – на чужбину, где самый воздух состоял из других частиц, чем дома, где можно было задохнуться от этой отчуждённости, но ничего нельзя было сделать с её бессмысленными соблазнами.*

Остаётся лишь вспомнить, что Ф. Достоевский видел нравственное на пересечении эстетического и этического. Кто же в романе носитель эталона гармонии, его эстетического кредо? Им является Авраам, *последний каменотёс Израиля*, которому невозможно не дать здесь слова:

Символ гармонии: кубики для королевы

Она любила его самой лучшей из Любостей – той, к которой примешивалось также знание: знание о родстве и сходстве соприкасающихся пальцев.

М. Шалев, В доме своём в пустыне

Если Большая Женщина привила Рафаэлю вкус к красоте, то Авраам-каменотёс показал ему, что гармония подчиняется измерению, символом которой стали выточенные из камня кубики, несущие физическое тепло чувств создателя: *Волшебное очарование таилось в этих кубиках. Во-первых, они выточены из одного куска «малхи» – «царского камня». Во-вторых, ...диагональ каждого предыдущего равна ребру следующего... их двадцать один... и ты поставишь их рядом и откроется последовательность* (напомним, что в кабалистике двадцать один – знак совершенства), *не имеющая ничего общего с*

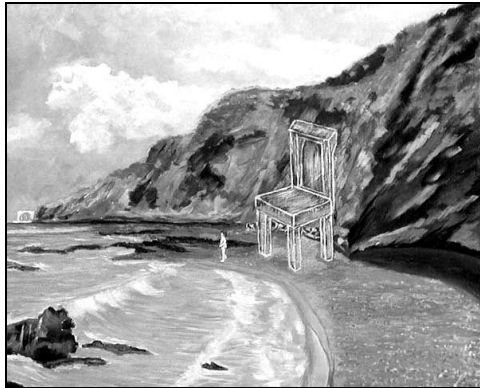
унылостью арифметического ряда или с нарастающей грозностью геометрической прогрессии. Она подняла кубик... сильный жар разлился по её руке, и странное спокойствие, с примесью страха, вошло в её кровь.

Это был подарок возлюбленной, достойный королевы.

Он же, Авраам, открыл Рафаэлю красоту и притягательность женственности, раскрывающей себя в поклонении своей королеве. И что может представлять собой трон, на котором женщина почувствовала бы себя королевой: *Садись-садись на мои ладони... Рыжая Тётя вдруг сделала шаг вперёд – и вот уже шелест бёдер и голубизна живота совсем близко, почти рядом с его приподнятым лицом... как королева на троне... она не сияла улыбкой, и сердце её не смягчилось, но глаза её были прикрыты и губы слегка раскрылись... и в воздухе плыло облачко её тёплого и душистого дыхания... большие слезинки покатались по изваянным склонам её щёк.*

Вместо заключения:

найди Свою Пустыню и построй Свой Дом



*Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто
смотрит на облака, тому не жать*

Екк 11 4.

И вот Рафаэль уже старше всех, достигнутых случайной смертью в их роду, и начинает казаться, что ему удаётся вырваться из-под власти преследующего его деспотичного и безжалостного Рока. Одно плохо – Рона не с

ним и можно было бы закончить это исследование благословением Вакнина-Кудесника: *Пусть Бог поможет тебе, Рафаэль Майер, чтобы женщина, которую ты любишь, вернулась к тебе и стала снова твоей!*

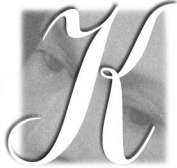
Для меня, однако, роман как бы не закончен. Конечно, он не обрывается на полуслове, как «Замок» Ф. Кафки, но в нём ещё нет окончательного ответа на то, что будет с его героями, ведь им «снова было нужно жить», как сказал бы А. Платонов.

Одно ясно: как массовая эмиграция 90-х годов **нашла Свою Пустыню в крошечном Израиле и построила в ней Свой Дом**, так и герои романа обретут себя в построенном ими доме, ибо «их дом – их крепость». Так и каждого из нас, дорогой Читатель, всегда готова принять его Пустыня, в которой найдёт место его Дом.



Инна Иохвидович

О книге Владимира Цесиса «Страницы доброты»



нига Цесиса – книга «Записок детского врача». «Записки врача» имеют в русской литературе своеобразную нишу, от Чеховского «Случая из практики», Вересаевских «Записок», до книг Амосова, Крелина и других...

Эта книга одновременно встраивается и не встраивается в этот ряд. Во-первых, потому что это не только внимательный взгляд врача на своих пациентов (от момента рождения и до 18 лет), как пишет автор: «У педиатра редкая возможность наблюдать за человеком в динамике жизни, видеть чудо становления новой личности». А сам педиатр, считает он «является как бы «дальним родственником» своего маленького пациента.... А во-вторых, Вл. Цесис предстаёт перед нами не просто как врач, целитель не только тел, но и душ, но и как культуролог и философ, как человек, показывающий нам социокультурные феномены США изнутри, как человек, равнодушно всматривающийся в душевную, духовную, общественную жизнь сложнейшего, мультикультурного сообщества. И в-третьих, как настоящий летописец, он донёс до нас и атмосферу 70-х годов прошлого века, мы видим и молдавское село, где он работает молодым врачом, узнаём подлинную историю эпидемии Одесской холеры 1970 года и многое другое, хоть узнаваемое, но как бы уже полузабытое, из бывшей советской действительности.

Уже с первых страниц повествование, а казалось бы всего-навсего «Записки врача», захватывает. Ведь истории о которых рассказывает Вл. Цесис не просто близки современникам, это истории почти каждого родителя и

ребёнка. Здесь и о «нелюбви» родителей к детям («Много ли ребёнку любви нужно?»), о современной, ведь раньше подобного не наблюдалось «боязни родителей», те стали бояться собственных детей; Цесис, как профессионал предупреждает: «Истерика родителей воспринимается детьми, как победа над ними». Доктор, на американский манер «док» Цесис в своих историях рассказывает и показывает нам жизнь многих семей, в которых растут маленькие дети, с множеством психологических проблем, будь то детское ожирение, рвота, с повышенным уровнем тревоги, потерей веры детей в своих родителей, с проблемами питания, когда детей закармливают молочной и мучной пищей, ведущей к железодефицитной анемии; со страданиями подростков, мучающихся от ночного энуреза; различных состояниях кишечника у детей; о всевозможных осложнениях (побочных эффектах от применения лекарственных препаратов), занимающих пятое место в ряду причин смертности населения в США, ежегодно от этого умирает 106 000 человек, и о многом ином, что просто необходимо знать и родителям, и дедушкам с бабушками, т. е. всем нам.

Будни своей врачебной практики, своего офиса описаны автором, как увлекательные, волнующие истории, близкие всем. Хотелось бы, чтобы педиатрами всего мира была прочитана эта книга, она ведь не только о том, как лечить детей, но и о том, как уважать их, как беречь и любить...

Цесис много размышляет о судьбах не только детей, но и их родителей. Ведь для детского врача особенно важно иметь доверительный контакт с родителями. Поэтому в повествования часто вплетается непосредственно история семьи. Автор часто и болезненно реагирует на разрушение института семьи в современном обществе («Хорошо организованный процесс разрушения семьи»), ему-то, как никому другому ведомо, что «семью не заменить ничем», он, как педиатр, особенно ощущает: «неполная семья» становится как бы узаконенной «нормой», он пишет и о зависимостях родителей (алкогольной и наркотической), называемых в США эвфемизмом «химический дисбаланс»...

Особенно остро реагирует врач на раннее, подростковое материнство-отцовство. У Цесиса с болью вырывается: «В обществе невиданной свободы дети растят детей!»

Автор много пишет о самой стране, в которой живёт уже больше тридцати лет. Я бы назвала эту книгу ещё и прекрасным пособием по страноведению, ведь острый писательский взгляд может рассказать об этой стране, об «этом бравом, прекрасном, новом мире» куда больше учебников, посвящённых ей. Мы как-то мало задумываемся над тем, что индивидуальная независимость в Америке возведена в культ, и что «вечная» проблема «отцов и детей» в США остра, как может быть нигде в мире. «Родители и дети, – отмечает автор, – живут в разных временных координатах, и отношения между ними вертикальны, а не горизонтальны... Экзистенциальная разница между поколениями непреодолима...» Пишет Цесис и об «издержках» общества неограниченной свободы, особенно тогда, когда погибают его пациенты-подростки, как это случилось с Весли Элдерсом, погибшим в перестрелке уличных банд. Ещё раз писатель напоминает нам об уникальности и незаменимости каждого отдельного человека, его личности... Недаром автор вспоминает, и не раз, что согласно еврейской духовности и традиции, даже «один человек – это целый мир, своеобразная Вселенная, и тот, кто губит одного человека – уничтожает Мир».

Очень интересная и необычная история рассказана Вл. Цесисом о своём коллеге, враче Виталии Оксе. Тот работает в Штатах анестезиологом. На следующий день после празднования своего пятидесятилетия д-р Окс сильно заболевает. Как и многие тяжело – и неизвестно чем (диагноз не могут поставить либо ставят неправильно) больные он обречён, если и не на смерть, то на тяжёлую инвалидизацию. Но он не сдаётся, и следуя древнейшему медицинскому завету: «Врач исцелись сам» он начинает искать причины своей болезни... и находит, в тех самых пресловутых осложнениях – побочных эффектах применения лекарственных препаратов.

Детям с различными врождёнными нарушениями посвящена глава «Особые дети». Это повествование о

героической девочке – глухой и немой Симе, что преодолевает свою природу, успешно социализируется и входит в общество полноценным членом его. О мужественном мальчике Давиде с синдромом Дауна, о тяжелобольном Аркадии Вайсберге, многолетнем пациенте педиатра, которого он за его противостояние болезни, жизни, что ему приходится побеждать называет – Львиное сердце...

Многие страницы книги повествуют об отношениях между людьми, между разными народами и нациями, о геноциде в Руанде, откуда родом родители пациентов Цесиса, он и она, представители враждующих племён, между которыми происходит резня, тут же и воспоминания девушки со смешанной азербайджанско-армянско-еврейской кровью, увиденный её глазами, глазами очевидицы – армянский погром в Баку в январе 1990 года, размышления самого автора о природе расизма и антисемитизма, о латентной ксенофобии, в которой люди не признаются даже самим себе... Восьмая глава так и называется: «Лицом к лицу с расизмом», о буднях и людях современной Америки. Есть и удивительные по своей трогательности воспоминания женщины, старой еврейки, бывшей узницы концлагеря о её жизни там. Она рассказывает удивительную, полную пасхальных «чудес» историю еврейского праздника Песах, пережитую ею в концентрационном лагере.

Книга изобилует не только трагическими и драматическими моментами, в ней есть и глава «Сладкие воспоминания», и почти юмористическая история о том: «Как получить скидку при покупке автомобиля». И история о раввине, который в самолёте собирал миньян (десять человек) для того, чтобы прочитать «Кадиш» по своей умершей матери. Такова и наша жизнь со своими бедами, горечью и весельем... Нужно отметить иронию и самоиронию автора, и, тоже добрый, юмор. Им буквально «расцветены» многие страницы книжки.

Книга называется «Страницы доброты». Она действительно о добром докторе, хоть и не Айболите, приходящем на помощь своим малышам. Ведь как говорил тоже доктор, лечивший африканцев от проказы – Альберт

Швейцер, что «Этика начинается тогда, когда заканчиваются слова и начинаются дела». Так вот в книге «Страницы доброты» Владимира Цесиса мы видим его дела, поистине сотворённые им добрые дела. И благодарны ему не только за тоже добрую, увлекательную и занимательную книгу, но прежде всего за то, что он совершил, а потом только описал.

Мне хотелось бы, чтобы эту книгу читали и давали читать другим, друзьям и знакомым, и знакомым знакомых... чтобы она пользовалась популярностью не меньшей, чем книжки доктора Б. Спока, ибо она достойна этого. Кроме того, если бы уже так не была бы названа книга И.И. Мечникова, то именно эту книгу я бы назвала – «Этюды оптимизма».



**Сэм Ружанский, Леонид
Комиссаренко**

**Освальд Руфайзен против
Даниэля Штайна**

**Опыт любительского исследования текстов
книг Нехамы Тэк, Дитера Корбаха и
Людмилы Улицкой**

*I experienced everything in my lifetime, and
I no longer fear death. I am afraid of memory.
I don't know if I am to be doomed or spared,
but from all the things you may know about me,
I would like you to remember that
I was born a Jew, and died a Jew.
From the will of Oswald Rufeisen*



« Израиле на вершине горы Кармель, с которой открывается чудесный вид на Средиземное море, стоит построенный в готическом стиле, монастырь. В этом монастыре уже долгие годы живет человек-загадка: монах-герой Второй мировой войны; еврей-христианин; израильтянин, носивший нацистскую форму; польский еврей, который, будучи офицером немецкого полицейского подразделения, организовал побег евреев из гетто; беглец, который, скрываясь от своих бывших «нацистских коллег», находит убежище у польских монахинь и становится католиком; пацифист-боец Сопротивления; католический священник, настаивающий на своем еврейском происхождении; сионист, который выбрал местом жительства Израиль и идентифицировал себя с ним, и, наконец, спаситель евреев, посвятивший свою жизнь

наведению мостов между иудаизмом и христианством. Его зовут Освальд Руфайзен»¹.



Кто же он в конце концов этот человек, о котором, перефразируя Роберта Бернса, три писателя из трех сторон решили почти что заодно: «напишем книгу про него и сделаем кино». И написали, но каждый свою книгу! Вот имена этих авторов, перечисленные в порядке времени публикаций их книг – Нехама Тэк² (1990), Дитер Корбах³ (1993) и Людмила Улицкая(2006)⁴.

Но сначала было СЛОВО. И так случилось, что первое слово, которое мы услышали об Освальде Руфайзене, переименованного автором в Даниэля Штайна, принадлежало известной российской писательнице Людмиле Улицкой. Ее слово мы услышали в теперь уже

1 Nechama Tec: In the Lion's Den. The Life of Oswald Rufeisen. New York, Oxford, 1990.

2 Nechama Tec: In the Lion's Den. The Life of Oswald Rufeisen. New York, Oxford, 1990.

3 Dieter Corbach: Daniel, der Mann aus der Lowengrube: Aus dem Leben von Daniel Oswald Rufeisen, Cologne, Scriba, 1993.

4 Людмила Улицкая: Даниэль Штайн, Переводчик, Москва, Эксмо, 2006.

далеком 2006 году, когда в издательстве Эксмо вышла книга «Даниэль Штайн, переводчик»⁵

С книги Улицкой и началось наше знакомство с Освальдом Руфайзенем, будущим братом Даниэлем. Опережая события, хотим заранее выразить благодарность уважаемой Людмиле Евгеньевне за то, что, благодаря ее книге, мы познакомились с истинным Даниэлем, человеком, который послужил прототипом для главного героя ее книги Даниэля Штайна. Но об этом чуть позже, а сейчас продолжим разговор о книге Улицкой.

Принимая во внимание, с каким удовольствием мы читали предыдущие книги автора, например, «Медя и ее дети», можно понять с каким интересом и нетерпением ждали мы встречи с ее новым романом. Чтение оказалось нелегким: масса действующих лиц, переписка между которыми иногда с трудом позволяла следить за быстро меняющимися событиями. К тому же хронология писем бросала нас из 1985 года (стр. 7) почти на 20 лет назад в 1946 год (стр. 25), а буквально на следующей странице перебрасывала на 13 лет вперед, сразу в 1959 г. (стр. 27). И так через всю книгу. Однако постепенно, по мере «освоения» книги, как-то все выстроилось, и мы благополучно дочитали ее до конца.

Необходимое пояснение № 1

Полагаем, что читатели хорошо знакомы со сложной, смертельно опасной во время войны, жизнью Дитера (такое имя своему герою дала Улицкая), с его крещением и последующим служением людям в качестве монаха-кармелита, брата Даниэля. Поэтому позволим себе сразу перейти к изложению нашего видения этого романа.

Книгу Улицкой можно условно разделить на два переплетающихся между собой повествования.

Одно – своеобразный детектив, в котором Дитер Штайн, 20-летний еврейский юноша, в силу просто фантастических случайностей-чудес не только избегает возможности оказаться в первом же расстрельном рве, но и, представляясь поляком-католиком, работает переводчиком в

5 Людмила Улицкая: Даниэль Штайн, Переводчик, Москва, Эксмо, 2006.

гестапо, в месте, которое без преувеличения с одной стороны можно назвать равом со львами; с другой – позволяет ему, проявляя недюжинную смелость, организовать побег евреев из гетто.

Необходимое пояснение № 2.

Здесь и далее мы, для более четкого разделения текстов, будем называть героя нашей публикации: Дитер – цитируя Улицкую, и Освальд – цитируя Тэк или Корбаха.

Другое – целиком посвящено сложнейшей проблеме отношений евреев (иудеев) и христиан и тому, как Дитер Штайн пытается внести свой вклад в улучшение этих отношений путем возврата к еврейской церкви – церкви времен Христа. В этой части Улицкая словами Дитера и других действующих лиц детально обсуждает со всех сторон: философских, исторических, позиций христиан и иудеев, ту цель, которую поставил перед собой Дитер – стать мостом между иудаизмом и христианством.

Если детективная часть романа нам была целиком понятна, то вопросы религии и позиция в ней Дитера и, как мы полагаем, уважаемой г-жи Улицкой, были нам, неискушенным в религиозных вопросах, не всегда понятны и, скажем более, не всегда притягательны. Поэтому читателям, заинтересованным в анализе именно этой стороны романа Улицкой, рекомендуем познакомиться с книгой-исследованием Юрия Малецкого⁶, которая посвящена рассмотрению религиозно-философских проблем, изложенных в книге Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик».

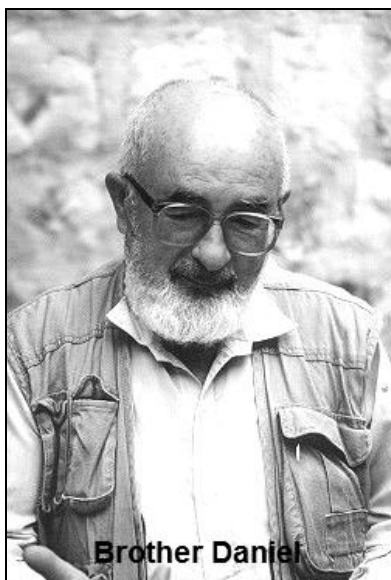
После прочтения книги у нас и, как мы полагаем, и у части читателей, возник ряд вопросов к уважаемой Людмиле Евгеньевне. Ее ответы позволили бы нам лучше понять как самого Дитера, так и то, что не менее важно, его спасателей и его общину в Израиле.

Нас интересовало все. Например, как могло случиться что никто, ну, понимаете, ну никто, не смог опознать в Дитере еврея. Особенно в бане! Такое везение

⁶ Юрий Малецкий. Случай Штайна: любительский опыт богословского расследования. Роман о романе. «Континент» 2007, № 133. <http://magazines.russ.ru/continent/2007/133/ma2-pr.html>.

просто трудно вообразить, пар что ли был такой плотный, что никто не заметил его еврейства!

И еще мы хотели бы знать, кто они и как зовут этих совершенно чужих Дитеру людей, которые, зная, что он еврей, бескорыстно, рискуя своей и своих семей жизнью, спасали его. И что это за «добрый» немец, начальник Дитера полицмейстер Рейнгольд, который, несмотря на то, что Дитер его предал, предоставил ему возможность бежать!? И еще многое нам хотелось бы уточнить у писательницы.



В общем, надеясь на согласие Улицкой, мы стали готовиться к интервью. Но сначала решили познакомиться с теми ее интервью, которые уже были опубликованы. С каждым новым прочитанным интервью одни вопросы отпадали, другие – появлялись. И с каждым днем уменьшались надежды на интервью с писательницей. Пока, наконец, мы не поняли, что желающих провести интервью с Людмилой Евгеньевной много, а времени, которое она может урвать от своего творчества, мало. К тому моменту, когда это до нас дошло, у нас накопился значительный архив проведенных Улицкой бесед с самыми известными

российскими изданиями. И тогда мы решили, базируясь на собранных материалах, подготовить собственное обозрение.

Отметим сразу, для нас самым главным, что мы нашли в интервью и встречах Улицкой, было то, что, благодаря ее четким и честным ответам, мы узнали, как и почему родилась ее книга и как по-настоящему зовут Дитера и многих других действующих лиц ее романа. Мы обработали десятки интервью писательницы и из них по крохам собрали ответы на ряд интересовавших нас вопросов.

Но не на все!

Виртуальное литературное интервью № 1

Мы (авторы) – Как и при каких обстоятельствах Вы познакомились с настоящим Братом Даниэлем (Освальдом Руфайзенем)?

Внимание: Здесь и далее ответы, взятые из всех интервью, даются курсивом

Говорит Улицкая⁷

Когда в начале августа 1992 года Даниэль Руфайзен (он не мог быть Даниэлем Руфайзенем, а только Даниэлем Освальдом Руфайзенем! – авт.) пришел в мой дом – по сей день не перестает меня изумлять, как это произошло, ведь я до этого дня не знала о его существовании, – это было как шаровая молния в гостях.

...от него исходило такое взрослое тепло и к нему возникало сразу же такое доверие, что нахлынуло это чувство из детства: ты защищен, ты под крылом, ничего страшного вообще нет на свете...

Об этом человеке надо написать книгу, подумала я. Чем больше я о нем узнавала, тем более убеждалась, что книгу надо писать немедленно... И снимать кино.

...когда я спохватилась, книга уже была написана американским профессором социологии Нехамой Тэк. ...в Германии профессор Дитер Корбах издал расширенное интервью с патером Даниэлем, а также его доклад и ряд документов и фотографий.

7 В Израиль и обратно. Путешествие во времени и пространстве. Москва, 2004,
http://www.belousenko.com/oth_sbornik_israel.htm.

Справка № 1

В 1990 году в Америке вышла в свет на английском языке фундаментальная книга – научное исследование Nechama Tec *In the Lion's Den, the life of Oswald Rufeisen. New York- Oxford (Нехама Тэк «В львином рве. Жизнь Освальда Руфайзена).*

Тремя годами позже, в 1993 году, в Германии выходит на немецком языке небольшая (60 стр.) книга пастора Dieter Corbach. *Daniel, der Mann aus der Löwengrube: aus dem Leben von Daniel Oswald Rufeisen (Дитер Корбах. Даниэл, человек из львиного рва. Из жизни Даниэля Освальда Руфайзена).* Следует отметить, что первое издание книги, представляющее собой только отчет о встрече Даниэля со школьниками Кельна, вышло в 1989 г., при этом в качестве авторов были указаны двое: Daniel Oswald Rufeisen; Dieter Corbach!

И, узелок на память, наконец, в 2006 г., шестнадцать лет спустя после публикации книги Тэк и 13 лет после книги Корбаха, вышла книга Улицкой *Даниэль Штайн, переводчик.*



После «ответа» на наш первый вопрос мы поняли, что, прежде чем двигаться дальше, необходимо сначала прочитать книги Тэк и Корбаха.

Справка № 2

Теперь самое время представить вам, уважаемые читатели «заграничных» (за пределами России) авторов вышеупомянутых книг, поскольку Людмила Улицкая, как мы понимаем, в представлении не нуждается – она давно и хорошо знакома читателям как на русском, так и на многих других языках.

Нехама Тэк (Nechama Tec), профессор социологии (Университет Коннектикута), родилась в 1931 г. в семье польских

евреев в Люблине (Польша). Во время Холокоста вся ее семья была спасена поляками. После окончания войны она вместе с родителями иммигрировала в Израиль, а позже в США. В Штатах она защитила докторскую диссертацию и стала известным ученым –исследователем Холокоста. Именно различным проблемам Холокоста посвящены все ее книги, начиная с автобиографической *Dry Tears* (Сухие слезы). В частности, она опубликованы следующие книги: *Defiance* (Вызов или Неповиновение); *When Light Pierced the Darkness: Christian Rescue of Jews in Nazi-Occupied Poland*. (Луч Света во Тьме: Христиане спасатели евреев в оккупированной нацистами Польше); *In The Lion's Den: The Life of Oswald Rufeisen*. (Во рву со львами: Жизнь Освальда Руфайзена) и др.

Владет польским, английским, ивритом и немецким. Поэтому все интервью с «героями» своих книг она вела без переводчика. В частности, с Освальдом они общались на одном из «родных» для них языков – иврите или польском. Такое знание языков значительно облегчило проведение исследований в архивах Польши, Израиля и США.

Дитер Корбах (Dieter Korbach), родился (1931 г.) и вырос в Германии. Евангелический священник, преподаватель религии. Синодальный уполномоченный г. Кёльн по вопросам иудео-христианского диалога. С начала 1980 годов всё свободное время посвящает вопросам еврейской истории Кёльна. Особый интерес – сбор документов о судьбах еврейских детей. С 1984 года к этой деятельности подключается его жена Ирена (1937-2005), получившая в 2003 году за совместную работу с умершим к тому времени Дитером Корбахом премию *Obermayer German Jewish History Award*. В 1993 году он опубликовал свою книгу *Daniel, der Mann aus der Lowengrube: Aus dem Leben von Daniel Oswald Rufeisen*.

И мы начали читать. Один из нас – Сэм, в Штатах, написанную на английском книгу Тек, другой – Леонид, в Германии, написанную на немецком книгу Корбаха. С каждой новой прочитанной страницей упомянутых книг у нас обоих, независимо друг от друга, все больше возникало ощущение *déjà vu*. Только почему-то в книге Улицкой все описываемые события проходили с другими (по имени) людьми, а иногда совсем в другом городе. Мы стали сравнивать тексты Тэк и Корбаха с текстом книги Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» и поразились: насколько, практически до мелочей (за исключением имен

собственных), совпадает, в большинстве случаев текстуально, описание всех тех «чудес», благодаря которым Освальду Руфайзену, позже брату Даниэлю, удалось выжить.

Вот, например: Вильнюс, Освальд идет с работы домой и вдруг совершенно чужой ему возница-поляк предлагает работу и надежное убежище на его ферме. Все отличие описания этого события у Улицкой от Тэк практически сводится к изменению имени фермера с Любомир Жуковский (Lubomir Zukowski) на Болеслав Рокицкий.

Чем дальше мы продвигались в чтении книг Тэк и Корбаха, тем больше убеждались, насколько глубоко совпадение текстов всех трех книг – Тэк, Корбаха и Улицкой. И тогда у нас естественно возник вопрос к Улицкой: почему же она, имея возможность и даже начав переводить книгу Тэк, как наиболее широко и полно отражающую жизнь и подвиги Освальда, отказалась от перевода и решила написать свою книгу. Книгу, во многом основанную на информации, почерпнутой из книг Тэк и Корбаха. Но сначала предлагаем ознакомиться с еще одной справкой:

Справка № 3

Из книг Тэк и Корбаха следовало, что оба они познакомились с Освальдом Руфайзеном в одном и том же 1983 году. Только Тэк встретила с Освальдом в Хайфе, а Корбах – в Кельне, на встрече Освальда (Даниэля) со школьниками.

Обе книги объединяет то, и это их главное достоинство, что в них звучит собственный голос Освальда, дословно донесенный обоими авторами!

Основное же их различие состоит в том, что книга Тэк – это фундаментальное исследование жизни и подвигов Освальда Руфайзена, основанное на десятках интервью как самого Освальда, так и людей, хорошо знавших его до, во время и после войны. В целом книга Тэк – сборник интервью, проводившихся ею в течение 5 лет, которые она скрупулезно объединила в одно большое повествование-летопись об Освальде.

Намного проще была задача у пастера Дитера Корбаха – сделать практически стенографический отчет о двух его встречах с Освальдом: одна – в Кельне со школьниками в 1983 году, вторая –

в 1992 г. в городе Мир (Беларусь), посвященная 50-й годовщине побега из гетто.



Daniel Oswald Rufeisen with survivors from Mir Ghetto

Справка к справке:

Говорит Улицкая⁸: *Сама я беседовала с Даниэлем Руфайзенем всего однажды (в 1992 г. – авт), и, признаться, если бы не магнитофонная запись, я бы не вспомнила ни единого слова из того, что он говорил.*

Виртуальное литературное интервью № 2

Теперь можно вернуться к заданному нами самим себе вопросу.

Мы: почему Вы отказалась от перевода книги Тэк?

Л.У.: *Я с ним не справилась! Документальную книжку написала американская исследовательница Нехам Тэк – «Человек из львиного рва». Эта книжка содержит десятки, если не сотни, очень подробных и очень интересных интервью, но меня эта книжка совершенно не устраивала.*

Я начинала ее переводить и задавала множество вопросов автору. Главные технические вопросы были – могу ли я сделать комментарий, могу ли я сделать вводную статью? В конце концов автор обиделась и сказала, что я могу написать свою собственную книжку. То есть, в некотором смысле, это был вынужденный шаг. Возможно,

⁸ Там же.

при другом раскладе сил, я бы ограничилась просто комментарием⁹.

И далее, но уже в другой публикации она уточняет, что это за «технические вопросы»:

Говорит Улицкая:

...в этой книге я не нашла того, что имело для меня наиболее важное значение: как получилось, что за многие столетия именно этот человек оказался единственным живым мостом, связывающим иудаизм и христианство¹⁰.

Это означает, что Улицкая в уста всех героев своей книги вложила свою собственную трактовку позиции и убеждений брата Даниэля; на что естественно она имеет полное право, поскольку Даниэль Штайн – это отнюдь не Освальд Руфайзен!

Что же после этого мы имеем в сухом остатке: сначала, пока идет война, Дитер (он же Даниэль Штайн) практически во всем и полностью двойник Освальда Руфайзена, но вот он переходит в христианство и с этого момента Дитер все дальше и дальше уходит от Освальда Руфайзена, как в своих словах, так и в поступках. С этого момента книга Улицкой, начатая как документальная, окончательно становится художественно-документальной, стиль которой комментатор Би-Би-Си охарактеризовал так¹¹:

Выражаясь, киноведческим языком, Вы сделали мосьюментари –имитацию документального жанра. Считаете ли вы, что современным российским читателям легче воспринимать такой сложный исторический материал в форме беллетристики?

На этот прямой вопрос ответ Улицкой прозвучал весьма уклончиво:

Л.У.: *Я маркетинга не провожу, перед тем как сажусь писать книгу, и исхожу исключительно из того, что*

9 Интервью Людмилы Улицкой, Би-би-си 01.05.2007.

<http://www.rambler.ru/news/culture/literature/10282022.html>

10 В Израиль и обратно. Путешествие во времени и пространстве. Москва, 2004,

http://www.belousenko.com/oth_sbornik_israel.htm

11 Интервью Людмилы Улицкой, Би-би-си 01.05.2007.

<http://www.rambler.ru/news/culture/literature/10282022.html>

мне интересно. Выбор этот продиктовал материал. Это было очень трудное движение, там было много монтажной работы. Может быть, основная сложность и была в монтаже. Я строила эту книгу в большой степени как сценарий.

Тогда, естественно, возникает один из вопросов, на который мы так же не получили ответ: «Что в книге правда, а что художества?» И снова слово писательнице:

Говорит Улицкая¹²

...Вы знаете, там есть действительно подлинные документы... есть письма подлинные, есть письма, которые я придумала – их довольно много. Может быть, и самое, конечно, главное, что все те беседы со школьниками – вот это действительно реальные выступления брата Даниэля. Другое дело, что они были опубликованы. Я их немножко, там, двигала, подбирала, что-то выбрасывала, что-то добавляла...

Позвольте нам, в порядке разминки, сначала на примере небольшого отрывка из беседы со школьниками, продемонстрировать, что это значит «двигала, подбирала, что-то выбрасывала, что-то добавляла». Для того чтобы легче было сравнивать эти тексты, мы выделили ключевые или подобные слова и фразы жирным шрифтом, оставив убранные или добавленные слова неизменными.

Текст Корбаха:

Вот перед вами стенограмма выступления Освальда перед школьниками Кельна, **записанная лично Корбахом¹³** (стр. 66-67).

...что накануне я подал шефу ложный рапорт, будто крестьяне сообщили, что в эту ночь группа партизан должна пройти через одну деревню, расположенную в южном направлении, противоположном огромному малопроезжаемому лесу, куда собирались бежать жители гетто. Все полицейские и жандармы покинули город и

12 Эхо Москвы, Воскресенье, 19.11.2006: Тема: Новый роман «Даниэль Штайн, переводчик»; Ведущая: К. Ларина; <http://www.echo.msk.ru/programs/kazino/47588.phtml>

13 Интервью Людмилы Улицкой, Би-би-си 01.05.2007. <http://www.rambler.ru/news/culture/literature/10282022.html>

уехали на эту операцию, кроме четверых, которые оставались в участке. Так что гетто не патрулировалось, так как мы все ушли на спровоцированную мной охоту за партизанами. Вместе с остальными полицейскими я просидел всю ночь в засаде, напрасно ожидая партизан.

Текст Улицкой

А вот как это же выступление, перенесенное во Фрайбург, передано в книге Улицкой¹⁴:

Дальше события развивались следующим образом: накануне я подал шефу ложный рапорт, будто в эту ночь группа партизан должна пройти через одну деревню, расположенную в южном направлении, противоположном огромному малопроезжаемому лесу, куда собирались бежать жители гетто. Все полицейские и жандармы уехали на эту операцию, кроме четверых, которые оставались в участке. Так что гетто не патрулировалось. Вместе с остальными полицейскими я просидел всю ночь в засаде, напрасно ожидая партизан (стр. 205)¹⁵.

Но не кажется ли вам, дорогие читатели, что мы с вами прочитали одну и ту же стенограмму выступления Даниэля перед школьниками. Одну – оригинал в записи Корбаха, другую, пересказанную Улицкой в соответствии с формулой: «двигала, подбирала, что-то выбрасывала, что-то добавляла», заодно перенесла место действия из Кельна в во Фрайбург.

Мы привели один из ярких примеров текстуального совпадения текстов. Но ведь другого и быть не могло потому что... и снова слово Улицкой.

Говорит Улицкая¹⁶

Но он (Дитер, – авт.) уже умер три года тому назад. Я видела его только один раз в жизни. Он жил в Израиле, и как раз перед вашим приходом я собралась расшифровать кассеты, которые я привезла из Израиля – встречалась там

14 Юрий Зубцов – Людмила Улицкая: «Религия – это то, как ты проживаешь жизнь с утра до ночи...»
<http://www.sem40.ru/famous2/m836.shtml>

15 Там же.

16 Там же.

с его друзьями и родственниками. На одной из них запись каким-то чудом оказалась, три остальные – просто пустые... Вот такой я работник...

Получается, что наиболее надежный и по сути наиболее полный источник информации – это интервью Освальда, его родных и знакомых, записанные и опубликованные Тэк и Корбах!

Это наше предположение целиком подтверждается при внимательном текстуальном сравнении всех трех книг. Мы это тщательно проделали и обнаружили, что в основу книги Улицкой положены многочисленные, иногда длиною почти в страницу, цитаты или пересказы событий, целиком взятые из давно изданных и широко известных (правда не на русском) книг Тек и Корбаха. Чтоб это наше утверждение не звучало голословно теперь, когда вы хорошо «размялись» на малом отрывке, мы приведем еще два более крупных примера совпадения описаний в упомянутых трех книгах. Необходимость проведения сравнения текстов вызвана не только выделением текстуальных совпадений, но и тем, чтобы на примере описания каждым из авторов того, как Освальд-сионист становится Освальдом-христианином, предоставить читателям возможность самостоятельно оценить уровень и достоверность подачи физического и морального состояния Освальда и окружающих его монахинь в момент прохождения им тяжелейшего духовного кризиса и принятия решения креститься, решения, определившего всю его дальнейшую жизнь!

Предоставляем Вам для сравнения тексты описания крещения Освальда в редакции Нехамы Тэк, затем Дитера Корбаха и, наконец, Людмилы Улицкой

Текст Нехамы Тэк (начало цитаты):

Отрывок из 13 главы книги Нехамы Тэк (стр. 164-167)¹⁷

Внимание: в приведенном отрывке все вопросы Освальду задает сама Нехама Тэк!

Прямая речь Освальда и его цитирования даются курсивом.

¹⁷ Nechama Tec: In the Lion's Den. The Life of Oswald Rufeisen. New York, Oxford, 1990.

В сущности я пришел в монастырь с одной просьбой – помочь мне связаться с семьей Балицких... Когда я поделился этими намерениями с настоятельницей, она твердо сказала: «НЕТ».

Она настаивала, – «Ни один человек не должен знать, что вы в монастыре. А мы (монахини, – пер.) должны обратиться к Богу за советом как нам поступить с вами!» И далее пояснила, что поскольку это трудная и сложная ситуация, то только Бог может подсказать, как лучше поступить. И поэтому вместо того, чтобы самостоятельно принять решение, они будут ждать знака Божьего».

В заключение она сказала: «До тех пор, пока мы не знаем как решить эту проблему, мы не можем тебя выгнать. Ты должен умыться, поесть и отдохнуть. А мы подумаем и решим, как нам поступить»...



С тех пор как арестовали местную польскую элиту, включая настоятеля собора Мацкевича (Mackiewicz), г. Мир остался без католического священника. Это означало то, что для присутствия на литургии надо было идти в расположенную в 10 милях (16 километров – пер) от монастыря деревню Iszkolodz. Каждое воскресенье очередные две монахини направлялись в эту деревню. В то воскресенье, когда появился Освальд, идти на службу была очередь матери-настоятельницы (игуменьи) Eugebia

Bartkowiak и сестры Andrea.

Каждое воскресенье во время литургии священник читал специальную притчу из Евангелия. В этот день, в частности, он читал притчу о добром Самаритянине. Это история об одном еврее, которого бандиты ограбили, изранили и оставили на обочине дороги. Священник прошел мимо пострадавшего, но не удосужился ему помочь. Так же поступил и левит. И только проезжавший мимо Самаритянин обратил внимание на беспомощного еврея. Он сначала обработал его раны, а потом отвез его в ближайший постоялый двор. Он щедро уплатил владельцу за заботу об этом страннике. Но прежде чем самаритянин покинул двор, он сказал владельцу, что он вернется, чтобы проверить состояние пострадавшего. Эта история завершается словами Иисуса: «Иди, и ты поступай также».

Слушая эту притчу, особенно последнее ее предложение, обе женщины почувствовали, что эти слова Бога напрямую обращены к ним. Euzebia Bartkowiak была просто убеждена, что Бог хочет, чтобы они спасли Освальда. Но две из четырех монахинь не были настроены предоставить Освальду убежище. И они возражали. Но настоятельницу не так легко было разубедить. Когда дело касалось моральных проблем, она руководствовалась только своими понятиями. Поэтому она твердо отклонила их сопротивление.

Об этом решении и событиях, приведших к нему, Освальд узнал не сразу. Измученный, он проспал, может быть 24 часа подряд, или даже больше. Он описывает этот свой «отдых» как беспробудный сон. Когда он проснулся, то обнаружил рядом с собой журнал ордена Кармелитов, в котором описывался случай чудотворного исцеления в Лурде, Франция. В результате явления святой девы Марии произошло совершенно невероятное излечение. Освальда заинтересовала эта история, и он попросил дать ему почитать еще что-нибудь о подобных излечениях.

Благодаря свободному доступу к библиотеке Мацкевича, сестры смогли легко удовлетворить его желание. Чем больше он читал о таких сверхъестественных излечениях, тем больше убеждался, что все случаи

достаточно проверены и они действительно имели место. Он думал, что религия, которая имеет дело с такими явлениями, заслуживает детальное изучение.

После того как я прочитал о чудесных излечениях, я попросил Новый Завет и стал его изучать... а также найденные мною на чердаке различные книги на Иврите... Я был переполнен вопросами. Я не переставал спрашивать, почему такая трагедия происходит с моим народом. Я по-прежнему чувствовал себя евреем, я идентифицировал себя с положением моего народа. Я также ощущал себя сионистом. Я мечтал о Палестине, о моей стране...

Вот в таком настроении я начал знакомиться с Новым Заветом, с книгой, описывающей события, имевшие место в моем отечестве – земле, о которой я так мечтал. Уже это одно создавало психологический мост между мною и Новым Заветом... Как это ни странно звучит, я, имея польский диплом о среднем образовании, совершенно не был знаком с Новым Заветом. Да никто этого от меня и не требовал. Все, что я знал о церкви, было только негативное. У меня было заранее предвзятое, отрицательное мнение о церкви...

В монастыре, один в окружении в общем совершенно чужих людей, я создал для себя искусственный мир. Я представил себе, что не прошло 2000 лет. В этом созданном мною мире я встретился с Иисусом из Назарета... Если вы это не поймете, вы не поймете моей борьбы за права евреев... Итак, я встретил Иисуса из Назарета... Вы должны признать, что не вся история о Иисусе есть история церкви. Более того, история об Иисусе является частицей еврейской истории.

Затем я отслеживал обмен идеями и споры между Иисусом и отдельными евреями. Вскорости я обнаружил, что согласен с подходом и отношением Иисуса к иудаизму. Его проповеди доходили до глубины моей души. При рассмотрении этого процесса я не обращал внимания на то, что произошло позже с отношениями между евреями и христианами.

В то же время я нуждался в учителе, в ком-то, кто укажет мне путь, кто будет меня направлять... в ком-то

сильном (убежденном)... и я подошел к тому моменту, когда Иисус умирает на распятии и затем воскресает.

Неожиданно, и я не знаю, как это произошло, я почувствовал, что его страдания и последовавшее затем воскресение подобны страданиям и возможному воскресению моего народа. Я стал размышлять, что если такой справедливый и чистый человек умирает, но не за свои грехи, а в силу обстоятельств, то это значит, что должен быть Бог, потому что именно Бог вернул его к жизни. И, продолжая размышлять, я пришел к выводу, что если есть справедливость по отношению к Христу, проявившаяся в форме его воскресения, то должна быть подобная же справедливость по отношению к моему народу.

Я был почти год отрезан от своего еврейства. Я был отделен от всего, что связано с еврейством. Мне казалось, что в церкви должно быть какое-то зарезервированное для евреев место. И я не ошибаюсь в этом. Я стал убеждаться, что, может быть, на мне лежат специальные задачи что-то проделать в церкви, что-то улучшить, чтобы наладить отношения между евреями и христианами.

В конце концов, мое сближение с христианством не означало уход от иудаизма, а напротив, попытку найти ответ на мои, как еврея, проблемы... Когда я осознал, что я стою накануне принятия христианства, началась моя психологическая борьба с самим собой. Я лично имел определенное предвзятое мнение о евреях, перешедших в христианство. Зная о таком предвзятом мнении, я боялся, что мой народ – евреи, отречется от меня. В действительности этого не произошло. Моя психологическая битва длилась по крайней мере два дня, в течение которых я много плакал и просил Бога направить меня...

Это не была духовная битва... духовно я принял Христа. Вся проблема заключалась в том, как сложатся мои отношения с евреями, с моим братом и моими родителями, если они выживут.

В этот момент я (здесь и далее вопросы задает

Нехама Тэк. – авт.) спросила Освальда: «Если Вы боялись, что евреи отвергнут Вас, почему же Вы все же решили креститься?»

В ответ услышала: Потому что мое сознание оказалось сильнее моих эмоций... Аристотель как-то сказал: «Платон мне друг, но истина дороже». Вы это понимаете? Если Бог одобрил действия этого человека, то это моя обязанность, следовать тому, что я считаю правильным. Это сильнее моих связей с моим народом... В конце концов, все человеческие связи (отношения) созданы Богом. Если Бог призывает вас идти в определенном направлении, то вы обрываете свои связи с семьей и двигаетесь в указанном Богом направлении. Я это все знал. Я также знал, что я рискую. Я пошел на это риск, полагая, что я смогу это объяснить моему брату и другим... я надеюсь, мне удастся их убедить в том, что я не предал интересы еврейского народа... для меня принятие христианства (крещение) было еврейским поступком. Это был шаг еврея в сторону определенного периода жизни еврейского народа.

В конечном счете, сказал я себе, несмотря на то, что в силу ряда трагических событий мой народ не принял Христа, это не значит, что я должен всегда быть преданным его (народа, авт.) вере.

На мой вопрос, как он справится с традиционным антагонизмом между христианами и евреями, он сказал, что христианская религия сама по себе не связана с антисемитизмом и только христианское образование и интерпретаторы имеют к этому прямое отношение. Христианское учение в своей основе является не римским, не греческим, не польским, а еврейским. Новый Завет – еврейский, написанный евреями и для евреев... почти весь Новый Завет.

К тому же, к этому времени я стал бойцом. Последние девять месяцев я был предоставлен самому себе, я был совершенно одинок. Я должен был самостоятельно справляться со всеми проблемами. Я думал, что я как-то сумею это объяснить моему брату и родителям, если они пережили войну, а также моим друзьям. Я пришел к этому

решению в день рождения моего отца, и я хотел креститься именно в этот день.

В этот день, когда игуменья пришла навестить меня, я обратился к ней с просьбой: «Я хочу креститься сегодня!»

«Почему сегодня?», – спросила она.

«Потому что сегодня день рождения моего отца. И я хочу показать, что в этом есть не отрицание иудаизма, а его продолжение, которое мной принимается в его специфической форме».

Тогда она заявила: «Но вы ничего не знаете о христианстве».

«Но я верю, что Иисус был мессия. Пожалуйста, крестите меня!»

Освальд заявляет, что он принял христианство через церковь, потому что у него не было другого выбора. Он поясняет: Я не хотел получить специальные религиозные инструкции. Я не хотел, чтобы монахини обучали меня христианству. Моя цель была – получить знания о христианстве из первоисточников. Таким источником являлся Новый Завет – еврейский источник... Только спустя шестьдесят лет или около этого еврей-христиане перестали быть частью еврейской религии. Я понял это с самого начала.

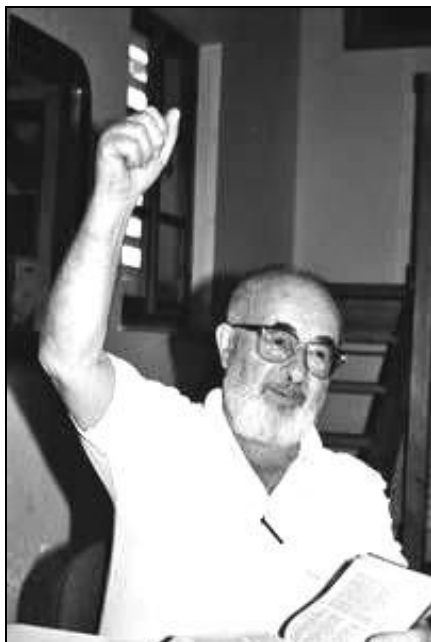
В этот день игуменья следующим образом отреагировала на желание Освальда, сказав ему: Это очень странно – я слышала голос, который сказал мне, что я должна молиться и что вы будете католическим священником. Я была тронута, услышав это. Я не хотела с этим согласиться. Я спорила сама с собой, все время повторяя, что этот человек еврей, но голос вновь и вновь возвращался ко мне с тем же посланием.

Освальд полагает, что благодаря такому стечению ряда обстоятельств, игуменья не возражала против моей просьбы. В этот же день, вечером, одна из монахинь крестила меня... С тех пор иудаизм и христианство находятся в центре самого моего существования.

Освальд был крещен менее чем через три недели после его появления в монастыре.

Знаменательно утверждение Освальда, что крещение в монастыре сделало его ближе к Палестине и, как следствие, ближе к его идентификации себя как еврея.

Нехама Тэк (конец цитаты).



Далее идут тексты: **Корбах** (стр.)– левая колонка
и **Улицкой** (стр.) – правая колонка

Дело было в воскресенье. В доме жили четыре монахини, две из которых попеременно каждое воскресенье, ходили в ближайший храм — за шестнадцать километров. Туда и обратно пешком. Ведь с тех пор как арестовали ксёндза, на месте священника не было. Настоятельница сказала сестрам: «Попросим Господа нашего о каком-нибудь знаке: как нам поступить с юношей?»

Когда две сестры вошли в церковь, там читали отрывок из Евангелия о милосердном самаритянине, и в этом увидели они знак Божий. Здесь вы

Дело было в воскресенье. Каждое воскресенье, с тех пор как убили ксёндза Валевича, монахини ходили в ближайший храм — за шестнадцать километров от Эмска. Настоятельница сказала сёстрам:

— Попросим Господа нашего о каком-нибудь знаке: как нам поступить с юношей?

Настоятельница с ещё одной сестрой вошли в церковь, когда там читали отрывок из Евангелия — о милосердном самаритянине. Может быть, вы не помните этого отрывка? Это притча, которую рассказал Иисус своим ученикам.

видите пункт моей биографии, где всё сошлось. Здесь еврей, католические сёстры, которые пошли в церковь и при чтении притчи о Добром Самаритянине поняли, что должно произойти. Там сказано, что самаритянин, живший во вражде с евреями, помог еврею. Отрывок Библии заканчивается словами: «Идите и поступайте так же!» Обе сестры вернулись, всё рассказали, и одна из них подумала, что Евангелие возможно было для неё знаком: «Поступайте так же!» Так они сообщили и другим в доме. Там я оставался сначала три недели.

В это время я впервые прочёл книгу о Лурде, о явлении девы Марии в Лурде. Я попросил дать мне Новый Завет, который никогда раньше не держал в руках. В польской школе, где я учился, у нас были уроки иудаизма, я был освобожден от изучения Закона Божия. И когда я прочёл Новый завет, да и Библию несколько раз, то из различных соображений я понял, что Иисус действительно был Мессией, и что Его смерть и Воскресение и есть ответ на мои вопросы.

Быть может главным в то время был для меня вопрос: «Где Бог во всех этих событиях?» Я видел совершенно жуткие вещи, не только то, о чём я рассказываю. Где Бог во всём этом? Как быть с Божьей справедливостью? И вдруг мне открылось, что Евангельские события происходили в моей стране Израиль, с евреем Иисусом, и проблемы Евангелия, бывшие для меня совсем новыми, оказались столь близкими именно потому, что это были типично еврейские проблемы, связанные со страной, по которой я так тосковал. Здесь всё совпало. Воскресение Христа со свидетельством Павла, и открытие, что крест Христа не наказание Божье, а путь к Спасению и Воскресению. И это соединилось с крестом, который несёт мой народ, и со всем тем, что я увидел и пережил. Такое

Дело было так: один еврей шёл из Иерусалима в Иерихон, и на него напали разбойники. Ограбили, избили и оставили на дороге. Шедший мимо еврей-священник увидел его и прошёл мимо. Точно так же прошёл и другой еврей. И шёл мимо чужой человек, житель Самарии, и он сжалился, перевязал раны и отвёз несчастного в гостиницу. Там он оставил больного, заплатив хозяину денег на содержание и лечение. Дальше Иисус спрашивает: кто из этих троих был ближним попавшемуся разбойникам? Оказавший ему милость. Идите и поступайте так же...

Вот на этих словах монахини и вошли в церковь. И в этом отрывке увидели они знак Божий.

Монахини вернулись, рассказали об этом остальным. А надо сказать, что из четырех монахинь две были против того, чтобы я оставался у них. Но этот знак они приняли.

Я укрывался на чердаке. Дом этот прежде принадлежал расстрелянному еврею, и на чердак были снесены еврейские книги. Туда же монахини сложили и монастырские книги.

Первое, что я взял в руки, был католический журнал, в котором я прочитал о явлениях Девы Марии в Лурде. Я читал до этого Библию, читал о чудесах, но мне казалось, что это не имеет отношения к моей жизни. Чудеса в Лурде, произошедшие всего несколько десятилетий тому назад, описанные моим современником, поразили меня этим ощущением близости. Особенно после тех невероятных событий, которые я сам пережил: разве моё спасение в Вильно, и моё спасение в поле, когда преследователи прошли в нескольких шагах и не заметили меня, не были такими же чудесами?

Я попросил дать мне Новый Завет, который никогда раньше не держал в руках. В польской школе, где я учился, я был освобождён от изучения Закона Божия. Впервые я прочитал Новый Завет и получил ответ на самый в то

Мы только что вместе с Вами закончили сравнение текстов на русском языке, но не менее, если не более интересный ответ мы получили при сравнении двух текстов на немецком – слева, книги Корбаха на языке оригинала (немецком) и справа, книги Улицкой¹⁸ в переводе на немецкий. Жирным шрифтом выделены дословные

¹⁸ Ljudmila Ulitzkaja. Daniel Stein. Verlag: Hanser; 2009.

совпадения текста Улицкой с текстом Корбаха. Совершенно очевидно, что не обязательно владеть немецким, чтобы по степени зачернения текстов убедиться в уровне их совпадения. А владеющим немецким и того проще!

понимание страдания есть и в иудейской религии. Есть раввины, которые тоже так думают. Это не только исключительно в христианстве.

Крещение

Через Христа я снова обрёл Бога. В Иисусе были аспекты, которые меня буквально очаровали: одним из них была его жизнь, при этом он не помог мне уже тем, что сам был евреем и жил в стране, по которой я тосковал. Я примирился с Богом и пришёл к мысли, что должен принять крещение. Это было для меня необычайно трудное решение — для евреев это означает путь вниз по лестнице, ведущей прочь. Тот, кто принимает крещение, больше не принадлежит к сообществу еврейского народа. Но я хотел немедленно принять крещение. Настоятельница сказала: «Так нельзя, ты ведь должен сперва подготовиться, ты ведь ничего не знаешь о христианстве.» Я возражал: «Сестра, мы на войне. Никто не знает, будем ли мы живы завтра. Я верю, что Иисус — Сын Божий и Мессия. Я прошу Вас крестить меня.» В тот же вечер я принял крещение; это было 25 августа 1942 года.

Произошло нечто странное, потому что около полудня пришла настоятельница, сёстры молились в капелле. Она прошла через дом к сараю, в котором я спрятался, в 70-и метрах от жандармерии, в которой проработал девять месяцев. Через щели в досках я мог видеть всё, что там происходит. Сёстры были настоящими героями, что позднее подтвердилось особым образом. Итак, настоятельница пришла в сарай и сказала мне весело и прямо: «Я молилась и вдруг почувствовала, что сейчас должна помолиться за тебя, потому что ты станешь католическим священником.» Вот уж что мне и в голову не приходило, это было бы неслыханно, никогда в жизни! Тогда она сказала: «Нет, он ведь еврей и вообще не крещён, как это может

время мучительный для меня вопрос: Где был Бог в то время, когда расстреливали пятьсот человек из Эмского гетто? Где Бог во всех этих событиях, которые переживает мой народ? Как быть с Божьей справедливостью?

И тогда мне открылось, что Бог был вместе со страдающими. Бог может быть только со страдающими, и никогда — с убийцами. Его убивали вместе с нами. Страдающий вместе с евреями Бог был мой Бог.

Я понял, что Иисус действительно был Мессия, и что Его смерть и Воскресение и есть ответ на мои вопросы.

Евангельские события происходили в моей древней стране, с евреями Иисусом, и проблемы Евангелия оказались для меня столь близкими именно потому, что это были еврейские проблемы, связанные со страной, по которой я так тосковал. Здесь все совпало: Воскресение Христа со свидетельством Павла, и открытие, что крест Христа не наказание Божье, а путь к Спасению и Воскресению. И это соединилось с крестом, который несёт мой народ, и со всем тем, что я увидел и пережил.

Такое понимание страдания есть и в иудейской религии. Есть раввины, которые тоже так думают. Но тогда я этого не знал.

Я примирился с Богом через Христа и пришёл к мысли, что должен принять крещение.

Это было для меня необычайно трудное решение — для евреев это означает путь «вниз по лестнице, ведущей прочь». Тот, кто принимает крещение, больше не принадлежит к сообществу еврейского народа. Но я хотел немедленно принять крещение.

Настоятельница считала, что надо сначала подготовиться, узнать о христианстве больше. Я возражал:

— Сестра, мы на войне. Никто не знает, будем ли мы живы завтра. Я верю, что Иисус Сын Божий и Мессия. Я прошу Вас крестить меня.

Настоятельница была в смущении и

Ich soll hier als polnischer Nationalist erschossen werden, weil ich Juden geholfen habe. Und so sagte ich mir, es wird auch ihm leichter, wenn ich ihm die ganze Wahrheit sage. Und so sagte ich frei heraus: "Herr Meister, ich werde Ihnen die Wahrheit sagen unter der Bedingung, daß Sie mir die Möglichkeit geben werden, mir selbst das Leben zu nehmen. – ich bin ein Jude! "Was?" rief er erschrocken. "Ja!" entgegnete ich. "Wirklich, Oswald? "Jawohl!" "Also, die Schutzleute haben doch recht gehabt", erwiderte er, "jetzt verstehe ich es. Das Ich nehme an, du hast als polnischer Nationalist gehandelt, aus Rache für die Vernichtung der polnischen Intelligenz", sagte er. Da dachte ich, es wäre für ihn bestimmt leichter, wenn ich ihm die Wahrheit sagte. "Herr Major, ich sage Ihnen die Wahrheit – unter der Bedingung, dass Sie mir die Möglichkeit

geben, mein Leben selbst zu beenden. Ich bin Jude! "Er fasste sich an den Kopf". Die Polizisten hatten also recht, nun begreife ich! Das ist ja eine Tragödie! "Ich wiederhole das wortwörtlich, denn so etwas kann man unmöglich vergessen. Da ist eine Tragödie!" – Ich wiederhole das alles wörtlich, das ist eine Sache, die man nicht vergißt. Seht ihr, wie die deutschen Leute manchmal in Situationen geworfen wurden und nicht wußten, wie sie zu agieren hatten und was zu tun sei. – "Schreiben Sie ein Geständnis!" befahl er, keine Ohrfeige, keine harten Worte ...
seht ihr, in was für eine Situation ein Deutscher geraten konnte. Reinhold wusste nicht mehr, wie er sich verhalten, was er tun sollte. "Schreib ein ausführliches Geständnis", befahl er mir. Keine Ohrfeige, kein grobes Wort

Дальнейшие комментарии и выводы наших исследований мы отдаем на суд читателей. Мы умышленно не будем комментировать приведенные тексты. Они, как говорилось, «Информация к размышлению». И все же мы хотели бы обратить внимание читателей на то, что текст Нехамы Тэк – это, говоря школьным языком, развернутые ответы на все вопросы, в то время как текст Корбаха представляет собой как бы аннотацию текста Тэк. А текст Улицкой, в данном конкретном отрывке, в свою очередь похож на близнеца текста Корбаха.

Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы те из Вас, кто захочет услышать Голос Освальда, прочли хотя бы одну из упомянутых нами книг: Тэк или Корбаха!

Жители Израила могут ознакомиться с книгой Тэк на родном языке, на иврите!

К сожалению, пока нет перевода на русский язык ни книги Тэк, ни книги Корбаха, хотя есть сведения о существующем переводе книги последнего на русский, но нам не удалось его найти. Поэтому все цитаты из Тэк и Корбаха приводятся в переводе авторов.

Наша цель была очень проста – показать читателю, что есть книги, в которых Освальд, он же брат Даниэль, своими словами рассказывает свою жизнь и объясняет все свои поступки. Мы отнюдь не стремились давать оценку

книги Улицкой. Ее книга получила заслуженное признание не только в России, но и ряде других стран, включая Германию и Америку. Более того, мы целиком разделяем желание писательницы¹⁹:

...И вообще, я хочу, чтобы о Даниэле знали все. Он того заслуживает.

Этим желанием одержимы и мы, но в отличие от писательницы, мы предлагаем Вам выбор:

Хотите узнать все о Настоящем Человеке, об Освальде Руфайзене (после крещения брате Даниэль) – читайте книги Нехамы Тэк или Дитера Корбаха!

Хотите знать все о жизни литературного героя Дитера Штайна – читайте книгу Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик»!

Выбор, дорогие читатели, за Вами!

Мы уже было закончили наше любительское обозрение как вдруг после долгих поисков, наконец, наткнулись на фильм об Освальде под названием “Brother Daniel – The Last Jew”. (Брат Даниэль. Последний еврей). Это 56-минутный фильм снят в Израиле, естественно, на иврите, но с титрами на английском. Фильм примечателен уж тем, что Вы, дорогие читатели, сможете увидеть – а кто владеет ивритом – и услышать самого Освальда, который рассказывает о своей сложной, но очень интересной жизни. Кроме Освальда своими мыслями делится его брат Арье с женой Хелла, его помощница по социальной работе Элишева, ряд его друзей и знакомых, а также одна из бежавших из гетто.

Мы сердечно рекомендуем Вам, не откладывая в долгий ящик, включить свой компьютер и, открыв www.YouTube.com и набрав в его строке search (поиск) “Brother Daniel – The Last Jew”, приступить к просмотру четырех блоков из которых состоит фильм. Надеемся, что фильм Вам понравится и Освальд станет еще более понятен!

Что касается нас, то мы, не только не отрываясь просмотрели этот фильм, но он для нас явился еще одним неоспоримым доказательством того, что из упомянутых

¹⁹ В Израиль и обратно. Путешествие во времени и пространстве. Москва, 2004, http://www.belousenko.com/oth_sbornik_israel.htm

выше трех книг наиболее точно и правдиво одиссея
Освальда описана в книге Нехамы Тэк.

Рочестер, США Фрайбург, ФРГ



Нелли Портнова
**Девушкин, Голядкин и бедные
люди после Достоевского**

Светлана Шенбрунн. Пилули счастья. Роман. М. 2010



Светлана Шенбрунн медленно и как будто естественно разворачивает цепь событий, полно и подробно объясняя поступки героев. Но структура ее эпического повествования непроста. Тема счастья, объявленная в заглавии, сулит читателю неожиданные открытия.



Светлана Шенбрунн

Что может быть более естественным для женщины? Самый общий план понятия «счастье» как бы рассеян в воздухе, банален. Героиня (она же рассказчик) Нина Сюннангорд-Тихвина часто слышит словосочетание «к счастью», что означает: вообще-то нам плохо, но могло быть и хуже. «Счастье еще, что не весь лес в стране сгорел окончательно». Также и в ее жизни «счастье» – случай, отведший от общего правила – «несчастья»: «при всеобщем насморке и конъюнктивите и собственное счастье»

отчетливей». Так вычитанием из полного краха она отмечает каждое везение: «на мое счастье, подошел, наконец, автобус», провалилась в липкую жижу, но «к счастью, одной ногой». Минималистские требования к жизни – признак взыскательности и постоянной саморефлексии. А счастливы, то есть, довольны жизнью, только двое: авантюристы Пятиведерников и Фридлянкин, паразитирующие на преданной любви своих подруг.



К этим выводам она пришла только сейчас. А в юности смотрела на вещи просто: верила в счастье, когда была в первом браке, сложившемся в родном Ленинграде, после блокадных лет в коммуналке и смерти родителей. Муж Евгений, владелец отдельной комнаты, не считая таких «положительных качеств, несомненно, способствующих семейному счастью», как «готовность вымыть посуду», кажется, вполне обещал собою семейное счастье. Правда, был позитивный фон: юношеская легкость, песни, костры, викторины. Но достоинства мужа скоро стали отходить на второй план из-за более весомых качеств: Евгений был то, что называлось «советский» человек, верящий в официальную пропаганду, суевающийся по поводу карьеры. «Прискорбная сущность» жены, ее «неверное мировоззрение» и мелочи – чулки не того цвета – всё его

раздражало. Нина долго старалась убедить себя, что счастье и теперь возможно, но муж задумал и организовал развод.

История видится из настоящего, проецируется из него. Как это бывает часто в современной прозе, время разрезано на куски, наложенные друг на друга. За плечами у Нины после Ленинграда еще две эпохи: Израиль, где она жила, покинув родину с сыном, и десятилетие второго брака в благополучной европейской стране. Ее шведский муж, в годах, владелец издательства, трудолюбивый, скромный и заботливый человек, «красавец, супермен»; у нее четверо чудесных мальчиков и красивый дом с персидским ковром и центральным пылесосом. Семейному счастью не мешает ничто: «ни единой ссоры. Никогда, ни малейшей размолвки». Смотря на себя глазами своей нынешней среды, она видит совершенно образцовую картинку: «Отличная пара направляется на каток со своими очаровательными сыновьями». Званные обеды по воскресеньям, рождественские балы книжно-издательского общества раз в году, красивый «домик».

Это прикладывание к себе нормативных мерок бургерского общества необходимо для самоуспокоения, ибо между ним и ею – ничего общего. Прежде всего, она не живет только сейчас, здесь и собой. То читает блокадные дневники мамы и проживает ее жизнь, то исполняет чью-то просьбу, ищет кого-то, кого-то спасает. У нее прекрасный дом? Но он видится через лагерные нары, голод блокады. Все это – «наша эпоха». Ничто и никто не пропадает бесследно: «нормальные люди с годами забывают, а я с годами все больше вспоминаю».

«Домик-крошечка, он на всех глядит в три окошечка... Глядит лапушка. Подумать! – целых три окна в одной комнате. В нашу-то эпоху, когда редкой комнате выделяется более одного. И одно уже почитается за великое благо. Размер жилого помещения должен соответствовать размеру помещенного в него тела. Всунулся на койку, как карандаш в пенал, и дрыхни.

Даже бывшая соседка по коммунальному коридору Томка, из тех, кем заселили комнаты умерших – «на их же кровати, на те же простыни, на те же подушки», и теперь

пожелавшая встретиться, получает свою порцию внимания, хотя и было понятно, кем она работает в советском посольстве. Нина встречается, чтобы при ней вспомнить – маму, умершую от «целебного напитка из пихтовых и еловых ветвей», который, как оказалось потом, был ядом, дедушку и бабушку, погибших в Белоруссии, «в какой-то вонючей яме», «а она совершенно про них не думала». Воспоминания и самоанализ – одно и то же.

Наряду с совмещением времен для полноты сознания необходимо совмещение реальности и снов. Любимая Люсенька часто снится на берегу Мертвого моря, «с его тихой живой водой», среди трех женщин, которые, «пристроившись на камнях, полощут белье». Это и есть ее «правильное место», где «светло и радостно». Найти человеку «правильное место» непросто, тогда как разъехаться и расстаться – ничего не стоит. И что потом? Борющимся друг с другом девочкам-сестричкам она говорит: делитесь, «что у вас еще есть?». Личность поистине духовная расширяется историческим опытом и чужими судьбами.

Третья необычность Нины – снятие границ между миром реальным и вымышленным, литературным, прежде всего миром Достоевского. Она подсчитывает: выросла в том же Дзержинском районе, где жил Достоевский, у нее на комодке – такое же (может быть, то же) круглое зеркальце, какое было у Якова Петровича Голядкина. У нее до сих пор сохранился комплекс голода: до сих пор не может удержаться, чтобы в супере не «опустить в тележку лишнее кило рису».

Да: проснулась – очнулась после долгого сна, зевнула, потянулась под одеялом и открыла, наконец, совершенно глаза свои... Вот именно: ты еще и глаз не продрал, а уже все описано. Не успел родиться, а уже наперед все предсказано и рассказано. Полагаешь наивно, что живешь по воле своей, а на самом деле катишься по выбитой колее издавна составленного текста. Воспроизводишь своим присутствием текущую строку.

Именно так проснулся титулярный советник Яков Петрович: «зевнул, потянулся и открыл, наконец,

совершенно глаза свои». Героиня ставит себя в ряд литературных героев, считает, что только повторяет их, и вообще «уже все описано». Именно это не устранимое временем и обществом сходство: больная Люба, спасшая когда-то ее, теперь в одиночестве и бедности доживает свой век, – толкает к спору с автором петербургских повестей:

Не правы Вы, Федор Михайлович, со своими трогально-жалкими словечками. «Маточка Любовь Алексеевна! Что это вы, маточка...» Маточка-пачочка... Гаденькое, в сущности, словечко. Сам, небось, выдумал. Чтобы подчеркнуть нашу униженность и оскорбленность.

Так оно и случилось, Люба угорела в бане. «И никто не сообщил мне. Не поставили в известность, не позвали на похороны... Даже фотографий не выслали. Нелюди». «Бунт» против всякий раз оживающей и вскрытой гением традиции «бедного человека» – завершает пространство ее духовной выскательности.

Можно ли быть счастливой при таком составе души? Совершенно неожиданно грянула семейная катастрофа: Нина вовремя не смогла объяснить нежное внимание Мартина к соседской девочке, который, доверившись приятелю, потерял все свои деньги (тут же вспыхивает укор описавшему такие ситуации писателю: «Федор Михайлович, если уж вы втиснули нас, горемычных, в этот сюжет, так, может, не откажетесь и выход подсказать?»). В результате передозировки таблеток для омоложения «законпослушный и благонамеренный» муж превратился в беспомощного инвалида, а Нина осталась с долгами и заложенным домом.

Ритм переходов в иное пространство участился, она видит себя в двух параллельных мирах одновременно: сидя в больничной палате, «в то же время» оказывается в своем ленинградском издательстве; потом действующие лица вообще перемешиваются. Дальше – смешиваются времена, судьбы, миры: «наяву» видится «тройка» инквизиторов, включающих в себя Федора Михайловича. Отвечая на их вопросы, в качестве последнего желания, Нина просит вернуть ей комнату ее ленинградского детства, но, поразмыслив, отказывается и от этого, однако,

воспользовавшись случаем, спрашивает, почему бы не пришить покрепче пуговицы к вицмундиру Макара Алексеевича, чтобы не обрывались и не раскатывались. Теперь уж нельзя не обратиться к писателю, так безжалостно и утрированно унизившему своего героя.

Зачем же так ярко подчеркивать позор и убожество? Можно бы как-то поприличнее, поделикатнее. Если уж такая дружба, и переписка, и милостивый государь, и все эти нежности, то почему бы не подлатать несчастный мундир? Подлатать, и дело с концом. Ну, хоть бы и лоскутики какие-нибудь под локотки подшить – если уж прохудились, светятся локотки. <...> Уж пуговицы-то, вы меня извините, совсем несложно закрепить – чтоб не болтались на одной ниточке, не обсыпались чуть что. Чтобы не ползать за ними по полу.

Тут-то, на грани психического расстройства, и появляются «пилюли счастья»; изобретение высокой технологии, они помогут избавиться от мук раздвоенности, ослабить напряжение нервов. *От всех печалей теперь изобрели какую-нибудь микстуру или таблеточку. Кругленькая такая малюсенькая облаточка. Обеспечивает забвение всех горестей и делает вас веселыми и беспечными.*

Но, верная себе, Нина обещала больному Мартину не отправлять его в Америку. «Не сдавайся, мой витязь, выздоравливай, все будет хорошо». Готовность забыться и невозможность отключиться «пилюлями» – таков «открытый финал» этого многофигурного (временами кажется – даже слишком многогеройного) и, вместе с тем, цельного романа. Его героиня, с фантастической способностью переживать за других и даже выйти из реальности ради универсальной оценки эволюции человека в XX веке, не предназначена для обычного счастья. Она выше его.



Нина Воронель

Тайны маленькой деревушки



моей немецкой деревне любой от мала до велика говорит при встрече: «Гутен таг» – «Добрый день», но только до пяти вечера. А с пяти он говорит «Гутен абенд» – «Добрый вечер». Но мы, темные, никак не можем сориентироваться и дружно отвечаем ему «Гутен таг», напряженно пытаюсь сообразить: «неужели уже вечер? Ведь еще совсем светло». Это приветствие так же обязательно, как ежесубботное мытье тротуара с мылом или выщипывание мелких пучков травы, осмелившейся вырасти между камнями дорожки, ведущей к дверям.

Немецкий ребенок с пеленок выучивает такое множество благородных и полезных правил социального общежития, что невозможно поверить в его способность с такой же неукоснительностью выполнять зверские приказы любого сиюминутного начальства. А может, наоборот – все дело в этой самой неукоснительности? Так же неукоснительно сопровождать еврейских детей в лагерь смерти, как желать им «Гутен таг» в другой ситуации?

Вот уже двадцать пять лет задаю я себе эти вопросы, неукоснительно удирая в свою немецкую деревню от жаркого израильского лета. Именно в эту деревню, где одна из улиц называется «Юден Хюбель» – «Еврейский холм», хоть здешние жители утверждают, что в их краях отродясь не было евреев, кроме нас. Когда-то раньше, в самом начале, узнав, что мы из Израиля, здешние жители приходили в неописуемый восторг, но с годами привыкли к нам, как к местной достопримечательности, и уже не показывают на нас пальцем, шепча друг другу «Глянь, а эти двое – евреи».

Что же заставляет нас ездить сюда, кроме подсознательного, хоть и очевидного, мазохизма? Ответ мой будет необычайно прост – любовь. Мы с первого взгляда

влюбились в здешнюю тишину и оторванность от мира, в бесконечную даль зачарованного заповедного леса, в хитрую вязь по-немецки ухоженных лесных тропинок, в постоянную умытость неправдоподобно пряничных домов.

Наша деревня расположена в самом сердце Европы – два с половиной часа поездом до Парижа, пять часов до Берлина, шесть – до Цюриха. И в то же время она наглухо отгорожена от всего мира многими квадратными километрами лесной глухомани, хоть это не русская глухомань, а немецкая – с хорошо протоптанными тропками, размеченными разноцветными указателями и тщательно нанесенными на подробные карты.

Попали мы сюда случайно – сбились с пути, направляясь на машине из Карлсруэ в Париж, и забрели в крошечный городок по имени Лемберг – любопытно было посмотреть на гору, на вершине которой, если верить Гете, ведьмы танцевали в Вальпургиеву ночь. Ведьм мы в Лемберге не нашли, разве что ими могли оказаться две густо загримированные продавщицы косметического отдела местного универмага – ведь это тоже из области чудес, когда в городишке размером с носовой платок красуются универмаг, супермаркет и очаровательное кафе с фантастическим выбором восхитительных немецких пирожных.

Одуревшие от душистого кофе и от чистого, настоящего на сосновой хвое, лесного воздуха, мы снова тронулись в путь, и тут же заблудились, хоть заблудиться было практически невозможно – вполне вероятно, что нас заколдовали загримированные ведьмы из универмага.

Заблудившись окончательно, мы вкатились в крошечную деревеньку, семь осененных цветами домиков которой расположились на лесистом склоне, круто сбегающем к бурной горной речушке – и остановились в потрясении. Со стен каждого домика на нас скалились, над нами смеялись, нам угрожали и нас приветствовали лукавые морды чертей и леших всех размеров. Самая большая морда занимала всю, специально под нее побеленную, торцовую стену двухэтажного дома – на макушке у нее красовалась шляпа с пером, во рту дымилась трубка соответствующего

размера. Дом оказался итальянским рестораном с весьма разнообразным меню – не чудо ли, в деревеньке из семи домов? Пришлось пообедать.

После обеда мы отправились дальше по узенькой – в одну машину, – извилистой дороге, затиснутой между лесной чащей и крутым берегом речушки. Сначала я волновалась – а куда деваться при виде встречной машины? Но постепенно пришла к выводу, что опасность встречи невелика – по дороге никто не ехал, так что даже некого было спросить, куда нас черти несут. Зато присутствие чертей чувствовалось во всем – то слева, на лесных прогалинах, то справа, на другом берегу, поминутно возникали какие-то малиново-красные химеры самых несуразных форм, иногда в виде огромного гриба со шляпкой размером с теннисный корт, иногда в виде вереницы причудливых храмов неведомых религий. А напоследок в поле зрения всплыл огромный, белый, очевидно необитаемый дворец, застывший над зеркально неподвижной водой искусственного пруда, окаймленного цепочкой почему-то горящих среди бела дня дымчатых фонарей.

Впрочем, белый день вскорости начал склоняться к вечеру и мы задумались о ночлеге – стало уже ясно, что выбраться на шоссе из этой путаницы нам в темноте даже черти не помогут. И ошиблись – чертовщина опять сработала, великодушно выставив на дорогу неожиданный в этой глухомани желтый щит с зазывной надписью «Отель». Наша машина с ревом взлетела по почти вертикальной дорожке в никуда, и оказалась перед игрушечным деревянным домом из детской сказки – стены были коричневые, бревенчатые, этажей было три, и на каждом этаже – по два балкона, по всей длине обсаженные цветами.

Проснувшись поутру, мы осознали, что навсегда оказались пленниками этого замороженного леса – мы отменили все запланированные заранее маршруты и остались в этом отеле на две недели. А дальше уже пошло-покатилось – помню, мы как-то решили разрушить чары и провести отпуск в каком-то другом райском местечке, но ничего хорошего из этого не вышло, – непрерывно шел

проливной дождь, ребенок заболел, хозяйка нас возненавидела, – словом, чары оказались сильнее нас.

Я попыталась откупиться от заклятья, написавши роман «Ведьма и парашютист», с закрученным сюжетом которого я бы ни за что не справилась без чертей, но этого оказалось мало. Моя попытка выскочить из зачарованного плена, удравши в Англию с романом «Полет бабочки», завершилась покорным возвращением в милый моему сердцу лес в романе «Дорога на Сириус».

И тогда я поняла, что выхода нет, смирилась и огляделась вокруг. Кто они, мои немецкие соседи, обитатели нарядных, утопающих в цветниках домов? Может быть, крестьяне – ведь деревенские жители, не так ли? Ведь в свиарнике возле замка Вилленштейн хрюкают свиньи, а в поле за околицей топорщится овес и пасутся ленивые рыжие коровы. Нет, не выходит – наши дамы с модными прическами и накладными ногтями никак не тянут на крестьянок. Значит, горожане? Тоже не выходит – нет в них этой свойственной горожанам стремительной напряженности, этого постоянного стремления перепрыгнуть через время. Они беспечно болтают в супермаркете с кассиршей, в то время как небольшая очередь терпеливо пережидает, когда исчерпается начатая тема беседы.

Мне помогла беззастенчивая реклама одного из здешних ресторанов, сообщающая, что он гордится своей «добротной бургерской кухней». Вот оно, заветное имя – бургеры! Пренебрегая привычной ругательной коннотацией этого слова, я догадалась: здешние жители – бургеры и бургерши! Причем они нисколько этого не стесняются! Как не стесняются свисающих с их балконов пышных кустов алых и розовых гераней. А нас с детства приучили, что герань – отвратительный символ мещанства.

Может и впрямь, на бедном подоконнике жалкой комнаты в коммунальной квартире горшок с геранью символизировал нечто отвратное комсомольским сердцам наших родителей. Но здесь, в зеленом обрамлении сосновых ветвей, прозрачные гирлянды розовых цветов чудо как хороши. А ведь вовсе не просто сохранять эти кусты из года

в год. Герань не переносит зимнего холода, а значит нужно с наступлением осени снимать с крюков висячие горшки, упаковывать их, каждый отдельно, в нейлоновый мешок с проколотыми дырочками для дыхания и увозить на тележке в специально приспособленный для них погреб, где они будут зимовать, подвешенные на крюках под потолком. Это нелегко – снять, перевезти, упаковать и снова подвесить десятки горшков с геранью, но здешние бюргерши не боятся физической работы, они не жалеют сил ни на мытье лестниц и тротуаров, ни на уход за геранями.

Но это не значит, что им чужда жизнь духа. Прошлым летом нам на глаза попалось объявление, приглашающее в католическую церковь – а у нас их две, есть и протестантская! – на концерт местного хора, исполняющего негритянские Спиричуалз. Мы вспомнили, как несколько лет назад в Париже были потрясены этими Спиричуалз в оригинальной интерпретации негритянской капеллы, и решили пойти послушать, как с этим справятся «свои». Не забывая при этом, что слово Спиричуалз означает «духовные песнопения».

Мы пришли за несколько минут до начала – обширная церковь была полным полно, яблоку негде упасть. На сцене выстроился хор – женщины в белых блузках, мужчины в белых рубашках. По бокам сцены устроились музыканты – тоже в белом. Я вгляделась в парадно причесанных певцов и певиц и ахнула – среди них было полно моих знакомых, которых я даже не подозревала в музыкальных склонностях. Пока я удивлялась, дирижер взмахнул палочкой, и полнолицая Изольда, хозяйка винного магазинчика, по совместительству торгующего овощами и могильной землей, задала тон мощным контральто:

«У меня есть крылья, есть крылья, есть крылья!»

Я знакома с нею много лет, я иногда покупаю у нее яблоки и органическую картошку, но никогда бы не подумала, что у нее есть крылья, они так не вяжутся с ее плотной фигурой и круглым, как луна, лицом. Начисто отрицая мои сомнения, вслед за Изольдой слаженно вступили сопрано, среди которых я заприметила

миловидную буфетчицу из бассейна и страхолюдную кассиршу из супермаркета:

«У всех детей Божьих есть крылья, есть крылья!».

У всех, так у всех – грянули мужские голоса: сперва басы, низко-низко, потом баритоны чуть повыше, а уж напоследок над ними совсем высоко, почти достигая небес, взвились тенора:

«Я прилечу на небо и расправлю крылья, расправлю крылья, расправлю крылья,

И буду кружиться над Божьим миром, над Божьим миром, над всем Божьим миром!».

После музыкальной паузы Изольду оттеснила парикмахерша Райнгильда, похожая на взъерошенную курицу в белой блузке. Однако наперекор этому злосчастному сходству она вовсе не закудаhtала, а извлекла из глубин своей куриной грудки протяжный чарующий звук:

«У меня есть арфа, есть арфа, есть арфа!»

Звук был чистый и низкий, он начал быстро взлетать выше и выше, под купол церкви, и я поверила, что у нее в груди есть арфа, хоть стричься у нее ни разу не решилась – боялась, что поуродует.

И дальше я уже верила всем – и долговязому аптекарю в очках, и узловатому шоферу, ежедневно пригонявшему в супермаркет тяжелые грузовики с вином и пивом, – когда они уверяли меня, что: «У всех детей Божьих в груди есть арфа, в груди есть арфа», и что они вечно идут по дороге на Иерихон, на Иерихон, на Иерихон, и что все люди – братья, люди – братья, люди – братья! Песнопение длилось два часа, и никто не шуршал и не кашлял. Я, конечно, не музыкальный критик, и на мой необразованный слух наши немецкие бюргеры пели не менее вдохновенно, чем профессиональные виртуозы оригинальной негритянской капеллы.

После концерта мы вышли из церкви окрыленные, но по дороге вера в светлое начало стала постепенно меркнуть в наших душах, чтобы окончательно погаснуть при подходе к Юден Хюбелю, где по утверждению местных жителей никогда не жили евреи. В это я почему-то так и не

поверила – если евреев не было, к чему было называть эту улочку Еврейским холмом?

Юден Хюбель – только одна из тайн нашей деревни. Разве не смешно – обнаружить столько тайн в маленькой деревушке, отрезанной от цивилизованного мира бескрайным массивом заповедного леса? Эти тайны нельзя заметить с налету, для того, чтобы их увидеть, нужно приезжать сюда из года в год и внимательно вглядываться в подробности здешней жизни.

Так, много лет назад на выезде из деревни в лесную глухомань открылся итальянский ресторанчик «Да Нино», то есть «У Нино». Ничего особенного, – в основном спагетти, гночки и разнообразные пиццы. Ресторанчик процветал – там было вкусно и дешево. Хозяйина я толком за эти годы так и не рассмотрела, но хорошо запомнила пожилого безымянного официанта, которому всегда нужно было напоминать, чтобы он подал к спагетти тертый сыр.

Через несколько лет мы заметили – не сразу, а через несколько посещений, – что вывеска сменилась: ресторанчик уже назывался не «Да Нино», а «Да Тино». Других перемен не было: ассортимент блюд остался тот же, даже меню не поменялось, и обслуживал нас все тот же пожилой безымянный официант, постоянно забывающий подать к спагетти тертый сыр. На наш вопрос, куда девался Нино, он ответил кратко «Вернулся в Сицилию», и больше к этой теме возвращаться не захотел.

Зато Тино, не в пример Нино, уже не был незримой тенью – это был энергичный молодой сицилиец, очень черноглазый и веселый. Не ограничившись ресторанчиком, он открыл в центре деревушки кафе-мороженое, не закрывающееся в полседьмого в отличие от немецких заведений такого типа. Успех был невероятный – счастливые любовники, неприкаянные подростки, запоздалые туристы с рюкзаками и многодетные семьи с колясками до десяти вечера клубились под нарядными зонтиками на тротуаре перед кафе. Казалось, никакая сила не разлучит ловкого Тино с его доходным дельцем.

Однако в прошлом году мы обнаружили, что ресторанчик уже называется «Да Карло», хоть ассортимент

блюдо осталось тот же, и меню то же, и обслуживает посетителей все тот же пожилой безмянненький официант, постоянно забывающий подать к спагетти тертый сыр. Подогреваемые любопытством мы спросили его, кто такой Карло, он ответил кратко: «Карло – это я».

«А куда девался Тино?»

«Вернулся в Сицилию».

«Почему?»

«Ему пора было возвращаться».

«А кафе-мороженое тоже ваше?»

«Нет, кафе-мороженое получил мой кузен».

Вот тебе и на! Официант Карло получил ресторан, а его кузен – процветающее кафе-мороженое. От кого получил? От сицилийской мафии или просто от семьи? Или семья и мафия – одно и то же? И как долго они продержатся – Карло и его кузен? И куда все-таки девались Нино и Тино? Действительно, вернулись домой или кости их тихо гниют в какой-нибудь сицилийской пропасти? Мне вдруг припомнилось, что и хозяин итальянского ресторанчика в первой нашей зачарованной деревне, того самого, на торцовой стене которого красовалась морда лесного лешего, тоже через пару лет слинял неведомо куда. И его тоже сменил чей-то кузен. А потом и кузен исчез, и сам ресторанчик с мордой на торце пошел на слом, а на его месте возник гараж по ремонту подержанных автомобилей, принадлежащий кузену кузена. Вчерашняя тайна так и осталась тайной.

А как же быть с тайнами многовековыми? Ведь никто уже сегодня не помнит, кузен чьего кузена построил в восемнадцатом веке знаменитую печь для испекания лукового пирога, прославившую нашу деревню на все Палатины – я не шучу, наши райские места с легкой руки древних римлян носят имя Палатинет. С тех пор прошло уже почти три века, а печь все стоит, как ни в чем ни бывало – невзрачная и низкорослая, похожая скорее на конуру для большой дворовой собаки, чем на культурное сокровище Палатинета, охраняемое государством как архитектурный памятник.

Когда я увидела эту хваленую печь в первый раз, я с недоверием провела ладонью по потемневшим от долгого употребления черепицам, облицовывающим ее верхний свод. Нижний свод, покрытый многовековой копотью, укатился далеко в глубь ее плотного каменного тела, скрывая от постороннего глаза могучую чугунную решетку колосников. Трудно было бы сосчитать количество луковых пирогов, испеченных на этих колосниках за прошедшие триста лет.

Чтобы проверить подлинность рассказов о знаменитом луковом пироге, мы отправились на ежегодную церемонию возжигания печи, проводимую каждый год в первое воскресенье сентября. Мы пришли заранее, пока праздник еще не начался, чтобы получше осмотреться и запарковать машину, так как нас предупредили, что к моменту возжигания мест для парковки уже не будет – люди съедутся из самых отдаленных районов.

Глядя на неприглядный маленький домик, в недрах которого предполагалось вскорости рождение легендарного пирога, мы сильно усомнились в предстоящем народном нашествии. Но не прошло и четверти часа, как воздух наполнился громким ревом множества автомобилей, подъезжающих со стороны шоссе, взбирающихся вверх в гору или маневрирующих, чтобы припарковаться. С холма, на котором стояла печь, была видна витая обрывистая дорога, ведущая из большого мира, – она выглядела, как гирлянда сдвоенных автомобильных фар, медленно наползающих на деревню из бесконечного лесного простора.

Я пропустила момент, когда начала выстраиваться очередь за луковым пирогом – на площади вдруг грянула музыка, я обернулась и увидела длинную вереницу нарядных пар, хвост которой терялся где-то в темноте дальних улиц.

Мы ловко пристроились к началу очереди – как раз во время, чтобы увидеть, как вокруг печи началась большая кутерьма. Смотритель местного бассейна умело разжег на колосниках веселый огонь, в который два молодых парня в высоких сапогах со стальными гвоздиками стали

подкладывать мелко наколотые сухие полешки, заранее заготовленные в поленищах под школьным забором.

Как только в печи заплясало пламя, на ветвях кленов в школьном дворе вспыхнули десятки разноцветных лампочек и осветили притаившиеся под церковной стеной длинные столы, на которых стояли дубовые бочонки, наполненные золотистыми шарами теста. Возле столов уже выстраивались ряды нарядных матрон в белых кружевных фартуках и в белых крахмальных чепчиках. Завершив построение, они разом, как по команде, высыпали на каждый стол горки муки из холщовых мешков и стали проворно раскатывать тесто на небольшие лепешки размером с десертную тарелку.

Это выглядело, как настоящий театр. Недоставало только, чтобы слаженный хор веселых дровосеков в высоких сапогах со стальными гвоздиками и пышных матрон в белых крахмальных чепчиках грянул что-нибудь возвышенное, вроде: «Сатана там правит бал, там правит бал!».

Вместо хора у печи появились новые матроны с кастрюлями и, споро растасовавшись по столам, начали круглыми черпаками выкладывать горки начинки на разделанные круги теста. В начинке был не только лук, но и мелко наструганные ломтики ветчины, густо посыпанные приправами. Каждая горка тут же равномерно разминалась специальной плоской ложкой по всему кругу лепешки.

К тому времени, как полсотни лепешек были готовы, высокое яркое пламя в печи сменилось ровным алым мерцанием раскаленных древесных углей, затянутых поверху тонкой черной патиной угольной пыли. К печи подкатали длинный, крытый жестью стол, и еще две матроны в белых чепцах вступили в освещенный круг. Каждая взяла в руки небольшую металлическую лопатку, – вернее, плоский противень, насаженный на длинную ручку. На каждом противне была распластана лепешка с начинкой и отправлена в печь на раскаленные угли.

Из печи потянуло вкусным запахом печеного теста и жареного лука, очередь на миг взволнованно загудела и затаила дыхание. Три минуты проползли в благоговеиной тишине. Затем обе печные матроны одновременно слаженно

наклонились, вынули из печи лопатки с первыми испеченными пирогами, и единым умелым движением смахнули их на заготовленные заранее белые картонные тарелки.

Мы не успели попасть в число первых счастливых, надкусивших знаменитый пирог. Но работа у печи шла так слаженно, что через какие-нибудь пятнадцать минут мы уже держали в руках по картонной тарелке с дымящимися лепешками. Вкус у них был божественный – может, в недрах этой невзрачной древней печи хранится какая-то тайна?

«Конечно, хранится, – объявила наша квартирная хозяйка фрау Лило, – ведь недаром местные ребята каждый год накануне праздника пирога с пением носят по улицам огромное чучело дракона!». Чучело это, около двенадцати метров длиной, десятки – а может, и сотни лет, никто не знает точно, – целый год висит в большом мешке в специальной комнате при церкви, ожидая своего часа.

Я не поленилась пойти посмотреть, как этого монстра вытаскивают наружу после зимней спячки. Он провисел целый год в темной комнате, сложенный гармошкой в огромном мешке, и потому выглядел печальным и помятым. Несколько местных дам из Женского Ферайна пришли помогать ребятам приводить дракона в порядок. Его сшили очень давно из цветных лоскутков, изображающих чешую, и натянули на проволочный каркас, и потому каждый год его приходится чуть-чуть подновлять – подшивать порванные лоскутки, распрямлять помятый каркас, чистить пасть и подкрашивать красной краской пятна крови на шее и на хвосте.

По мнению фрау Лило эти пятна крови и составляют главную часть сюжета. Очень давно, когда камни вокруг нашей деревни были серые, молодой дракон забрел в эти места и влюбился в прекрасную девушку. Он похитил ее и запер в замке Вилленштейн, развалины которого красной глыбой и сейчас топорщатся на холме – только в те дни замок тоже был серый. Дракон приходил к девушке каждый день и смотрел на нее влюбленными глазами. И случилось чудо: девушка полюбила дракона, она поцеловала его, и он

превратился в прекрасного принца. Они поженились и стали счастливо жить в замке. Чтобы порадовать народ, они построили эту печь, и каждый год пекли в ней луковый пирог для всей деревни, и выставляли к пирогу двадцать бочек местного вина «Шой-Ребе», которое считается лучшим в мире. Говорят, что вкус у того пирога был божественный, но только принцессе был известен его рецепт.

Так бы и жили они припеваючи, если бы не одна беда – вместо детей у принцессы рождались только маленькие дракончики. Она так стыдилась этого, что каждый раз, как у нее рождался новый дракончик, она тайком от всех, даже от мужа, ночью прокрадывалась на самый верх башни и бросала своего младенца вниз, чтобы он разбился насмерть на скалах. И вот однажды ночью принц проснулся и заметил, как его жена крадется в башню с корзинкой в руке. Он потихоньку пошел за ней следом, потому что был очень ревнивый и думал, что у нее свидание с кем-то, кто с самого начала был рожден человеком. Он спрятался за дверь и увидел, как она вынула из корзинки маленького дракончика, поцеловала его и бросила вниз в пропасть. Тогда принц страшно закричал от боли и превратился обратно в дракона. Увидев это, принцесса зарыдала и сама бросилась вниз. Кровь ее разбрызгалась по всей окрестности, и с тех пор скалы здесь стали такие красные. И стены замка тоже.

А несчастный дракон совсем потерял голову и пополз в деревню: он так долго был человеком, что разучился ходить по-драконьему. Пока он полз, его чешуя цеплялась за камни и кусты, и кровь брызгала во все стороны, так что вся земля здесь тоже стала красная. В конце концов, он приполз на центральную площадь и умер.

Жители деревни очень огорчились, они любили принца, хотя и знали о его темном прошлом – ведь когда-то он был драконом. И они решили сохранить память о нем – они выписали с востока мастеров, которые почистили его шкуру и сделали из нее чучело. И с тех пор каждый год юноши нашей деревни носят это чучело по улицам в память о той ужасной трагедии. А женщины пекут луковый пирог,

хотя и не совсем тот, а похуже, потому что секрет рецепта волшебного пирога погиб вместе с принцессой.

Но какой-то рецепт все же сохранился – и поэтому наша фрау Лило раньше целую неделю перед праздником сидела на кухне и, плача, чистила и резала сотни луковиц для начинки. Это была ее доля в праздничном мероприятии – приготовить 200 кг мелко нарезанного лука. Другие женщины изготавливали тесто и смешивали лук с ветчиной, а мужчины заготавливали дрова и пригоняли грузовики с вином и пивом. Потому что в груди у каждого из них «была арфа, была арфа, была арфа».

Но иногда эта арфа звучит слишком громко, и тогда вспыхивают горячие ссоры – это происходит от того, что какая-нибудь группа женщин начинает настаивать, будто обнаружила подлинный рецепт пирога принцессы. Размах этих ссор трудно понять постороннему наблюдателю, но сомневаться в их градусе не приходится. Так, несколько лет назад мою фрау Лило лишили права плакать при очистке 200 килограммов лука, и отдали это право двум молодым дамам из профессорского поселка, выросшего недавно на одной из окраин нашей деревни. Молодые профессорши беспардонно объявили, что их пирог будет ближе к источнику, потому что им удалось расшифровать и научно обосновать его рецепт, найденный ими в какой-то старинной книге. Так что теперь арфа переселилась, может быть, к ним и их мужьям, которые теперь заготавливают дрова и пригоняют на праздник грузовики с вином и пивом.

Мне пока не удалось выяснить, какое отношение к истории с драконом имеет долина Карлсталь, глубокой зловещей трещиной рассекающая наш кроткий лес на две неравные части. Она открывается глазу внезапно и неожиданно – она начинается с того, что не подозревающий подвоха путник безмятежно спускается по извилистой каменной лестнице в глубь земли, и застывает, не веря своим глазам. Сразу за поворотом из-под нависшей над бездной каменной глыбы вдруг вырывается бурный поток, который устремляется вниз, в ущелье, весь в белопенных барашках вихрей.

Промчавшись парой сотен метров, поток слегка утихает и начинает более размеренно струиться по глубокой синусоиде, стиснутой с двух сторон останками разразившейся здесь когда-то геологической катастрофы. Над клубящейся в узком русле водой то справа, то слева нависают огромные валуны, громоздящиеся друг на друге, как застывшие в эротическом порыве мамонты. Если бы можно было вскарабкаться по этим валунам несколько десятков метров вверх, невозможно было бы поверить в реальность постоянно разыгрываемой внизу неуместной шутки природы – скрывая в тени ветвей глубокую расщелину Карлстала, над обрывом на много километров простирается безмятежный лесной массив.

Внизу под обрывом мощные водяные струи прорыли себе каменный путь, беспощадно вгрызаясь в скалы, подмывая корни вековых дубов и обрушиваясь внезапными водопадами. Что произошло здесь в далеком прошлом? Может быть, древнюю горную гряду потрянуло краткое землетрясение? Но в истории этих мест нет никаких упоминаний о землетрясениях. А может быть, именно здесь прополз несчастный умирающий дракон, в один миг потерявший все, что было ему дорого? Он полз, изрыгая огонь, и скалы расступались под его натиском, нагромождая друг на друга многотонные гранитные валуны. Такое объяснение кажется мне наиболее убедительным.

А вслед за драконом по вновь возникшей долине прошли люди – чего они искали, куда спешили? Они оставили после себя следы погибшей цивилизации – то тут, то там по обрыву поднимаются прорубленные в скалах гроты и полуразрушенные лестницы, не ведущие никуда. Они бегут наклонно по лесистому склону недлинными маршами, по пятнадцать-двадцать ступенек, и вдруг обрываются – хочется сказать, на полуслове. Кто строил их, куда они вели, почему обрушились, не дойдя до верха расщелины?

Вообще наши места недаром вдохновляют резчиков корней на создание морд леших, кикимор и другой лесной нечисти. Она, эта нечисть, наверняка водится в глухих чащобах – мы не раз заблуждались на знакомых тропинках,

и долго-долго петляли по просекам, обрывающимся на полуслове, как лестницы Карлсталя. Где-то близко, совсем рядом, слышался собачий лай, мычание коров и гул едущих по шоссе машин, но ни одна дорога не выводила к человеческому жилью, а замыкалась сама на себя, пока лешему не надоедало водить нас за нос.

Зато когда мы вырвались, наконец, из заколдованного плена лесной нечисти, любая дорога заманивала нас в один из местных ресторанчиков, разбросанных маяками по всей долине Карлсталя. Ресторанчики эти представляют такое разнообразие человеческих вкусов, что я не могу удержаться от соблазна описать некоторые из них.

У самого входа в скрытое от несведущих ущелье Карлсталя так же умело скрывается от несведущих элегантный дорогой ресторан «Имменхоф». Его не видно с дороги, и ни на одной афишной тумбе не висит его реклама – однако в любой день недели его умело скрытая от несведущих автостоянка заполнена роскошными автомобилями. Со стоянки можно увидеть только приземистое старинное здание без каких бы то ни было архитектурных излишеств, и все.

Красота обнаруживается только, если свернуть за угол – сразу за углом, с узкой, нависшей над головокружительный пропастью террасы взгляду открывается неохватный простор лесных угодий. Можно сесть на террасе в кружевное белое кресло за белый с витыми ножками столик, но лучше подняться на пару ступеней в святилище чревоугодия. В центре святилища, как и положено, высится алтарь – огромный, метра три на четыре, каменный очаг с настоящим живым огнем, полыхающим на искусно уложенных полешках. Над огнем на толстой цепи подвешена жаровня, в которой по вашему заказу можно испечь на огне кусок мяса или рыбы. По обе стороны алтаря гостей поджидают жрецы – муж и жена, оба немолодые, элегантные, поджарые, оба в белых перчатках, оба, как греческие боги, на голову выше своих посетителей.

В зале полутемно, он освещен только свечами и переливами огня в очаге. Какое бы блюдо вы ни заказали,

вам сначала подадут маленькую закуску, исполненную как натюрморт с выставки импрессионистов, так что даже жалко нарушить такое совершенство. Блюда здесь тоже необыкновенные, не такие, как в других ресторанах, и подают их на огромных старинных расписных тарелках, что, впрочем, нормально для святилища чревоугодия. Морозной пылью серебрится хрустальная рюмка, в которой подносится астрономически дорогая водка.

И, конечно, необходимо обязательно посетить туалет. К посещению туалета лучше подготовиться морально, чтобы не испугаться, подумавши, что вы случайно забрели в личный будуар хозяйки. Одну стену этой просторной, залитой розовым светом комнаты занимает большое зеркало в изящной раме, перед которым стоит удобное глубокое кресло. На мраморном столике перед зеркалом разложены разнообразные косметические приспособления, на стене напротив зеркала висят пейзажи здешних мест, подписанные художниками, в высокой вазе в углу стоят свежие цветы. Играет тихая музыка, и из какого-то скрытого в стене источника струится неназойливый цветочный аромат. Из такой комнаты просто не хочется уходить.

Естественно, что насладившись всеми прелестями ресторана «Имменхоф», мы, как говорится, «посчитали – прослезилась», и начали старательно обходить его стороной. Для этого стоило только спуститься на несколько километров по течению Карлсталя и припарковать машину у покосившихся ворот форельной фермы «У Эрвина». У Эрвина весь антураж вступает в противоречие с элегантным изяществом Имменхофа. Народу там, правда, бывает не меньше, но марки машин на площадке у ворот куда скромнее. И туалета нет, есть выгребная яма, окруженная невысоким заборчиком из малолетних елочек, достигающих пользователю до пояса. Но пользование этой ямой не обязательно: тот привередливый, кому она не по душе, может сходить отлить в кусты над рекой, а, судя по количеству выпитого, отливать приходится часто.

О белых перчатках и речи нет, ни у наливающих, ни у отливающих, о фарфоровых тарелках тоже – однако это не

значит, что чревоугодию тут не служат, просто тут служат ему по-своему.

Алтарь, правда, в наличии имеется – это низкая жаровня с углями, на которой изрядно нетрезвый рыжий (и ражий) хозяин выпекает в фольге свежевывловленную форель. В этой же фольге он подает ее на картонной тарелке, просто рыбу, без закуски и гарнира, зато к рыбе – выпивка недорогая, не то, что в Имменхофе. Так что каждый может запивать рыбу в свое удовольствие – кто шнапсом, кто вином, кто пивом. У входа в покосившийся домик под тесовой крышей, служащий и магазином, и конторой, стоит ярко раскрашенный керамический человечек, уже принявший изрядно, как и хозяин, – куртка на нем нараспашку, штанов нет, так что все его мужские достоинства выставлены напоказ. Его поза недвусмысленно намекает, что если очень уж невтерпеж и добежать до кустов не выходит, то можно отлить и тут, на пороге. Правда, при мне этого ни с кем не случилось.

Но мы все же предпочли отказаться от рыбы Эрвина, ссылаясь на отсутствие не только перчаток, но и крана для мытья рук. Мы обогнули заросшее осокой озерцо, где плещется форель, продрались сквозь сплоченные заросли крапивы, и через десять минут выбрались по лесной дорожке к культурному комплексу «Унтерхаммер». Казалось бы, что может быть безумней идеи создать культурный комплекс даже не на пересечении автострад, а среди лесной пустыни на пересечении излучины крошечной горной речки с излучиной узкой извилистой дороги, на которой с трудом могут разъехаться две встречные машины?

Мы так и подумали, когда впервые услышали об этом от отважной молодой женщины, задумавшей и в конце концов осуществившей этот проект. Было это лет десять назад, когда мы в который раз забрели в Унтерхаммер, давно заброшенное поместье местного барона фон Хакке, печально ветшавшее над печальным заросшим тиной красивым прудом из другой жизни. Домов в усадьбе было два, оба в три этажа, оба благородных пропорций, они безмолвным укором нависали над дорогой с двух сторон,

зия выбитыми глазницами стрельчатых окон, осененных ржавыми узорчатыми решетками.

Печаль особенно настойчиво сконцентрировалась над поместьем фон Хакке после того, как лет пятнадцать назад в одном из домов, в том, что рядом с прудом, заживо сгорела многолетняя семья беженцев из Польши. Навсегда осталось тайной, подожгли ли их любящие соседи или пьяный папаша заснул с зажженной сигареткой в зубах, но из-за полной удаленности поместья от человеческого жилья и полной его отгороженности от мира излучинами лесистых холмов, пожар заметили слишком поздно, чтобы кого-нибудь спасти. Никогда не забуду фотографию в местной газете – семь до углей обгоревших трупов, два больших и пять маленьких, мал-мала-меньше.

Все-таки каменная кладка восемнадцатого, а то и семнадцатого, века не подвела, – не до конца сгоревший дом с провалившейся крышей, весь в черных зализах неистребимой копоти, но с устоявшими против огня стенами, так и остался торчать над прудом мрачным напоминанием: «Мemento мори». Народ это место не жаловал, никто не ловил в пруду рыбу и даже самые смелые грибники обходили его стороной.

Но вот в один из очередных приездов мы добрались до Унтехаммера и удивились, заметив, что боковая дверь его приоткрыта. Вокруг было пустынно, как всегда, но из-за двери доносился шорох и даже нечто, похожее на мурлыканье. Первым моим чувством был испуг – уж не духи ли это пяти сгоревших заживо польских детишек, обуянные жаждой мести, поджидают прохожих?

Через пару минут мурлыканье затихло, а шорох сменился равномерными ударами молотка по металлу. Набравшись храбрости, я толкнула дверь и заглянула внутрь – навстречу мне шагнула высокая молодая женщина с занесенным над головой молотком. В ней не было ничего, напоминающего польских беженцев. У ног ее, глядя на меня без тени улыбки, сидел огромный волкодав.

«Кто вы?», – в растерянности спросила я ее по-английски, хотя в наших краях по-английски не говорит

никто. «А вы кто?» – ответила она мне, тоже по-английски, что само по себе уже было чудом.

Мы разговорились – женщину звали Юдит, она со своим другом-голландцем приехала из Мюнхена создавать в нашем медвежьем углу культурный комплекс. Причем не просто из любви к культуре, а с твердым намерением поставить эту затею на прочную коммерческую основу. Для начала они купили по дешевке все заброшенное имение барона фон Хакке – два барских дома, бывшую конюшню и полусгнивший деревянный сарай без окон и дверей.

«Здесь я открою кафе, – предъявляя нам затянутую многолетней паутиной анфиладу мелких комнат справа, мечтательно сообщила Юдит, – простое, элегантно, кофе с пирожными, чай, и больше ничего. А слева, в этом зале – вы только гляньте, какая красота!».

Мы глянули – зал был просторный, благородных пропорций, но пол полностью сгнил, стекла выбиты, двери кое-как висели в покосившихся фрамугах. «Здесь я сделаю картинную галерею, в которой местные художники будут выставлять свои работы».

Мы засмеялись, восхищаясь ее бесшабашностью – ну кто потащится пить кофе в такую глушь? Не говоря уже о созерцании картин местных художников, которых-то и в городе не слишком жаловали.

Юдит не обиделась, она в себя верила: «Вы не смейтесь, а приходите в сентябре на открытие кафе!».

Мы пришли в сентябре, и глазам своим не поверили – умирающий дом преобразился и ожил – пятна копоти скрылись под слоем краски, на крыше выросла черепичная чешуя изрядных размеров. В зале, отведенном под галерею, почти закончили укладку изящного паркетного пола. Посетителей в кафе было немного, все приятели хозяйки, как и следовало ожидать. Пирогам отличались изысканностью вкуса и форм, так же, как и кофейные сервизы, но особенно впечатлил меня рукомошник в туалете – такого я не видела больше нигде, ни до, ни после. Он представляет собой совершенно плоскую гранитную доску, прикрепленную к стене таким образом, что вода не выплескивается наружу, а стекает вниз, в невидимую щель.

Я заподозрила, что это первый экспонат выставки одного из местных художников, и так оно и оказалось.

На следующий год в галерее начали появляться коллекции работ скульпторов, живописцев и фотографов. Их вернисажи становились все красочней и многолюдней, привлекая интерес местной интеллигенции и к работам художников, и к кулинарному искусству Юдит. Оказалось, что в наших краях полным полно служителей муз.

Более того, при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что служители муз изрядно замусорили наши пасторальные окрестности плодами своих трудов. Мы, бродя по лесам, не раз наталкивались на странные безобразные сооружения, выглядывающие то из травы, то из листвы, а иногда одиноко торчащие то на полях, то на полянках. Некоторые мы принимали за свято хранимые останки боев Второй мировой войны, некоторые за поломанные ветряные мельницы, некоторые за разбросанные временем суставы злополучного дракона – коленные, тазобедренные и локтевые. Но однажды в исторической брошюре, посвященной 750-летию нашей скромной деревушки (750 лет – это вам не фунт изюма!), мы прочли горделивое сообщение о недавно прошедшей именно здесь международной выставке современной скульптуры.

И все стало ясно! Поскольку многие экспонаты этой славной выставки никто не затребовал обратно, особо трудные для транспортировки экземпляры были произвольно рассеяны по нашим лесным просторам для – страшно сказать! – их украшения.

Но я отвлеклась. А собиралась я рассказать о друге Юдит – голландце Винсенте. По профессии физиотерапевт и массажист, он затеял на втором этаже барского дома клинику по исправлению страдающих спин, повесив у входа вместо вывески литографию картины Ван Гога, крупно подписанную «Винсент». Клиника разрослась с такой же сверхзвуковой скоростью, как и культурный комплекс Юдит, поставляя ей постоянный поток клиентов для кафе – ну как после сурового массажа с выламыванием суставов не

побаловать себя чашечкой душистого кофе с воздушным пирожным?

Все время, остающееся у Винсента от профессиональной работы, он тратит на совершенствование своего поместья. С каждым годом оно становится все краше – давно забыты черные потеки копоти и провалившаяся крыша. Новая крыша из красной черепицы, украшенная старинными часами, видна теперь издали, вокруг дома разбит элегантный парк с цветочными клумбами – как будто для красоты недостаточно природного леса! На месте гнилого сарая с выбитыми рамами Винсент построил современный спортивный зал, оснащенный новейшей аппаратурой, легко просматривающейся сквозь стеклянную стену фасада. Красивый круглый пруд сверкает на солнце зеркальной гладью чистой воды.

С прошлого года Винсент занялся приведением в порядок второго дома – не знаю, что он планирует там сделать, но в его искусных руках обреченный на гибель дом постепенно превращается во дворец, для чего он и был изначально предназначен бароном фон Хакке.

И как бы в противовес стремительной атаке «Унтерхаммера» на инерционную природу лесных жителей в трех километрах от него у самого выхода из ущелья дракона угнездился с позапрошлого века ресторан «Клюг'ше Мюле», тот самый, который гордится своей солидной бургерской кухней. Все в нем и вправду солидно, старомодно и невкусно – сколько лет я пытаюсь, и никак не нахожу вкус в бургерской кухне, в кислом колбасном салате, в еще более кислом и скользком картофельном салате, в фирменном жирном супе с печеночными клецками, и в тягучих от избытка желе фруктовых пирожных. Трудно понять, почему толпы туристов, насладившись прогулкой по зловещему ущелью, с удовольствием уплетают все эти исконно немецкие яства, с трудом подаваемые пожилыми хромоногими официантками в белых фартуках и чепцах. Не знаю, из жалости их здесь держат или для местного колорита, но больно смотреть, как они, с трудом ковыляя на ревматических ногах, тащат на террасу полные подносы тяжелых пивных кружек.

С террасы ресторана открывается завораживающий вид на разноцветные лесные уголья и на мирную речку, которая, с рокотом вырвавшись из-под последнего валуна Карлсталя, неожиданно успокаивается и продолжает струиться кротко и нежно, словно знаменитая цветочница, укрощенная Пигмалионом.

Я подозреваю, что именно тут, на этой идиллической лужайке испустил дух злосчастный дракон, – иначе невозможно объяснить, почему здесь внезапно исчезают все разрушительные следы геологической катастрофы, и бурный поток превращается в овальное озерцо исключительно гармоничных очертаний, по которому загадочно скользит пара королевских лебедей. Скольжение их загадочно, потому что нельзя увидеть ни одного движения, его вызывающего – ни одно перышко на их крыльях не шевельнется, как не дрогнет ни один мускул уходящих под воду перепончатых лап, только время от времени склонится к партнеру маленькая головка на змеиной шее, партнер ответно кивнет такой же маленькой головкой на змеиной шее, и оба без какого либо видимого усилия грациозно развернутся и слаженно заскользят в противоположном направлении.

Три года назад произошла трагедия – один из лебедей умер, мы так и не узнали, ОН это был или ОНА. Два года одинокий лебедь почти неподвижно возвышался посреди озерца, явно не желая никуда скользить без друга, или подруги. А в этом году ему – или ей – нашли пару, и они опять неразлучно курсируют по зеркальной водной глади.

И все же, несмотря на красоту королевской лебединой пары, я бы об этом ресторане писать не стала, если бы не гуси. С ранней весны берега вытекающей из озерца кроткой речки заполняются суетливой толпой молодых гусей, еще не достигших размера зрелого гуся – они ссорятся и мирятся, щиплют траву и купаются в речке. Хозяева ресторана не устают кормить их, поить и холить.

Эти гуси вылупились из яиц совсем недавно, несколько месяцев назад, и не подозревают, почему их хозяева так нежно и любовно о них заботятся. Ведь они еще не прожили на свете и года, откуда же им знать про веселый

осенний праздник святого Мартина, во время которого каждый немец имеет право на ароматную порцию печеного гуся, фаршированного яблоками и каштанами?

Но иногда в мирном гусином обществе вспыхивает немотивированная тревога. Один из гусей вытягивает шею вперед и вверх и начинает с громким гоготом хлопать крыльями. Услышав его гогот, несколько других гусей в разных концах долины тоже вскидывают головы и начинают хлопать крыльями. В ответ первый гусь, все так же гогоча и рассекая крыльями воздух, мчится мимо своих беззаботно пасущихся собратьев вверх по течению ручья. Несколько гусей следуют за ним, оглашая воздух трубными криками и хлопанием крыл. Их поступательное движение увлекает за собой все новых и новых участников, пока постепенно вся гусиная орава не присоединяется к общему хору, и через пару минут мирная стая превращается в боевой отряд, отважно марширующий под звук собственных фанфар.

«Га-га-га!» – слаженно и звонко кричат они, все, как один, дружно отбивая гусиный шаг, полные решимости постоять за свою жизнь. Распахнутые крылья полощутся на ветру, как флаги.

При желании в их боевой песне можно различить отдельные слова: «Долой праздник святого Мартина! Долой праздник святого Мартина!» – скандирует слаженный гусиный хор.

Но гусиной решимости хватает ненадолго. Сперва один гусь отвлекается и, наклонив шею, щиплет какую-то травинку, мелькнувшую среди стеблей, за ним второй, и вот уже весь боевой отряд, забыв о своих гражданских правах, растекается по берегу ручья в поисках лакомого кусочка.

Демонстрация протеста заканчивается ничем, бунт рассасывается сам собой, и ничто уже не помешает хозяину испечь бунтовщиков в день святого Мартина.

Любопытство заставило нас специально отложить дату отъезда, чтобы попробовать этого пресловутого гуся. Хоть цена одной порции была неправдоподобно высока, место за столиком требовалось заказать заранее – а то ведь могло и не достаться!

У входа в ресторан мы встретили несколько знакомых пар, которые при виде нас неизменно радостно восклицали:

«И вы тоже пришли попробовать нашего знаменитого гуся?»

Было ясно, что они воспринимают наш приход как комплимент немецкой культуре – даже наше присутствие на концерте «Спиричуалз» их так не восхитило: может быть потому, что «Спиричуалз» все же дитя хоть и прекрасное, но не родное, а американских негров.

Зал был набит до отказа, и все с нетерпением следили глазами за колченогими официантками, разносившими гусей святого Мартина. Мы тоже следили, предвкушая. Наконец перед каждым из нас поставили тарелку, на которой возвышалось нечто ломкое, темно-коричневое, украшенное парой крупных, размером в теннисный мяч, плотных мучных клецок, погруженных в разваренную до состояния каши красную капусту. Я ткнула коричневое ножом, оно хрустнуло и распалось на две части, внутри которых в яблочном пюре томились распаренные каштаны.

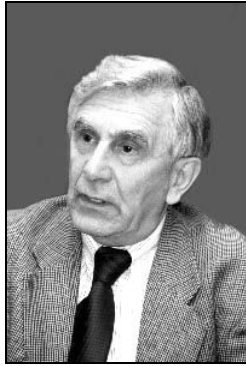
На мой вкус гусиное мясо было перепечено, капуста и яблоки передержаны, а клецки просто несъедобны, но все остальные посетители ресторана были в восторге. Они с таким наслаждением разминали высококалорийные клецки в красной капустной жиже, что я не решилась отставить тарелку нетронутой. Тем более что сидящие поблизости приятели по плавательному бассейну то и дело озирались на нас и спрашивали, не сомневаясь в ответе: «Не правда ли, потрясающе вкусно (вундершон?)».

И мне вспомнилось, как мы слушали в Берлинской опере Вагнеровскую «Валькирию» – когда я попыталась шепотом рассказать Саше подробности сюжета, весь зал обернулся и посмотрел на нас с великим гневом. Они просто сверлили нас ненавидящими взглядами, так что я, оставив идею просветить Сашу на месте, еле слышно прошелестела: «Тише! Еще одно слово, и нас отправят в Освенцим прямо из зрительного зала».

С тем же чувством опасности я принялась расчленять малоаппетитного гуся, понимая, что своим отказом его есть могу оскорбить чувства сидящих вокруг меня служителей культа Святого Мартина. Я, почти задыхаясь, запихивала в рот тугоплавкие клецки, представляя, как мои любезные приятели, заметив тарелку с недоеденным лакомством, глубоко оскорбятся и выбросят меня из зала в ноябрьскую грязь, намытую дождем под балюстрадой лебединого озера. Причем им несколько не будет стыдно, потому что у каждого из них в груди есть арфа, есть арфа, есть арфа...



Об авторах



Габриэль Мерзон – российский физик, доктор физико-математических наук



Эдуард Бормашенко – публицист, физик. Живет в Ариэле, Израиль



Симон Шноль – советский и российский биофизик, историк науки, профессор кафедры биофизики физического факультета МГУ.



Вильям Баткин – писатель, публицист.



Сабирджан Курмаев – участник советского джазового движения.



Виктор Юзефович – искусствовед, писатель.



Борис Тененбаум – автор исторических очерков и книг.



Слава Бродский – математик, вице-президент компании MetLife



Соломон Воложин – читал доклады в Пушкинской комиссии. Несколько докладов, опубликованы.



Валерий Койфман – автор статей по искусству, экскурсовод.



Марк Азов – член союзов писателей России и Израиля, главный редактор журнала «Галилея»



Ирина Маулер – член Союза художников Израиля, член Союза писателей Москвы и Израиля



Михаил Юдсон – литератор.



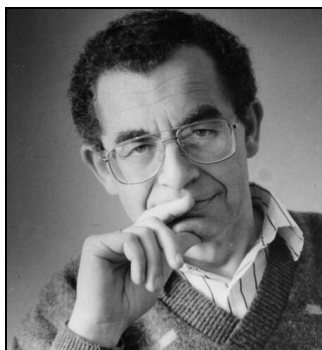
Елена Минкина – врач-терапевт, член Союза писателей
Израиля.



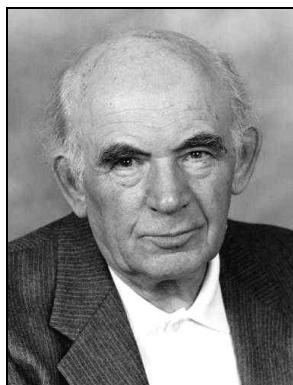
Яков Лотовский – писатель.



Моисей Борода – композитор, писатель, поэт.



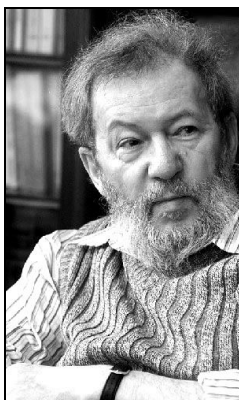
Юлий Герцман – экономист.



Михаил Вайнер – писатель, переводчик.



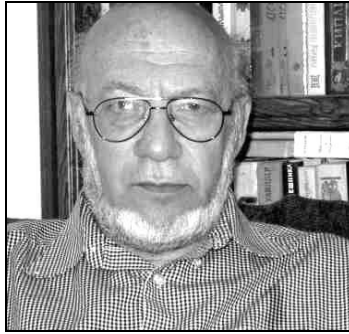
Елена Мазур-Матусевич – писатель, художник, профессор университета Аляски (США)



Игорь Ефимов – писатель, философ, издатель.



Хаим Соколин - геолог, литератор.



Александр Лейзерович – доктор техн. наук. Переводчик стихов и прозы, печатается в периодических изданиях.



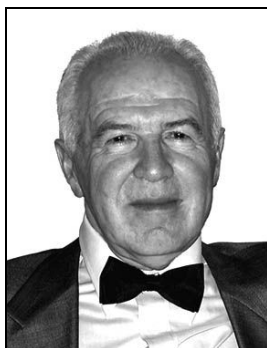
Григорий Рыскин – писатель, публицист, почетный член Союза писателей России.



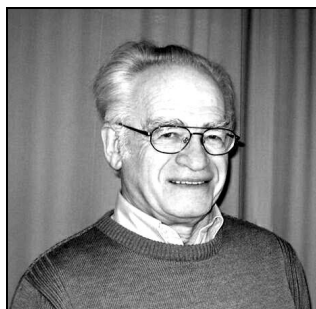
Роланд Кулесский – доктор технических наук, профессор.



Иохвидович Инна – прозаик. Публикуется в русскоязычных изданиях Германии, Англии, Израиля.



Сэм Ружанский – кандидат технических наук, автор множества статей в русскоязычной прессе.



Леонид Комисаренко – конструктор, лауреат Государственной премии СССР.



Нелли Портнова – филолог, исследователь истории и культуры еврейства.



Нина Воронель – писатель, переводчик.



Журнал «Семь искусств», Май 2011
ред.-сост. Евгений Беркович
изд-во «Общества любителей еврейской старины»
Ганновер 2011, 501 стр. 18,8 а. л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер
Общество любителей еврейской старины